ISSN 0130 – 6545

12. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Отбытие аргонавтов.

Цветные иллюстрации номера — работы итальянского художника Джорджо Де Кирико.

На 1-й и 4-й страницах обложки — Школа гладиаторов. Конец века.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
Т. В. ЛАНИНА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

12 декабрь 1989

СОДЕРЖАНИЕ

БОГУМИЛ ГРАБАЛ — Беатриче *(Рассказ. Перевод с чешского и вступление Д. Прошуниной)* 5

ДЖОН ФАУЛЗ — Дэниэл Мартин *(Роман. Окончание. Перевод с английского Ю. Здоровова)* 10

НАГИБ МАХФУЗ — Да осчастливит Аллах твой вечер! *(Повесть. Перевод с арабского Л. Степанова)* 120

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН — Стихи *(Перевод с английского Виктора Топорова. Вступление А. Зверева)* 146

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Окончание. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 157

Е. Гениева — Комментарии 190

Публицистика

РЭЙ КОННОЛЛИ — Джон Леннон. 1940—1980. Биография *(Перевод с английского С. Литвиновой)* 194

АЛЕН БРОССА — Групповой портрет с дамой *(Глава из книги «Агенты Москвы». Перевод с французского Е. Погожевой. Послесловие А. Фадина)* 226

К нашим иллюстрациям

Е. Херсонская — Джорджо Де Кирико 250

Авторы этого номера 252

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1989 год, № 1—12 254

© «Иностранная литература», 1989

Художественный редактор Е. Н. Черняев.
Технический редактор Е. П. Поляков.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.09.89. Подписано в печать 23.11.89. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,51.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак.3606. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

БОГУМИЛ ГРАБАЛ

Беатриче

РАССКАЗ

Перевод с чешского и вступление Д. ПРОШУНИНОЙ

В нынешнем, 1989, году Богумилу Грабалу исполнилось семьдесят пять лет, и он мог убедиться, как велика его слава и популярность, какой любовью он пользуется в читательском мире. Серьезные литературные журналы Франции, ФРГ, Италии, Польши, Венгрии, Скандинавских стран, США и Канады отметили юбилей чешского писателя как выдающееся событие культурной жизни. Май и апрель этого года Грабал провел в США, читая лекции в университетах страны.

За свою жизнь Грабал перепробовал множество профессий: он работал в солодовне пивоваренного завода, у мартеновских печей в Кладно, страховым агентом, дежурным по станции, чиновником в нотариальной конторе, упаковщиком макулатуры, статистом в театре, а еще он закончил факультет права Карлова университета в Праге. И все эти годы он писал, писал с семнадцати лет, но печататься начал поздно. Первая книга «Потерянная улочка» была подготовлена в 1949 году, но света так и не увидела. Сорок лет спустя, отвечая на вопрос американских студентов, не пострадала ли часть его произведений от цензуры, Грабал сказал: «Для того и существует ответственный редактор. Я ведь не живу в вакууме, я живу в обществе, в социалистическом обществе, и его линия определена коммунистической партией. Поэтому я тоже должен уважать принятые правила игры». По-видимому, Грабал трудно усваивал правила игры. Персонажи писателя, влюбленного в реальность, часто не вписывались в стройные шеренги лакированных ходульных героев, не все его произведения сразу увидели свет.

Грабал не считает себя «ни больной совестью, ни судьей общества», он всего лишь ищет и находит красоту даже в самых ужасных и отталкивающих явлениях, ищет и находит прекрасное в людях обыкновенных и даже убогих. Человек есть мера всех вещей, утверждает писатель, вспоминая своего любимого Анаксагора.

Парадокс в том, что эту «меру всех вещей» читатель Грабала чаще всего встречает в пивных, своеобразных чешских «клубах по интересам». Читатель легко включается в «хмельной треп», становится как бы соучастником «пивных новелл», и собеседник открывается ему в непривычном свете. Сколько в нем нежной доверчивости и неотступной боли за несделанное, упущенное, утраченное, но он бывает и зол и низок. А как любит он выставить себя в смешном виде и поиронизировать над собой. Жизнь так удивительна и так абсурдна, что подсовывает нам развлечение на каждом шагу, считает пан Марыско, один из постоянных персонажей грабаловских рассказов. «Когда человеку хуже некуда, тогда лечат его лучше всего банальные разговоры о банальных событиях и вещах»,— заметил однажды Богумил Грабал. Оказывается, нужны «банальные разговоры» и читателям.

Широкая известность пришла к Богумилу Грабалу в 1963 году после выхода сборника рассказов «Жемчужинка на дне». Лучшее объяснение этому названию дал сам писатель: «Только на самом дне, только после падения человек увидит, что есть настоящий свет».

С тех пор вышло более двадцати книг. Многие из них получили премии чешских издательств, а за повесть «Поезда особого назначения» писатель был награжден Государственной премией имени Клемента Готвальда (созданный по повести фильм получил Оскара). После августа 1968 года и роспуска тогдашнего Союза чешских писателей Грабал оказался в стороне от официальной литературной жизни республики, хотя кроме того, что он присоединился к манифесту «2000 слов», никаких политических высказываний и тем более действий и недоброжелатели приписать ему не могут. Разумеется, писателем от этого Грабал быть не перестал, его природный дар внутренней свободы, не подвластной ни обстоятельствам, ни изменениям в судьбе, не оставил его, и за эти двадцать лет он создал, наверное, свои лучшие произведения, которые читают и в Чехии, и во всем мире. Но не у нас, не в Советском Союзе, где было опубликовано всего несколько рассказов. Нас обделили радостью встречи с писателем, «несущим добро и надежду людям», умеющим открыть комичное в самых драматических перипетиях жизни.

Для читателей «Иностранной литературы» публикация рассказа «Беатриче» только начало знакомства с Богумилом Грабалом, которое, по всей вероятности, будет

продолжено на страницах журнала. Сборники произведений Грабала готовятся в издательствах «Художественная литература» и «Радуга», в них будут представлены его повести, рассказы, эссе.

В 1988 году Грабал был вновь принят в Союз чешских писателей, в 1989-м удостоен звания заслуженного писателя ЧССР «за большой вклад в создание социалистической культуры». Интересно бы знать, как воспринял эти улыбки судьбы еретик, богохульник и мистификатор, как называет себя сам Грабал? По-видимому, вспомнил свою любимую фразу: «Человек не может отпороться от эпохи» — и сам рассказал на страницах еженедельника «Кмен» о себе «Кто я есть». Этот номер органа Союза чешских писателей почти половину своих страниц посвятил Грабалу. Там же был напечатан и рассказ «Беатриче», который известный чешский критик и литературовед Радко Пытлик сопроводил таким пояснением:

«В рассказе «Беатриче» проявились основные черты поэтики Грабала: столкновение ужаса и красоты действительности, трагической тревоги и особого, радостного видения мира, которое есть обязательное условие рождения всечеловеческой надежды. Прочитав этот рассказ, мы понимаем, как неуместен был упрек в «натурализме», который часто высказывали Грабалу. «Натурализм» обычно рисовал человека сломленного, униженного, страдающего, Грабал, напротив, и среди глубочайшего страдания выстраивает заоблачную надежду, потому что, по его убеждению, у человека всегда, в горестный час, «взгляд насыщается видом прекрасных предметов». Рассказ «Беатриче» — песнь человечности и любви, высшее проявление которых сострадание, — по требованию рецензентов в семидесятые годы был исключен из сборника «Праздники подснежников» так же, как и семь других рассказов».

Вилла в сосновом бору, вилла в три этажа — летняя резиденция «Мясной торговли Агнеца» — имела и собственный заповедник, так что, если бы его великомясничество пожелало, могло бы стрелять оленей, и серн, и фазанов прямо из окна спальни. Вилла, где были и садовник, и дворник, и телефон, так что, если бы приехал пан Агнец с приятелями попировать, повеселиться, отдохнуть, все комнаты были бы прекрасно натоплены, украшены цветами, дорога с автострады, идущая в туннеле густых сосен, расчищена и посыпана песком, и перед въезжающими автомобилями открылся бы импозантный вид, а зеленый охотничий камзол, охотничья шляпа, надвинутая на брови, ружья и охотничьи трофеи на лестницах виллы — все так, как было у герцогов Шварценбергов,— преисполняли бы торговца мясом пана Агнеца и его приятелей прекрасным чувством людей, избранных богом. А в Праге у пана Агнеца были и рестораны, и магазины, и целые ушаты объедков из ресторанов, и обрезки из мясных лавок, и отходы с боен, и пан Агнец как-то вспомнил, что его отец тоже торговал мясом, правда кониной, и вдобавок откармливал десять поросят, которые росли прямо на глазах только благодаря тому, что им бросали все конские внутренности с бойни и конский навоз, и поросята прибавляли каждый день по килограмму, а то и больше. И пан Агнец тоже приказал устроить за виллой свинарник на пятьдесят поросят, и каждый день грузовые машины привозили ушаты объедков из ресторанов, и обрезков из мясных лавок, и отходов с боен, и вскоре каждые девять месяцев машины пана Агнеца отвозили пятьдесят задарма откормленных подсвинков и привозили пятьдесят новых молочных поросят, и все повторялось сначала. Пан Агнец не то чтобы не замечал, что, когда ветер дует в сторону виллы, в окна из свинарника, хотя и скрытого за рододендронами и азалиями, от навозной жижи идет резкая, противная вонь. Но пан Агнец вонь свинарника уже не чувствовал и даже слился с ней: как настоящий феодал он уже не мог жить без запахов хлева, конского навоза, скотного двора. И потому, чтобы отмыть и обмыть свою душу, пан Агнец в одной комнате устроил часовенку, а в другой — поместил дарохранительницу, там были на окнах узорные рамы и цветные стекла, представляющие сцены из жизни святых, а перед этими узорными окнами высился небольшой алтарь, и над ним постоянно горела лампадка, и под ним стояла скамеечка, чтобы молиться, и если у пана Агнеца вдруг возникало чувство, будто он слишком одинок среди своих боен, мясных лавок и ресторанов и вокруг него слишком много на-

воза, то он знал, что надо опуститься на колени и очиститься смиренной молитвой настолько, чтобы вновь излучать здоровье и юмор, что, впрочем, было нетрудно, потому что пан Агнец был миллионер, а все богатые люди того времени были веселы и словно звенели от полноты жизни, они были всегда любезны и щедры, а щедрость льстила естественному тщеславию пана Агнеца и заставляла его порой даже прослезиться от умиления: до чего ж он к людям добр, до чего отзывчив... Так оно было, но потом то время ушло, ушло и все богатство пана Агнеца, ушло его хорошее настроение, ушла и щедрость, и теперь в его вилле государственное учреждение для убогих детей, которые от рождения повреждены и телом, и духом и человеческому обществу в тягость. Теперь живут на вилле сорок детей от пяти до пятнадцати лет, десять не могут ходить, а только лежат, другие слепые или глухие, пять сидят на специальных стульях, там едят, там и ходят под себя в приготовленные для этого горшки. Время от времени некоторые дети умирают, и когда они умирают, остальные дети этой трагедии не понимают, потому что разум у них помрачен, и что-то человеческое мелькает только в глазах, будто вспоминают они о чем-то, будто взглянут вокруг себя и увидят на миг ужас, что окружает их, и тотчас снова опустится милосердный покров, и тотчас снова уйдет мысль во тьму. Призрак богатого мясника Агнеца и сегодня как бы оберегает на вилле вонь навоза, на этот раз человеческого, который убирают три сестры в черных платьях с белым накрахмаленным воротничком и в крылатых монашеских чепчиках. С утра до вечера и с вечера до полуночи и снова до утра наполнен этот дом стенаниями, плачем и тихими вскриками, большинство детей здесь издает только вопли, и мычание, и стоны, и лишь иногда кто-то блаженно улыбнется, такая улыбка — у блаженных на сводах романских соборов, такая прекрасная улыбка, и сестра Беатриче, ласковая, и красивая, и молодая, полная отваги и воодушевления, все старается во имя бога, чтобы у детей появилась эта человеческая улыбка. Так научили ее в монастыре, так и здесь, в этом доме, среди запачканных пеленок и ночных горшков живет ее бог. Бог тут и тогда, когда дебильный подросток держит в руке свою набухшую плоть, большую, как телячья нога, и кричит и воет, томимый своим половым созреванием, пожилые две сестры краснеют и убегают, заламывая руки, они спешат в комнату пана Агнеца, где алтарь, украшенный цветами, с постоянно горящей лампадкой, и там падают на колени, чтобы очиститься в молитве, чтобы не стояла перед глазами налитая кровью юношеская плоть, а в это время сестра Беатриче сидит, и утешает, и успокаивает мальчишку, тихо гладит его, смотрит ему в глаза, она смотрит в глаза дебила, и покой ее души на минуту рождает понимание в душе больного мальчика, и это та минута для сестры Беатриче, когда она встречается со своим Господом, со своим богом, который всегда пребывает с ней и озаряет ее красивое лицо таким лукавством, как на картинах художников-маньеристов, а она все гладит мальчика по голове и долго омывает холодной водой его набухшую плоть, пока не придет к нему успокоение... Потом сестра Беатриче целует его в лоб и спешит в соседнюю комнату, игровую, как ее называют, где, словно нормальные, играют несчастные с игрушками, такими же, что и у обычных детей, но здешние дети не умеют играть, потому что тьма обволокла их уже при рождении, поразила после скарлатины, после травмы, тьма, которая делает игру их уродливой, почти всех кукол дети сразу же разрывают на части, протыкают пальцем, выдавливают глаза, а больше всего им нравится мазать игрушки своими испражнениями, потому что, когда столько больных, невозможно заботиться о каждом, а только обо всех вместе, и бывает, что потом сестры вынимают из колготок, смывают с юбок и пеленок нечистоты, а иногда бывает, что дети, сделав под себя, берут свои испражнения и швыряют их в потолок, а с потолка

испражнения падают им на волосы, и служба сестер в этом доме, оставшемся от богатого мясника пана Агнеца, тяжелая, управляются с ней две сестры и сестра Беатриче, и только она светится и улыбается, что бы ни случилось в этом доме. Ночью, летней тяжелой ночью, служба становится еще более тяжкой, у здешних детей к десяти годам уже сильно проявляются половые инстинкты,— они с большим чувственным наслаждением лежат друг на друге, и если сестры не придут вовремя, то утром у одного ребенка обсосан глаз, у другого зализаны веки жадным и неутолимым языком и в засосах уста тех, кто, будто вспоминая сладкую материнскую грудь, в которой ему было отказано, сосет все, что пахнет живым... А из-за того, что монашенки должны заботиться и о тех, кто хоть что-то может сам, знает хоть чуть-чуть о человеческих правилах и порядках, кто умеет сам дойти хотя бы до уборной, из-за того, что они чинят и латают здешним детям чулки, брюки и колготки, юбки и штанишки, ночные пижамы и рубашки, из-за того, что в дальней комнате тихо и беспокойно вздыхают во сне десять детей, которые не могут ходить, в трех остальных спальнях всегда тревожно, всегда детское тело раздирают темные первобытные инстинкты и возникает непредсказуемое, и совладать с ним может одна сестра Беатриче, улыбаясь над крахмальным воротничком и под крылатым монашеским чепчиком, окруженная сиянием, как святая Тереза, не уставая, она вытаскивает руки, которые дети суют туда, куда не надо, успокаивает их, называя каждого по имени, усмиряет, тпрукает, как на понесшем коне, до тех пор, пока дети не опомнятся, чтобы сейчас же начать все безобразия снова, лишь только сестра хоть на минуту отдалится от них. Когда я один раз навещал в этом доме мальчишку, мурашки побежали у меня по спине от того, что я увидел... На кровати лежала девушка, слепая и безумная, рубашка у нее была завернута до пояса, потому что у нее уже были месячные, с отсутствующим видом она вытирала пальцем кровь и потом его благоговейно облизывала, будто в экстазе. Сестра Беатриче погладила ее по голове, коснулась рукой ее созревающей груди и тихонько выскользнула на лестницу, а потом и на освещенную солнцем лужайку перед виллой, там уже стояли построенные пожилой сестрой дети, пятнадцать детей, которые все время пошатывались, впереди стоял тот, кто был здесь лучший, он держал за руку первого из трех слепых, которые ухватились друг за друга, и вся эта процессия вышла на прогулку — никогда я не видел такой радости у здоровых детей, как у этих, которые людям в тягость,— они так странно шагали, а из их глаз выплескивались жажда и способность слиться с тем, на что падал взгляд ребенка, к чему он принюхивался не только носиком, но каким-то особым, высшим чувством, всем телом... И сестра Беатриче шла сзади, оглядывалась, чтобы посмотреть — не едет ли машина, а рядом со мной шел семилетний мальчик и держался за нее обслюнявленной рукой, это был тот мальчишка, которого в сочельник взял к себе домой пан Крейчик, тот пан Крейчик, у которого четверо детей, мальчик тогда восторженно шептал мне, а я едва разбирал слова: у меня есть дом, у меня есть дом... Больше всего ему понравилась горящая огнями елка, и смотрел он на нее так, как смотрят на рождественскую елку кошки: видел, но не мог себе объяснить, что это, и только с удовольствием чиркал спичками, он поджег пану Крейчику занавески, страшно обрадовался новому огню, занавески мы потушили и потом болтали с паном Крейчиком обо всем и ни о чем, а мальчик все чиркал спичками, и пан Крейчик шлепнул его и сказал сердито: «Перестань наконец, черт подери!» А мальчик безмятежно улыбался и шептал мне: у меня есть дом, у меня есть дом... И теперь он прижался к моей руке, обслюнявил ее длинными, вытянутыми, как струны, губами и шептал мне: у меня есть дом, я дома, дома, дома! А я испугался такой жажды дома, той важности и чувства, с какими

выражал он, нет, не желание, а нынешнее свое состояние, когда он действительно был даже вне дома дома. Я хотел поговорить с сестрой, какое это мучение для детей так жить и не лучше бы, если бы их вообще не было, а сестра повернулась ко мне и с улыбкой сказала: «Гомер родился слепым», а я сам с собой завел ненужный разговор о том, мол, где все те красивые и ловкие, где все те здоровой породы ровесники, с которыми рядом жил Гомер? Все они безымянными умерли, хотя и были полноправными гражданами, а Гомер, который даже по законам своей страны должен был быть изгнан, вечно живет в прекрасных строчках. Я смотрел на этих слепых, шагающих так блаженно и доверчиво, один другого ведущих за руку, я смотрел, как они шли и втягивали воздух, и прибавляли шаг, чтобы ветер в движении сильнее обвевал их лица, а сестра Беатриче мне рассказывала, что каждый день к ним приезжает священник из Садско, и каждый день она ходит к исповеди, и исповедоваться ей почти не в чем, только разве в своих снах, которые всегда продолжаются, как телевизионный сериал: приходит к ней святой Августин, но не тот церковный святой, а молодой смуглый мужчина, который ухаживал за красивыми барышнями в Карфагене на африканском побережье, смуглый плейбой, весь в маменьку, которую сестра Беатриче любит из церковных святых больше всего, святую Монику, она была чернокожей, черной красавицей... И в эту минуту пестрая одежда детей, это спотыкающееся сборище вовсе не было озарено каким-то высоким светом, а было таким, каким было на самом деле: дети среди цветущих лугов под тенью сосен, и в эту минуту их одежда и лица вдруг мне открыли, как прекрасно и совершенно все реальное, и ничто другое, а только реальное и настоящее, где все предметы и все существа движутся, будто освещенные зарей надежды, которая одевает все сверкающим прозрачным покрывалом, и не только все красивое и прекрасное, но и этих детей, что бросают в потолок свои нечистоты, даже и эти нечистоты одевает сверкающим прозрачным покрывалом, только реальное и настоящее дает начало мышлению, осознающему прекрасное, и если бы я захотел стать кем-то другим, то только сестрой Беатриче, которая как солнце царствует надо всем и словно уменьшает зло и несчастье и получает в награду за это чистоту и простодушие, с какими мне рассказывала, как четыре раза в год она должна ездить в город Мцел, в большой храм на исповедь, с истинно женским смехом и здоровой животной чувственностью она сообщила мне, что мцельский священник — красивый мужчина, и когда она с ним говорит, так даже краснеет, потому что он немного грешный, а только от греха человек заливается краской... Сказала и коснулась меня локтем и посмотрела мне в глаза, и я понял, что она вовсе не оторвана болезненно от своего пола как монашенка, напротив, в ее взгляде было столько чувственности чистой женщины, что я вздрогнул и потупил глаза, потому что она выплеснула на меня целомудренную любовную негу, а потом тихо сказала то, чего не говорил мне никто, будто у меня красивые ноги, и я видел — она все понимает, и когда она захочет, все увидит, и я иду возле нее точно обнаженный, она понимает, почему я ворочаюсь на постели летней ночью и буду всегда ворочаться, стоит мне только подумать о ней, так же как и она, когда подумает тихой ночью о мцельском священнике, похожем, как она сказала, на молодого Августина, когда он еще не был святым, а был настоящий мужчина, самец, грешник, и только через грех пришло к нему озарение и стал он тем же, кем и она, другом и творением божьим, точно так же, как из виллы Агнеца стал приют для несчастных детей, где, как агнец божий, служит детям сестра Беатриче, красавица, которую через неделю я повезу на машине к исповеди, к мцельскому священнику, похожему на мудрого святого.

ДЖОН ФАУЛЗ

Дэниэл Мартин

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗДОРОВОВА

Священная долина

Помню, как еще мальчишкой я задал отцу старый как мир вопрос: если бог создал мир, то почему он допустил в него зло? И получил старый как мир ответ: для того, чтобы человек был волен выбирать между добром и злом и, с божьей помощью, мог нравственно совершенствоваться. Подобное решение головоломки меня не устраивало. Возможно, будущий сценарист почувствовал, что сценарий фильма безнадежно растянут, а зарождавшийся во мне циник недоумевал, почему нельзя было придумать мир, в котором жертвы пользовались бы, по крайней мере, не меньшей свободой выбора и воли, чем мучители.

В то время, когда я задавал этот вопрос, я был обычным ребенком из заурядной семьи, которого учили смотреть на жизнь сквозь призму успеха на экзамене или в игре; два других великих жизненных принципа английского среднего класса той поры — что обманывают только негодяи и что порядочность сродни благочестию — внушались нам даже строже, чем школьные истины или правила наших игр. Это было все равно что дать нам в одну руку детский шарик, а в другую — острую булавку. Рано или поздно они неминуемо должны были прийти в соприкосновение — и, конечно же, не раз оглушительно соприкасались в английской (и американской) истории, когда раздувшееся брюхо социальной несправедливости протыкалось копьем какого-нибудь популярного в народе фанатика честной игры.

В начале 60-х годов во время короткого перерыва между двумя голливудскими контрактами, я попытался — исключительно ради собственного удовольствия — написать сценарий о Робин Гуде. И совершил непростительную ошибку — сделал свою версию (большей частью придуманную) мрачно реалистичной и лишенной романтики, отчего она никому не нравилась. Я тогда еще не умел связать этот сценарий со своим прошлым и не мог понять, почему мы превратили исконный национальный миф — возможно, единственный не христианский, который буквально каждый англичанин носит в своей памяти от рождения до смерти,— в тему дневных телевизионных сериалов и картинок на коробках овсяной крупы, почему мы отдали его на откуп уолтам диснеям и эрролам флиннам[1]. Миф этот построен на сокрытии, и поэтому мы скрываем его истинное значение с тех са-

---

Окончание. Начало см. в № 10, 11.

[1] Эррол Флинн (1909—1959) — американский киноактер, известный исполнитель ролей голливудских героев, в частности — главной роли в фильме «Приключения Робин Гуда» (1938).

мых пор, как он впервые появился в балладах и народной памяти,— хотя уже то, что родил его народ, а не отдельная личность, выдает нас с головой. Этот миф выявляет сущность английского характера настолько глубоко, что у нас, вечных детей, возникает искушение постоянно его маскировать, умалять, принижать, добродушно высмеивать.

Миф о Робин Гуде к тому же значительно лучше описывает процесс творчества, чем ныне модные параллели с Создателем, которые проводят некоторые английские и американские романисты. Если Бог существует, то он (она или оно) высокомерно равнодушен к тому, что в первую очередь занимает думающую и чувствующую песчинку материи — к боли, равенству, справедливости и всему остальному. Параллель с Богом допустима, если только художник создает свои труды на случайной, вероятностной основе, а значит, и не создает их совсем. Но даже в этом случае гипотетический Бог играет в настолько более сложную вероятностную игру, что аналогия бессмыслена.

Обыкновенный писатель пытается изгнать из своего текста, во всяком случае законченного, как раз все случайное. Он высчитывает, планирует, изматывает себя там, где Великий Вопрошатель оставил бы все на волю случая; и его окончательный, отредактированный продукт по замыслу не менее продуман и схематичен, чем техническое изделие или спроектированное архитектором здание. Более того, создает он не ex nihilo [1], а из наличных запасов памяти и опыта; следовательно, он переделывает и компонует даже тогда, когда пишет о том, чего не было или вообще быть не может.

Желание художника создавать воображаемые миры, отличающиеся от существующего,— еще одна область, которой Бог теологов, судя по всему, лично не интересуется. Это желание (или необходимость) всегда тесно связано, во всяком случае у меня, с понятием отступления, бегства — как в религиозном, так и в военном смысле — и потайного убежища, которое одновременно является и укрепленным редутом. Для меня именно здесь миф о Робин Гуде из символа народных социальных ожиданий превращается в доминирующую характеристику нашего умонастроения, суть нашего поведения, в исконное *направление* (близкое к большому сдвигу гласных в самом языке) английского воображения.

Много лет тому назад я случайно наткнулся на английский перевод одной из самых прекрасных исповедей в европейской литературе: на шедевр малоизвестного француза Ретифа де ла Бретонна — его романизированную автобиографию «Господин Никола» [2]. В начале книги, где де ла Бретонн описывает свое крестьянское детство в одном из глухих селений Бургундии в 40-х годах XVIII века, есть отрывок, который заворожил меня при первом же чтении и который дал мне название для такого отступления или бегства в самого себя, а также и ключ к его пониманию.

Он рассказывает, как однажды его отец, лишившись пастуха, доверил ему стадо и как он вместе со стадом набрел на затерянную в холмах долину. Он не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о ней раньше: волшебно обильная, зеленая, уединенная, с множеством птиц и зверей — зайцы, косули, дикий кабан с кабанихой. Удод, которого он видел впервые в жизни, лакомился дикими медовыми грушами. Он заметил, что все эти создания ведут себя смелее и естественнее, чем обычно, и ему стало неловко за свое непрошеное вторжение. Но в душе он тут же окрестил эту долину «своей»; он стал приходить туда, построил небольшой каменный шатер, готовил себе пищу на костре и даже освятил это место (это подробно описано в другом

[1] Из ничего *(лат.)*.

[2] Никола Ретиф де ла Бретонн (1734—1806) — французский писатель. Речь идет о переводе его автобиографической книги «Господин Никола, или Разоблаченное человеческое сердце» (т. 1—16, 1794—97).

замечательном отрывке) с веселой толпой пастухов и пастушек, чувствуя себя человеком «до царств, заветов и запретов». Он назвал это место la bonne vaux, что на местном диалекте означало: тучный дол, священная долина.

Именно священная долина и все, что она символизирует, помогает объяснить, почему у меня уже не хватает терпения заниматься собственной профессией, а также почему (причем эта причина глубже, чем та, что я приводил ранее) кино столь плохо уживается с англичанами.

Кино не вписывается в культуру, все внешние проявления которой обманчивы и единственная реальность которой состоит в искусстве избегать видимой, то есть операторской, реальности. Нас, англичан, камера, общественное внимание понуждают лгать и лицедействовать.

Объективную видимость мы широко используем в комедии, в юморе, в общественно-политической сфере; но внутреннюю реальность мы ищем в других областях, и прежде всего в слове. Поскольку истинную сущность мы обнажаем только в личной жизни, «приватная» форма читаемого текста служит нам лучше публичной театральности спектакля. Кроме того, напечатанный текст позволяет своему создателю еще и надежно спрятаться. Текст — всего лишь следы зверя, который пробежал и скрылся где-то в лесу; да и природа языка такова, что след остается прежде всего в мозгу читателя (еще в одном лесу), а не где-нибудь вовне, как это происходит в таких видах искусства, как живопись и музыка.

Делать фильмы нам мешает подспудное знание, что любое правдивое изображение англичанина должно содержать то, что камера схватить не может,— непрерывное сокрытие своей сути, постоянное несоответствие слова и мысли. Истинно и обращение этого высказывания: если роман об англичанах можно успешно экранизировать, значит, он самого главного о них не говорит. Вечным препятствием для нас служит и то, что уклончивая и неуловимая английская душа принципиально холодна к визуальному представлению; и наша удручающая неспособность сделать хорошие фильмы о самих себе или произвести на свет художников уровня Бергмана, Бюнюэля, Рея[1] большей частью связана именно с этим.

Мои личные счеты с кино и его младшим братом — телевидением — были, пожалуй, еще серьезнее. Любое искусство — всего лишь заменитель воображения для тех, кто составляет его аудиторию; но два вышеназванных вида искусства давно переросли эту роль и полностью узурпировали упомянутую человеческую способность, предварительно истощив ее и выхолостив. Кино и телевидение исподволь установили свои собственные законы, углы зрения и пределы видимости, отринув то, что не способны выразить. Как это чаще всего и случается с массовыми явлениями, их воздействие оказалось намного шире первоначальной области применения, затронув по аналогии практически все сферы жизни, где требуется свободное и независимое воображение. Сиюминутность телевидения, на которую нередко ссылаются, едва ли может служить утешением; этот аргумент сродни попытке доказать безвредность курения, исходя из того, что одна сигарета не может вызвать у курильщика рак.

Идея написания романа возникла у меня преимущественно по этой причине, а не из особой любви к самому жанру. Как читатель я всегда больше тяготел к драматургии и поэзии. В прозе я чувствовал больше возможностей для отступления, бегства в самого себя. После хилого кустарника киносценариев я видел в ней лес Робин

---

[1] Ингмар Бергман (р. 1918) — шведский кинорежиссер; Луис Бюнюэль (р. 1900) — испанский кинорежиссер; Сатьяджит Рей (р. 1921) — индийский кинорежиссер, выдающиеся деятели мирового кино

Гуда... и риск. Значительная часть моей работы в кино была с самого начала обречена на успех. Слишком часто все зависело от денег и от воли хозяев студии; и сам процесс создания, если не считать редких сучков и задорин, был почти автоматическим.

В сценарии о Робин Гуде у меня был эпизод, содержащий в себе больше пророческого, чем я понимал в то время. Чтобы разбавить сцены жестоких схваток, я ввел в сценарий спокойное лето, привольную жизнь под сенью зеленых лесов (самое существенное в la bonne vaux — ее мимолетность) — и мораль отряда развалилась; то, что начиналось лирически, идиллически, постепенно грубело и озлоблялось, и отверженные *на* природе превращались в отверженных *по* природе, безвольных и ленивых, столь же в каком-то смысле привилегированных, как те люди, от которых они первоначально и бежали в леса. Именно это, скорее всего, и лежало в основе моей неприязни к Барни и его миру — а экстраполируя, и к моему собственному: ощущение ненужной, приевшейся, зависящей от внешних обстоятельств привилегии. Ненависть к ноттингемским шерифам XX века, к нашему обществу, к миропорядку мы поменяли на самодовольное процветание на обочине.

В сценарии я прервал это безделье взрывом жестокости — два члена шайки насилуют деревенскую девушку; Робин Гуд сначала обрушил ярость на насильников (его первое решение — повесить негодяев), но, по размышлении, обратил гнев на самого себя (он их прощает, понимая, что ответственность лежит на нем как на главе и вдохновителе всего дела).

В то утро в Лондоне я сделал следующую запись: *Персонаж, которого дóлжно видеть в развитии, подобен птице, забывшей, где кончается ее миграционный путь.* И дальше. *Что останавливает его?*

Ирония заключается в том, что все художники, по крайней мере в процессе творчества, намного «божественнее» любой теологически или научно выводимой первопричины. Они, конечно, отнюдь не свободны ни в генетическом, ни в социальном, ни в техническом смыслах; они закованы в кандалы своего таланта, прошлого и настоящего опыта; и тем не менее никто из людей, кроме, быть может, мистиков и безумцев, не пользуется свободой, хотя бы отдаленно сравнимой даже с этой ограниченной свободой творца, которая обеспечивается бескрайностью леса воображения и терпимостью западного общества к бродяжничеству в нем. В этом состоит единственная реальность творчества, и она чаще всего никак не связана с общественной оценкой конечного продукта.

Но ремесленник и настоящий художник как раз тем и различаются, что один знает свои возможности, а другой — нет; вот почему одно занятие беспроигрышно, другое — безмерно опасно. Мне достаточно беглого взгляда на свои работы, чтобы определить, к какой категории принадлежит их большая часть: от них несет тленом безопасности, ибо они написаны — как знал я (и хозяева моей студии),— чтобы польстить ожиданиям этого мира, а не выявить мои личные и родовые знания реальности. Вперед птицу гнал ужас приземления, риск встречи с реальной землей, девственной природой, которая, словно сирена, манит остаться с нею навсегда.

Если у меня и есть любимое направление в современном романе, то оно начинается с Генри Джеймса[1] и через Вирджинию Вулф[2] идет к Набокову; все они, каждый по-своему, принадлежали одному братству, тайному обществу, и знали, как найти la bonne vaux и как оттуда вернуться. Подобные личные пристрастия обнаруживают, ко-

[1] Генри Джеймс (1843—1916) — американский писатель, романы которого отмечены утонченным психологизмом.

[2] Вирджиния Вулф (1882—1941) — английская писательница, ее романы близки литературе «потока сознания».

нечно, общие точки отсчета, но не в меньшей степени — и то, чего нам не хватает.

Обряды

Бегство Дэна в Торнкум, собственную долину в Южном Девоне, осложнялось несколькими вполне обыденными вещами. Во-первых, расследованием самоубийства Энтони, во-вторых, похоронами и, наконец, приездом Дэвида Малевича. Последний требовал от Дэна сценарий о Китченере с упорством английского бульдога. Дэн позвонил в Нью-Йорк на следующий день после возвращения из Оксфорда и узнал от секретарши, что Малевич разыскивает его. Ее босс сейчас в городе, но через несколько дней вылетает в Лондон, где непременно хочет встретиться с Дэном.

Малевич был очень далек от привычного карикатурного облика американского продюсера — окруженной телефонами и красотками тупой очкастой жабы в клубах сигаретного дыма. Он являл собой скорее прямую противоположность расхожему мифу: в свои пятьдесят пять лет высокий и стройный, Малевич выглядел, несмотря на намечающуюся лысину, удивительно подтянуто и моложаво. Про него рассказывали, что однажды его разногласия с актером — по поводу двадцатитысячной прибавки к гонорару — решались на теннисном корте и Малевич обыграл своего молодого партнера всухую. По одной из версий этой истории, в конце игры он подошел к сетке и все же предложил актеру дополнительные двадцать тысяч долларов на условии, что тот потратит их на теннисных тренеров. Но я в этом сомневаюсь. Он был очень экономным человеком. Не курил, не пил, одевался со скромностью бизнесмена из Новой Англии. Его вполне можно было принять за крупного адвоката или уолл-стритского банкира, и он наверняка овладел бы обеими профессиями, причем не только благодаря своим физическим кондициям и манере одеваться.

Дэн делал для него третий сценарий и уже знал, что при разногласиях Малевич умеет слушать и поступаться своими вкусами, а кроме того, никогда не позволит режиссерам вольничать с окончательным вариантом сценария, за что, по крайней мере у одного из них, получил прозвище Чингисхан. В разговоре с Джейн Дэн был несправедлив к нему, ибо это он однажды заговорил с ним об идеях Леви-Строса... и весьма к месту. Для своей профессии он был достаточно грамотным человеком, хотя говорил, как правило, на киношном жаргоне. В тонком знатоке шоу-бизнеса и мастере выбора исполнителей скрывался романтический идеалист, почти мечтатель. Он пришел в кино после успешного дебюта в качестве импресарио на Бродвее и сумел остаться самим собой в мире, где выражение собственного мнения рассматривается собеседником как злонамеренное личное оскорбление.

У него случались провалы и был достаточно высокий процент неудач (включая и одну из двух предыдущих работ Дэна), но много лет он поражал весь Голливуд острейшим чутьем на перемены во вкусах кинозрителей. Один раз по сценарию, отвергнутому большинством крупнейших киностудий, он сумел снять совместный фильм с киностудией из-за железного занавеса. Фильм, конечно, не перевернул мир, но принес больше прибыли, чем дорогой и неудачный боевик одной из тех голливудских студий, которая ранее отказала Малевичу. Через год или два Малевич где-то раздобыл финансовый отчет этой студии за тот крайне неудачный год (а такие материалы надежно прячутся от чужих глаз) и, присовокупив к нему свой успешный балансовый отчет, отослал его директору студии вместе с брошюрой о домах для пенсионеров в каком-то глухом углу далекой Флориды. Он не упус-

кал случая облить грязью всякого, кто хоть раз отказал ему без достаточных оснований.

Когда Малевич предложил Дэну идею сценария о Китченере, Дэн просто рассмеялся. Но продюсер принялся убеждать его в своей обычной сухой и упрямой манере, ссылаясь на то, что, по его наблюдениям, в Штатах, несмотря на Вьетнам, живет скрытая ностальгия по империализму и американцы особенно любят, когда империалистами выступают другие; кроме того, фильм будет интересен военными эпизодами, подноготной многих исторических знаменитостей, политическими интригами и экзотическими пейзажами. Малевич был хорошо начитан в предмете, а все знания Дэна о Китченере могли в ту пору легко уместиться на клочке бумаги величиной со спичечный коробок.

Потом Дэн получил письмо, в котором Малевич сообщал, что с финансированием съемок проблем не будет, а собственный гонорар Дэна можно поставить в зависимости от общей прибыли: крючок еще и позолотили. Они снова встретились с Малевичем. К этой встрече Дэн уже провел свои первые изыскания и решил для себя, что у Китченера было достаточно странностей (кое-какие полезные наблюдения он нашел у Т. Э. Лоуренса, на которого ему указал Малевич) и что будущая работа может стать интересной.

Дэна смущала огромная масса материала, которую необходимо было включить,— места и события, всех этих Гордонов, Бота, Керзонов, Черчиллей[1] и иже с ними. Приходилось жертвовать драматургическим накалом или историческими фактами; необходимость постоянно изворачиваться и раздражала Дэна больше всего. Он прибег к маленькой хитрости: решил построить сюжет на событиях из середины карьеры Китченера и в каком-то срединном географическом положении, а уж оттуда совершать короткие вылазки в прошлое и будущее всей его жизни. Много лет назад, когда Дэн жил с Андреа, они ездили в Египет. Зимой у Андреа появились признаки плеврита, и как только она достаточно окрепла для путешествия, Дэн отправился с ней в туристическое плавание по Нилу. Несколько дней они пробыли в Асуане и успели полюбить один из тамошних островов: остров Китченера. Дэн помнил только экзотические деревья, ярко-зеленый покой на фоне окружающей пустыни и скользящие по воде фелюги, но само место казалось теперь тихой, надежной крепостью для кровавых набегов в другие страны и другие времена.

Я хорошо знал Дэвида и не притворялся, что со сценарием все в порядке, когда несколько дней спустя мы сидели в «Конноте»[2] друг против друга. Он внимательно выслушал рассказ о моих трудностях; согласился с предложением выбросить пару эпизодов, уперся с третьим (ссора с хедивом[3] в 1891 году), который, как я знал, будет стоить мне много сил, а ему — больших денег; но он во что бы то ни стало хотел видеть его хотя бы на бумаге. Выиграв раунд, он пустился расхваливать мою идею, отводившую острову Китченера роль спицы, на которую нанизывалось все остальное. Я как можно лучше описал само место и его достоинства.

— Мне это нравится, Дэн. Можешь меня не уговаривать.

— Похожий остров найти нетрудно. Вот с пустынным фоном посложнее.

Он смотрел на меня, кивая.

[1] Луис Бота (1862—1919) — первый премьер-министр ЮАС; Чарлз Джордж Гордон (1833—1885) — английский колониальный деятель, генерал; Джордж Натаниел Керзон (1859—1925), Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874—1965) — английские государственные деятели. Все они в той или иной степени в разные периоды были связаны с Китченером.

[2] Роскошная лондонская гостиница в районе Мейфэр.

[3] Титул правителей Египта в 1867—1914 гг.

— А может, еще подумаешь?

— Не могу. Неужели мы не найдем похожую натуру?

Он попивал свой яблочный сок небольшими глотками и вдруг неожиданно улыбнулся. Поделом мне — не следовало забывать, что Дэвид еще и отличный картежник.

— А почему ты не спрашиваешь, что делает здесь такой занятой человек, как я?

— Мне казалось, ты объяснил.— Он сказал мне в начале беседы, что из Лондона летит в Рим по делам другого фильма.

— Сначала я лечу в Каир. Завтра.

— Ты хочешь сказать...

— Полетишь со мной?

— Неужели ты будешь снимать в Египте?

Он ухмыльнулся:

— Израильтяне постоянно там снимают.

— Ты что, совсем не видишь политических проблем?

— Евреи с автоматами — это далеко не то же самое, что евреи с долларами.— Он сделал широкий приглашающий жест.— Владей своим островом, Дэн. Если верить их посольству в Вашингтоне... все возможно.

— Это потрясающе, Дэвид.

— Говорят, там прекрасное естественное освещение.

— Как в Калифорнии. Лучше. Нет смога.

— У них даже есть какой-то местный киноцентр в Асуане. Студии, технический персонал. Если они нам потребуются. Статисты идут по десять центов за сотню. Верблюды бесплатно.— Он снова принялся за еду, но не удержался и ткнул вилкой в мою сторону.— Не ценишь ты хороших продюсеров.

— А сцены в Каире?

— Завтра сможешь вылететь?

Я рассказал ему об Энтони.

— Скверно.— Он задумался на мгновение.— Вот что я хотел бы, Дэн. Как только сможешь, отправляйся туда — согласись, ведь прекрасное путешествие? Из Рима я возвращаюсь в Нью-Йорк, но в моей конторе тебе скажут, с кем встретиться и что посмотреть. Они там обо всем договорятся. Египтяне на все готовы.— Он едва заметно подмигнул мне.— Отдадут тебе дочерей, жен... Только пальцем укажи.

— Кажется, ты путаешь арабов с эскимосами.

— Джентльмена, с которым я вел переговоры, я ни с кем перепутать не мог.

— Прекрасно.

— Так что не будем отказывать себе в удовольствиях.— Отодвинув тарелку с недоеденным бифштексом, он откинулся на спинку стула.— Когда освобождается Дженни Макнил?

— Через три-четыре недели. Если они уложатся в срок.

— Бери ее с собой. По моим сведениям, она это заслужила.— Он заметил мою нерешительность.— Не хочешь?

— Я и так уже отстал со сценарием, Дэвид. Да и переписывать уже сделанное, наверное, придется. А в тех краях я уже бывал.

— Ты, надеюсь, знаешь, как я поступаю со сценаристами, которые не сдают работу в срок?

— Как не знать?

Мы оба улыбнулись. Он опустил глаза, потом снова взглянул на меня и заговорил более серьезным тоном:

— Мне нужен стоящий сценарий, Дэн. Назови дату. Если тебе требуется пара дополнительных недель...— Он развел руками.— Две недели ничего не решают.

— Дай подумать.

— Как надумаешь, сообщи в лондонское отделение моей фирмы. Они позаботятся о визах и прочей ерунде.

— Хорошо.

Он сложил руки на груди:

— А теперь поговорим о будущих режиссерах. Никогда не догадаешься, с кем я обедал на прошлой неделе.

Но в такси по дороге домой Дэн твердо решил, что ехать ему не стоит. Зачем зря тратить чужие деньги? Такая поездка нужна будущему режиссеру и его помощнику по натурным съемкам. Кстати, и сделал он намного меньше, чем предполагал Дэвид: до середины работы еще далеко, а прошло уже больше половины договорного срока. Да и не может он еще раз бежать от людей, в жизнь которых он только что вновь вошел, не может воспользоваться одной из самых пагубных «привилегий» мира кино — так называемой свободой, ради которой пренебрегают долгом, каждодневными обязанностями, соображениями экономии и разумными самоограничениями. Когда на следующее утро Дэн увиделся с Каро и она спросила, как прошла встреча, он ни слова не сказал ей о поездке.

День спустя он возвратился в Оксфорд для участия в судебном разбирательстве. С вокзала Дэн сразу отправился в суд. Джейн и Розамунд были уже там; утром в Оксфорд приехал и Эндрю, Нелл осталась в Комптоне присматривать за их сыном и наследником, который все еще болел свинкой. В зале заседаний находилось еще несколько человек: пара репортеров, кое-кто из университетских друзей и коллег Энтони, но большинство, видимо, составляли просто любопытствующие безработные. Сначала огласили медицинское и патологоанатомическое заключения, потом дала показания медсестра, обслуживающая палату Энтони, потом дежурная медсестра, а затем очень тактично и мягко взяли показания у Джейн. Да, для нее это явилось полнейшей неожиданностью, он действовал вопреки всем своим религиозным убеждениям. С ней он возможность такого шага никогда не обсуждал. Она не помнит, чтобы он когда-либо вел с ней разговоры на подобную тему. Семейных или финансовых проблем, которые могли бы привести его в отчаяние, она не видит. Характер заболевания от него не скрывали, он прекрасно знал, что дни его сочтены... И далее в том же духе. Она говорила тихо и собранно; на вопрос старого судьи, были ли у покойного какие-либо особые причины, как он выразился, «покончить с жизнью» именно в тот вечер, ответила с отменным самообладанием:

— Таковые мне неизвестны.— Потом добавила:— Он виделся в тот вечер со своим старым другом — бывшим мужем моей сестры,— которого он сам настойчиво приглашал приехать. Я знаю, что мой муж очень ждал этой встречи и, насколько могу судить с его слов и со слов мистера Мартина, был очень ею доволен.

— А сами вы на той встрече не присутствовали?

— Муж попросил, чтобы я позволила ему побеседовать с мистером Мартином наедине. В студенческие годы они были близкими друзьями, учились здесь, в Оксфорде, в одном колледже, а потом много лет не виделись.

Судья больше ничего не спросил, но, как заметил Дэн, сделал какую-то пометку в своих записях; в это мгновение у Дэна мелькнула неприятная мысль: легко ему не отделаться. И вскоре, заняв место Джейн, он убедился в правоте этого предчувствия.

— Могу ли я спросить, почему вы не виделись с покойным так много лет?

— Отношения наши разладились со времени моего развода с сестрой миссис Мэллори. Винить за это я должен прежде всего себя. Я готов все объяснить, если вы сочтете это необходимым.

— Меня интересует только вечер накануне его самоубийства. Следует ли считать, что ваша встреча была по преимуществу примирением?

— Да.

— И прошла в примирительном духе?

— Именно так.

— Обсуждались ли другие вопросы?

— Мы много говорили о том, насколько годы изменили нас.

— Заходила ли речь о самоубийстве, пусть и самым косвенным образом?

— Нет. Он даже шутил по поводу моих, по его мнению, слишком пессимистичных взглядов на наш мир.

— Не заговаривал ли он о какой-нибудь гнетущей заботе либо неудаче — за исключением, конечно, состояния его здоровья?

— Он не без скепсиса отзывался о своей преподавательской деятельности. Но он всегда был чересчур строг к себе. Даже в юности.

Судья позволил себе сдержанно улыбнуться.

— И, по вашему суждению, это не имеет никакого отношения к предмету сегодняшнего расследования?

— Уверен, что нет.

— Когда вы уходили, было ли у вас хоть малейшее подозрение, что он собирается совершить?

— Абсолютно никакого. Я сказал, что приду к нему на следующий день. Он принял это известие с заметной радостью.

— Считаете ли вы сейчас, по зрелом размышлении, что он принял свое решение до встречи с вами? Или же, по какой-то причине, после нее? — Заметив, что я собираюсь отвечать, судья поднял руку.— Другими словами, каким был его поступок — обдуманным или импульсивным?

— Характер нашей встречи склоняет меня ко второму. Но его натуре — и, возможно, природе его профессии — более соответствовали обдуманные решения.

— Следовательно, вы предполагаете, что его решение созрело до вашего примирения — и что, поскольку встреча прошла хорошо, более уже ничего не препятствовало исполнению задуманного?

— Мне это кажется самым правдоподобным предположением.

— Простили ли вы ему его долю вины за разрыв с вами? Насколько я знаю, вы приехали из Америки по его просьбе?

— На оба ваших вопроса я отвечаю «да».

— Не говорил ли он вам, что какой-то последний грех — возможно, более существенный, чем кто-либо предполагал,— ныне наконец снят с его души?

— Он сожалел, что наше примирение так затянулось. Я тоже.

— Но он не выражал это прямо — дескать, теперь я могу уйти с миром?

— Совершенно определенно — нет.

— А каким-либо косвенным образом?

— Если бы у меня возникло даже малейшее подозрение, я обязательно предупредил бы миссис Мэллори еще до нашего ухода из больницы.

Судья колебался.

— Я не совсем понимаю, почему вы не встретились раньше.

— Я думаю, из-за того, что я был в Америке.— Не давая ему времени развить эту тему, я торопливо продолжил:— В начале разговора я выразил сожаление, что мы примирились так поздно... имея в виду его состояние. Я не помню в точности, что он сказал, но смысл его ответа свидетельствовал о великодушном желании не обременять меня своей личной трагедией. И сомнения эти он смог преодолеть лишь в последнее время.

— Когда личная трагедия ощущалась им уже очень остро?

— Да.

— Не показалось ли вам, что он берет на себя излишнюю вину за ваши испорченные отношения?

— В моем разводе с женой я был виноват не только юридически, но и морально. Настоящей причиной нашего разрыва послужила моя пьеса, которую я построил на обстоятельствах развода, извратив роли, которые мы все в нем играли.

Судья улыбнулся.

— Ваша искренность делает вам честь. Но вы не ответили на мой вопрос.

— Простите. Мне представляется, что он проявлял излишнюю щепетильность, приписывая себе вину за случившееся между нами.

— Могу я спросить вас, в чем именно он усматривал свою вину?

— Видимо, в том, что не простил мне мои грехи.

— Значит, в недостатке милосердия?

— Ему казалось, что он был чрезмерно строг ко мне.

— И казнил себя за это, пусть и незаслуженно? И насколько сурово?

— Мне не хотелось бы преувеличивать. Все это обсуждалось как бы походя. И не без юмора. Так люди, улыбаясь, вспоминают давние заблуждения.

— Но, принимая во внимание его религиозные убеждения, разве нельзя предположить, что на самом деле он смотрел на эти вещи серьезнее?

— Мне не верится, что его самоубийство являлось какой-либо формой раскаяния или искупления греха. Его поведение во время нашей встречи было совершенно нормальным. Он даже рассказал пару забавных историй. Эмоционально и психологически он почти не изменился со времен нашей молодости.

— Значит, вы утверждаете, что чувство вины за то, что он не сумел помириться с вами раньше, не могло служить первопричиной его трагического решения.

— Именно так я и думаю. Знаю, что миссис Мэллори разделяет мою точку зрения. Мы уже говорили с ней об этом.

Судья снова бросил взгляд в свои записи. Как показалось Дэну, судья был уверен, что всей правды ему не говорят, и обдумывал дальнейшие вопросы. Но, помолчав, он просто кивнул, отпуская Дэна. Вскоре закончилось и разбирательство.

Похороны я всегда не любил, возможно, причиной тут была одна отцовская странность — он требовал, чтобы мы с тетей Милли присутствовали на отпеваниях всех сколько-нибудь заметных прихожан, и мне пришлось отсидеть на очень многих. Католический обряд имел одну маленькую особенность — сверх привычного мы выслушали милую ученую речь о покойном, произнесенную одним из его коллег. Собравшихся оказалось меньше, чем я ожидал. Но Джейн позднее сказала мне, что она многих отговорила приходить на похороны. Впрочем, на поминках народу был полон дом.

Еще до поездки в Комптон я пригласил Роз в ресторан. Каро это, конечно, задело, а когда я сказал, что часть нашего разговора с Энтони я должен передать Роз наедине, ее к тому же стало разбирать любопытство. Мир был восстановлен только после того, как однажды вечером я затащил ее в ювелирную лавку, где мы целый час выбирали вещицу для Роз,— то было мне наказание за лишение ее в течение многих лет подарков ко дню рождения. В конце концов мы выбрали серебряное ожерелье с палевыми агатами; Каро тоже не ушла без подарка — я купил понравившуюся ей безделушку (не можешь добиться силой — подкупай).

Подарок, который Роз совсем не ожидала, кажется, понравился ей: она тут же сняла свои бусы и надела подаренное ожерелье. Вечер удался. Она рассказала мне о своей жизни и работе; затем я завел разговор о прошлом. Мой рассказ получился более подробным, чем я

хотел, хотя в нем, разумеется, не было и намека на то, что ее мать и меня связывало в прошлом что-либо, кроме чисто дружеских отношений. Рассказывая о пресловутой пьесе, я всю вину взял на себя; постарался объяснить ей, что реакция Джейн и Энтони была единственно возможной. Кое-что Роз уже, видимо, знала от Джейн; она вспомнила, как у той однажды вырвалось, что мне не следовало жениться на Нелл и что в разрыве с ней я не виноват. На мгновение я представил, что чувствовала Джейн, чуть не признавшись в давнем грехе девушке, которая сидела напротив меня.

— Она не сказала почему?

Роз улыбнулась:

— Даже мне, всего лишь племяннице, иногда трудно выносить Нелл.

— Нелл изменилась. Думаю, гораздо больше твоей матери.

— Беда мамы именно в том, что она не меняется. Хотя и много говорит об этом.

— Ты не веришь, что она вступит в коммунистическую партию?

— Вот вступит, тогда и поверю. Все дело в ее католицизме. Она была и остается католичкой. Можно прослушать погребальную мессу с пренебрежительной миной, можно называть прелатов воронами и в глубине души оставаться католичкой.

— Ты хочешь сказать, что она изменила только символ веры?

— Мы с ней недавно спорили из-за этого.

— И что она сказала?

— В таких случаях она обычно уходит от разговора: у нее своя жизнь, я эту жизнь, видите ли, не знаю.

Мы поговорили о ее брате и еще о чем-то. В ближайшую субботу она работала, поэтому от поездки в Комптон с нами ей пришлось отказаться. Но она пообещала приехать весной в Торнкум со своим молодым человеком. Мое приглашение было не только любезностью. Возвращение в орбиту семьи напомнило мне о прежнем духе купленной мною усадьбы, а ведь именно по этой причине я ее и купил... если, конечно, можно купить призраки. Но пусть они пока подождут.

Комптон

Мы — Джейн, Каро, Поль и я — приехали в Комптон еще до наступления сумерек. Ворота с привратницкой — теперь в ней, кажется, жил один из трактористов Эндрю — были открыты, и мы очутились на бесконечной аллее, по которой следовало бы ездить в ландо или, по крайней мере, в «роллс-ройсе». Наконец, показалось серое здание в палладианском стиле[1]; все усыпано гравием, вокруг внушительные вазы и балюстрады, половина фасада тонула в неприветливой темноте — хозяева называли эту часть здания «ледяным крылом», отапливать ее в обычное время считалось расточительством; зато высокие изящные окна на первом этаже другой половины дома гостеприимно желтели в сумерках. Открылась дверь, появился Эндрю в толстом белом пуловере, потом Нелл, которая рядом с ним выглядела просто хрупкой, затем пухленькая девочка-подросток в бриджах — сводная сестра Каро Пенелопа, или Пенни,— и два ирландских сеттера; все они, люди и собаки, сошли по лестнице вниз, и начались бесконечные рукопожатия, объятия, взаимные приветствия; Эндрю помог мне выгрузить вещи из машины. Когда мы оказались в прекрасно спроектированном холле, я заметил, что на первой площадке роскошной лестницы сидит маленький мальчик в халате.

— Это Коротышка,— сказал Эндрю.— Он все еще на карантине.

[1] Стиль в европейской архитектуре XVII—XVIII вв., ветвь классицизма.

Джейн и Каро, стоя у подножия лестницы, говорили с мальчиком. Мы с Эндрю подошли ближе.

— Это папа Каро, Эндрю. Поздоровайся с ним.

Мальчик вскочил на ноги и наклонил головку.

— Добрый вечер, сэр.

Нелл прошептала:

— Он сегодня весь день репетировал.

Я не знаю, чем жертвовал Эндрю, чтобы сохранить поместье, но безусловно не картинами и не мебелью, ибо внутреннее убранство дома снова поразило меня. Я был очарован им еще в молодости на праздновании совершеннолетия Эндрю, но не ожидал, что и на сей раз впечатление будет столь сильным. Думаю, что потрясал не столько сам интерьер, сколько мысль о том, что кто-то в современной Англии еще может жить в подобных условиях. Мы вошли в гостиную и расселись свободным полукругом около камина, но три четверти комнаты остались незанятыми. Создавалось впечатление съемочной выгородки без четвертой стены — там обычно работает камера. Принесли напитки. Нелл сидела, поджав ноги, прямо на ковре перед камином, Эндрю развалился неподалеку и болтал со мной о «вольво» — машину этой марки он собирался купить на пробу. Пенни, в отца рыхлая и пухлая, сидела на массивной кушетке между своей теткой и Каро, а Поль молча нахохлился в кресле.

Нелл принялась излагать нам программу уик-энда. Намечалось только одно официальное мероприятие: некто Майлз и Элизабет Фенвики были приглашены в субботу на ужин.

Каро сказала:

— Боже, надеюсь, ты не пригласила их омерзительную дочь!

— Дорогая, такта у меня пока достаточно. Кстати, Дэн, он хочет поговорить с тобой.

— Со мной?!

— Тут вот какая история. Его будущий зять, который женится на сестре той омерзительной, как выразилась Каро, дочери, собирается заняться кинобизнесом — я думаю, что речь, скорее всего, пойдет просто о выгодном помещении денег. Он связался с человеком, которого зовут Джимми Найт — ты ничего не слышал о нем?

— Нет. У него что, своя студия?

— Майлз тебе сам все скажет. Честно говоря, он просто хочет, чтобы кто-то убедил его, что это не чистое безумие.

— С моей стороны было бы честно убедить его как раз в обратном.

— Говори — не говори, они все равно поженятся.

— Тогда я лучше навру.

— Нет, говори то, что думаешь. Из моих слов можно заключить, что Фенвик идиот. А на самом-то деле он член парламента.

— Это, конечно, несомненная гарантия против идиотизма,— тихо заметила Джейн.

Мы с Эндрю рассмеялись, а Нелл погрозила сестре пальцем.

— Еще одна такая шутка, и я посажу тебя за ужином рядом с ним.— Нелл повернулась ко мне.— Так что поболтай с ним. Ладно?

— Разумеется.

— Ну, а кроме званого ужина — езда верхом, прогулки, экскурсии, пинг-понг...

— Настольный теннис.— Это сказал Поль. Мы все посмотрели на него. Он откинул назад свои длинные волосы, а затем снова уставился на коленки.— Так он правильно называется.

— Прости меня, ради бога. Настольный теннис.

Каро сказала своей матери:

— Звучит как программа паршивой приморской гостиницы.

— Паршивой сельской гостиницы, дорогая.

Вмешался Эндрю:

— В бильярд играешь, Дэн?

— Немного играл в Америке.

Эндрю подмигнул мне.

— Значит, мы, считай, уже нашли себе занятие.

Нелл простерла обвиняющую длань.

— Только не на деньги.

— Конечно, нет, радость моя. С чего ты взяла?

Она серьезно посмотрела на меня.

— Ты следи за ним. Только на прошлой неделе он в деревне выжилил последние гроши у старых пенсионеров.

— Ерунда. Я выполнял долг эсквайра. Мне положено выигрывать.— Эндрю лениво перевел взгляд на Джейн.— Они вырвали бы свои последние седые волосы, если бы эксплуататор проиграл.

Джейн улыбнулась.

Нелл скорчила мне гримасу. Она все еще сидела на ковре у камина, опираясь на одну руку.

— На днях прихожу в коровник, вижу там Эндрю в компании двух наших скотников, пастуха, трактористов и бог его знает кого еще и думаю, какая прелесть, как здорово, что он вовлекает их в дела поместья... Как бы не так! Футбольный тотализатор! Нашли место ставить проклятые крестики на своих бумажках.

— На редкость серьезное дело. Новый опиум для народа.

Она махнула рукой.

— Я бы еще поняла, если бы это было хитрой уловкой, чтобы отвлечь их от мыслей о повышении зарплаты. Куда там.— Она посмотрела на Каро.— Ты знаешь, что он учудил перед Рождеством? Пообещал священнику половину выигрыша, если тот помолится за восемь ничьих в ближайшем розыгрыше.

Каро ухмыльнулась:

— И что ответил святой отец?

— Слава богу, нашелся умный человек. Он сказал, что лучше помолится за спасение души Эндрю.

Пенни сказала:

— Это же была шутка, мамочка.

— Много ты в этом понимаешь.

Я на миг поймал насмешливый взгляд Джейн; мы оба видели, что Нелл пытается играть роль хорошей хозяйки, демонстрируя нам — правда, без особого успеха — проблемы, которые мы, по ее мнению, недооцениваем.

Через несколько минут меня уже вели вниз. Бильярдный стол в подвале оказался половинного размера и изрядно потрепанным, где-то рядом время от времени урчала бойлерная установка. Там же был стол для настольного тенниса и, непонятно почему, громадная соковыжималка. Устанавливая шары в треугольник, Эндрю поднял голову и подмигнул:

— Пять фунтов. Для интереса?

— Если ты настаиваешь.

— Всегда можешь получить проигрыш обратно. Просто пригрози рассказать ее светлости.

Я улыбнулся, натирая мелом кий.

— Ты все еще серьезно играешь?

— Да что ты?! В Оксфорде я проиграл в десять раз больше, чем за всю последующую жизнь. Дело принципа.— Он наклонился над столом для первого удара.— Теперь я всего-навсего трудолюбивый фермер, Дэн. Несмотря на остатки былой роскоши.

— Я слышал об этом от Каро.

Играя, мы неспешно говорили о ней, и я понял, что бильярд для него — лишь удобный способ сказать между делом то, что сказать в обычной беседе непросто: что он любит Каро и заботится о ней.

Когда я спустился к завтраку, Нелл была одна. Пенни, судя по всему, уже встала и отправилась к лошадям. Эндрю развлекал больного сына, Джейн и Каро еще не встали, а Поль, как всегда, ушел куда-то один. За ночь небо очистилось, на улице светило солнце, вид открывался восхитительный. Когда Нелл наливала мне кофе, глаза ее, напротив, метали молнии.

— Хорошо еще, что поклялась улыбаться в этот уик-энд, чего бы мне это ни стоило.

— Что-нибудь с Каро?

— Вчера вечером она мне все рассказала.

Я постарался изобразить покаянную мину.

— Я ей тоже говорил, что надо рассказать тебе.

— Ты-то здесь при чем? Тебя никто и не винит.

— Я сам был поставлен перед fait accompli [1]. В первый же день, как прилетел в Англию.

— Ты в этом не виноват.— Она прикурила сигарету.— Точнее, виноваты мы оба.

— Надеюсь, она унаследовала от нас не только недостатки.

Нелл выдохнула дым через нос; в глазах у нее мелькнул прежний угрожающий огонек.

— Мы становимся сентиментальнее к старости.

— А по-моему, просто честнее.

— И что же все-таки, по-твоему, будет?..

— Думаю, она справится. Как и мы с тобой в свое время.

— Мы справились весьма своеобразно.

Я равнодушно оглядывал изысканную столовую. Нелл не поддержала мой спокойный тон, уставившись на разделявшую нас столешницу из розового дерева.

— Знаю, ты считаешь, что я сделала из нее кромешную дуру.

— Ну зачем же так?! А что касается Барни, то я в этом виноват ничуть не меньше тебя.

— Только она так не думает.

— Что ты имеешь в виду?

— Каро обожает работу. Обожает Лондон. Вчера вечером я этого досыта наслушалась. Будто я всю жизнь была для нее только тюремным надзирателем.

— Она бывает несправедлива, о чем потом сама же и жалеет. Мне она тоже припомнила все мои грехи.

— Какие же, например?

— Что до сих пор отношусь к ней как к ребенку. Что не всегда с ней искренен.

Помолчав, она заговорила с поразившей меня откровенностью:

— Больше всего меня бесит, что с Джейн она поделилась раньше, чем со мной.

— Насколько я понимаю, она уже давно обсуждает с Джейн проблемы, которые у нее возникают с нами.

— Но я ей мать.

— Я не хочу ее оправдывать, Нелл.

— Разве я не права?

— Конечно, права.— Меня подмывало напомнить ей, что до нашей женитьбы сама она едва ли делилась со своей матерью «всем», но я вовремя одумался.

Многое о приглашенной чете мне рассказали еще до их приезда. Фенвик преуспевал и как адвокат, и как политик; он заседал в парламенте от округа «по соседству с нашим», в котором регулярно побеждали консерваторы, но, как меня уверяли, он отнюдь «не замыкался в местных проблемах». Он «блестяще» — во всяком случае,

[1] Свершившийся факт *(франц.)*.

успешно — поддержал Эндрю по какой-то местной проблеме, обсуждение которой дошло до парламента.

Его нынешняя — третья — молодая жена была американкой: она-де мне обязательно понравится.

Она мне не понравилась, хотя оказалась интереснее английских жен этого круга.

Ее престарелый муж занимал меня больше. Он сохранил великолепную седую гриву и громадные густые брови над серыми пронизывающими глазами; весь его облик говорил о savoir vivre [1]. Он производил приятное впечатление и беззлобным подшучиванием над собеседником, и тем, что с интересом его выслушивал, и тем, что прозорливо оценивал каждого. До ужина Фенвик сидел с Джейн и, насколько я расслышал, говорил об Энтони.

Вскоре меня самого услали вместе с ним в укромный угол, где я выложил ему перечень самых банальных опасностей, подстерегающих кинодельца. Будущий зять Фенвика чертовски спешил войти в demi-monde изящных искусств, и в качестве доказательства его художнических наклонностей Фенвик упомянул пару имен весьма известных и модных фотографов, с которыми тот знался,— назвал с тем сухим интересом, с которым в суде Королевского Совета могли поддержать сомнительный прецедент, только чтобы обрушиться на него позднее. Я сказал, что неопытные молодые аристократы часто становятся легкой добычей жуликов, с чем мой собеседник незамедлительно согласился. Вскоре стало совершенно ясно, что, несмотря на внешние признаки уважения к моему мнению, яйца учат курицу; Фенвик сам знал, что снимать кинофильм, не имея гарантий его будущего распространения, есть форменный идиотизм, и о многом другом тоже. Я единственно недоумевал, почему Фенвик с его знаниями и опытом не догадывается, что этот ловелас, скорее всего, спит с каждой смазливой актрисой или натурщицей, которая попадается ему на глаза, и что в женском монастыре его дочь была бы более счастлива, чем с ним. Но до этого мне дела не было. Я уже нащупал интеллектуальную слабость Фенвика; впрочем, возможно, это был просто глубочайший цинизм.

Ужин удался. Фенвик оказался хорошим рассказчиком, готовым посмеяться даже над самим собой. Тщательно избегались даже малейшие упоминания о политике — либо Фенвиков заранее попросили не затрагивать сей предмет... либо им было уже известно о политических намерениях Джейн, с которой, возможно, они встречались в Комптоне ранее.

Я получил свою толику того неизбежного поклонения, которое любой профессиональный деятель кино рано или поздно начинает ненавидеть,— бесконечные наивные вопросы о технических деталях, внимательные взгляды и идиотские улыбки при упоминании имени очередной кинозвезды — ну, сущие свиньи перед бисером,— но даже это делалось интеллигентнее, чем обычно. Беседа коснулась моей текущей работы, сценария о Китченере. Я, конечно, опустил антиимпериалистический пафос работы, а говорил большей частью о психологической загадке героя. Фенвик, до того слушавший меня молча, улыбнулся.

— А я с ним однажды встречался. Он пожал мою руку. Когда мне было семь лет.

— Боже праведный, где же это было?

— В Тэплоу. Перед самой войной, в 1914 году. У него были необыкновенные бледно-голубые глаза, которые чудовищно косили. На известном плакате этот изъян закрасили. Невероятный рост. Мне тогда казалось, что я встретил небоскреб.

— Он сказал вам что-нибудь?

---

[1] Умение жить *(франц.)*.

Фенвик, изображая Китченера и отведя мне роль семилетнего мальчика, сурово посмотрел на меня из-под кустистых бровей:

— «Всегда смотри людям в глаза, малыш». Я, должно быть, смотрел на его ботинки. Вы знаете, как описывал Китченера Осберт Ситуэлл? [1]

— Богоподобное создание?

— Готов подписаться под этим. Фантастическая внешность. Как магнит — в его присутствии ни на кого другого смотреть было невозможно.

— Вы до сих пор его цените?

— Только как великолепную особь. А что касается его генеральских заслуг... Помню obiter dictum [2] Уинстона на сей счет.— Он уверенно изобразил голос Черчилля:— «Герою Омдурмана [3] легче облобызать задницу Его Сатанинского Величества, чем обдумать самую ничтожную стратегическую идею».— Мы рассмеялись, Фенвик ущипнул себя за кончик носа, а потом, чтобы прекратить веселье, поднял палец.— Но имейте в виду, я также помню, каким ударом для всех была его смерть в 1916 году. Я учился в начальной школе. Учеников торжественно вывели из класса, вышли все преподаватели и даже обслуживающий персонал, помню, как одна из женщин разрыдалась... директор сообщил страшную новость, всем казалось, что более некому защитить нас от прусских орд.— Я отметил про себя, что из этого может получиться неплохая сцена. Фенвик откинулся на спинку стула, дотронулся до бокала с бургундским вином, пододвинул его.— Интересно, способны ли мы еще оценивать таких людей, как Китченер. Его ошибки еще ничего о нем не говорят. Вспомните старину Монтгомери [4]. Я предполагаю, что именно ненадежность Китченера как человека и генерала сделала его таким надежным национальным символом. Знаком. Вся нация молилась на него первые два года войны.— Фенвик поднял свои кустистые брови.— Может, вы и найдете актера, который сыграет его. Но вам никогда не найти такую нечеловеческую мощь...

— Мы знаем об этом. Хотим попробовать шведского актера Макса фон Сюдов. Его, конечно, придется дублировать.

Мы перешли к актерской игре и к выбору актеров на роли; потом к Черчиллю, которого, по мнению Фенвика, никто так и не смог сыграть хорошо, потом к чему-то еще.

Наконец Нелл встала: джентльменов надлежало оставить одних. Она, правда, попыталась смягчить странность этого старого обряда, сказав через стол Эндрю:

— Двадцать минут. Или же я приду и вытащу вас отсюда за шкирку.

— Слушаюсь, мэм.

Поль ушел с женщинами, и я остался с Эндрю, Фенвиком и бутылкой портвейна; наконец-то мы принялись за политику. Сей предмет избегали из-за Джейн, а не из-за меня. Эндрю встал со своего места и сел рядом с Фенвиком, тактично сделав его центром внимания. Почувствовав на себе его лениво-испытующий взгляд, я понял, что первый вопрос Эндрю задаст мне.

— Ты все еще социалист, Дэн?

— Мне теперь надо об этом напоминать.

Фенвик заметил:

— Верно сказано.

Но Эндрю не отставал.

— По-прежнему за них голосую.— Я улыбнулся Фенвику.— Хотя

---

[1] Осберт Ситуэлл (1892—1969) — английский дворянин, среди прочего опубликовал пятитомную автобиографию.

[2] Сказанное попутно, к слову *(лат.)*.

[3] Омдурман —город в Судане, захваченный Китченером в 1898 г.

[4] Бернард Лоу Монтгомери (1887—1976) — английский фельдмаршал.

едва ли верю кому-нибудь из членов парламента избранных, по спискам этой партии.

— Дорогой мой, это наша общая беда. А точнее, беда всей страны.

— Кризис доверия?

Скептические серые глаза изучающе смотрели на меня.

— Думаю, что избирательная слепота — более точный термин.

— В каком смысле?

И снова Фенвик потянулся двумя пальцами к пузатой рюмке с коньяком — он отказался от портвейна — и чуть повернул ее. Потом поднял на меня глаза.

— Сказать, кто вы? Умные люди, спрятавшие голову в песок.— Это было сказано полушутливо, безо всякого вызова, словно бы без желания вообще говорить на эту тему.

— Хотелось бы знать, что, по вашему мнению, я не вижу?

— Мобократию — власть толпы.

— Сильно сказано.

— Все признаки налицо. Презрение к нам, никчемным тупицам, вынужденным представлять вас, к демократическому процессу, к закону — ко всему, что мешает вам иметь права, отказавшись от обязанностей.— Он сложил руки и слегка откинулся на стуле.— На мой взгляд, это уже переросло партийные рамки. Единственное различие состоит в том, что мы — некоторые из нас — говорим, что положение убийственно опасное. А вы притворяетесь, что это не так, только чтобы не беспокоить своих хозяев. Но они все сами знают.

— Профсоюзы?

— У них тоже есть свои хозяева.

— Под кроватью?

Это развеселило его.

— Весьма остроумно замечено.

— Но согласитесь, что любое лечение сведется к охоте на ведьм.

Фенвик бросил на Эндрю укоризненный взгляд, будто упрекал его за то, что он вообще завел этот разговор, потом, уже серьезно, посмотрел на меня — мое предположение в его глазах было крамолой, которую он вынужден терпеть лишь из вежливости.

— Я говорю неофициально, среди друзей, после прекрасного ужина.— Он немного помолчал.— Вот что я думаю по этому поводу. По-моему, не стоит откладывать неизбежные столкновения. Вы оба слишком молоды, а я наблюдал страусиные игры все тридцатые годы. Их, среди прочих, вела и моя партия. Мое поколение оплатило свой счет сполна, поскольку надеялось на лучшее.— Он посмотрел на меня с сардонической снисходительностью.— Если вы не верите в парламентскую демократию, общественный порядок и свободное предпринимательство, прекрасно, вы можете сидеть и спокойно наблюдать, как наша страна сползает к хаосу и неминуемой кровавой бане. Но если вы верите в эти вещи — пусть эта вера и подтачивается благородной заботой об обездоленных,— то, смею вам заметить, вы выбрали не ту партию.— Предвосхищая возражения, он быстро поднял палец.— В ней, разумеется, есть хорошие люди. Как среди лидеров, так и на задних скамьях. Но их все меньше и меньше слышно. Как только каждый откроет карты, у вашей партии будет не больше шансов, чем у умеренных при Робеспьере и его соратниках.

— Мне думается, некоторое время пока есть...

— Эта гипотеза послужит прекрасной эпитафией на могиле Британии. Здесь лежит нация, верившая, что время над ней не властно.

— Уж не хотите ли вы сказать, что процесс уже нельзя повернуть вспять? Что уже поздно?

— Дорогой мой, история нашего века отмечена все возрастающим безумием. Если человек верит в разумность общественных дел, то он может сохранить психическое здоровье, только признав, что

мы обречены. Я почти не надеюсь, что, как вы выразились, процесс можно повернуть вспять. Тем более когда такие люди, как вы,— а вы ныне несомненно принадлежите к образованному большинству — довольствуются ролью сторонних наблюдателей.

Я взял в руки бутылку, которую Эндрю подвинул ко мне.

— А вы не думаете, что ограничение свободного предпринимательства является неизбежной ценой за более справедливое общество?

— О! Тогда вы, возможно, объясните мне, что справедливого в обществе, в котором не будет свободы?

— Но это же все равно, что утверждать неизбежность ядерной катастрофы. Она возможна, более того — весьма вероятна, но у нас еще безусловно есть выбор.

Я почувствовал на себе оценивающий взгляд.

— Очень хорошо. Пусть будет так. 1984 год может никогда не наступить [1]. Но смею предположить, что через двадцать лет, а возможно, и раньше, в этой стране со свободным обществом будет покончено. Вашу партию сдует, как тополиный пух. Моя перестанет существовать. Если парламент в какой-либо форме сохранится, то только для того, чтобы штамповать чужие решения. Вся власть будет в иных руках. Если вам так нравится, можете считать меня нервным пожилым пассажиром, которого томит предчувствие, что капитан и команда доведут корабль до беды, и предупреждает их об этом. Но согласитесь, что после того, как «Титаник» врежется в айсберг, пользы в предостережениях будет немного. И если вы считаете, что кораблем нашего государства управляют профессионально... что ж.

Он еле заметно пожал плечами. Его по-прежнему тихий голос приобрел отчетливо саркастический оттенок — дескать, увы, приходится учить собеседников реальностям жизни.

Эндрю сказал:

— Сомневаюсь, что нынешние пролетарии обладают такой громадной энергией.

— Извини, Эндрю, но это в высшей степени неважно. У их будущих хозяев *достанет* энергии. Более всего меня огорчает апатия тех, кто должен был бы разбираться в происходящем. Это касается обеих партий.— Фенвик сухо улыбнулся в мою сторону.— Я, естественно, далек от того, чтобы во всем обвинять ваших единомышленников.

— Или столь всем необходимое улучшение жизненных условий.— С моей стороны это была уже вызывающая реплика.

— Я принимаю практически все, что обе партии сделали для улучшения участи обездоленных со времени второй мировой войны. Надо, конечно, заботиться и о страждущих, и о неимущих...— Он барабанил пальцами по столу.— Но вот чего я не принимаю, так это выравнивания всех по низшему пределу — я не могу присоединиться к тем, для кого талант, энергия, самопожертвование и трудолюбие чуть ли не преступление. Я никогда не соглашусь, что низведение всех до уровня бедной посредственности полезно для общественного здоровья. Почему вы должны получать одинаковые гонорары с писателем, который в десять раз хуже вас? Почему Эндрю должен быть лишен справедливого вознаграждения за многочисленные нововведения в его поместье? Вы, социалисты, никак не хотите понять, что ставить всех на одну, достаточно низкую, доску не только невозможно, во всяком случае генетически, но и непродуктивно. Это не поможет низшим слоям общества. Абсолютная справедливость всегда останется мифом, поскольку жизнь принципиально несправедлива. Но несправедливость эта отнюдь не слепа.— Я попытался возразить, но он снова поднял руку.— Простите меня. Да-

[1] Имеются в виду пророчества книги Дж. Оруэлла «1984».

вайте отвлечемся от политики. Никакая форма жизни не может существовать на основе принудительного равенства. Это биологическая аксиома. Эволюция зависит от способности индивида развиваться на свой свободный манер. История человека и всей природы постоянно подтверждает это.

— А Китай?

Он посмотрел на меня словно бы поверх очков, которых не носил,— ни дать ни взять опытный судья, услышавший идиотское предложение неоперившегося юриста.

— Что касается Китая, то мы еще посмотрим, мой друг. Сказанное мною безусловно верно для Запада. Для Европы и Америки.

— Но я не понимаю, чем, кроме грубой силы, можно воспрепятствовать по меньшей мере половине Британии стремиться к большему равенству?

Этим я совершил faux pas [1] — моя ошибка на миг сорвала с собеседника маску деланного сожаления, в его глазах мелькнул зловещий огонек.

— У меня нет ни малейшего желания призывать к методам «черных полковников» [2].

— Я не то имел в виду.

Именно это я и имел в виду, и Фенвик отлично меня понял. Эндрю предложил ему еще коньяка, он отказался.

— Последняя возможность для этой страны выйти из предсмертной комы быстро исчезает. Только это я и хотел сказать.

— И вы действительно думаете, что все закончится кровавой баней?

— На мой взгляд, представление о том, что мы все послушно встанем в очередь за местом в марксистском раю, основано на непонимании этой страны. Мы, конечно, стойко переносим лишения, когда боремся с Гитлером, то есть с внешней угрозой. Но смею предположить, если угроза будет исходить изнутри, мы живо потеряем хладнокровие.

Дверь из гостиной открылась, появилась улыбающаяся Каро с хлыстом в руках.

— Мне приказано показать вам вот это.

Фенвик, изобразив притворный испуг, поднял руки.

Я покидал комнату с ощущением абсурдности, бессмысленности происходившего. Портвейн, коньяк, комната XVIII века с горящими свечами — многие поколения сквайров, должно быть, вели здесь похожие разговоры и предрекали гибель мирам, быть может, с меньшим знанием, но наверняка с большей убежденностью, чем Фенвик. Он, безусловно, играл перед нами, излагая свою точку зрения так же бесстрастно, как в своей адвокатской конторе пересказывал бы простое дело двум своим помощникам. Мне это казалось немного унизительным.

В каком-то глубинном смысле, вопреки всем объяснениям и ссылкам на богатый опыт, он был самым заурядным эгоистом: в консервативной философии — во всяком случае, в ее конкретных носителях — я всегда ощущал и презирал веру в то, что привилегии привилегированных необходимо сохранить во что бы то ни стало. И несмотря на разглагольствования консерваторов о меритократии[3], несмотря на псевдобиологическое обоснование своего превосходства, выдвинутое Фенвиком, несмотря на все сдвиги консервативной партии влево с 1946 года, эта черта в ней сохранилась.

В Фенвике я почувствовал апатию пострашнее той, которую он приписывал мне,— если я был равнодушен к исходу «борьбы», то

---

[1] Ложный шаг *(франц.)*.

[2] «Черные полковники» — название военной хунты, узурпировавшей власть в Греции в 1967—1974 гг.

[3] Здесь: правление достойных людей.

ему было наплевать, что он ее уже давно проиграл: он ведь прекрасно знал, что лично ему репарации платить не придется. Уже ничто не могло помешать ему наслаждаться интересной личной и насыщенной профессиональной жизнью. Цинизм, с которым он относился к дочери, пожертвовав отцовскими чувствами ради титула, лишь подтверждал это. Мне казалось, что такой тип интеллигентного тори — у которого больше чем достаточно разума и опыта, чтобы не сводить консерватизм к слепому эгоизму, и который тем не менее демонстрирует его основательнее, чем самый ограниченный и тупой член его партии,— достоин двойного осуждения. В глубине души он верил только в самого себя, система и общество занимали его много меньше.

Тогда я, конечно, не мог анализировать свою неприязнь к нему столь детально. Но я не забыл этот вечер. Хотя либерал во мне и презирал его пессимизм, я не мог не понимать, что для Джейн и людей ее типа мы с ним психологически близки, оба заражены пораженчеством, пусть я свои настроения и скрываю лучше. Во всяком случае, комнату и спор я оставил с чувством, что между мной и Фенвиком нужно провести четкую грань. Взяв чашку кофе, я пошел в угол комнаты к Джейн — там нас никто не мог услышать.

— Надеюсь, удалось решить все мировые проблемы? — спросила она.

— Цивилизованная жизнь в этой стране обречена, ей отпущено максимум двадцать лет. Тебе было бы приятно послушать.

— Обнадеживающие новости.

— Из самого авторитетного источника.

— Жаль, меня там не было.

— Завтра я тебе расскажу об этом во всех подробностях.

Филлида

Жестокая любовь
бросает сердцу вызов,
кипит и стынет кровь
из-за пустых капризов.
Коль на любви волну
злой рок тебя забросил,
то ты под стать челну
без паруса и весел.
Все жарче и сильней
огонь в душе моей,
увы, играет мной
прелестница Филлида.

В те времена, когда мой отец служил в этой округе приходским священником, усадьбой Торнкум владела семья Ридов. Риды принадлежали к теперь почти уже вымершей породе людей — образованным крестьянам. Таких, как они, в приходе и тогда было немного; малограмотное большинство как могло коверкало родной язык. Риды тоже говорили с заметным акцентом, но слова произносили отчетливо и диалектных выражений почти не употребляли. Семья состояла из шести человек, главой ее был «Старый мистер Рид», овдовевший церковный староста, которого мой отец любил называть «самородным джентльменом». В этом снисходительном определении была своя правда: замечательного старика на самом деле отличали врожденное достоинство и, если хотите, величие. Применительно к нему слова «соль земли» не коробили. Обычно с людьми простыми мы лишь изображаем учтивость, присутствие же патриарха любую фальшь исключало. Он никогда не был «стариной Ридом»; уважительное обращение «мистер Рид» именно уважение и выражало. Мне он больше всего запомнился в церкви, когда читал Священное Писание. Он помнил наизусть целые главы из Библии; я и сейчас слышу его разме-

ренный басистый голос, звучавший с таким безыскусным убеждением, какого я никогда не чувствовал ни у моего отца, ни у многих гораздо более искушенных актеров этого жанра, с которыми мне потом доводилось встречаться. Все, что я ненавижу в английской церкви, к нему ни в коей мере не относится. В нем было что-то от народной песни, от баллады, он говорил голосом Дрейка и Рэли [1]. Мой отец исповедовал и проповедовал веру. Старый мистер Рид воплощал ее.

К началу войны он был уже слишком стар, чтобы заниматься фермой, и все хозяйственные заботы в Торнкуме лежали на плечах его пятидесятилетнего сына, в отличие от отца, человека тихого и незаметного. У сына были жена и три дочери; младшая, Нэнси, в детстве очень хорошо играла в «гляделки», мне нравилось исподтишка следить за ней в воскресной церковной школе. Две старшие, близнецы Мэри и Луиза, с начала войны помогали родителям вести хозяйство. Эти странные, как считала вся деревня, девицы везде, кроме церкви, носили мужскую одежду — брюки, куртку и рубашку, эдакие смуглолицые, крепкие, хотя и весьма изящные сельские амазонки. Их сноровка в работе, неразговорчивость и уверенная манера держаться первое время отпугивали меня — девушки, как мне тогда казалось, такими быть не должны.

Риды держали стадо коров гернзейской породы и на всю округу славились своей сметаной; кроме того, они делали сидр, занимались разведением домашней птицы; миссис Рид была прекрасным пчеловодом, и мой отец признавал мед только с ее пасеки. Хотя их усадьба была в самом дальнем конце прихода и наши семьи занимали неравное социальное положение, общались мы достаточно много. Прежде всего по церковной надобности — миссис Рид была самым заметным лицом в Союзе матерей, и мне приходилось часто носить в усадьбу записки. А потом, кто не знает, как трудно было в войну с продуктами... Мой отец горестно качал головой, когда видел, сколь возмутительно нарушаются «священные законы нормирования», но, несмотря ни на что, в деревне вовсю шла тайная торговля сметаной, маслом, яйцами, цыплятами, «жирной крольчатиной» (незаконно забитой свининой). Продукты нам перепадали из самых разных мест — тетя Милли не раз вспоминала церковную десятину,— но все же главным нашим «поставщиком» был Торнкум.

Я влюбился в эту усадьбу задолго до описываемых событий. Утопая в зелени сада, она стояла на отшибе, в уютной маленькой долине, у подножия крутого, поросшего лесом холма. Простой побеленный дом, глядящий фасадными окнами на юго-запад, имел только одну замечательную особенность — незамысловатое, но массивное каменное крыльцо, на фронтоне которого был высечен год постройки: 1647. Это крыльцо и его величавая простота влекли меня к себе с самого раннего детства; оно тоже воплощало веру. Любил я и характерные девонширские запахи этого дома — терпкие ароматы сена, прелого навоза, пчелиного воска, и его уют, и его обжитой вид. В доме была хорошая фарфоровая посуда, добротная старинная мебель, но зато совсем не водилось дешевых безделушек, линолеума и клеенки, типичных для крестьянского быта нашей округи. Жизнь в Торнкуме не льнула к кухне, которая в обычные дни служила еще и столовой, возможно, как раз потому, что женщины в этом доме составляли большинство. И все же в те годы мне там бывало не по себе. Во-первых, при моем появлении миссис Рид начинала суетиться, угощать меня чаем, лимонадом или, когда я, по ее мнению, подрос, даже сидром: как же, сын священника, почетный гость! Поэтому Дэниэл чувствовал, что ведет себя неестественно, а точнее, понимал, что Торнкум — единственное место, где ему за себя стыдно. Во-вторых,

[1] Фрэнсис Дрейк (1540—1596) и Уолтер Рэли (ок. 1552—1618) — знаменитые деятели позднего Возрождения, со смертью которых принято связывать и конец английского золотого века.

была там таинственная теплота, незаметная внутренняя жизнь, какая-то умиротворенность, которой нам так не хватало в священническом доме, не в пример более просторном и ухоженном. Как знать, может, все это создавали девушки, может, сказывалось мое безотчетное желание иметь сестер, настоящую мать, а не несчастную тетю Милли; а может, влияла обстановка, неуловимый налет сексуальности, сама жизнь рядом с животными, на земле, в мире осязаемом, а не духовном. Я с радостью хватался за любой повод отправиться в Торнкум. Во время войны отец по первой просьбе окрестных фермеров отправлял меня летом помогать им в уборочную, чему я, конечно, внутренне противился. Ибо мое сердце было с Ридами, и только с ними.

И наконец, Нэнси.

Моя мучительница Нэнси.

Первые два года, что я провел в школе-интернате, я ее почти не вспоминал. Она училась в средней школе в Ньютон-Эбботе, встречались мы только в церкви по праздникам. Нэнси стала пухленькой и гораздо более стеснительной — с ней теперь не то что в «глядельки» играть, а взглядом встретиться было трудно. Да и я был не лучше. В дортуаре школы-интерната я наслушался разговоров об интимных сторонах жизни и к рассказам этим относился слишком уж доверчиво. О собственном сексуальном опыте мне приходилось лгать, и, скорее всего, таких, как я, в интернате больше не было. Ну конечно, я целовал девчонок и девичью грудь тоже трогал... Слава богу, не надо было врать, что я по-настоящему знал женщин — в моем возрасте это считалось вполне извинительным,— но в целом я был постыдно неопытен. Винил я в этом свою семью, и не без оснований; у других мальчиков были сестры, а у сестер — подруги, а значит, танцы и игры... а все, чем я мог похвастаться,— это редкие дневные походы на теннисный корт со скучными и чопорными девицами, которые прогулкам в лесу предпочитали крикет, пони и свои девчачьи дела. Да если я и попадал с ними в лес, то нас сопровождала такая тьма взрослых, что ни о чем таком и подумать было нельзя. Даже от самого робкого шага меня, кроме того, удерживала боязнь вызвать смех спутницы... а то и нотации отца или тети Милли, если им вдруг что-то станет известно. В школе, по крайней мере, не было девчонок. Мы там со сверстницами не встречались. Нашим уделом были учеба, запреты и общее чувство унижения. Дома же, на каникулах, все страхи и сомнения вновь обрушивались на меня.

Спас меня младший мистер Рид. В тот год, незадолго до моего возвращения на летние каникулы, он повредил себе спину, пытаясь навесить ворота на петли. Врач запретил ему заниматься тяжелым физическим трудом, а он, как и любой нормальный фермер в мире, этим запретом пренебрег, за что и поплатился двумя неделями постельного режима и, по крайней мере, еще двумя месяцами сидения в кресле. Мы слишком многим были обязаны этой семье, чтобы мой отец смог отказать миссис Рид, когда она стала ему доказывать, что они больше, чем кто-либо другой в приходе, нуждаются в моей помощи. К моему приезду дело уже было решено окончательно и бесповоротно. Меня наняли работать пять с половиной дней в неделю за тридцать шиллингов — условия, надо прямо сказать, рабские.

Но шестнадцатилетнего раба это не пугало. В последние пасхальные каникулы он видел Нэнси лишь однажды — причем в очень чопорной обстановке чаепития, устроенного Союзом матерей в доме священника,— однако и этого было достаточно. Он и она разносили собравшимся матронам чашки и блюдца. Волосы ее были причесаны на манер Бетти Грейбл [1], что ему нравилось; и пусть ей недоставало

[1] Бетти Грейбл (1916—1973) — американская киноактриса, пик популярности которой пришелся на годы второй мировой войны.

стройности Дины Дурбин[1] (его тогдашнего женского идеала), в синем выходном сатиновом платье с рукавами фонариком и юбкой клеш ее никак нельзя было назвать толстушкой. Разве что пухленькой — но зато какая талия и грудь! А он в то время рос быстро и был уже на несколько сантиметров выше ее. Она держалась скромно, возможно, ее напугала непривычная роль, и они почти не разговаривали. Он все придумывал предлог, чтобы пригласить ее в сад, но вокруг было много народу... и предлог так и не нашелся. У нее были глаза лавандовой синевы, брови дугой и длинные ресницы, скрадывавшие округлость лица. Она смущенно сидела рядом с матерью, а он довольствовался тем, что украдкой поглядывал на нее. Но в тот вечер...

После первого же дня счастливого рабства в Торнкуме он влюбился в нее до беспамятства; ужасное состояние: когда она рядом, глаз на нее не поднять, а уйдет — и думать ни о чем другом невозможно; а тут еще эти надоедливые расспросы дома за ужином. Да, Старый мистер Рид показал ему, как надо косить, да, он скосил почти полсада, всю крапиву, он уже очень здорово косит. Ну а разве можно рассказать даже о таких простых вещах... вот старик показывает ему, как держать косу, задает ритм, не-спеши-полегче, не-все-сразу-парень, поспешишь — людей насмешишь, опираясь на палку, он стоит под яблоней, улыбается и кивает. А как отбивают косу?! Конечно, тяжело было, вон какие мозоли. Старику принесли стул, он сидел рядом с ульями и наблюдал. Об этом он рассказал, а вот о том, как в десять часов она вынесла им чай с пирогом и улыбнулась, не проронил ни слова. На ней был красный шарф, обсыпанный пушинками — она ощипывала курицу в маслобойне; но этот застенчивый взгляд, невольное ощущение его присутствия, эта складочка в углу плотно сжатых губ. А потом обед: пироги с мясом и картофельная кулебяка. Затем он убирал с Луизой навоз из коровника, укладывал его в кучу, закрывал соломой. Потом то да другое, тетя Милли улыбается, отец доволен.

В девять он лег, еле живой от усталости, успев за пару минут вспомнить лишь самое худшее — конец дня. Вдвоем с *ней* они собирали яйца, он держал корзину, а она нагибалась над гнездами, так что ему был виден ее профиль; запахи курятника, кудахтанье, она нежно успокаивает кур, говорит так, будто его здесь нет, и зная, что он, конечно, тут; постепенно она свыкается с его присутствием, хотя глаз на него все еще не поднимает. Неожиданно он замечает, какая она маленькая, хрупкая, беззащитная. Тут вдруг брюки у него оттопырились, он закрылся корзинкой, отодвинулся подальше к стене. Лучше уж искать яйца на улице, у забора под кустами; когда она нагибается, заходящее солнце высвечивает через блузку треугольник груди; и вот, наконец, пришли в сарай, там красная курица родайлендской породы по кличке «Безмозглая» кладет яйца прямо в солому — «как бы крыса их не утащила». Испуганная и разгневанная курица бегает кругами по мощеному полу. Нэнси наклоняется, держа в руке пару яиц, и говорит, больше чем обычно растягивая слова:

— Ну-у-у, бу-у-удет тебе, Безмо-о-озглая! — И, схватив ее, целует в красный хохолок.

Он ворчит:

— Совсем она не безмозглая.

Она подходит, берет корзину, которую он держит, за вторую ручку, как бы оценивая, сколько собрано яиц.

— На ферме всегда полно работы.

— А разве тебе эта работа не нравится?

— Когда как.

— А ты рада, что я у вас работаю?

---

[1] Дина Дурбин (р. 1922) — популярная американская певица и киноактриса.

— Конечно, мы рады,— говорит она, не поднимая головы.

— Я тебя спрашиваю.

— Рада, когда ты не очень воображаешь.

Он потрясен.

— Я? Воображаю?

— Ты что, не помнишь, как воображал в воскресной школе?

— Нет, честное слово, не помню.— Она молчит.— Мне хотелось поговорить с тобой. Дома. В прошлую Пасху.

Она вынимает из корзины коричневое яйцо, счищает со скорлупы соломинку; отворачивается к широкой двери сарая; бросает на него быстрый смущенный взгляд и снова опускает глаза.

— Ты помнишь Билла? — Она легким кивком показывает на север, за дорогу.— Он вон там живет. Билл Хэннакот?

Билла он не помнит, но фамилия ему знакома; он из семьи не англиканского вероисповедания. Их ферма где-то за дорогой.

— Не очень... Но я знаю, о ком ты говоришь.

Она скрещивает руки на груди — совсем как ее мать — и, не поднимая головы, продолжает:

— Мы в одном классе учимся.

Да мыслимо ли сказать такое мягче? Но в тот миг он переживал, как ему казалось, самое жестокое, незаслуженное и непоправимое крушение дневных надежд. За две секунды предвкушаемый рай обернулся адом. Он представил, как она и этот Билл Хэннакот каждый день ездят в автобусе до Ньютона и обратно; увидел их в классе; как они смеются, взявшись за руки. Дурак! Вообразил, будто Торнкум только ему одному известен, тоже мне, нашел затерянный остров. Он снова с невыносимой болью вспомнил свою семью; из-за нее он чужой в простом мире Нэнси, чужой навечно. То, что ей нравится какой-то деревенский увалень с «фермы за дорогой», должно охладить его пыл, уронить ее в его глазах; но, увы, все наоборот, она ему становится во сто крат желаннее.

— Надо яйца пересчитать,— говорит она.

Он идет за ней с корзиной к маслобойне, где их ждет миссис Рид, которая тут же отправляет его домой, он и так уже «переработал». Дэниэл уходит в сад забрать свою куртку. Когда он возвращается, Нэнси выбегает ему навстречу с бумажным пакетом в руках.

— Мама говорит, чтобы ты отнес это миссис Мартин. Она говорит, ты хорошо работал.

В пакете на пучке соломы лежат шесть коричневых яиц.

— О-о... спасибо большое.

— Смотри-и-и, не разбе-е-ей.

Снова она начинает насмешливо растягивать слова. Он обижен.

На какое-то мгновение в ее взгляде появляется тень сомнения, и с пакетом это никак не связано; он удивлен и озадачен. Потом она поворачивается, машет рукой в ответ на его «До завтра» и убегает в дом.

Вспоминая именно этот последний взгляд, он и засыпает.

Более ничего примечательного с ним не происходило в течение... сейчас я точно не могу вспомнить, но, должно быть, не менее двух недель, до самого начала жатвы. Он вскоре обнаружил, что Нэнси всеобщая любимица в семье и что чаще всего она помогает матери по дому — в маслобойне или на кухне. Дэниэл же обычно работал в поле с одной из близняшек или же с обеими сразу. Мэри была помолвлена с молодым фермером из Тотнеса, освобожденным от службы в армии; Луиза тоже, как говорили, «гуляла с парнем». Им было по двадцать одному году, и в каком-то смысле с ними (слишком, как он считал, старыми) ему было легче, чем со сверстницами, хотя сначала проку от него было немного и им приходилось объяснять ему каждую мелочь и тут же, заметив его смущение или неловкость, делать все самим. Разговорчивостью сестры не отличались. Они

жили ради фермы, ради дела, ради того, чтобы доказать себе и родителям, что могут вести хозяйство ничуть не хуже сыновей, о которых отец с матерью когда-то мечтали. Тем летом Дэн не только помогал жать пшеницу, как раньше, но и познакомился с бесчисленным множеством других крестьянских работ. Он научился обращаться с серпом и мотыгой, загонять коров, сбивать масло, убирать навоз, ставить капканы на крыс; он вкусил и изматывающую тяжесть этого труда, и его поэзию.

Однажды после обеда Луиза на паровом поле косила на тракторе сорняки — чертополох и крапиву. Он шел за ее косилкой с вилами и укладывал срезанные стебли в копенки, чтобы потом их удобнее было жечь. Закончив работу, она отцепила косилку и позволила ему самому объехать поле на тракторе — такая непростительная трата времени и дефицитного горючего означала, как он с удовольствием подумал про себя, что он пришелся ко двору, что его признали своим. С синими, как у Нэнси, глазами, с обветренно-красноватой кожей, со скромной, едва заметной улыбкой Луиза ему нравилась больше своей сестры-близняшки, хотя они были очень похожи и он постепенно привязался к ним обеим. Их почти мужская сила, неразговорчивость и сноровка были ему куда понятней капризных причуд Нэнси.

Но больше всего ему нравилась дойка коров. Она же, впрочем, его и смущала. Что-то сближало ее в его богатом воображении с кормлением грудью и рукоблудием. Ему показали, как надо доить, но он так никогда и не приобрел настоящего навыка правильно сжимать соски и вовремя их дергать. Миссис Рид успевала подоить трех коров, пока он возился с одной. Сестры называли свою мать упрямой привередой, без конца ворчали, что доильные аппараты надо было купить еще до войны. Она же на это только улыбалась и продолжала доить вручную. Пока она жива, вымени ее коров будут касаться только человеческие руки; никаких резиновых присосок. И качество ее молочных продуктов говорило само за себя. Дэниэлу обычно поручали носить ведра с молоком к маслобойкам и сепаратору, что оставляло ему время понаблюдать за этим женским царством: вдыхать его запахи, смотреть на игру света и тени, слышать негромкие фразы, обращенные друг к другу или к коровам. Звук первой струи, бьющей в дно оцинкованного ведра, был похож на неожиданный вскрик птицы в весеннем лесу.

Случалось ему и оставаться с Нэнси наедине: то он помогал ей собрать яйца, то она ему — загнать коров. Однажды днем они целый час рвали в саду первые яблоки, которые Луиза на следующее утро должна была отвезти на рынок; Дэниэл забрался на дерево, а Нэнси внизу принимала полные сумки и высыпала яблоки в ящики. Не удержав одну сумку, она упала в траву, а сверху на нее посыпались спелые «батские красавицы» [1]. Нэнси и Дэн, к своему удивлению, рассмеялись. Он спустился с дерева, они принялись собирать рассыпавшиеся яблоки, смущенно и сдержанно беседуя о ее школе, о его школе, о войне. Ее родители хотят, чтобы она стала учительницей, но она сама еще не решила. А он впервые в жизни говорил почти как социалист. В его школе учатся одни снобы, как же он их всех ненавидит; она слушала молча, но, кажется, понимала; Билла, других мальчишек и девчонок, любви или чего-нибудь такого они не касались. Он оставался для нее, фермерской дочки, сыном священника.

Иногда на ферму приезжал его отец. Дэниэл не любил, когда ему напоминали, из какой он семьи, пусть, с точки зрения окружающих, он и должен был ею гордиться. Однажды, вернувшись с поля, он застал отца на крыльце вместе с миссис Рид и Нэнси. «Если бы твой школьный табель, Дэниэл, содержал только такие оценки, каких ты

[1] Сорт ранних девонширских яблок.

удостоился за свою работу от миссис Рид, то я был бы самым счастливым отцом в Англии». И зачем он все это говорит? Нэнси с трудом сдержала смех. Несправедливо. Учился я хорошо.

Обедали мы обычно все вместе на кухне; во главе стола сидел Старый мистер Рид, дедушка. Мне кажется, ему нравилось мое присутствие за столом — при мне он мог пуститься в воспоминания. Во время первой мировой войны он был сержантом Девонширского полка, и все его медали лежали на зеленом бархате под стеклом в гостиной. Порой мне казалось, что он надоедает сестрам; а может, они просто боялись, что он будет докучать мне. Но в целом над тем столом в той комнате витали любовь и кротость. Она до сих пор остается *его* комнатой. Я и сейчас там обедаю, хотя кухню и перенесли в другое место; пусть ничего из старой мебели не сохранилось, дух Ридов здесь не умер. Поскольку муж миссис Рид обедал наверху, она всегда садилась напротив старика на другом конце длинного ясеневого стола. На правой от нее стороне располагались близняшки, а на левой — мы с Нэнси.

Однажды, когда мы еще пили чай — в конце обеда у Ридов всегда пили чай,— в дверях появился мой ненавистный соперник. Его приход не был для меня неожиданностью. Прошлой зимой на склоне холма за фермой сильным ветром свалило большую березу, и чтобы дотащить ее маленьким трактором до циркулярной пилы во дворе, сначала надо было обычной двуручной пилой обрезать у нее ветви. Билл обещал помочь, как только позволят дела на ферме его отца. Здоровенный семнадцатилетний детина, мне он казался очень неуклюжим и грубым — гораздо грубее Ридов. Он поклонился старику, миссис Рид, близняшкам. «Привет, Нэнси». Глаза его потеплели. Меня представили, он тряхнул мою руку. Перед работой он выпил чашку чаю. За столом говорили о том о сем, о жатве, о здоровье мистера Рида. К Нэнси он прямо не обращался, но все время на нее поглядывал. Меня он вообще не замечал. По ее виду было непонятно, то ли она восхищается им, то ли осуждает за чрезмерную болтливость. Он действительно болтал слишком много, но я не без горечи завидовал его непринужденности, знанию крестьянских дел и тому, что он был среди Ридов своим.

Через час я уже не просто завидовал ему, а ненавидел его всеми фибрами души. Вначале я шел к упавшей березе почти как на пикник. Прозрение наступило, как только мы с ним принялись отпиливать ветви. Близнецы в это время стояли поодаль с цепями наготове — им предстояло оттаскивать бревна и ветки на тракторе. По-крестьянски хитроватый (Нэнси тоже пришла понаблюдать), Билл, даже если он и не догадывался о моих чувствах к Нэнси, по неписаным сельским законам должен был превратить эту работу в состязание между нами. Пилу он поставил поперек первого толстого сука — словно и я не хуже его знал, как с ней надо обращаться; и после первых двух-трех рывков не преминул подробно объяснить мне, как я должен стоять и держать ручку пилы. Потом уже он не останавливался. Через десяток минут руки мои отваливались от боли и усталости, а мы еще не перепилили и половины сука. Мои рывки становились все слабее и слабее. Я бросил ручку пилы.

— Что, очень быстро?

— Совсем нет. Надо дух перевести.

— Куришь? — Он бросил мне пачку сигарет «Вудбайнс».

— Спасибо, не курю.

Он закурил сам, подмигнул кому-то за моей спиной — в том месте должна была сидеть Нэнси,— поплевал на ладони и снова взялся за ручку проклятой пилы. Вскоре он уже пилил гораздо медленнее, держа пилу одной рукой и покуривая,— и по его виду нельзя было не понять, по *чьей* вине замедлилась работа. Его наглая самоуверенность придала мне сил: к счастью, были и перерывы, отпиленные су-

чья надо было оттаскивать к проселочной дороге, где стоял трактор, и обвязывать цепями. Должен честно признать, здоров он был, как бык. Тогда я впервые понял, что близнецы всего лишь женщины, то есть слабый пол. Постепенно я освоился, хотя работа по-прежнему изматывала, он же был неутомим — как знать, может, в его желании поиздеваться надо мной сказывалась еще и древняя ненависть его предков к англиканской церкви. В конце этого мучительного дня я тащил небольшую ветку к трактору, а он стоял, наблюдая за мной, рядом с Нэнси.

— Ты ее переверни, Дэнни.— Он все время называл меня этим ненавистным вариантом моего имени, чего я ему тоже прощать не собирался.— А то все сучки пообломаешь.

Нэнси отвернулась. Из-за стука тракторного мотора я не слышал, что она ему сказала, но заметил, как он шагнул к ней и положил ей руку на плечо, которую она резко сбросила. Меня это разозлило еще больше: дожили, ей приходится жалеть меня. Когда я уходил домой, он все еще был на ферме — его пригласили на ужин. Близняшки и те поняли, что день выдался необычайно трудный, и благодарили меня за работу с подчеркнутой теплотой. Нэнси даже не взглянула в мою сторону. Когда я прощался, ее нигде не было видно. Домой я возвращался, страдая от боли и унижения, злой на весь мир.

На следующее утро она уехала с матерью в Торки за покупками, и я ее совсем не видел. Через три дня начиналась жатва, это был их последний выходной. Я даже обиделся на них; они там прохлаждаются в городе, а я тут смазывай жатку да точи весь день ножи у косилок.

Погода стояла хорошая, и на следующее утро мы отправились на два больших пшеничных поля проделать для жаток прокосы вдоль изгороди. Близняшки и я по очереди жали серпом и вязали снопы. Нэнси принесла нам поесть и около часа помогала вязать снопы, зной стоял такой, что мы почти не разговаривали. И снова, когда я вечером зашел в маслобойню сказать миссис Рид «до свидания», Нэнси куда-то исчезла.

Дорога домой сначала шла вверх по просеке между могучих деревьев и терновника, который, наверное, и дал название Торнкуму — Тернистой лощине. Там всегда было темно, таинственно и мрачно. Слева, у подножия небольшой выветренной скалы, стояли старые печи для обжига извести. Выше был общинный выгон, заросший куманикой и папоротником, там до войны мы иногда устраивали пикники. После подъема дорога шла еще по одной лощине, затем снова забиралась вверх, потом опять около полумили по ровному месту — и деревня. В тот день я так устал, что не мог осилить первый подъем на велосипеде. В самом крутом месте я толкал его перед собой, стараясь ни о чем не думать, а просто считая шаги. Вдруг впереди, за густой августовской листвой, которая скрывала старые печи, что-то шевельнулось. На маленькой тропинке, отходящей влево от дороги, появилась Нэнси. На ней было уже знакомое мне бело-розовое платье — какое-то очень детское, с рукавами чуть повыше локтей. На подоле этого платья была дырка, которую Нэнси весьма неумело заштопала. Как-то за обедом миссис Рид пошутила по этому поводу, Нэнси неосторожно приподняла подол, и я на мгновение увидел ее ноги выше колен. Теперь она смотрела то на меня, то на лист явора, который теребила в руках.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я.
— Ничего. Гуляю.
— И куда идешь?
— В старую каменоломню. Скорее всего.
— Я не знал, что здесь можно пройти.
— А тут тропинка есть.

Она по-прежнему теребила лист, вроде ей было все равно, уйду я или останусь.

— Я и не знал.

— А это секрет.

Она посмотрела на меня с вызовом. Я поставил велосипед поперек дороги.

— Можно я с тобой пойду?

Она пожала плечами:

— Как хочешь.

— Подожди, я только велик спрячу.

Она кивнула, я торопливо затолкал велосипед под кусты на другой стороне дороги и стал по тропинке подниматься к ней. Не дожидаясь меня, она пошла по лесистому склону вверх, туда, где из земли вырастала отвесная семиметровая стена; осторожно пробравшись вдоль стены и забитых камнями старых печей до разлома, она остановилась. Отступив в сторону, начала разглаживать подол платья.

— Иди первый.

Я пошел первый. Последние метр-полтора подъема пришлось взбираться, уцепившись руками за корень дерева. Оказавшись наверху, я свесился и подал ей руку. Пока тянул ее вверх, я лихорадочно думал, как бы потом не отпускать ее руки. Поднявшись, она снова пошла вперед по заросшему лесом пологому склону. Сквозь густую листву внизу мелькнула ферма, послышался лай овчарки и окрик одной из старших сестер. Ветра не было. Я смотрел на цепочки мелких розочек на ее спине и светлые волосы. На ногах у нее я заметил черные школьные туфли на босу ногу и понял, что попал в Эдемский сад.

— Это еще не настоящий мой тайник.

— А где же настоящий?

Не останавливаясь, она небрежно показала назад, куда-то за ферму.

— Там, вверху.— Потом добавила:— Когда я еще маленькой была.

Мне хотелось сказать что-то самому, хотелось, чтобы она ответила, но ничего путного в голову не приходило, а она шла быстро, держась кромки леса, росшего на восточном склоне, справа был виден общинный выгон в лучах заходящего солнца. Прогулка наша была странной, совсем на прогулку не похожей; будто мы не гуляли, а шли куда-то с определенной целью. Наконец она свернула к выгону, и вскоре мы уже продирались сквозь заросли зеленого папоротника. Она по-прежнему шла впереди. Неожиданно мы оказались над старой каменоломней, отсюда открывался прекрасный вид на долину с деревней вдалеке — переход резкий, но приятный. Из-под ног то и дело выбегали кролики, щипавшие траву под папоротниками. Она показала рукой:

— Во-о-он церковь.

Церковь меня не интересовала.

Она быстро нашла место, где мы смогли осторожно спуститься по травянистому склону на дно карьера. Там она начала рвать васильки и очанки, а затем опустилась на колени перед кустиком розоватых звездообразных цветков. Дэниэл сел рядом с ней, затем откинулся и оперся локтем на землю. Он негодовал на себя за неловкость, косноязычие и растерянность — а она была совершенно спокойна — и все подыскивал, что сказать...

— Чего ты в них нашла? Они же быстро вянут.

— А их мой папа любит.

— Васильки рогатые.

— Комаровы носики.— Она на мгновение подняла на него свои синие глаза и снова отвела взгляд.— Так у нас говорят.

Он смутился. Нашел время кичиться знаниями, воображала, мог бы и не лезть с правильным названием... возьмет и обидится. И как

бы подтверждая его опасения, Нэнси перестала рвать цветы и села на землю; развязала шнурки, сбросила туфли, спрятала пальцы ног в короткой густой траве.

Он снова попытался завязать разговор:

— Я думал, что совсем тебе разонравился.

— А кто сказал, что ты мне нравился?

— После того дня.

— Какого такого дня?

— Когда ты его одернула.— Он рвал траву, избегая смотреть на нее. Чертовы девчонки, как с ними себя вести? И зачем они ходят с голыми ногами? — Когда он раскомандовался.

— Тоже мне командир. Ишь всезнайка какой нашелся.

— Ты ему так и сказала?

— Может быть.

— Он просто привычнее к такой работе. Вот и все.

— Остолоп упрямый — вот он кто.

— А я думал, он тебе нравится.

Она фыркнула, но промолчала и все смотрела на свои ноги. Неужели собственные ноги интересуют ее больше, чем он? Дэн совсем потерял голову; сначала она говорит одно, потом другое. И будто кого-то ждет, будто ей скучно.

Он тихо сказал:

— Ты мне ужасно нравишься.

Неожиданно она улыбнулась, в глазах ее мелькнули прежние озорные искорки.

— А вот возьму и расскажу все твоему отцу.

— Очень нравишься.— Он чувствовал, что краснеет. Она снова уставилась на свои ноги.— Тебе что, все равно?

— Может, да, а может, и нет.

— Почему ты никогда не называешь меня по имени?

— И ты меня тоже.

— А я называю. Вот только вчера называл.

— Но тогда мы были не вдвоем.

— А когда мы вдвоем, я вообще боюсь говорить,— сказал он и добавил:— Опять подумаешь, что я воображаю.

— Ты же не нарочно. У тебя так получается.

Они замолчали. Струился зеленый вечерний воздух, у теплой скалы жужжали мухи. Не говоря ни слова, она легла на живот, подперла голову руками; потом вытянула руку, отломила веточку чабреца и, прикусив ее зубами, слегка повернула к нему лицо. Между ними было около метра. Эти изогнутые брови, эти загадочные озорные губы. И васильковые глаза: одновременно робкие и смелые, дерзкие и застенчивые.

— А вот спорим, я тебе не нравлюсь.

Он потупился:

— Я ни о чем другом и думать не могу. Только о том, что видел тебя. Или не видел. Как вчера. Ненавижу вчерашний день.

— Мы тебе подарок купили.

— Вот еще.

Его почти обиженное удивление вызвало у нее улыбку.

— Мы все так любим тебя.— Она снова прикусила веточку чабреца.— Это секрет. Никому не говори, что я сказала тебе.

— Не бойся, не скажу.

— Поклянись.

— Клянусь.

— Мы тебе купили книгу,— сказала она так, будто бы книга была такой редкостью, что, о чем она, уже не имело значения. Теперь Нэнси перевернулась на спину и смотрела в небо; потом закрыла глаза. Он глядел на ее лицо, щеки, сомкнутые ресницы, на уже совсем

не детские груди под розовым ситцем, на ее босые ноги. Потом он нервно выдернул клок травы.

— Я буду писать тебе, когда вернусь в интернат. Если ты, конечно, не против.

— Je suis, tu es il est. Amo, amas, amat [1].

Таких тонких намеков он не понимает. Что все это, черт возьми, значит?

— А ты будешь мне писать?

— Может быть.

— Мне бы очень хотелось.

Никаких других обещаний она не дает. Она просто лежит с закрытыми глазами, словно забыв о нем. Может, взять и поцеловать ее? Но Дэн боится, вспоминая все ее увертки: то она хочет проводить с ним время, то совсем не замечает. Нет сил противиться желанию склониться над ней и поцеловать. Но нет сил и пошевелиться: как Гулливер в Лилипутии, он намертво скован тысячами условностей, воспитанием, неопытностью, всем. А вдруг она поднимет его на смех?! Вдруг она просто дразнит его, чтобы потом над ним поиздеваться...

Неожиданно она села и потянулась за туфлями.

— Мне пора домой.

Она обиделась, это ясно. Идиот, *ничтожество* — упустить такую возможность! Он смотрел, как она завязывает шнурки, собирает рассыпавшиеся цветы, встает. Он снова пошел за ней вверх по склону, подождал, пока она сорвет пару перезрелых земляничин, потом через заросли папоротника молча побрел за ней в лес. Он мог бы идти рядом, держа ее за руку, или хотя бы попытаться сделать это, но он тащится сзади. И тут как гром среди ясного неба. Она остановилась и повернулась — да так круто, что он чуть не налетел на нее; спрятала руки с цветами за спину и уставилась ему в глаза, будто играя в «гляделки». Так продолжалось секунд пять. Затем она закрыла глаза и подставила ему губы для поцелуя. Он опешил, не зная, что делать, но наконец почувствовал, что руки его робко касаются ее плеч; а потом весь мир исчез или, во всяком случае, последние шестнадцать лет его существования.

Губы его ощущали вкус чабреца и тмина, тело ее льнуло к нему с материнской нежностью; он уже прощал ей все, что, как ему казалось несколько мгновений до этого, простить никогда не сможет. Только что трогательно-нежный, он грубо привлек ее к себе. Странное ощущение владело им: будто бы окружающий их вековой лес неожиданно взорвался, стремительно летели мимо листья, ветки, сучья, все его запахи и звуки. Лес просто исчез. Осталась только Нэнси, Нэнси, Нэнси, Нэнси; ее рот, ее груди, ее руки, тоже крепко обнимавшие его; вдруг она уткнулась лицом в его плечо. Какая она маленькая; насколько осязание добрее зрения, как исправляется прикосновением несовершенство форм, пропорций, цвета. Нэнси! Из его души рвался небывалый, неслыханный крик радости.

Наконец они назвали друг друга по имени.

Потом снова поцеловались. На сей раз он почувствовал кончик ее языка, а его брюки спереди предательски оттопырились. Он похолодел от ужаса — а вдруг она заметила? Может, и заметила, поскольку сказала: «Какой ты грубый», оттолкнула его, постояла немного с опущенной головой, отвернулась и, встав на колени, принялась собирать упавшие цветы. Он встал на колени рядом с ней и обнял ее за талию.

— Больше нельзя,— сказала она.— Никогда. Не сейчас. Я не хочу.

— Я тебе действительно нравлюсь?

Она кивнула.

— Очень?

---

[1] Формы спряжения французского глагола «etre» — «быть» («Я есть, ты есть, он есть») и латинского глагола «amare» — «любить» («Я люблю, ты любишь, он любит»).

Она снова кивнула.

— А я думал, ты надо мной смеешься.

Она покачала головой.

— Ты никогда не хотела работать со мной вместе и вообще.

Она ответила:

— Это все мама. Я умру, если она узнает.

— Что она тебе сказала?

— Она сказала, чтобы я не строила тебе глазки. Не заигрывала с тобой.— Все еще стоя на коленях, она говорила, глядя в подол платья: — Помнишь тот день, когда ты уронил на меня яблоки? Она, должно быть, видела и потом ужасно ругала меня. Нас не должны видеть вместе.

— Не должны.

— Обещаешь?

— Конечно, обещаю.

— Она сказала, что ты все расскажешь дома.

— Глупости.— Миссис Рид стремительно падала в его глазах.— Я никогда никому не скажу. Никогда.

— Я знаю.

— Можно, я тебя еще раз поцелую?

Она повернула к нему лицо, но ненадолго. Вскоре она взяла его руку, переплела свои маленькие пальчики с его, потупилась.

— А как же Билл Хэннакот?

— Я его прогнала. В тот же вечер. Дурак несносный.

— Он... очень злился?

— А мне какое дело?

Он чувствовал, что ее пальцы чуть сильнее сжали его кисть. Это было похоже на сказку, в это невозможно было поверить. Он ей нравится, она выбрала его, она ищет у него защиты.

— Приходи сюда каждый вечер.

Она покачала головой.

— Не могу. Мама догадается.— Затем добавила:— Лучше в воскресенье днем. Когда дома все уснут.

Десять минут спустя — после медленного возвращения, остановки, нового поцелуя, после того, как они дошли, обнявшись, до скалы над старыми печами, осторожно спустились вниз, у дороги поцеловались в последний раз и с таким отчаянием, будто поцелуй был действительно последним, после быстрого взгляда ее синих глаз, в которых он заметил и вопрос, и сомнение, и прежде не виданную им нежность,— она ушла. Он смотрел, как она бежит по дорожке, переходит на шаг, сворачивает к ферме и исчезает из виду в золотисто-зеленом вечернем свете. Потом он медленно вытащил велосипед из-под кустов — оглушенный, очарованный, истерзанный радостью. Он уже пытался выразить ее, правда, пока еще без слов: первое прикосновение к ее губам, избавление от ее уловок и хитростей, вкус, ощущение, тайну.

И сладкий грех — нужду лгать,— который он, ликуя, нес домой.

Обильная роса — погода не подвела — возвещала, что сегодня начнется жатва; мир, дар Цереры [1], был упоительно прост: зеленый свет раннего солнца на затененных тропинках и Нэнси. В это первое после признания утро он чувствовал себя как птица, выпущенная из клетки,— совершенно свободным, даже слишком свободным, как она молчаливо дала ему понять, когда он появился в коровнике во время дойки. Она не взглянула на него ни разу и, казалось, даже не заметила его прихода.

До того как все отправились в поле, им удалось побыть наедине в маслобойне всего каких-нибудь полминуты. Он чувствовал себя на удивление скованным. Когда он наконец решился дотронуться до ее

[1] Церера — в римской мифологии богиня производительных сил земли.

руки — он сделал это так осторожно, будто ожидал, что она с криком отпрянет,— Нэнси тут же повернулась к нему. Его не встревожило, что она вырвалась из его объятий, едва губы их встретились, он и без того был счастлив — через несколько секунд действительно появилась ее мать; и глупцу ясно, что они должны быть очень осторожны!

Дэн копнил пшеницу до заката; в тот день Ридам помогал древний старик из деревни и его двенадцатилетний внук-обтрепыш. Даже Нэнси работала в поле. Дотронуться до нее он не мог, но время от времени ему удавалось обменяться с ней взглядом или прошептать несколько фраз; было еще и ощущение общей тайны, близости, бесконечное повторение в мыслях вчерашнего вечера (хотя она уже предупредила его, что сегодня не придет: пока «зерно на корню», все обычные домашние дела на ферме оставлялись на вечер). Но ей бы очень хотелось, очень, она начала думать о нем сразу, как проснулась. То, что им не удастся встретиться, огорчало его меньше, чем он ожидал. Видимо, действовали магия жатвы, первозданный вздох облегчения — пусть впереди еще молотьба и скирдование, но путешествие уже благополучно закончилось, на горизонте показалась земля, обетование свершилось. Теперь ничто не может разладиться.

Предательская Англия: в ту ночь ни с того ни с чего пошел дождь, и утром, когда Дэниэл явился на ферму, все еще моросило. Около одиннадцати дождь прекратился, а днем даже выглянуло солнышко, но о жатве и думать было нечего. Вся его удача в тот день сложилась из одного долгого пьянящего поцелуя в амбаре, осторожного прикосновения ее ноги под столом за обедом и дневного обещания, что, может быть, вечером, когда он будет возвращаться домой, она придет к старым печам. И она пришла. Они нашли место под скалой, где их было не видно с дороги. Он прислонился спиной к шершавому камню и сжал ее в объятиях; их губы слились в долгом безыскусном поцелуе, потом еще в одном и еще. Он снова стал набухать, снова засмущался, но она, кажется, не заметила, а если и заметила, то не подала виду. Он закрыл глаза, отрешаясь от света, чтобы только ощущать грудь, талию, прижавшиеся к нему бедра. Ее джемпер и блузка чуть задрались сзади, и рука его случайно коснулась голой кожи. И она опять не возмутилась.

От поцелуев они перешли к разговорам, говорили шепотом. Да, она целовалась с мальчишками. Но с ним целоваться приятнее всего. Да, он целуется намного лучше, чем Билл Хэннакот. Билла Хэннакота ей целовать совсем не нравилось, она сама удивляется, чего она в нем нашла. Затем настал его черед отвечать на вопросы: когда она начала ему нравиться, почему, скольких девчонок он целовал до нее. Он врал безбожно, правдой было только утверждение, что она лучше всех. Затем поговорили об их тайне, о том, как она боится, что ее мать чего-нибудь заметит, что его отец все узнает, погоревали о безысходности своей судьбы, которая позволяла им сравнить себя с Ромео и Джульеттой — сравнение это было и не таким уж надуманным. Они нарушали неписаные правила и законы обеих семей, так что на понимание рассчитывать не могли. Наконец снова стали целоваться. На этот раз его рука без колебания нашла под одеждой ее голую спину.

Ей пора идти. Впереди воскресное свидание, через сорок часов, она не знает, она бы очень хотела, но если ее мать... в конце концов они составили план. Риды всей семьей придут к заутрене, и если она уронит платок и нагнется за ним, значит, надеется улизнуть из дома после обеда. Ему лучше идти дальней тропинкой по-за фермой до буковой рощи, на опушке которой стоит старый каменный полуразвалившийся сарай, увитый плющом, и где-нибудь неподалеку ждать.

В назначенное утро он пришел в церковь пораньше, чтобы не пропустить появления Ридов. Наконец они появились, но платка она не роняла. Служба показалась ему невыносимо длинной, а отцовская проповедь — немыслимо скучной. На улице светило ласковое солнце,

и в световых пятнистых столбах, тянувшихся из церковных окон, кружила пыль. Прочитали молитву за союзные войска, только что высадившиеся в Сицилии; но все это было в другом мире. Наконец пытка кончилась. Риды встали и направились к проходу. Дэниэл первый раз за утро произнес в душе искреннюю молитву: Нэнси вернулась на свое место и, нагнувшись, подняла что-то с пола. Воскресный обед Дэн съел с превеликим трудом, дрожа от страха: а вдруг тетя Милли или отец пристанут к нему с какой-нибудь глупой просьбой или поручением по хозяйству. Но отец его выглядел утомленным, и когда тетя Милли спросила, как Дэниэл собирается провести оставшуюся часть дня, тот рискнул ответить, что, пожалуй, поедет на велосипеде на общинный выгон «позаниматься ботаникой». Отец одобрял его интерес к ботанике, и если позволяли пастырские обязанности, иногда и сам принимал участие в таких прогулках — в этом, собственно, и состоял риск. Но все получилось как нельзя лучше. Тетя Милли заботливо сказала, что после тяжелой работы ему не мешало бы отдохнуть дома, но это возражение он отмел с легкостью.

У старого сарая Дэн был уже за пятнадцать минут до назначенных трех часов; и полчаса спустя он был все там же. Потом он спустился поглубже в лес, сел, опершись на буковый пень, лицом к ферме, которую не мог видеть за плотным лиственным пологом. Какой-то частью своего «я» он хорошо понимал обстоятельства, из-за которых она могла задержаться, другая часть этого же «я» не принимала никаких оправданий, а кто-то третий в нем слабо надеялся, что она вообще не придет.

Инстинкт подсказывал ему, что во многих историях, слышанных им в школе, желаемое выдавалось за действительное — попросту говоря, они были обычным враньем; девушки его круга совсем не таковы. Но Нэнси к ним в общем-то и не принадлежала. Она целовалась со многими мальчишками до него (мысль о том, что Ева тоже может обманывать, ему в голову не приходила), она ближе к природе, к животным. Она разрешила ему трогать свою голую спину, она, как ему казалось, не осуждала его за неумение справляться с предательским разбуханием плоти (что, он был уверен, вполне удается более опытным ребятам). Ну а если... он знал, что каждая девушка должна иметь писуарий (о том, что это слово пишется «песуарий», он узнал много позже), а каждый парень — презерватив. И боялся он не только того, что его запрезирают, раз у него нет этой штуковины; он ясно помнил, что у Билла Хэннакота на подбородке были-таки какие-то прыщики. А потом эта история с американским солдатом, которую рассказывали тем летом в интернате: солдат пошел погулять с девушкой из соседнего городка, и потом их смогли отделить друг от друга только хирурги в больнице (это как-то связано с мышечной судорогой или чем-то еще). Нашему девственнику под буками эта трагическая история давно не давала покоя. Но более всего его дух смущало ожидание неминуемо надвигающегося греха. Целоваться и встречаться тайно — это одно. И совсем другое... Он уже, конечно, знал, что гром за этот грех его на месте не поразит, но чем дольше он ждал, тем больше росла его тревога.

В двадцать пять минут четвертого он решил вернуться наверх, к старому сараю на опушке леса. Когда он подошел поближе, из-за разломанной стены появилась Нэнси; она была в желтой блузке с короткими рукавами, темно-зеленой юбке и «веллингтонах» — резиновых сапожках, в которых обычно работала в коровнике. Через руку у нее был переброшен коричневый джемпер, щеки рдели ярким румянцем — румянец, возможно, был как-то связан с неестественно накрашенными губами. Осуждать ее он никак не мог. Просто она показалась ему недосягаемой и взрослой, старше, по крайней мере, года на два.

Вместо того чтобы поцеловаться, они затеяли спор, стоя в двух

метрах друг от друга. Она опоздала всего на пять минут, шла по гребню холма; вот если бы он никуда не уходил... В конце концов, когда она опустила голову и отвернулась, словно сожалея о том, что пришла, он подошел к ней.

— А я и не сержусь, Нэнси. Ведь ты же пришла.

Несколько мгновений спустя она протянула руку, и он взял ее в свою. Они пошли, удаляясь от фермы, на север. Он почувствовал запах одеколона. Их пальцы переплелись. Метров через двадцать она прижалась к нему, он положил руку ей на плечо, она обняла его за талию. Тогда они остановились и поцеловались, все было замечательно, как раньше. Губная помада оказалась кармином, который она стащила из кладовой матери.

Она вела его, не высвобождаясь из объятий, в свой «настоящий тайник», путь к которому шел через рощу, а потом по безлесому склону, заросшему папоротником и утесником; этот склон считался полем, но из-за крутизны был совершенно бесполезным. Посреди папоротникового моря, словно кафедра в церкви, стояла большая известковая скала со столообразной вершиной. Ее дальняя сторона была чуть выпуклой, и перед ней образовалась маленькая площадка ровной земли. Дэниэл и Нэнси стояли на ней, утопая по грудь в папоротниках. В детстве ее приносили сюда старшие сестры и в густых травяных зарослях делали для нее «комнату».

Тем же они занялись и сейчас: сбивали ногами стебли и затаптывали острые черенки, пока наконец не образовалась зеленая комната размером полтора на два метра. Она бросила на землю джемпер и опустилась на колени. Он встал рядом, лицом к ней, и они, прильнув друг к другу, поцеловались — их поза святотатственно повторяла преклонение колен на утренней молитве. Потом Нэнси разостлала джемпер и легла на бок. Он лег рядом и нашел губами ее вымазанный кармином рот. Через какое-то время он осторожно положил правое колено на ее ногу. Она чуть повернулась на спину, и он поневоле подался вперед; вдруг ее передернуло от боли, им пришлось сесть, поднять джемпер и расплющить непокорный тычок папоротника. Но затем она позволила ему принять прежнее положение. Сначала она лежала неподвижно, разрешая ему целовать щеки, глаза, шею; потом оживилась, начала учить его «ресничным поцелуям», «поцелуям ящериц» — быстрым прикосновениям языка к щеке — и другим смешным и милым премудростям. А солнце, жара, зеленые мухи, канюк, гнусавивший вдалеке, тенистая прохлада среди неподвижных папоротниковых стеблей — все было восхитительно, если бы только не это вздувшееся, вот-вот готовое взорваться наказание. Неожиданно он отпрянул, сел и взмолил бога о помощи.

— Что случилось?

Он затряс головой. Она села рядом.

— Дэнни?

Он снова затряс головой (по какой-то загадочной причине ее «Дэнни» его нисколько не раздражало).

— Дэнни, скажи, что случилось.

Он слегка наклонился вперед.

— Ничего. Просто обожди минутку.— И добавил: — Пожалуйста.

Она отвернулась от него, оперлась на локоть. Повисла гнетущая тишина.

— Я так и думала, ты меня совсем не любишь.

— Люблю.

— Ты думаешь только о...

— О чем?

— Сам знаешь.

— Не могу справиться, как ни стараюсь.

Они снова замолчали.

— Это когда ты целуешь меня?

Он кивнул.

— Тогда нам лучше не целоваться.

— Но это же...— И замолк.

— Подумаешь.— Он не ответил.— И с нами такое бывает. Только мы не устраиваем представлений.

Он не нашел слов, чтобы сказать, что у девушек такого быть не может. Они, по крайней мере, могут скрыть то, что чувствуют.

— Пожалуйста, не сердись на меня.

— Я хочу, чтобы мы только целовались.

— Я знаю.

— Мне всего шестнадцать лет.

Она говорила так, словно была на два года младше, а не на два месяца старше его.

— Честное слово, я не нарочно.— Он уже чувствовал себя лучше, но еще не мог смотреть на нее. Они сидели как чужие. Наконец она тихо сказала:

— По крайней мере, ты этим не бахвалишься. И то слава богу.

Тон ее был по-прежнему обиженный, но он уже различал в нем и нотки прощения, и даже кое-что совсем утешительное. Кажется, не он один такой неумеха.

— А он?..

— Он ужасный дурак.— И тут же не без злобы добавила: — Отвратительный.

— Почему?

— Я не могу тебе сказать.

Все еще лежа вполоборота спиной к нему, она покачала головой.

— Ты его поэтому прогнала?

— Может быть.

Он тоже откинулся назад и лег, опираясь на локоть, спиной к ней.

— Я никогда ничего такого не сделаю. Я тебя люблю.

— А ты не знаешь, что он сделал.

— Догадываюсь.

— Хватит об этом,— сказала она.— И вообще, откуда ему что знать. В интернатах он не учится.

Какой ужас: ему никогда не понять девчонок. Хоть тысячу лет проживи. Молчать становилось невмоготу.

— Нэнси?

— Да.

— Не сердись на меня.

Несколько мгновений она молчала, потом повернулась и нежно потянула его за плечо. Смотря ему прямо в глаза, она импульсивно подалась вперед и быстро чмокнула в щеку; потом снова отстранилась. Он успел обхватить ее рукой и притянуть к себе. Они опять лежали лицом к лицу. Сонатная форма; da capo [1], хотя на сей раз она уже не так сильно прижималась к нему, а он не пытался оказаться сверху. Размолвка была забыта, лежа рядом, они неотрывно смотрели друг другу в глаза, пытаясь постичь тайну любви, привязанности, эту странную новую близость вне семьи, прошлого, друзей. Его левая рука, лежащая на ее талии, вновь прикоснулась к голой коже; он не стал ее останавливать, когда она крадучись поползла дальше, на спину. Нэнси закрыла глаза. Он медленно провел пальцем сверху вниз по ее спине. Она чуть поежилась, но глаза не открыла. Рука начала пробираться под блузкой вверх. Его предплечье касалось ее округлого бедра. Рука нащупала тонкую полоску материи. Нэнси открыла глаза, заговорила нараспев, по-деревенски:

— Да ты хуже Би-и-илла.— Она с трудом сдерживала улыбку — ее выдавали глаза.

— У тебя такая мягкая кожа.

---

[1] С начала *(итал.)*, обозначение репризы в нотном тексте.

Рука его побежала вдоль лямочки и наткнулась на препятствие. Она позволила его пальцам забраться себе под мышку и прижала их там.

— Ну, пожалуйста.

— Ты сказал, что будешь хорошо себя вести.

— А я разве плохо себя веду?

— Плохо.

— Пожалуйста.

— Это грех.

— Нэнси.

— Я не хочу.

— Разреши мне только дотронуться.

— Зачем?

— Хочется.

— Ты снова распалишься.

— Не распалюсь. Пожалуйста.

Она долго смотрела на него в упор, а потом сказала:

— Закрой глаза.

Он почувствовал, как она, приподнявшись, потянула его руку под блузкой вниз. Последовало резкое движение, и она снова легла на бок. Он открыл глаза — ее уже были закрыты. Он снова добрался до тонкой полоски, потрогал ее ослабленный конец, рука его осторожно перебралась на грудь и прикоснулась к округлой плоти под теперь уже свободно лежащей матерчатой чашечкой. Сказка; точнее, десять тысяч прекрасных сказок. Его пальцы трогали совершенно сокровенное, так часто воображаемое и абсолютно, как представлялось, недоступное — набухший сосок. Она лежала не шелохнувшись. Он накрыл всю маленькую грудь своей ладонью, ощутил ее шелковистую гладкость, нежность, плавную кривизну, упругость.

— Можно посмотреть?

— Ты сказал, только дотронуться.

— А так хочется посмотреть.

Он несколько раз провел рукой вверх и вниз по одной груди, потом нащупал другую, чуть придавленную к земле.

— Пожалуйста, Нэнси. Я ничего плохого не сделаю. Я осторожненько.

— Ты меня любишь?

— Ты же знаешь, что люблю.

— Обещай. Только посмотреть.

— Честное слово. Клянусь.

Она еще миг поколебалась, затем одним рывком приподнялась, задрала блузку до подмышек и, отвернув голову, легла на спину; руки ее все еще держали край блузки, груди обнажились: бесхитростная, наивная и целомудренная поза, в которой почти не было ни греха, ни страсти. Но груди волновали, неудержимо влекли к себе несравненной пухлостью, розовато-коричневыми набухшими сосками. А потом еще живот с аккуратным пупком, голая талия, маленький ободок фильдекоса, выглядывающий из-под зеленой юбки. Он вытянул руку. Блузка дернулась вниз.

— Ты же обещал!

— Мне хочется их поцеловать.

После долгой паузы блузка медленно уползла к подбородку. Он прикоснулся к соскам плотно сжатыми губами. И почти тотчас же она опустила блузку и села.

— Хватит.

— Ну, пожалуйста. Нэнси? Я же осторожно.

— Я стесняюсь.

Она отвернулась и завела руки за спину, пытаясь застегнуть лифчик. Но Дэниэл уже успел сесть и притянуть ее к себе; руки его юркнули под блузку и снова накрыли ладонями мягкие выпуклости. Она

попыталась сопротивляться, но вскоре смирилась. Голова ее повернулась к нему, и они поцеловались. Он, конечно, снова набух, вернулись прежние мучения, хотя выносить их теперь, после того как ранее ему удалось-таки избежать катастрофы, стало несравненно легче. Ощущение счастья, отнюдь не плотского, словно волной, накрыло его. Со сколькими страхами покончено навсегда! Когда он вернется в школу, ему уже не надо будет постыдно врать и глупо хвастать... он целовал девушку и трогал ее грудь. Дэниэл начинал понимать, о чем шла речь в тех мерзких разговорах и насколько же далеки они были от реальности, как в них умудрялись не замечать чувств, нежности, желания сделать другому приятное и нежелания обидеть; сколь далека была реальность от тех табу и фетишей, от тех существ, что состояли лишь из выпуклостей и вогнутостей, будоражили кровь и исторгали семя. В реальной девушке было все, о чем он мечтал, только во много крат прекраснее, мягче, загадочнее.

Никто не знает, сколько бы они просидели вот так, целуясь, перешептываясь и лаская друг друга... если бы вдалеке, откуда-то снизу, от фермы, не раздался едва различимый крик. Они окаменели.

Нэ-э-эн. Нэ-э-эн?

Миссис Рид. Она ищет ее.

Нэнси прижала ладонь ко рту, высвободилась из его объятий и начала приводить себя в порядок.

— Бо-о-же, это же ма-а-а-ма!

За лесом, почти в километре от них, снова послышался крик — то был глас обманутой праведницы, обличающий порок. Все потускнело, обезобразилось: они торопливо договорились, что, по крайней мере в ближайшие пятнадцать минут, он и носа не высунет из их укрытия — с луга, что лежит напротив фермы, их скала видна хорошо, а миссис Рид, может быть, там и стоит сейчас, так что две головы рядом — это катастрофа; условились, как Нэнси будет врать; судорожно смочили слюной ее носовой платок и стерли остатки кармина с её губ (и с его), судорожно поцеловались... и вот уже, наклонив голову, она крадется сквозь папоротник к буковой роще.

Так закончился первый урок.

Как он выяснил на следующее утро, пошептавшись с Нэнси, первый урок едва не оказался и последним. Когда она примчалась домой, мать посмотрела на нее «очень странно». Приходил Билл Хэннакот и, видимо, отправился искать ее. Ей никто не давал права «шляться» целыми днями, не предупредив, куда она уходит. Нэнси была вынуждена пожертвовать пешку — сказать матери, что ушла одна, поскольку не хотела видеть Билла, который мог заявиться на ферму. Это привело к придирчивым расспросам по новому поводу — впрочем, уже менее суровым, поскольку миссис Рид (Нэнси узнала об этом позднее в тот же вечер) уже давно тяготилась перспективой возможного союза с людьми неангликанского вероисповедания, несмотря на то, что Хэннакоты владели хорошими землями и трудились на них исправно. Что ж, хорошо, раз Нэнси не нравятся его ухаживания, то нечего водить парня за нос, надо все сказать ему напрямик. С первого взгляда казалось, что одним выстрелом убиты два зайца, поскольку после безуспешных поисков Билл вернулся на ферму и миссис Рид (Нэнси в это время пряталась наверху, в своей спальне) твердо поговорила с ним. Однако один фланг обороны оставался все же неприкрытым.

— А она не спросила, почему он тебе больше не нравится?

Нэнси посмотрела на него с притворной строгостью.

— Вечно он пристает со своими поцелуями. Я таких мальчишек не люблю.— Закусив губу, она потупилась с наигранной кротостью. Чтобы сдержать смех, они отвернулись друг от друга. Обман снова приносил радость.

Все это происходило в пору жатвы. Погода установилась, и они управились с косовицей к субботнему вечеру. Но свиданий больше не было, хотя Дэниэл не замечал ничего необычного в поведении миссис Рид. Нэнси настаивала, что та «что-то учуяла». Им следует быть предельно осторожными — и предельная осторожность привела к тому, что Дэн ни разу не встретил ее по дороге домой. Она пообещала быть у печей в среду, и он полчаса промаялся в ожидании. Но она не пришла. Миссис Рид очень устала, и Нэнси пришлось помочь ей готовить ужин. На следующий день у нее был такой кающийся вид, она так боялась его рассердить, что он сразу же простил ее. Но в душе у него росло чувство тоскливой безысходности.

За всю неделю выдался лишь один утешительный миг — в пятницу. Нэнси отправили домой раньше других приготовить чай и покормить прикованного к постели отца — в тот день и Дедушка, и миссис Рид работали в поле. Поскольку Нэнси надо было дождаться сборщика яиц, через какое-то время на ферму за чаем и пирожками послали Дэниэла. Нэнси как раз ставила на кухонную плиту большой чайник с водой. У них было пять минут. Нэнси уже сбегала наверх, к отцу, тот спал. В доме стояла тишина. Они словно выросли и поженились. Не хочет ли он посмотреть ее спальню?

По черной лестнице он вслед за ней вскарабкался в узкую комнату в северо-восточной части дома (теперь там «библиотека»). Дэн засмущался, увидев на самодельной полке девчачьи романы и учебники в два ряда, безделушки, фарфоровых лошадей, ужасно размалеванную картинку с персонажами старинной баллады «Уайдкумская ярмарка», старый комод, покрашенный, как и маленький платяной шкаф, в розовый цвет, аккуратно застеленную кровать, подушку с вышитой в углу веточкой незабудок, тяжелые занавески из кретона на единственном оконце. В комнате было больше от ребенка, чем от женщины,— ему открылось что-то новое в Нэнси, наивное и смешное, может быть, лучше объяснявшее невинное обнажение девичьих грудей «там, вверху». Она взяла его за руку, подвела к комоду, выдвинула верхний ящик. Среди чулок и носовых платков нашла засушенный розовый василек, и неожиданно они поцеловались. Он снова начал канючить свое «ну пожалуйста, пожалуйста», и она уступила. Сначала стыдливо расстегнула блузку. Он увидел лифчик и бретельки, потом заметил, как лифчик свободно повис — руки ее остались за спиной. Теперь уже она наблюдала, как он приподнимает матерчатые чашечки, любуется грудью, трогает ее, а потом неловко наклоняется. На сей раз он догадался, что сжимать губы не обязательно. Она погладила его голову, прошептала имя, потом смущенно поежилась.

— О Дэнни. Не надо, щекотно. Не надо.

И тут их снова прервали. Послышался шум мотора подъезжающей машины: явился сборщик яиц. Оттолкнув Дэниэла, она в панике заметалась по комнате. Услышав — впервые в жизни — громкий голос мистера Рида, кричавшего из спальни, он на цыпочках пробрался вниз.

— Ма? Нэн?

Голос Нэнси откуда-то сзади ответил:

— Это за яйцами, пап. Сейчас я тебе чай принесу.

Сборщик яиц прошел к мистеру Риду выпить чаю и поболтать, и, пока она готовила чай, у них появилась возможность посетовать на свою судьбу. Они обязательно должны встретиться в воскресенье, обязательно, обязательно.

У Дэниэла, к счастью (или несчастью), помех не оказалось. Отца и тетю Милли пригласили на чай в соседний приход, и поскольку в доме хозяев детей не было, его с собой не взяли. Как и в прошлый раз, он из осторожности сделал солидный крюк, спрятал велосипед, обошел лощину вдоль живой изгороди, перебрался через забор из

поржавевшей колючей проволоки и сквозь папоротник добрался до скалы. Сделанное в траве укрытие ждало их всю неделю. Несколько стеблей папоротника чуть приподнялись, и он снова затоптал их. В минувшую неделю он много думал о своем неумении справиться с непроизвольным набуханием плоти. В конце концов, в ящике комода, стоявшего в гостиной, в котором хранились елочные украшения, среди блесток, мишуры, бумажных колокольчиков и других игрушек он отыскал старый резиновый шарик, оставшийся, должно быть, еще с довоенной поры — запасливая тетя всегда прятала их в последний день рождественских святок. Шарик был немного потерт и очень узок в горловине. Дэниэл аккуратно отрезал узкую часть, и шарик теперь держался и не очень жал. В качестве дополнительной предосторожности он поменял обычные трусы на плавки. Плавки облегали тело гораздо плотнее. Мыслей о настоящем предохранении у него не было, все делалось ради того, чтобы не испачкать брюки, случись с ним что на этот раз.

Нэнси пришла, опоздав на десять минут; долго оставаться ей нельзя. Луиза и Мэри уехали в Тотнес, а она должна помочь матери — та о чем-то догадывается — подоить вечером коров... кармина на сей раз не было, зато было много опасений и жалоб Наряд ее состоял из уже знакомого коричневого джемпера, старой кремовой блузки, солдатских брюк и резиновых бот: она выглядела разгоряченной и немного усталой. Дэниэл почувствовал легкое разочарование — ее нынешний вид был очень далек от того, какой он рисовал себе, идя на свидание. В конце концов, она сняла бот и начала тереть царапину около большого пальца. Он видел, что она не в духе, и пусть не он тому виной, рассеять ее дурное настроение он не мог. Они сидели рядом, упрямо ожидая друг от друга первого шага. Состояние препоганейшее. Да и погода подкачала. Теплая, но облачная, и не дуновения ветерка. Усталый рассеянный свет с трудом проникал сквозь безжизненное облачное покрывало. Лето ожидало осень, а Дэниэл ждал, что лето никогда не кончится.

— Значит, мы сегодня целоваться не будем?

— Будем, если ты хочешь.

— Зачем же, если тебе не хочется?!

Он вырвал из земли сухой стебель папоротника.

— Противно все время бояться, что они догадаются.

— А я-то что могу поделать?!

Она продолжала тереть царапину. Он молчал. Затем подтянув колени, она уткнулась в них, будто ей с ним скучно. А он, дурак, ничего не понимал. Она еще глубже зарылась лицом в колени.

— Нэнси?

Она покачала головой.

— Я тебя хочу поцеловать. Честно.

— Нет, не хочешь. Я, по-твоему, глупая деревенская девчонка.

— Не говори чепухи.

— Я совсем некрасивая.— Она шмыгнула носом: — В этом дурацком старье.

— Да какая разница?! Мне твоя одежда нравится. Честное слово.

— Ты не зна-а-аешь, как мне то-о-ошно.

Голос ее неожиданно осекся. Потрясенный, сбитый с толку, растроганный он вдруг понял, что она плачет: его мрачное настроение сдуло, словно тополиный пух. Он нежно повернул ее к себе, увидел слезы на глазах, уже не так нежно опрокинул ее на землю рядом с собой и начал целовать заплаканные глаза.

— Я люблю тебя, Нэнси. Мне все нравится. Все. Я ведь люблю тебя.

Он впился в ее губы, и они крепко прижались друг к другу в порыве раскаяния и вновь проснувшейся страсти.

Она спросила, не хочет ли он снова посмотреть на ее груди. Впервые он наслаждался плодами победы в любовной войне. Она вела себя «глупо», а он был полон великодушия, это его стараниями она преодолела застенчивость. Ему позволили не только дотронуться губами до грудей, но и целовать их. Она гладила его голову. И вот он сделал свой первый самостоятельный шаг — стал на колени и стянул с себя рубашку. Она какое-то время строго смотрела на него, но потом позволила посадить себя и послушно подняла руки, пока он снимал с нее блузку и скрученный лифчик. Какая сладость была в ее голых руках, шее, в упругих грудях, прижатых к нему, в ее покорности. Он понимал, что теряет власть над собой — их языки сплелись, тела горели. Он лежал на ней, вдавливая ее в землю всем своим весом... пока она не оторвала губ от его рта.

— Я не могу дышать, Дэнни. Мне больно.

Он откатился прочь — ему давно было пора это сделать. Она села, потерла спину рукой, потом неожиданно повернулась к нему, и прежде чем он успел воспротивиться, встала над ним на четвереньках; руки ее упирались в землю рядом с его головой... она неотрывно смотрела сверху в его глаза, было в этом взгляде что-то дразнящее, а может, даже и зловещее, темное, древнее, давно забытое. Он протянул руки к висящим над ним грудям, накрыл их, потом увидел ее глаза, уже совсем рядом. Ее бедра прильнули к нему, он ощутил на себе ее тяжесть, комья земли впились в спину; это было ужасно, но остановиться он не мог; его терзал страх, что красный шарик соскочит, но остановиться он не мог, не хотел и прижимался к ней все сильнее.

Стало нестерпимо хорошо и немного больно, и никак этого не скроешь; в тот миг ему показалось, что и с ней происходит что-то необычное: она вдруг уткнулась лицом в его шею, а по ее животу и бедрам пробежала судорога — один раз, другой, третий. По какой-то сумасшедшей счастливой случайности, что выпадает только новичкам, они одновременно достигли оргазма.

По крайней мере, таково мое нынешнее предположение. Потом мы очень долго лежали молча, сознавая, что совершили что-то небывалое и ужасно порочное, и казнились первородным стыдом. Наконец мы расцепили объятия и оделись; смотреть друг другу в глаза мы избегали и почти не разговаривали. Я был потрясен несравненно сильнее, чем три года спустя, когда потерял невинность по-настоящему. Та грусть, что нисходит на человека в такие моменты и которая по существу есть не что иное, как осознание возврата к прибычной жизни, застала Дэниэла врасплох. Эта девушка, молчаливые заросли папоротника, угрюмое небо, этот юноша, который не ощущает ничего, кроме предательской мокроты в плавках... Они совершенно чужие. Все изменилось.

На следующий день, в понедельник, после первой робкой растерянности при встрече стало полегче. Миссис Рид, судя по всему, ничего не подозревала, темный туман пережитого накануне безумия рассеялся. Мы сумели поцеловаться всего один раз, но все же нашли время пошептаться о том, что любим друг друга и не можем ждать следующего воскресенья... хотя, конечно, ждать придется. Но во вторник произошло событие, которое ныне выглядит зловещим предзнаменованием. Возвращаясь домой, я толкал велосипед в гору, когда вдруг передо мной на дорогу упал камень. Нэнси, решил я, хотя она и клялась, что никак не может вырваться из дома в тот вечер. Остановившись, я стал вглядываться туда, где за деревьями прятались старые печи. Но вместо Нэнси я увидел, как из-за яворов, росших на скале выше печей, вылетел еще один камень. Камень был крупный и летел так быстро, что швырнуть его могла только мужская рука. Им метили в меня, разлетевшиеся осколки ударили по спицам переднего колеса. Я не на шутку перепугался. Побежал вверх, вскочил в седло и начал бешено жать на педали, преодолевая последние метры подъема. Еще

один камень упал на дорогу прямо за моей спиной. Подгоняемый паническим страхом, я мчался под уклон, стоя на педалях.

Больше камней в меня не швыряли, физически я не пострадал, но ведь страдания бывают не только физическими.

На следующий день я все рассказал Нэнси, и мы решили, что это проделки Билла Хэннакота. Она сказала, что Билл — трус, что об этом вся школа знает, но мне он при нашей единственной встрече таким не показался. Я начал бояться дороги домой. Страх не отпускал ни на минуту: у меня было ощущение, будто меня прогоняют сквозь строй,— и боялся я даже не камней, а того, что встречусь с ним с глазу на глаз, то есть драки, и того, что он, видимо, разнюхал про нас с Нэнси. То, что он мог видеть нас в предыдущее воскресенье, испугало и меня и Нэнси: как и все деревенские мальчишки, он легко мог прокрасться незамеченным. А тут еще мое пылкое воображение разыгралось... Камни или драка — еще куда ни шло, а что, если он вздумает выстрелить в меня из ружья?! Я знал, что у Билла есть ружье — он с ним охотился на голубей и кроликов. В мыслях я уже представил свой могильный камень рядом с материнским. Место, которое он выбрал для засады, лишало нас с Нэнси свиданий у старых печей.

Но когда миновали среда и четверг и никто не выстрелил мне в спину и не избил до смерти, я несколько приободрился. В субботу миссис Рид уехала в деревню, и когда я уходил домой, ее еще не было. Мэри и Луиза работали в поле, в доме оставались только Старый мистер Рид и его сын, которые беседовали наверху, в спальне. Мы с Нэнси забрались в сарай, в самый дальний темный угол, где в старом стойле держали сено, которым кормили коров при дойке. Мы, как всегда, целовались, шептались о Билле и его пакостях, какой он ужасный и что она вообще в нем находила... Нэнси отвернулась, я притянул ее спиной к себе, а руки мои под одеждой нашли ее груди — новое положение понравилось. Не знаю, что на меня нашло, может быть, все дело было в темноте. Еще с того первого воскресенья мне не давал покоя вопрос: чем Билл мог так поразить Нэнси? Об этом я и спросил. Она ни за что не скажет, ни-ког-да; но потом прошептала. Как-то вечером он хотел вынуть «это», чтобы она «сжала» это рукой. Я от потрясения онемел; он решился произнести вслух то, о чем я мог только мечтать,— произнести и услышать что-то в ответ.

— Что ты ему ответила?

— Ничего я ему не ответила. Просто заехала по глупой грязной роже,— сказала она.— Чертов нахал.

— А обнимать тебя вот так, как сейчас, ты ему позволяла?

Она покачала головой, задев мое лицо волосами.

— Спорю, позволяла,— упрямился я.

— Нет, так только с тобой. Потому что тебе я доверяю.

Я чуть-чуть сжал ее груди.

— А с этим наказанием я справиться не могу.

Она поерзала и заговорила на деревенский манер:

— Ну, опя-я-ять ты себя ведешь га-а-адко.

— Ничего не гадко.

— Нет, гадко.

— А вот и нет.

— Ты хочешь того же, что и Билл.

— Ничего я не хочу.

— Все вы одинаковые.

— Я хочу всю тебя потрогать.

— Нельзя. И хватит об этом.

— Что, и сказать нельзя?

— Сказать греховное — все равно что сделать.

— Но ты же мне *это* позволяешь.

— Тоже мне, сравнил.

Одна моя рука лежала на ее животе, другая — на груди.

— Только потрогать.
— Знаю я твои «только».
— А в прошлое воскресенье тебе хорошо было?
— Может быть.
— Почему ты всегда так отвечаешь?
— Нечего задавать грубые вопросы.
Они замолчали.
— Быстрей бы уж стать взрослыми.
— А ты на мне женишься?
— А ты выйдешь за меня замуж?
— Может быть.
— Я научусь хорошо работать на ферме.
— Фу, не хочу выходить замуж за фермера. С меня хватит.— Она пнула ногой сено, на котором они стояли.— Чего здесь хорошего?
— Скажи, что ты выйдешь за меня замуж, Нэнси.
— Зачем это?
— Мне хочется.
— Это еще почему?
— Потому что ты всегда меня дразнишь. Я никогда не знаю, серьезно ты или...
— Серьезно.
— Значит, выйдешь?
Он почувствовал ее кивок. Потом она резко повернулась, и они поцеловались; в поцелуе ее была одна нежность.
— О Дэнни, я люблю тебя. Я очень люблю тебя.— Помолчав, добавила: — А может, ты думаешь, что я развратная?
— Скажешь тоже! Почему?
— Потому что я дразню тебя, потому что я...
— Что ты?
— Позволяю себя трогать и...
— И что?
Она говорила ему в плечо, еле слышно:
— Я сделаю то, что хотел Билл. С тобой. Если ты... если ты потом еще больше будешь любить меня. Обещай.
— А ты мне позволишь всю тебя потрогать?
Он ощутил ее кивок.
— Обещаешь?
Она снова кивнула.
— Завтра там, наверху?
И она еще раз кивнула, не отрывая головы от его плеча.
Послышался шум трактора, на котором возвращались с поля Мэри и Луиза. Быстрый поцелуй, выразительный взгляд серьезных синефиолетовых глаз, и вот она уже бежит от сарая к дому. Он понимал, насколько беспечно они вели себя: ведь время работы уже кончилось, а велосипед его стоял на виду у всех около въездных ворот — там, где он всегда его оставлял. Близняшки въехали на тракторе во двор. Будь все, как обычно, он бы остановился и поговорил с ними, но сейчас он просто махнул рукой: дескать, очень спешу — и зашагал прямиком к велосипеду. Пусть удивляются, во всяком случае, не надо врать, почему он задержался.
По ухабистому щебеночному проезду он спустился до дороги, пересек ложе ручья и трубу, в которую этот ручей (тоже Торнкум) упрятали. Потом вверх в гору, мимо печей — он был слишком счастлив, слишком возбужден чтобы бояться встречи с Биллом,— встречи и не было. На полдороге к деревне встретил миссис Рид в стареньком пикапчике и слез с велосипеда, уступая ей дорогу. Он думал, она остановится и, как заведено по субботам, отдаст ему заработанные деньги, но она, видимо, об этом забыла и, не отрывая взгляда от дороги, проехала мимо, лишь махнув ему рукой. Скорее всего, она опаздывала к

вечерней дойке. Судя по наряду, она возвращалась из гостей или со встречи Союза матерей.

Дома ничего не предвещало неожиданностей. Тетя Милли с привычным и невинным любопытством спросила, как прошел день; я ответил. Отец корпел в кабинете над очередной проповедью, к ужину готовились мои любимые блюда — яичница с ветчиной и печеный картофель. Я поднялся в свою комнату, лег на кровать и погрузился в размышления о Нэнси, ее грудях, глазах и ее еще неведомом теле, о том, как женюсь на ней, буду жить в Торнкуме, и... в это время внизу раздался гонг. И даже за ужином ничего не настораживало: обычные надоевшие никчемные разговоры. Отец был молчалив и озабочен, что, впрочем, всегда отличало его в те вечера, когда он готовил проповедь.

Ужин закончился, отец прочитал молитву, отложил салфетку и встал.

— У меня есть кое-что для тебя в кабинете, Дэниэл. Зайди на минутку, если можешь.

Через гостиную мы прошли в его кабинет. Он встал около стола, задумался на мгновенье, а затем взял в руки коричневый сверток. Говорил он, обращаясь к нему, а не ко мне:

— Сегодня днем приходила миссис Рид. Она сказала, что выздоровление ее мужа против ожидания затягивается. Насколько я понял, власти нашли для этой семьи опытного фермера, который и поможет им в ближайшие месяцы. Он приступает к работе с понедельника. И следовательно, в твоих услугах они более не нуждаются.— Он протянул мне сверток.— Она просила меня передать тебе вот это, Дэниэл. И окончательный расчет.— Он отвернулся.— Дай бог памяти. Куда ж я... ах да.— Он нашел конверт и положил его на сверток.

Я чувствовал, что он уже поднял на меня глаза и что я краснею, как рак. Догадаться обо всем было нетрудно, стало яснее ясного, почему миссис Рид не остановилась, встретив меня на дороге. Я все же заставил себя взять из его рук сверток и конверт.

— А ты что же, не хочешь открыть его?

Я безуспешно пытался развязать узел бечевки, и в конце концов отец взял у меня сверток и, аккуратно разрезав шпагат перочинным ножичком, возвратил мне. Я развернул бумагу. Книга оказалась «Руководством по истории Англии для молодого христианина». На форзаце книги кто-то старательно вывел старомодным почерком:

Мистеру Дэниэлу Мартину
с глубокой благодарностью за помощь в трудные для нас времена и с искренними пожеланиями будущих успехов.

Мистер и миссис У. Рид

Отец осторожно взял книгу из моих рук и прочитал посвящение.

— Очень мило. Ты должен написать и поблагодарить их.— Он протянул мне книгу.— Держи. А теперь мне пора вернуться к работе.

Только у двери мне удалось найти в себе достаточно смелости или оскорбленного достоинства, чтобы заговорить.

— Мне что, нельзя даже пойти туда и попрощаться?

Отец уже сидел за столом и делал вид, что занят, но тут он оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня.

— Нет, мой мальчик. Нельзя.— Мои возражения он остановил тем, что снова заговорил, тихо, спокойно, уставившись в свои бумаги: — Насколько я понимаю, завтра Нэнси отправляется к своей тете куда-то под Тивертон. На все каникулы.— Я окаменел. Он снова взглянул на меня, на сей раз изучающе и многозначительно.— Я твердо верю в твой разум, Дэниэл. А также в здравость твоего суждения о добродетели и пороке. Вопрос исчерпан. Спокойной ночи.

Ничего не скажешь, жестоко, но до исчерпанности вопроса было далеко. Не пожелав доброй ночи тете Милли, я пошел прямо в свою

комнату; во мне бурлила такая нехристианская ненависть и такая бессильная злоба, каких, пожалуй, в стенах этого дома еще никто не испытывал. Какие же эти взрослые жестокие, глупые и подлые! Какой позор, какое унижение! Если бы он только наорал на меня, если бы он только дал мне возможность ответить! А двуличие и хитрость миссис Рид! И как же мучительно не знать, что в тот момент творилось с Нэнси, как она плакала, как... Я обязательно улизну из дому, проберусь ночью к ферме, встану под окном Нэнси, и мы убежим вместе. Какие только мысли не приходили мне в голову; но я знал, что никогда не вырвусь из плена условностей и предрассудков своего класса, из плена христианских добродетелей и веры военного времени в дисциплину и самоограничение. Но хуже всего было осознавать, что я сам накликал на себя эту страшную беду. В ту ночь я снова верил в бога; у бога было лицо моего отца, и я плакал от ненависти к его могуществу.

Позднее я пришел к выводу, что в той ситуации жалеть надо было... моего отца, который решил, что я сам смогу и осудить себя, и самостоятельно найти выход из Болота Уныния[1]. Думаю, что миссис Рид представила дело достаточно деликатно; едва ли она обвинила нас в чем-то большем, чем невинное свидание или один-два тайных поцелуя. Мне уже никогда не узнать, то ли она сама обо всем догадалась по нашему виду, то ли Билл Хэннакот наябедничал. Будь обвинения серьезнее, мой отец не решился бы замять это дело. Предполагаю, что он намеренно не спрашивал у меня ни тогда, ни позже о моих чувствах к Нэнси — то было бы для меня утешением. Но при всех своих недостатках садистом мой отец не был; подозреваю, что все плотские страсти он считал чем-то вроде детских шалостей, от которых избавляются по мере «взросления». Впрочем, надо отдать должное ему и тете Милли, с которой он поговорил в тот же вечер (ибо она не выразила удивления в связи со столь неожиданным окончанием моей работы),— они не жалели сил, чтобы вывести меня из состояния угрюмой подавленности.

Раз или два я пробрался к Торнкуму, чтобы незаметно понаблюдать из окрестного леса за долиной и фермой, но никаких признаков Нэнси не обнаружил. На следующий после страшного запрета день в церковь пришел только Старый мистер Рид. После окончания службы я не остался в церкви ни одной лишней секунды. Мне казалось, что о случившемся известно всей деревне (зная Билла Хэннакота и других деревенских сплетников, можно предположить, что я был недалек от истины). Я мечтал о письме от Нэнси, но письма не было... или, во всяком случае, мне его не передали. Возвращение в школу принесло одно утешение — а вдруг, как я когда-то надеялся, она мне напишет. Но сам я не писал на ферму, поскольку боялся, что письмо перехватят; разумно предположить, что те же сомнения испытывала и она. Так или иначе, писем не было.

В следующее Рождество, возможно, чтобы избежать даже малейшего риска, мой отец взял первый за всю войну отпуск. Он, тетя Милли и я отправились в Камберленд, где жила еще одна их сестра, которая была замужем за стряпчим из Карлайла; двое их сыновей сражались против немцев на фронте, третий ждал призыва; была еще и младшая дочь, Барбара, всего на полгода старше меня. Мы с ней не виделись с 1939 года; застенчивая, по-своему приятная, она не обладала сердечностью и задором Нэнси, но за две недели, что мы пробыли в гостях, я успел привыкнуть к ней. Мы не целовались (рождественский поцелуй под веткой омелы не в счет), зато договорились писать друг другу. О Нэнси и Торнкуме я вспоминал все реже и реже. В школу я вернулся, не заезжая домой.

---

[1] Аллегория из романа Джона Беньяна (XVII в.) «Путешествие пилигрима».

С тех пор я видел Нэнси только однажды, на Пасху. Вместе с жалостью (как я узнал из письма тети Милли, той зимой умер Старый мистер Рид) во мне гнездилось и недоброе чувство превосходства: по сравнению с моей стройной городской кузиной из Карлайла Нэнси выглядела провинциальной, неуклюжей и грузноватой. Мы с Барбарой писали друг другу длинные письма, в которых мечтали о новой встрече. Урок не прошел для меня даром — теперь я не упускал случая напомнить дома, что «переписываюсь» с кузиной Барбарой. Это встречалось с одобрением, еще во время рождественских каникул тетя Милли спросила, не хочу ли я пригласить Барбару провести часть лета у нас. Я, не раздумывая, согласился.

В августе следующего года она приехала в дом сельского священника. Мы катались на велосипеде, немного работали, играли в теннис. Нэнси я не видел ни разу. Со смертью старика религиозности у Ридов заметно поубавилось. Мистер и миссис Рид продолжали посещать церковь, а вот дочерей с ними больше не было. Я все еще боялся проходить мимо их фермы и, прогуливаясь с Барбарой, держался от тех мест подальше. Теперь я боялся встретить на знакомой дороге вовсе не Билла Хэннакота. С Барбарой за рамки приличий мы не выходили. Ее застенчивость и осторожность оказались намного сильнее той затаенной страсти, которую я заметил (или вообразил, что заметил) в некоторых ее письмах. Пять лет спустя, «обратившись» в католичество (правда, отнюдь не того утонченного свойства, что у Энтони и Джейн) и уйдя в монастырь, она вызвала большой семейный переполох. Уже тогда за робким желанием дружить с молодым человеком можно было угадать неприязнь к плотским утехам. Хотя в конце ее визита мы и поцеловались несколько раз, проблем с непокорной плотью я не испытывал. Мне надо было просто доказать самому себе, что я «переболел» моей Нэнси. Она, бедняжка, видимо, знала, что в доме священника гостит «племянница мистера Мартина».

В ту осень я получил из дому глубоко потрясшее меня известие. Риды решили продать Торнкум. Мэри собиралась замуж, молодой мистер Рид, который так и не выздоровел полностью, присмотрел для себя небольшую ферму неподалеку от Лонсестона, где жила одна из сестер миссис Рид; коров они собирались забрать с собой... впрочем, мотивы и детали меня нисколько не занимали... Но Торнкум без Ридов! По моим представлениям, это было противоестественнее даже тех громадных потрясений военного времени, которые переживал большой мир. Кажется, именно тогда я впервые почувствовал, что виноват перед ними. Я так никогда от этого чувства полностью и не избавился: все мне чудится, что это я ускорил развал семейства, смерть старика, продажу фермы, которая принадлежала им непреложно и без которой их вообще невозможно представить... и дело не только в Нэнси. Мое воображение отказывает мне, когда я пытаюсь увидеть миссис Рид в другом коровнике и в другой маслобойне, а Мэри и Луизу с их трактором — в других полях; в этом доме и на этом дворе для меня натуральна и естественна только фигура седоусого Старого мистера Рида — в гетрах, с золотыми часами и суковатой палкой. Впервые в жизни я осознал, насколько же место — это прежде всего люди. Проживи я хоть тысячу лет в доме, где сейчас пишу эти строки, я никогда не буду обладать им так, как они, и любые юридические обоснования моих прав здесь бессильны.

И последний кадр.

Много лет спустя, как писали в старинных романах... а точнее, в начале сентября 1969 года, я приехал в Торнкум на две недели и как-то днем остался на ферме один — Бен и Фиби уехали в Ньютон-Эббот за покупками. Выйдя на крыльцо, я увидел у ворот незнакомо-

го мужчину. Неподалеку стояла машина. Я подумал, что он заблудился, и крикнул, что сейчас подойду. Не ответив мне, он открыл калитку и зашагал в мою сторону. Пока мы шли навстречу друг другу, я успел заметить, что он одет в шерстяной джемпер на молнии. Видимо, турист, решил я, целые их полчища ежегодно вторгаются в Корнуолл из северных графств. Это был высокий худощавый мужчина моего возраста, зачесанные назад волосы едва прикрывали лысину; когда он не без смущения улыбнулся, во рту сверкнул золотой зуб.

— Простите, что вламываюсь.— Он говорил с легким лондонским акцентом. Большим пальцем он показывал за спину, в сторону «кортины».— Жена моя тут жила. Сто лет назад. Стесняется спросить, можно ли зайти и глянуть.

Я с трудом узнал Нэнси: она раздалась и погрузнела, крашеные волосы были собраны сверху в пышный пучок — на манер хозяйки захудалого пивного бара, отчаянно пытающейся сохранить хотя бы следы былой привлекательности. Несуразные ярко-красные брюки не вязались со слегка вызывающей, но все же достаточно приличной спортивной курткой, наброшенной на плечи; но вот глаза... хотя они и тонули в оплывших щеках, в них все же угадывался прежний лазурно-фиолетовый васильковый оттенок. Она ужасно смущалась. По моей догадке, Нэнси знала, кто купил их ферму, ее тянуло сюда, в эти места, но видеть меня не хотелось. Ее напористый муж говорил за двоих. Очень самоуверенный, он показывал мне, что и они, мол, не лыком шиты. Если мне не изменяет память, он сказал, что работает мастером в Дагенеме [1]; живут они в «очень симпатичном месте», в новой части Базилдона [2], слышал ли я о таком? Видно было, что он привык командовать в цехе и от него там многое зависело. Сейчас они путешествовали по Корнуоллу — один год «старушка Европа может без них отдохнуть». У Нэнси сохранился едва заметный девонширский акцент, она так нервничала и так старательно следила за собой... что мне было больно.

Отец ее давно умер. Мэри не бросила фермерских занятий, правда, жила теперь далеко от побережья, в Сомерсете. Она скоро станет бабушкой. Их мать, ровесница века, живет в семье Мэри. Луиза так и не вышла замуж. А она сама? Дети у них есть? Трое, старший только что поступил в университет.

— Смышленый парнишка,— сказал ее муж.— Не чета этим лохматым.

Я повел их по дому, она немного оживилась, то и дело повторяла: ах, как прекрасно, глазам своим не верю. Впрочем, было заметно, что она видит и прошлое. Я попытался расшевелить ее, спрашивая, где раньше стояла мебель или как использовались эти комнаты прежде; потом мы осмотрели усадьбу и сараи, в частности и тот, теперь переоборудованный в жилище для Бена и Фиби, в углу которого мы стояли в последний вечер. Очень красиво, не уставала она повторять; никогда бы не поверила, если бы не увидела собственными глазами.

Когда мы вернулись в дом, я предложил гостям выпить; завязавшаяся беседа касалась самых общих тем: как изменилась деревня, сколько горожане коттеджей везде понастроили — о тайном прошлом не прозвучало и намека. Мне было бы приятно заметить в ее глазах хотя бы мимолетную грусть; услышать замечание (пусть даже ироническое) о той «трагедии» из нашего отрочества. Вино она пила маленькими глотками и с вежливой решительностью держалась в тени своего мужа. Наедине мы были всего минуту, пока он ходил в туалет

— Как поживаешь, Нэнси?

Я впервые назвал ее по имени.

— Грех жаловаться.— Она затянулась сигаретой.— Гарри — хороший человек. Заботливый.

[1] Дагенем — промышленный пригород Лондона.

[2] Базилдон — небольшой городок под Лондоном.

— Не скучаешь по прежней жизни?

— Сейчас здесь все по-другому. Удобрения, машины. Не то что в старые времена.— Она посмотрела в окно.— По мне, так слава богу, что избавились от этой фермы. Как же мы работали! Самой не верится, что выдержали.

— В жизни не ел более вкусной сметаны, чем у твоей матери.

— Теперь они коров не держат. С нынешними породами — фризской и голштинской — это себя не оправдывает,— сказала она.— Все кажется сейчас таким далеким.

Я улыбнулся:

— Неужели все?

На мгновение она подняла глаза и встретилась со мной взглядом, но тут же с едва заметной натянутой улыбкой вновь потупилась.

— Теперь тут хоть вони от коров нет. Мне этот запах никогда не забыть.

— Меня он тоже иногда преследует. Как привидение.

— Не дай бог.

Я встал, чтобы вновь наполнить ее бокал, но нет, она больше не будет, спасибо. Ее заинтересовало покрытие полов. Я рассказал ей о копале [1]. Вернулся муж.

В то время все это меня даже слегка забавляло; расстроился я только сейчас, когда начал описывать встречу. Я во всем виноват, я достоин своего отца, я удачно сыграл его роль в сцене, где он легко обводит меня вокруг пальца в своем кабинете; ну почему я не разрушил холодную чопорность той встречи, не продрался сквозь ее испуганную вежливость и собственную светскую любезность! Нам кажется, что с возрастом мы становимся мудрее и терпимее; нет — просто ленивее. Ведь я мог спросить у нее, что произошло в тот ужасный день: как ты его пережила, долго ли тосковала обо мне? И пусть я лишь разбудил бы забытую горечь и вызвал взаимные упреки, даже это было бы намного лучше полного забвения, глупого, подлого и бесчеловечного притворства, будто наше прошлое не является также и нашим настоящим; будто наши поступки и чувства были порочными, нелепыми... незрелыми. Что останется от жизни, если ее лишить юношеской неопытности?!

Я проводил их до машины. Когда они снова окажутся в этих краях, то должны обязательно ко мне заехать. Если меня не будет, Фиби всегда угостит их чаем, и им будет приятно побродить по знакомым местам. Я видел, что приглашение они считают обычной учтивостью, а мой искренний тон — снисхождением; я работаю в Голливуде, знаюсь с кинозвездами и потому, мол, к ним серьезно относиться не могу. Моим приглашением они так и не воспользовались.

Мы обменялись рукопожатием, меня поблагодарили за любезность и потраченное время.

— По-моему, вы прекрасно все переделали.— Она бросила на дом прощальный взгляд.— Я бы его никогда не узнала. Изнутри.

Найдя среди листвы
гнездо лесной пичуги,
его бы в знак любви
я подарил подруге,
и с радостью, ей-ей,
отдал бы я девчонке
все, что ношу в своей
пастушеской котомке.
Но только ей любой
смешон подарок мой,
увы, играет мной
прелестница Филлида.

[1] Ископаемая природная смола, обычно коричневого цвета.

К нашему приезду Фиби затопила в гостиной камин и приготовила ужин. Я показал Джейн и Полю их комнаты, а затем — и весь дом. После Комптона он выглядел крохотным, невзрачным и, несмотря на все старания Фиби, нежилым.

В свое время я попытался отделать его просто, однако с претензией — только дерево и побелка; но дом был слишком стар для новомодной финской строгости. Тогда из местных антикварных магазинов я натащил туда разной утвари, старинных дагерротипов и картин, викторианской мебели. Потом извлек на свет божий старый портрет моего прадедушки-епископа, который, по воле Нелл, уже давно пылился в шкафу моей лондонской квартиры, и отдал его почистить и подновить. Теперь он висел, осуждающе-суровый, над камином, и глаза епископа следили за каждым вашим шагом. Мнение Каро и большинства других посетителей моего дома, что портрет ужасен, меня не трогало. Как произведение живописи портрет был, конечно, не настолько хорош, чтобы занимать почетное место, но и не настолько плох, чтобы потешать зрителей. Постепенно я проникся любовью к непререкаемой суровости епископского взгляда; отыскал и водрузил на стены некоторые другие семейные реликвии: пару силуэтов и миниатюры забытых предков, лучшую фотографию тетушки Милли и отца, сделанную в 1938 году... Убранство это уже вряд ли удовлетворяло требованиям хорошего вкуса, но жилье мое стало больше походить на дом (по крайней мере, до того вечера, когда я увидел его глазами других).

Мы поужинали — Фиби на сей раз не все удалось, но Джейн и Поль из вежливости все хвалили. Поля ждали в школе не позднее десяти утра следующего дня, но он во что бы то ни стало хотел осмотреть до отъезда окрестные поля, куда мы и отправились после ужина. Я рассказал им о прежних временах, о том, как мальчишкой работал в Торнкуме, о том, каково быть сыном сельского священника, и о старом укладе общинной жизни. Время от времени я замечал, как Джейн исподтишка бросала на Поля взгляды, словно желая узнать, что думает мальчик о блудном дяде, вернувшемся к родному очагу.

В половине десятого Джейн отослала его спать, и мы стали пить кофе у горящего камина. Я сел в кресло-качалку сбоку, Джейн устроилась на канапе прямо перед очагом; на ней были брюки и голубой свитер, в которых она приехала.

Днем она спросила, надо ли ей переодеться к ужину, я в ответ рассмеялся. Молчание у камина она нарушила первой:

— Мне кажется, ты его покорил.

— Я дам ему мой здешний телефонный номер. Это же совсем рядом.

— Мне надо поговорить с ним. Вдруг он станет тебе надоедать?

— Я сам при случае скажу ему, что у меня много работы. По крайней мере, в первые несколько недель.— Помолчав, я добавил: — А ты, Джейн, приезжай сюда еще раз и поживи подольше. Серьезно. Заодно познакомишь меня со своим другом.

Она смотрела в огонь и ответила не сразу:

— Боюсь, что с моим бывшим другом, Дэн.— Она избегала смотреть на меня.

— Мне казалось... ты говорила, что он тебе пишет.

— Да. Написал. Он...— Она подыскивала спокойные, старомодные слова.— Завел новое знакомство.— Потом тихо добавила: — Ничего страшного. Такие вещи случаются.— Затем позволила себе не столь сдержанное, более женское замечание: — Особенно с Питером.

— Хорошее же времечко он выбрал.

— Да нет, это продолжается уже несколько месяцев. И отступать ему некуда — сейчас или никогда. Он кается. Во всем винит себя.

— Очень жаль.

— Ничего неожиданного. Единственное, о чем я жалею,— что не порвала с ним сама.— Она вздохнула.— Он никогда не отличался постоянством. Думаю, тут дело в его занятиях философией. Человек так долго живет в разреженной атмосфере, что, спускаясь с высот, должен это чем-то компенсировать — быть простым смертным.

— Он нашел себе кого-то в Америке?

— Да, она, кажется, преподает историю в Гарварде.

— Ты так спокойно об этом говоришь.

Она покачала головой:

— Я рассказала Роз. А теперь вот тебе. И даже не чувствую себя особенно униженной. Да и разницу в возрасте надо учитывать. Она все равно сказалась бы.

Я подумал о том, что она хранила эту новость про себя все выходные, и простил ей ее мрачную замкнутость.

— Мужчины — дерьмо.

— По крайней мере, честные.

— Вот даже как.— Она пожала плечами, а я понимающе молчал.— Ты больше не думала о будущем?

— Практически нет, Дэн.— Она вытянула конский волос, торчавший из обивки.— Впрочем, я все-таки подумываю продать дом и переехать в Лондон. Хочу снять квартиру, небольшую.

— Прекрасная идея. И к Роз поближе.

— Не такая уж прекрасная.

— А что Роз об этом думает?

— Она «за».

— Тогда в чем же дело?

— Видимо, в моих сомнениях, не уверена, что сумею устроить там свою жизнь.

— А от другого решения ты не отказалась? — К моему удовольствию, она не поняла, о каком другом решении идет речь.— Следовать по стопам квартирной хозяйки, у которой я жил в студенческие годы?

— Не отказалась.

Голос ее стал заметно суше и сдержаннее.

— Джейн, если ты не хочешь говорить об этом... я не настаиваю.

Она улыбнулась в нерешительности, но потом все же заговорила, не отрывая глаз от огня:

— Не надо понимать все сказанное мною в тот вечер слишком буквально, Дэн. Я сейчас действительно настроена весьма радикально. Но совсем не уверена, что из этого получится что-нибудь практическое. Роз пытается убедить меня подготовиться заочно к экзамену на степень бакалавра искусств. Или же закончить преподавательские курсы.

— Но ты не чувствуешь призвания к педагогике?

— Почему же, чувствую. И готова заниматься этим где угодно, но только не в Оксфорде.— Она помолчала.— Можно мне положить ноги на диван?

— О чем речь?!

Она скинула туфли, вытянула ноги на сиденье и посмотрела на меня.

— Варикозные вены.

— О, боже.

— Уже много лет. Оперировать бесполезно. Иногда болят.— Она быстро продолжила, опустив глаза: — Видимо, это от безысходности. Когда все вокруг кажется бессмысленным. Понимаешь? Душа жаждет большого шага, а ты не можешь сделать и малого. Тогда теряешь

голову, как в тот ужасный вечер. И начинаешь говорить совсем не то, что хочешь.

— А чего хочет твоя душа?

Она откинула голову на руку, лежащую на спинке канапе, и снова уставилась в огонь.

— У меня такое чувство, будто наше общество ослепло. Каждый замкнулся в себе. Ничего другого я вокруг себя не вижу. И те люди, которые могли бы хоть что-нибудь изменить разумными способами, абсолютно ничего не делают. Палец о палец не хотят ударить. И не только в политике. Наше общество поразила слепота. И тогда ты идешь к тем, кто хоть что-то видит. К маоистам, коммунистам, к кому угодно.

— А тебе не кажется, что, отказываясь от всех плохих свобод, ты отказываешься и от хороших?

— Я знаю, что это только мечты. Особенно если учитывать исторический опыт.

— Единственное, в чем был прав этот отвратительный Фенвик, так это в рассуждении о биологических основах свободы. В том, что нет развития без свободы выбора.

Она вытянула руку, словно завороженная, не отрывая взгляда от огня.

— Пару месяцев назад я слушала лекцию одного марксиста по экономике. Он говорил о парадоксах производства в британской пищевой промышленности. Чудовищная часть расходов приходится на рекламу и упаковку. А в Америке дело обстоит еще хуже.

— Никто с этим не станет спорить. Вот он — пример плохой свободы.

— Но никто и *не спорит*, Дэн. Кроме крайне левых. Вот в чем ужас-то.

— Может, тебе стоит добиваться избрания в парламент?

Она улыбнулась:

— Пассионария от кухонной плиты?

— Я серьезно. По крайней мере, в местные органы власти.

— Я думала об этом.— Потом добавила:— Так школьницы мечтают выиграть Уимблдонский турнир или танцевать с Нуреевым.

— Слава богу, ты можешь строить планы. Это уже половина победы.

— Могла.

— Обожди, все вернется на круги своя.

Какое-то время она подыскивала слова:

— Сначала я должна одержать победу над собой. Когда я узнала, что Энтони неизлечимо болен, я испытала чувство облегчения. Мне казалось, что я так много смогу сделать. Но видимо, вместе с ним умерли все мои планы. Я совсем лишилась сил. Не физических, нет. Во мне поселился бессильный гнев, с которым я не могу и не хочу справляться. Просто живу, как живется.

— Ты не торопись. Обожди немного.

— Но у меня больше нет этого чувства, чувства облегчения.— Сложив руки на груди, она забилась в угол дивана и смотрела теперь на свои ноги в чулках.— Симптоматично, что у меня появилось желание отказаться от всех своих денег. На самом деле я лишена этой возможности, поскольку по всем моральным законам эти деньги принадлежат моим детям.

— И о чем же говорит это желание?

— О презрении к себе. О нежелании брать на себя ответственность.— Она скорчила гримасу.— Очень похожее состояние когда-то привело меня в католичество.

Мне хотелось поговорить о прошлом подробнее, но я чувствовал, что его пока лучше не трогать.

— Если тебе и надо от чего-то избавиться, то, пожалуй, от избытка идеализма.

Я говорил с очевидной симпатией, но своим недовольным видом она показывала, что я недооцениваю сложность ее положения.

— У меня такое ощущение, будто я проснулась на двадцать пять лет позднее своего времени.

— Периодически это с каждым происходит.

Над разделявшим нас кофейным столиком на меня смотрели знакомые, чуть ироничные темно-карие глаза.

— У тебя интересная работа, Дэн. Для нас это все иначе. Для женщин моего круга... И возраста.

— Да, но у тебя больше свободы. Я же намертво прикован к тому, что научился делать.

Она снова улыбнулась — мой аргумент ей нравился, но, конечно, не убеждал — и пожала плечами.

— Наверное, наиболее разумное сейчас — стать активной лейбористкой. Нынешний член парламента от Оксфорда — полное ничтожество.— Она замолчала и опять посмотрела мне прямо в глаза.— Ты никогда не жалеешь, что получил гуманитарное образование?

— И сделался тунеядцем?

— Не то чтобы тунеядцем — просто беспомощным перед экономистами и им подобными. Вечным любителем в глазах профессионалов.

— Однажды в Америке я за два дня освоил один из разделов права. Во всяком случае, в достаточной степени, чтобы обманывать публику.

Она усмехнулась:

— Бесчестный поступок.

— Ничего бесчестного. Публика любит, когда все детали верны, но не это для нее главное. Главное — поверить герою как личности. Убежден, что то же самое происходит и в политике. Небольшая путаница в деталях может даже укрепить доверие к человеку. Посмотри на Хита и Вильсона[1]. Или на Джонсона и Никсона[2]. Они больше всего озабочены именно тем, чтобы внушать людям доверие. В этой жизни пока хватает доверчивых простаков.

— Меня едва ли можно причислить к этой категории.

— Ой ли?!

Наши взгляды встретились на мгновение, и мне показалось, что она чересчур серьезно отнеслась к моему замечанию. Но потом она отвернулась и опустила ноги на пол.

— Я лучше схожу проверю, выключил ли Поль свет.

Она нагнулась, надела туфли и ушла наверх. Странно, как она менялась во время нашего разговора, несмотря на всю свою искренность: менялся ее возраст — от истинного до более молодого, менялся ее голос — за трезвым самоотречением сорокалетней женщины время от времени слышалась порывистая студентка; менялось даже ее тело — заученно-элегантные движения и жесты чередовались с домашне-простыми; создавалось впечатление, будто в ней шла нелегкая борьба между овдовевшей матерью троих детей и вечным призраком молодой женщины. Прошло минут пять после ее ухода, я встал, чтобы подложить дров в камин; потом расправил спину и воззрился на епископа, который задумчиво смотрел на меня с привычным осуждением. Возможно, он догадывался об идее, которая зародилась в

---

[1] Эдуард Хит (р. 1916) — премьер-министр Великобритании в 1970—1974 гг., лидер консервативной партии в 1965—1975 гг. Гарольд Вильсон (р. 1916) — премьер-министр Великобритании в 1964—1970 и в 1974—1976 гг.

[2] Линдон Джонсон (1908—1973) — 36-й президент США (1963—1969, от Демократической партии); Ричард Никсон (р. 1913) — 37-й президент США (1969—1974, от Республиканской партии).

моей голове, как только я узнал новость об ее американском друге, и из-за которой я разрывался между инстинктом и здравым смыслом, а точнее — между инстинктивной мыслью (она могла прийти из подсознания) и неспособностью ее выразить. К приходу Джейн внутренний конфликт так и не разрешился. Она выдавила из себя улыбку.

— Ты его действительно покорил. Он меня только что спросил, почему *мы* не можем жить в таком же месте.

— Может, в этом и есть решение проблемы? В том, чтобы выращивать свой сад?

Джейн села на диван, положив, как и раньше, ноги на сиденье. Нет, конечно, она не против выпить немного виски. Ее настроение снова изменилось: было заметно, как она старается побороть мрачное расположение духа. Я ушел к бару, стоящему у противоположной стены. Она сказала:

— Я, по правде говоря, завидую тебе. Жить на природе в таком доме.

— Здесь отдыхаешь от людей.

— Я посмотрела из окна в комнате Поля. Покой, кромешная темнота, все спит.

Я возвратился со стаканами.

— Как будто в другом мире, правда?

— Пожалуй.

— Тебе вполне по средствам купить такую же усадьбу.

Она улыбнулась, подняв стакан:

— Следуйте за мной, братья и сестры...

— Как бы то ни было, я, видимо, скоро проверю, в каком мире находится эта усадьба.— Я сел в кресло.— После теперешнего сценария собираюсь годик отдохнуть.

— И пожить здесь?

— Если Бен и Фиби не сведут меня с ума.

— А чем же ты будешь заниматься?

Я нагнулся подправить вывалившееся полено.

— Кто его знает. Возможно, просто отдохну от кино.— Теперь уже колебался я.— Чем черт не шутит, может, займусь романом.

Она удивилась:

— Серьезно?

— Несерьезно. Это похоже на твою мечту баллотироваться в парламент.

Джейн снова подперла голову рукой; стакан с виски она держала на коленях, бессознательно подражая мадам Рекамье[1]. Она оживилась и повеселела.

— И ты уже знаешь, о чем будешь писать?

— Пока нет. Есть ворох мыслей, которые не поместились ни в одну из предыдущих работ. Кое-какие наблюдения, что прячутся за роскошными сценами в кино. И тому подобное. Ничего оригинального. Скукотища.

— Значит, это будет совсем не похоже на то, что ты писал до сих пор.

Я улыбнулся, не отрывая взгляда от стакана.

— Ты меня огорчаешь, Джейн. Я надеялся, что ты отговоришь меня от этой затеи.

— А зачем мне тебя отговаривать?

— Разве роман — это не одно из проявлений буржуазного декаданса, не способ потешить собственное «я»?

На какой-то миг мне показалось, что она обиделась. Смерив меня долгим взглядом, Джейн опустила глаза и негромко сказала:

— Ты нарушаешь нашу договоренность.

---

[1] Мадам Рекамье (1777—1849) — парижская красавица хозяйка известного салона эпохи Реставрации, который посещали самые выдающиеся деятели того времени. Здесь имеется в виду известная картина Ж. Л. Давида (1748—1825).

— Скорее, несерьезно задаю серьезный вопрос.
— Тогда я не понимаю его.
— Разве роман не форма самоублажения?
— Мне кажется, это зависит от конечного результата.
— Разумеется... ну а если результат неопределенный?
— Ты не читал Лукача[1]?
Я покачал головой:
— А при чем здесь Лукач?
Она опустила глаза:
— Я просто поинтересовалась.
— Нет уж, говори.
Она пожала плечами:
— Он очень умно писал об искусстве вообще, но особенно о романе. О том, на что роман годится и на что — не годится.
— В соответствии с каноном?
Она снова посмотрела на меня:
— Это был великий гуманист, Дэн.
— Должен признаться, что не читал его.
— Он не проявил храбрости, когда Сталин начал закручивать гайки. Это не безумец Солженицын. Он такой, как все мы. Хотел улучшений... в рамках системы.— Она снова отвела глаза, словно устыдившись своей резкости, и заговорила спокойнее:
— Почитай, он тебе понравится. Очень проницательный ум. Несмотря на все свои «измы».
— Меня беспокоит, смогу ли я писать так же правдиво, как и автор романа, который я недавно видел в Калифорнии. Он называется «Жизнь и времена Джонатана Доу».
— Не читала...
— Роман представляет собой титульный лист и двести совершенно чистых страниц. В очень красивом переплете.
Джейн рассмеялась, принялась уговаривать меня: опыт сценариста должен помочь мне по крайней мере в диалогах.
— Вот как раз того, что между диалогами, я и боюсь. Того, что в кино за тебя делает камера. Меня пугает необходимость найти свой угол зрения. И потайное убежище.
— А зачем тебе прятаться?
— Не могу же я писать роман о сценаристе. Нелепость какая-то. Это может сделать романист, который не был сценаристом. Я же всего-навсего сценарист, который никогда не писал романов.
— Лиха беда начало.
— Меня привлекает персонаж типа Дженни Макнил. Хорошо бы посмотреть на вещи ее глазами. Если, конечно, я смогу проникнуться сознанием молодой женщины.
— По твоим рассказам, она довольно-таки умна.
— Для хорошей актрисы, пожалуй, даже слишком.
— В свое время я бы на это обиделась.
Улыбаясь, мы отвели глаза друг от друга.
— Не обращай внимания. Это у меня слабая форма недуга, которым ты сама страдаешь.
— Чего-то не вижу у тебя симптомов недуга.
— Моя жизнь похожа на местные долины... Они тянутся и тянутся в никуда, зажатые гористыми гребнями. Не могу сказать, что я не люблю гор. Но приходит время, когда хочется заглянуть за них. Определить, где ты находишься.— Она слушала внимательно. За окном раздался шум проезжающей мимо машины, очень редкий в эту пору в здешних местах. Я вспомнил другой автомобиль в ту далекую оксфордскую ночь и подождал, пока шум замер вдали.— Чувствуешь слабый клевок в печень. И даже не в свою, а всей культуры.

[1] Дьёрдь Лукач (1885—1971) — венгерский философ-марксист и литературовед. Здесь, скорее всего, имеется в виду его работа «Теория романа» (1920).

— Прометей в авгиевых конюшнях?

Я улыбнулся:

— Пусть так. И непонятно, с чего начинать. Такой человек, как Солженицын, встречает своего противника на каждом углу. А как быть в обществе, медленно сползающем в небытие?

— Энтони сказал бы, что в самом вопросе уже содержится ответ.

— В медленном сползании в небытие? Но это ведь не внешняя штука — как, например, антигуманная политическая система. Это нечто присущее самой природе истории и ее целям.

Джейн заговорила с деланной наставительностью:

— У истории нет целей. История — это поступки людей, преследующих определенные цели.

— Сартр?

— Маркс.

— Интересно, мог ли он представить нацию, живущую только своим прошлым?

— А может, как раз в этом-то и выход.

— Что ты имеешь в виду?

— Нашу нравственную традицию. Веру в человеческую совесть. Все лучше, чем разрываться между Америкой и Общим рынком.— Теперь уже я молчал, снова чувствуя в ней борьбу: продолжать или остановиться? — Я читаю сейчас еще одного очень интересного марксиста. Грамши.

— Да. Я видел.— Она удивленно вскинула брови.— Я видел книгу в твоей гостиной.— Я улыбнулся.— И боюсь, что снова, кроме имени, ничего не знаю.

— Он пытался выработать итальянскую форму социализма.

— И потерпел неудачу?

— Да — с точки зрения фашистов Муссолини и своей собственной коммунистической партии, причем полную. Но сейчас Грамши берет реванш. В нынешней КПИ.

— И его идеи применимы к нам?

— К Британии, едва ли. Но некоторые из них мне дороги.— Она не отрывала взгляда от огня.— Несмотря на свой жаргон, Грамши был антиякобинец... гуманист. Он описал явление, которое назвал идеологической гегемонией.— Джейн едва заметно поморщилась, но продолжила:— Под ней он понимал некоторый всепроникающий принцип организации буржуазного общества — систему навязанных верований, которая во все большей степени занимает место откровенного полицейского государства... Это и есть настоящий тоталитаризм. Идеологическая гегемония пронизывает все общество, поддерживает установленную систему через подсознание отдельного индивидуума. Она действует посредством подмены смысла, ломает механизмы власти, искажает действительность, затуманивает восприятие событий, мешает их правильной оценке. Все овеществляется, люди становятся товаром, который можно покупать и продавать, предметами, объектами рыночной конъюнктуры. А это означает, что интеллектуалы-социалисты лишены возможности обращаться к обычному сознанию людей. В результате они либо подвергаются политическому остракизму, либо, если все-таки завоевывают власть, вынуждены следовать старой ленинской ереси. Создавать правительство, опирающееся на силу и бюрократический аппарат.— Она помолчала и закончила весьма прозаично:— К сожалению, Грамши силен только в описательной части и намного слабее в объяснении того, как построить систему контргегемонии. Он исследует порок, а не способы его лечения.

Все это говорилось не без смущения; меня, конечно, интересовал не столько Грамши, сколько его толкователь — как всегда, мне была ближе биологическая сторона жизни: не что говорит Джейн, а почему.

— Видимо, сам я в какой-то степени пал жертвой этой гегемо-

нии. Принял американскую точку зрения на нашу страну. Оттуда она действительно иногда кажется безнадежно замкнутой и косной.

— И ты поверил американцам?

— Не столько американцам, сколько их образу жизни. Девять десятых своей энергии они обычно тратят впустую, но все же остаток обеспечивает им способность выбора, которую мы, кажется, утратили. История, возможно, и определяется поступками людей, но мы, без сомнения, потеряли веру в этот тезис.

— Грамши бы назвал это следствием идеологической гегемонии.

— Я понимаю это, Джейн. Я читал Маркузе[1]. Но по-моему, это глубже, чем... манипулирование сознанием людей с помощью средств массовой информации. Наверное, большинство людей в нашей стране чувствует гнет того, что описал Грамши. Но дело не только в этом. С одной стороны, мы убедились, что история — продажный судья, который вынес нам несправедливый приговор, а с другой — мы отказываемся подавать апелляцию. Я ведь не спорю с тобой. Я согласен, что мы почти поголовно стали жертвами социальных сил, находящихся вне нашего контроля. Но причины этого лежат, по-моему, в биологии. Не знаю: как лучше выразить — слепота, импотенция, одряхление. Но операция невозможна. Процесс неостановим.

— И молодые, по-твоему, должны примириться с таким положением?

— Не думаю, что у них есть выбор. Культуры, как и биологические виды, хиреют и вымирают. Не исключено, что расовый Geist[2] также смертен.

Мы избегали смотреть друг другу в глаза; между нами возникло пусть и очень небольшое, но вполне ощутимое напряжение. Я понимал, что мне, утешителю Иова, доверия быть не может; но хотелось все же выяснить, насколько искренен ее собственный пессимизм.

Она сказала:

— Я отказываюсь верить, что наши дети совершенно лишены возможности выбирать, в каком мире им жить.

— Но ведь выбор становится все более и более ограничен?

— Физически, может быть. Но не морально.

Между нами опять возник призрак Энтони — или что-то иное, тайное, что-то объединявшее их, несмотря на все расхождения. На обеденном столе в дальнем конце комнаты горела лампа, но там, где мы сидели, лицо Джейн освещалось лишь редкими багровыми всполохами каминного пламени. Она сидела, слегка склонив голову, снова уйдя в себя... И я знал, что продолжение спора может лишь еще больше отдалить ее. Мы снова были в плену пресловутой английской сдержанности.

— Мне самому хотелось бы поверить в это.

— Понимаю.

Она по-прежнему не глядела на меня. Я встал.

— Дай я еще виски налью.

— Нет, честно, я не...— Она посмотрела на часы — за этим жестом должно следовать действие, иначе оно воспринимается как вежливое напоминание о скуке.— Вы здесь живете по-деревенски? Рано, наверное, ложитесь?

— Совсем нет. Но если ты устала...

— Посидим еще чуть-чуть. Люблю смотреть на огонь.

Я поднял пустой стакан.

— Так не хочешь?

— Нет, не хочу.

Я подошел к столу, налил себе виски и незаметно оглянулся. Она снова неотрывно смотрела на огонь.

---

[1] Герберт Маркузе (1898—1979) — немецко-американский философ, один из основателей Франкфуртского института социальных исследований.

[2] Дух *(нем.)*.

Я сел в кресло. Она спросила, какое дерево идет на каминные дрова, я ответил: яблоня. Вместе с буком и кедром они составляют великую каминную троицу. Она склонила голову, будто слышала это впервые, и вновь задумалась.

Мы молчали.

Каждый думал о своем. Я осушил свой стакан и сделал попытку догадаться, о чем думает Джейн:

— Если бы я был врачом, то порекомендовал бы тебе самое обычное и простое средство — хорошее путешествие.

— Именно это мне моя врачиха и рекомендует. Подозреваю, она просто хочет избавиться от меня на несколько недель. Бедняга.

— Она знает?..

— О нас с Энтони? Да. Она сама разведена. За эти годы мы успели подружиться. Она, кажется, стала специалистом по несчастным женам Северного Оксфорда.

— Ты что, не хочешь следовать ее совету, поскольку она очень уж близкий друг?

Джейн пожала плечами:

— Совет сам по себе прекрасный.— Она скривила гримасу.— Если бы он не был похож на рекомендацию женского журнала. Наша одинокая героиня ищет счастья на ближайшем зимнем курорте.

— Ты цинична.

— Нет, Дэн, просто труслива. Я даже думать сейчас об этом не могу.

Я наблюдал за ней, мучаясь сомнениями, потом тоже уставился в огонь.

— У меня родилась безумная идея, Джейн. Только что пришла в голову. Совершенно неожиданно. Хочешь, расскажу?

— Я думала, что безумные идеи — это по моей части.

— Не всегда.— Я встал.— Для храбрости выпью еще. Ты не будешь?

Она покачала головой, я подошел к буфету и сказал:

— Скоро я должен уехать на несколько дней в Египет. Поездка связана со сценарием. Сначала в Каир, оттуда — в Асуан. Из Луксора можно совершить приятное путешествие вниз по Нилу на пароходе. На это уходит неделя.— Я обернулся и посмотрел на нее с улыбкой.— Почему бы тебе не поехать со мной? — По ее виду можно было понять, что она считает все это шуткой.— По старой дружбе.

Она вздохнула:

— Не могу, Дэн. И совсем не...

Я разбавил виски водой.

— Почему?

Она опустила ноги на пол, наклонилась вперед, сжала руки.

— Потому что... тысячи причин.

— Ты ведь не была в тех краях?

— Нет.

— Позагораешь на палубе уютной старой посудины. Посмотришь достопримечательности, если, конечно, будет желание. Отдохнешь, почитаешь, а я большую часть времени буду писать и общаться с людьми.

— Звучит божественно. Но я...

— Всего десять дней.— На ее лице появилась та полупечальная-полуироничная улыбка, с которой терпеливая мать выслушивает нелепые идеи своего отпрыска. Я возвратился к камину.— Когда-то я уже совершил подобное путешествие с Андреа. Хороший, спокойный отдых.. Погода в это время года райская.— Я встал между Джейн и камином.— Билеты на самолет со скидкой. Твой драгоман вообще не возьмет с тебя ни пенса. Ну когда тебе еще предлагали столь выгодные условия?!

— Я действительно не могу, Дэн. Честно.

— Но ты только что сказала...

— Ты понимаешь все слишком буквально.

— Назови мне хотя бы одну из твоей тысячи причин.

— Дети.— Она пожала плечами.— Все что угодно.

— Можно, я позвоню Роз и спрошу, что она думает о моем предложении?

— Я уже почти пообещала, что навещу Энн во Флоренции.

— Нет ничего проще. На обратном пути полетишь только до Рима.

Такое простое соображение на какой-то миг поразило ее или, во всяком случае, заставило подыскивать более веские возражения:

— Все подумают, что я сошла с ума.

Я улыбнулся:

— Некоторые уже так думают.

— Я буду чувствовать, что просто сбежала.

— А это уже действительно безумие. Ты вполне заслужила отдых.— Положив руки на колени, она наклонилась вперед.— Вспомни, что ты говорила мне в Оксфорде. О том, как много мы теряем, прячась за свои годы.

— Дэн, с твоей стороны это чертовски благородно, но я...

Она замолчала, словно «чертовское благородство» уже более не требовало объяснений и прекращало наш спор. Я снова сел в кресло-качалку.

— Только не думай, что я всего лишь выполняю просьбу Энтони. Уверен, что путешествие пойдет тебе на пользу. Бездна новых впечатлений. А у меня будет приятный попутчик.

Голос ее не изменился, но я уловил в ее словах оттенок облегчения — я сам коснулся одного из самых очевидных возражений.

— Тебе нужен другой попутчик.

— Если бы Дженни была здесь, она наверняка бы уговаривала тебя принять мое предложение. Так что с этим проблем не будет.— Но ее лицо по-прежнему выражало сомнение.— Посмотри, к примеру, на Роз. Их поколение равнодушно к ложно понятым приличиям.

Она склонила голову набок.

— Нет, серьезно, у меня очень много дел.

— Разве нельзя отложить их на пару недель? Все организационные дела берет на себя фирма. Тебе остается только подписать заявление о визе.

Она откинулась на спинку дивана и уставилась на епископа, потом подняла руки, погладила шею, зарылась лицом в ладони; такой же жест я видел у нее в тот вечер, когда умер Энтони, в ее гостиной... В нем выражалось больше чем просто нехватка слов.

— Мне уже поздно меняться, Дэн. Я не имею права... о боже.

— На что?

Она глубоко вздохнула.

— Учитывая...

— Прошлое?

— И прошлое тоже.

— В нашем возрасте мы способны отнестись к нему с улыбкой.

— Но тебе же надо будет работать.

— Ты забыла, что преодолевать трудности — мое любимое занятие. Всю жизнь тренируюсь.

— Я очень тронута, Дэн. Но я действительно не могу. Честное слово, не могу.

Я смотрел в свой стакан с виски.

— Ты обижаешь меня.

— Не надо. Я совсем не хотела обидеть тебя.

— Значит, ты меня так и не простила?

— Теперь уже ты городишь ерунду.

— Или — бойся друзей, дары приносящих?

— Конечно нет. Просто...— Она снова вздохнула. Помолчав, сказала:— У меня тоже есть гордость. Я хочу сама справиться со своими трудностями.

— Значит, мое предложение тебя совсем не привлекает?

Поколебавшись, она ответила:

— Привлекает. Как идея.

— Но ты можешь хотя бы обдумать ее спокойно? — спросил я.— И, ради бога, прости, что я обрушил это на тебя так неожиданно.

— Это я должна просить у тебя прощения.

— Подумай пару дней.

От такого предложения отказаться она не могла, хотя, скорее всего, и хотела бы.

— Ты так добр ко мне, Дэн. Я...

Я встал.

— Дело не в доброте. Но мне уже пора.

— Ты же сам сказал, что идея безумная.

— Очень часто безумные идеи оказываются самыми здравыми.— Я улыбнулся.— Особенно если необходимо противостоять идеологической гегемонии.

Пораженная моей наглостью, она взглянула на меня и встала. Я предусмотрительно заметил, что о посуде можно не беспокоиться. Завтра утром Фиби все уберет. Около лестницы я поспешно пожелал ей доброй ночи, лишив ее малейшей возможности продолжить беседу. Все ли приготовлено в ее комнате? Не надо ли еще чего? Тогда спокойной ночи.

Я вернулся в гостиную закрыть камин решеткой, а потом вышел на крыльцо. Было тихо, стояла одна из тех ночей, когда ветра нет, но кажется, что он дует высоко в небе; запах водорослей, тончайшая морось с юго-запада и первый признак весны, характерный только для Девона и только в первые два месяца года: разлитая в воздухе прозелень, десант из садов и рощ благодатных Канарских островов, высылаемый ими в серую зиму. Высоко в небе протяжно свистнул кроншнеп, ему ответил другой — птицы летели из Дартмура в родную дельту Тины; откуда-то из березовой рощи за домом ухнула неясыть. Глухая английская ночь.

И только тут он задумался о том, что натворил.

Каир

К концу шестичасового полета Дэн уже всерьез сомневался в успехе задуманной поездки, или, во всяком случае, яснее представлял разницу между проведенным вместе с Джейн вечером и путешествием, которое ожидало их впереди. Джейн, кажется, тоже была смущена: в их подчеркнутом внимании друг к другу было что-то неестественное. Накануне, когда они встретились, чтобы получить визы (ненадолго, ибо как только закончились формальности, она уехала, ей еще надо было увидеться с Роз и сделать кое-какие покупки), она вела себя намного проще. Сама собой оставалась она и на семейном ужине, который состоялся в тот вечер в квартире Роз. Да еще и утром, перед отлетом, все было вполне обычно. Роз отвезла их в аэропорт Хитроу, и ее присутствие скрадывало для них новую реальность.

Теперь они сидели бок о бок и завтракали. Дэн ел неохотно. Он с давних пор предпочитал остаться голодным, чем есть то, что предлагалось в самолетах; Джейн же, как каждый истинный турист, считала, что следует сполна пользоваться всем, за что заплачено. Беседа вертелась в основном вокруг того, что каждый из них в то время читал. Она, будто бы неожиданно вспомнив что-то, наклонилась

над своей дорожной сумкой и извлекла оттуда книжечку в бумажной обложке, которую протянула ему с едва заметной улыбкой.

— Не понравится, не читай.

Это была антология «Лукач о критическом реализме», выпущенная небольшим левым издательством, о котором Дэн прежде никогда не слышал.

— Очень мило с твоей стороны, Джейн.

— Я как-то говорила тебе о нем.

— Обязательно почитаю в спокойной обстановке. На пароходе.

Теперь, когда он листал книгу, она смотрела на нее уже почти равнодушно.

— Интересное чтение.

— Уверен в этом. С удовольствием почитаю.— Он улыбнулся.— А сейчас мне надо еще кое-что просмотреть до Каира.

Из-за двухчасовой разницы во времени в Каире они приземлились уже почти на закате. Лондонский филиал компании Малевича позаботился о программе для Дэна и сообщил в Каир о времени их прибытия, но Дэн не особенно рассчитывал на то, что их встретят; его сомнения еще более укрепились, после того как они выполнили все паспортные и таможенные формальности и вышли в бурлящий главный зал, опоясанный балконами. Их оглушил невообразимый шум, мельтешение тысяч лиц самых разных оттенков коричневого цвета, резкий переход в неевропейский мир, который, как казалось, спокойно мирился с хаосом и грязью. Аэровокзал производил впечатление военного бивуака или растревоженного улья. Когда их осадила толпа таксистов и гостиничных зазывал, Дэн бросил взгляд на идущую рядом Джейн. Она улыбнулась, но он заметил, что хор чужих требовательных голосов, эта первобытная орда напугали ее.

Кто-то выкрикнул фамилию Дэна, и они повернулись. У колонны стоял высокий лысый мужчина. Он был одет в модный светлый плащ и темный костюм; на широком плоском усатом лице из-под отяжелевшими веками застыло выражение аристократического презрения к менее удачливым собратьям. Убедившись, что нашел тех, кого встречал, он улыбнулся, вскинул руку и сделал решительный шаг вперед:

— Мистер Мартин? Очень рад видеть вас. Меня зовут Джимми Ассад.

Дэн уже слышал о нем. Дэвид Малевич намеревался пригласить его в египетскую постановочную группу.

Мужчины обменялись рукопожатием, Дэн представил Джейн, Ассад весьма церемонно поцеловал ей руку; правда, когда потребовалось избавиться от таксистов и зазывал, все еще галдевших вокруг них, от его старомодной учтивости не осталось и следа. Разогнав их резкими гортанными фразами на арабском, он улыбнулся гостям, давая понять, что с европейской вежливостью тут далеко не уедешь. Снаружи их ждала машина с водителем. У Дэна возникло подозрение, что на сей раз Джейн не пожалела о своей принадлежности к привилегированной части человечества.

По пути в Каир Ассад рассказал немного о себе. Он, кажется, был не мусульманин, а копт[1]. Почти всю свою сознательную жизнь он проработал в местной кинопромышленности, сразу после второй мировой войны короткое время жил в Англии, где и получил свое столь непривычное для египтянина имя. Его английский язык был достаточно беден, но говорил он на нем бегло; Ассад, похоже, хорошо знал мир кино. Джейн и Дэну понравились его трезвые оценки и

[1] Египтянин, исповедующий христианство.

себя, и своей страны. Как и аэропорт, Каир кишел людьми, среди которых было немало беженцев из зоны Суэцкого канала. Джейн спросила, насколько вероятно возобновление военных действий.

— Скоро сами узнаете. Из газет. Каждый день пишут, что это случится завтра.— Он чуть закатил глаза.— Вы, англичане, думаете, что самым непревзойденным мастером военных речей был мистер Черчилль. Вы не слышали Садата[1]. Здесь его зовут «Грязь Сегодня Победа Завтра».— Повернувшись на сиденье, он бросил быстрый взгляд на Джейн.— Слово «грязь» я употребил ради вас, madame. Арабский язык весьма откровенен.

— Merde?

— Ah, tres bien. Vous parlez francais?[2]

К взаимному удовольствию, они выяснили, что говорят по-французски, и Дэн, скверно знавший этот язык, поспешно спросил:

— А здесь можно публично говорить так о президенте?

Ассад печально махнул рукой — дескать, нельзя,— но за его полуопущенными веками мелькнул озорной огонек.

— Нам, египтянам, повезло. Наша секретная полиция носит униформу.— Он взглянул на водителя, одно его опущенное веко дернулось, как от тика.— Une stupidité stupérfiante[3].

Ассад принадлежал к одному из самых своеобразных клубов в мире, к счастью не признающему границ: клубу политических циников. Дэн решил, что человек он испорченный, неглубокий, но вполне приятный.

Уже смеркалось, когда они въехали в город, являвший собой немыслимую смесь средневековья и современности: запущенные бульвары, грязно-белые и серо-зеленые фасады, пыль на всем, европейские одежды и развевающиеся галабии[4], босоногие мальчишки, ларьки, тележки, ослы с поклажей сочно-зеленой травы, выделяющейся яркими пятнами на общем сером фоне. До нас доносило запахи навоза, чего-то резкого — Ассад сказал, что это дым Хелуанского промышленного комплекса, расположенного выше по Нилу («Нам ведь надо доказать, что мы стали западной страной, поэтому, естественно, мы начинаем с загрязнения среды»); но с теплым субтропическим воздухом в окна машины проникали и более богатые терпкие ароматы.

Наконец они выехали на берег Нила, далекие пирамиды Гизы уже утонули в сумерках, зато великая река радовала глаз жемчужно-серым покоем. Вскоре машина остановилась около гостиницы. Ассад проводил их, чтобы убедиться, что с заказанными номерами все в порядке, и они выпили в холле. По намеченному плану на следующее утро Ассад должен был сопровождать Дэна к какому-то высокому министерскому чиновнику, но визит обещал быть пустой формальностью, которой можно пренебречь, если, конечно, Дэн не будет настаивать. Дэн не настаивал. Тогда они проведут день, объезжая те места для съемок, которые Дэн должен посетить по просьбе Малевича. Дэн еще раньше посоветовал Джейн осмотреть в Каире основные туристские достопримечательности. Ассад предложил в провожатые свою жену, но Джейн отказалась; поэтому они подошли к стойке администратора и заказали для нее обычную экскурсию: музей древностей и центр города утром, пирамиды — после обеда. Веко Ассада снова дернулось.

— Невероятно скучно, madame, но один раз посмотреть стоит.

Убедившись, что они устали и никаких развлечений на вечер не планируют, он попрощался и ушел.

---

[1] Анвар Садат (1918—1981) — президент Египта с 1970 по 1981 г.

[2] — Дерьмо?

— А, прекрасно. Вы говорите по-французски? *(франц.)*

[3] Колоссальная глупость *(франц.)*.

[4] Галабия — традиционная мужская одежда типа свободной рубашки.

Наверху выяснилось, что номера их, выходящие окнами на Нил, находятся рядом и что кто-то, скорее всего Ассад, исходил из неверного умозаключения. Их комнаты соединялись дверью. Дэн не рискнул проверить, заперта ли она. С его стороны ключа в двери не было, и он надеялся, что он торчит с другой. Пока Дэн, готовясь к завтрашней поездке, перечитывал каирские сцены в черновом варианте сценария, Джейн, судя по доносившимся из-за стены звукам, собиралась принять ванну. Дэну захотелось открыть бутылку виски, купленную в беспошлинном магазинчике аэропорта Хитроу, и он решил пригласить Джейн, но не мог заставить себя ни постучать в дверь, разделявшую комнаты, ни позвонить по телефону, что лишь подчеркивало бы неловкость положения. В конце концов он снял трубку и заказал в номер содовую и лед; потом со стаканом в руке подошел к окну и стал смотреть на уже темные воды реки, в которых отражались огни Гезиры[1]. В этой центральной части Каира движение было гораздо оживленнее, чем ему запомнилось по предыдущему приезду, а справа, по мосту, в реве клаксонов карабкался почти калифорнийский поток огней. И сам город чем-то напоминал ему Лос-Анджелес; возможно, воздухом и теплом, той же толпой и тем же напряжением — и это несмотря на все различия людей и архитектуры. Все большие города похожи. Каир был населеннее, старше, человечнее. Свидетельства средневековых контрастов бросались в глаза на каждом шагу; на Западе их просто прятали, здесь же они оставались на виду.

В дверь, соединявшую номера, два раза постучали, и он услышал голос Джейн:

— Дэн? Я готова, если ты хочешь спуститься поужинать.

— Прекрасно, Джейн. Эта штука открывается?

— Да, здесь есть ключ.

Ключ повернулся в замочной скважине, и она вошла. Джейн переоделась в простое темно-коричневое платье, в котором была на похоронах, и чуть подвела глаза.

— Я уже начинаю жалеть, что не привезла ничего понаряднее.

— Не говори глупостей. Платье очаровательное. Честное слово.— Она сделала притворный реверанс. Дэн улыбнулся.— Прости за эту дурацкую дверь. Это, видимо, фантазии Ассада.

— По-моему, выдумка умилительно старомодна. Ассад напоминает мне одного нашего арабиста, который пытается быть бóльшим оксфордцем, чем сами оксфордцы, но это, видимо, свойственно всем людям.

— Хочешь выпить? Или спустимся в бар?

Джейн выбрала бар. В баре слышались американская и французская речь; было там и трое мужчин, если верить Джейн, говорящих по-русски. Дэн спросил ее о первых впечатлениях. Джейн сильнее всего поразило сосуществование различных временных эпох и исторических пластов. Аэропорт произвел на нее пугающее впечатление, рабочие кварталы, по которым они проезжали, удручали еще больше. Мы уже стали забывать, как выглядит крайняя нищета.

После ужина они вышли на улицу и пошли по набережной Нила. Пешеходов почти не было, только машины: через несколько минут они остановились и, облокотившись о парапет, стали смотреть вниз, на воду, где бок о бок были пришвартованы три большие фелюги. В одной из них вокруг фонаря сидели три человека — видимо, сторожа: взрослый мужчина в белом бурнусе и черной накидке, скрывавшей галабию, и двое молодых людей — еще один маленький островок древнего мира. За суденышками на ровной глади воды сверкали огни Гезиры и Доккы. Время от времени от упавшей на воду капли один из огней рассыпался на куски. Дэн бросил взгляд на

[1] Гезира — остров на Ниле, застроенный фешенебельными зданиями.

Джейн, которая неотрывно смотрела на неяркий световой круг в центральной фелюге. На прогулку она надела то самое пальто, в котором встречала его на станции три недели тому назад. И на ней снова был ее серебряный гребень.

— О чем ты думаешь?

Она улыбнулась:

— Ни о чем, Дэн. Просто смотрю.

— Эта река всегда прекрасна. И днем и ночью. Вот увидишь.

— Не знаю почему, но она напоминает мне Луару.

— Фелюги великолепны под парусами. В каком-то смысле они châteaux[1] этой реки.— У фелюг, находившихся под нами, были укороченные мачты — это позволяло им плавать под городскими мостами.— Не чета скучным старым замкам.

— Которые я тоже мечтаю посмотреть.

У него возникло слабое, но вполне определенное ощущение ее молчаливого сопротивления: не стоит предвосхищать ее ощущения или пытаться изменить ее шкалу оценок. Так что на самом деле ее ответ был таков: да, конечно, но судить я буду сама.

Джейн выпрямилась и запахнула пальто.

— Замерзла?

— Должно быть, от реки холодом тянет.

Они прошли несколько сот метров по направлению к гостинице. Она действительно не хочет пойти куда-нибудь в город? Может, посмотрим «танец живота»? Он предлагал не очень серьезно, но тем не менее вызвал ответный поток вежливых вопросов. Может быть, он хочет куда-нибудь пойти? Поединок продолжался и в лифте, когда, по всей очевидности, они уже твердо установили, что единственное желание каждого — поскорее добраться до постели. Нет, он действительно?.. В коридоре, около своей двери, она протянула ему руку.

— Спокойной ночи, Дэн. Ты приобрел очень благодарного попутчика.

— Путешествие только начинается.

Она покачала головой:

— Когда мы смотрели на фелюги, я подумала, что уже ради этого стоило приехать.

— То ли еще будет!

Нил

После еще одной малоприятной встречи с каирским аэропортом и тяжелого перелета на переполненном ИЛ-18 Луксор показался райским местом. Сам город с его разбитой дорогой и несколькими претенциозными, но почти пустыми гостиницами на берегу реки не произвел на них большого впечатления. Но тепло завораживало; ярко-голубое небо, цветущие мимозы, акации и пойнсеттии[2], плывущие фелюги, вода с легкой рябью, отражающая охряно-розовые скалы исчезнувших Фив,— все, что они слышали о пейзажах и погоде этих мест, оказалось правдой. После толчеи и шума столицы привлекала даже провинциальность этого города и его непритязательная праздность — он так и просился на страницы романа Грэма Грина.

Стоящий на якоре современный белый «плавающий Хилтон»[3], который должен был стать их домом на предстоящую неделю, казался чистым и ухоженным, хотя, конечно, и не столь живописным, как старый нильский пароходик, на котором Дэн совершил предыдущее путешествие. Их каюты оказались на одной стороне, но не ря-

[1] Шато, вилла, загородный замок *(франц.)*.

[2] Пойнсеттия — тропическое дерево.

[3] «Хилтон» — название известной гостиничной фирмы и гостиниц этой фирмы.

дом. Дэн надеялся, что им удастся получить в столовой отдельный столик, и когда они спустились обедать, он попытался дать взятку старшему официанту, но выяснилось, что двухместных столиков нет. Единственное, что смог официант,— это посадить их вместе с американской четой. На пароходе было много французов и восточноевропейцев, а из говорящих по-английски только Джейн, Дэн и супруги американцы.

Этим застенчивым молодым людям не было еще тридцати. Оставшись потом одни, Дэн и Джейн утешали себя тем, что могло быть и хуже. Дэн подозревал, что ей было бы веселее за одним из французских столов, но ему совсем не хотелось покидать единственный англосакский островок среди этого вавилонского столпотворения.

Немецкий язык служил lingua franca[1] восточноевропейцам — по большей части немцам из ГДР, а также нескольким чехам и полякам. Почти все они работали в Египте по контрактам, впрочем, так же, как и американец. Его, специалиста по компьютерам, фирма по соглашению с египетским правительством командировала на год обучать программистов в новом департаменте министерства финансов под Каиром.

Всех их после обеда повезли в фиакрах на первую экскурсию — к Карнакскому храму, расположенному в двух километрах к северу от Луксора. Дэн заранее решил не ездить на экскурсии, но из чувства приличия на первый раз поехал, к тому же ему было любопытно, какое впечатление произведет на Джейн древняя гигантомания.

На Дэна сразу нахлынули те же ощущения, что и в прежний приезд сюда. Создатели Карнакского храма были одержимы монументализмом, отмеченным надменно-помпезной вульгарностью, что была в чести и у совсем недавних диктаторов. Временная дистанция лишь подчеркивала нелепость колоссальных усилий каждого фараона вытравить каменные свидетельства величия, оставленные потомкам его предшественником. Громадный комплекс обладал, конечно, некоторой театральной привлекательностью, но Дэна больше забавляли мелкие случайные детали: имена французов, итальянцев и англичан начала XIX века, вырезанные на верхней части громадных фаллических колонн — именно верхней, поскольку до раскопок они находились на уровне земли; или внутреннее озеро, по которому когда-то плавали священные барки. В нем до сих пор было много очарования. Дэн заметил у воды великолепного пчелоеда, в оперении которого сочетались изумрудно-зеленые и медно-красные тона, и подвел Джейн поближе, но вдруг с раздражением почувствовал, что она боится пропустить хотя бы часть бесконечной лекции гида.

На обратном пути они сделали получасовую остановку, чтобы осмотреть еще один громадный храм в Луксоре. тот самый, в котором отвратительный Рамсес II, дуче фараоновых династий, оставил свое имя на каждом углу и в каждой выложенной гранитом аллее.

Перед отплытием у них образовался час свободного времени. Еще в Каире Ассад рекомендовал им «единственного честного торговца древностями» в Луксоре, некоего мистера Абдуллама, и Джейн с Дэном отправились на поиски антиквара.

Когда они нашли его лавочку, то обнаружили, что их опередили: в конце узкой комнаты. заставленной стеклянными витринами, сидели и беседовали пожилой немец-египтолог, служивший гидом у туристов из Восточной Европы, и еще более старый хозяин лавки с крючковатым носом. Перед ними стояли маленькие кофейные чашечки. Как только Джейн и Дэн вошли, торговец встал и поспешил навстречу. Подойдя, спросил на ломаном английском: гости хотят купить древности? Дэн ответил, что они зашли просто посмотреть, а потом

[1] Здесь: общий язык *(лат.)*.

добавил, что лавочку им рекомендовал Ассад. Старик почтительно склонил голову, хотя Дэн подозревал, что это имя, по крайней мере в его произношении, ничего торговцу не говорило. Гости хотят скарабеи, бисер, фигурки? В голосе старика чувствовалось нетерпение.

— Мы бы хотели сначала посмотреть. — Дэн показал рукой в конец помещения. — Мы вас, кажется...

Немец протестующе поднял руку:

— Я здесь друг, а не покупатель.

Дэн и Джейн улыбнулись, отметив про себя его прекрасное английское произношение. Ученый был худой старик с редкими седыми прядями на голове и почти белой ван-дейковской, а может ульбрихтовской, бородкой. Лицо его выдавало человека осторожного, но достаточно авторитетного. Рядом с его стулом стояла трость. Дэн видел, как в Карнаке он пользовался ею как указкой. Мистер Абдуллам начал вынимать подносы со скарабеями и нитками бисера, а они стояли у прилавка, слегка смущенные всем этим вниманием и цепким взглядом старого торговца. Внимание Джейн привлекли нитки бисера, сделанные из бесчисленных миниатюрных кружочков цвета морской волны с редкими вкраплениями рыжевато-коричневого сердолика, и она спросила, откуда они. Ей ответили, что из захоронений. Это понятно, но из каких мест? Этот вопрос, казалось, поставил торговца в тупик, он повернулся и что-то сказал по-арабски своему гостю, который тут же пришел на помощь:

— Эти бисерины найдены в разных местах, madame. А на нити их нанизывает сам господин Абдуллам. Они очень древние, но археологической ценности не имеют.

— Понятно. Спасибо,— сказала Джейн.

Мистер Абдуллам вынул ключ и отпер какой-то ящик под прилавком. Там были подлинные бусы, но и цены оказались намного выше, а оракул в глубине магазинчика молчал — они понятия не имели, дешево это или дорого. Дэн и Джейн снова принялись рассматривать сделанные стариком нитки, цены на которые колебались от трех до пяти фунтов. Джейн купила две нитки бисера для своих дочерей, а потом помогла Дэну выбрать одну для Каро. Дэн заметил, что две сердоликовые бисеринки имеют подозрительно свежие грани, и, вивидимо, считая, что с арабскими торговцами нельзя не торговаться, высказал вслух свое сомнение. Хозяин лавочки снова обратился к авторитетному гостю. Тот протянул руку:

— Разрешите посмотреть.

Дэн прошел с ожерельем в глубину помещения, старик вынул из кармана маленькую линзу и внимательно осмотрел сердоликовые камешки.

— Все в порядке. — Он показал рукой. — Просто стертые камешки найдены не сейчас, их уже носили деревенские женщины.

— Ах, вот как.

Джейн подошла к ним и заговорила, обращаясь скорее к Дэну, но ответил ей старик.

— Мне кажется, это добавляет им прелести. То, что их так долго носили.

— Совершенно с вами согласен, madame. Это безусловно делает их еще человечнее.

Старик вернул ей ожерелье.

— Боюсь, что мы ничего в этом не понимаем,— заметила Джейн.

— Тогда я вам кое-что покажу. — С медного столика старик-немец взял в руки скарабея, сделанного из очень необычного камня, по цвету похожего на говядину с жировой прослойкой. — Этот скарабей тоже служил украшением деревенской женщине. Видите, как он стерся? — Немец протянул скарабея Джейн, которая повертела его в руках и передала Дэну. — А вот тут просверлили дырочку, чтобы его

можно было носить на шнурке. За много поколений дырочка от трения превратилась в воронку.

— Да, вижу.

— Это очень редкий тип скарабея Одиннадцатой династии[1]. Их, по-моему, известно не более десятка. — Он взглянул через всю комнату на хозяина лавчонки. — Я только что сказал Абдулламу, что, по моему мнению, вещица подлинная. — Он слегка развел руками. — Через мои руки прошли тысячи скарабеев. Меня не так просто обмануть.

— И что же?

— Господин Абдуллам только что признался мне, что скарабей сделан в прошлом году стариком из соседней деревни. Он сам видел, как его делали.

— Да что вы говорите?!

Старик посмотрел на них с мудрой улыбкой.

— Есть чудесное правило: чем скромнее вещь, тем вероятнее ее подлинность.— Он взял скарабея и, любуясь, положил его обратно на кофейный столик.

Джейн прошептала:

— Очень интересно.

Он склонил голову, как бы говоря: «к вашим услугам».

— Caveat emptor?[2] Так, наверное, вы подумали? Но моему другу можно доверять. Цены у него умеренные.

Они снова поблагодарили его, заплатили за покупки, с улыбкой кивнули старому ученому, который ответил им поклоном, и, простившись у дверей с мистером Абдулламом, вышли на улицу.

Джейн нужна была сумка для экскурсий, поэтому они отправились на базар и через десять минут ушли оттуда с покупкой. В тени галереи Джейн остановилась, чтобы получше разглядеть соломенную сумку. Вдруг рядом с ними раздался голос:

— Это не старинная вещь.

Старый немец с бородкой догнал их, возвращаясь на пароход. Они улыбнулись его шутке. Дэн снова поблагодарил его за помощь и сделал еще один комплимент его прекрасному английскому языку. Они попросили разрешения проводить его.

Пока они медленно шли, старик рассказывал им о себе.

Он не профессиональный археолог, его научная специальность — экономика Древнего Египта. Пять лет назад, после серьезного сердечного приступа, он оставил преподавание в Лейпцигском университете и перебрался в Каир, где занимается поиском и изучением папирусов по своей тематике, с этой же целью ему приходилось ранее часто бывать в Англии.

Несмотря на свой почетный статус, он не считал необходимым как-то объяснять свое нынешнее скромное занятие, что, по размышлении, понравилось Джейн и Дэну. Они решили, что сопровождение туристов приносило ему дополнительный доход, а возможно, и служило обязательным условием его почетного назначения. Ему было семьдесят два года, звали его Отто Кирнбергер. Два года спустя из некролога в газете «Таймс» Дэн узнал, что этот учтивый и дружелюбный старик был в действительности мировым авторитетом по системе налогообложения египетских фараонов и «непревзойденным по широте своих знаний» папирологом.

Шесть дней путешествия перетекали один в другой, словно сама река, спокойно, но безостановочно несущая свои воды меж берегами. Они скоро полюбили Нил и его пейзажи,— впрочем, Дэн полю-

---

[1] Одиннадцатая династия фараонов правила в Древнем Египте во втором тысячелетии до новой эры.

[2] Да будет осторожен покупатель *(лат.)*.

бил эти места еще в первый приезд. Нил, казалось, достигал не только сердца Африки, но и глубин самого времени. Отчасти это впечатление создавалось древней архитектурой и старыми как мир деревнями и полями феллахов, минаретами и пальмовыми рощицами, женщинами с неизменными кувшинами для воды, фелюгами, колодезными журавлями, водяными колесами, которые приводили в движение ослы или волы,— но все же рождалось оно много глубже, объединяло преходящее и вечное, вызывавшее у них обостренное ощущение собственного настоящего и прошлого.

Река двигалась, и река стояла, сие зависело от того, как смотрел на нее человек — оком или разумом; она была воплощением Гераклитова «единого», что «расходясь, само с собою сходится». Это была река жизни, напоминавшая Дэну величественное начало Екклесиаста[1], из которого большинство людей помнит только фразу «суета сует», но которое всегда — а отец чаще всего заставлял его учить в детстве именно Екклесиаст — казалось ему просветляюще-успокоительным. *А земля пребывает во веки; и нет ничего нового под солнцем.* Они оба заметили в себе и эти библейские отзвуки, и то, как часто их стали посещать обманчивые и неотвязные детские воспоминания. Причиной тому река, решили они,— библейски величавая поэма, богатая метафорами, до сих пор не утратившими остроты.

Конечно, метафоры чаще всего рождались под воздействием реальных пейзажей, но как в Библии есть отрывки, которые не оставляют равнодушными самых закоренелых атеистов, так и Нил кроме очевидных физических красот обладал еще и каким-то метафизическим очарованием. Очищая и просветляя, он показывал жизнь во временной перспективе. Память о сотнях поколений, неисчислимых народах, обо всем, что навечно исчезло под речным илом, отрезвляла и умаляла, низводила человека до малой песчинки в бесконечной пустыне, что простиралась за возделанной долиной. И все же многие настроения, цветовые гаммы и виды великой реки были фантастически прекрасны, особенно на заре и на закате, словно бы искупая вечное равнодушие жизни и ее сугубо географическое существование. Несмотря на нищету, болезни и все остальные беды этого допотопного деревенского мира, Джейн и Дэн не испытывали к нему чувства жалости.

Купающиеся или стирающие белье женщины, похожие в своих мокрых одеждах на классические греческие статуи, вскидывали глаза на плывущий мимо белоснежный корабль, смеялись и отступали от набегавшей волны. Сначала в таких случаях Дэну и Джейн было не по себе, словно они неслись сквозь средневековую деревушку в королевской кавалькаде или глазели из окон движущегося Версаля. Когда пароход подходил ближе к берегу, завидев неизменную батарею фото- и кинокамер, одни женщины поворачивались к ней спиной, другие с простым и серьезным мусульманским достоинством закрывали лицо покрывалом или руками и ждали, пока незваные гости проплывут мимо, третьи, чаще всего молодые, озорно подглядывали сквозь растопыренные пальцы — в памяти тут же возникал гарем или женская половина традиционного арабского дома. Потом на Джейн и Дэна стала накатывать чуть ли не зависть к безыскусной жизни в этом зеленом и текучем, извечно плодородном и небесно-голубом мире: с такой завистью смотрел бы, видимо, на Землю обитатель другой, более холодной и суровой планеты. При виде подобных идиллических пасторалей собственное сверхсложное существование могло казаться им чем-то вроде набежавшей тучи, капризы погоды, несчастливого жребия. Джейн вспомнила Монтескье — и они обсудили, не является ли весь западный «прогресс» результатом печальной необходимости хоть чем-то заполнить ненастный день

[1] Одна из книг Ветхого завета.

истории. Однажды утром, когда, облокотившись на поручни, они смотрели на залитую солнцем реку, она придумала для нее эпитет: мудрая — и сама по себе, и по делам своим.

Если Нил был историей человечества, то пароход — миниатюрной карикатурой на человеческую расу или, во всяком случае, на ее западную часть. Со второго дня путешествия начались знакомства между двумя основными партиями — французами и восточноевропейцами. Посещение достопримечательностей выявило их общую страсть к фотографированию и киносъемке. Когда достойные объектива виды случались на обоих берегах сразу, на переполненной палубе разыгрывались сцены из фильмов Тати[1]: возбужденные охотой за удачными кадрами картье-брессоны[2] дружно метались от левого борта к правому и обратно.

То, что Дэн и Джейн наблюдали ежедневно, почти не требовало ни мысли, ни внимания — одно бездумное щелканье. Фотографирующему не требовалось ни думать, ни напрягать воображение, ни запоминать, ни чувствовать. Возможно, в простом дублировании зрения, в желании удостоверить, что человек был здесь, и состояло основное преимущество пассажиров парохода, который и без того был уже сверх всякой меры перегружен иными культурными и экономическими привилегиями. Он поделился с Джейн этими мыслями, и она высмеяла его за измену собственному искусству.

На следующий день, когда они осматривали на берегу очередную достопримечательность, она подошла к нему, опустив очи долу в притворном раскаянии:

— Дэн, я знаю, что это совершенно вульгарное и мещанское желание, но не согласишься ли ты удостоверить, что я была здесь? Видишь вон тот фриз?

Он сделал снимок, но все же сказал, хмыкнув:

— И тем не менее я прав.

Она улыбнулась:

— Да кто же тебе говорил, что ты не прав?

Однажды, придя к нему в каюту на их обычный предобеденный виски, Джейн села писать открытки, словно бы забыв о его присутствии — он был этому рад не меньше, чем откровенному разговору. Их товарищество росло, хотя так медленно, что Дэн осознал это лишь позже, вспоминая пережитое.

Менялось в нем в тот момент и что-то еще, ибо, когда она сидела в его каюте и писала открытки, он читал книгу Лукача, которую она ему подарила в самолете,— и отнюдь не из чувства вежливости. Случайно он наткнулся на отрывок, который перекликался с мыслями Энтони в тот незабываемый вечер:

Современному буржуазному писателю приходится выбирать между двумя методами — между Томасом Манном и Францем Кафкой. Чтобы сделать выбор между социальным здоровьем и ущербностью, великими прогрессивными традициями литературного реализма и формалистическим экспериментаторством, писателю нет необходимости порывать со своим буржуазным образом жизни. Важен лишь личный выбор, которым сегодня определяется тем, принимает художник Angst[3] или отвергает его. Возводит он его в абсолют или пытается преодолеть. Рассматривает он его как одну из многих человеческих реакций или же считает решающим фактором condition

---

[1] Жак Тати (р. 1908, настоящее имя — Татищев) — французский актер и режиссер комического кино.

[2] Анри Картье-Брессон (р. 1908) — французский мастер фотоискусства.

[3] Страх *(нем.)*. Одно из основных понятий экзистенциализма. Введено в философский обиход С. Кьеркегором (1813—1855), различавшим обычный страх-боязнь (нем. Furcht), вызываемый конкретным предметом или обстоятельством, и безотчетный страх-тоску (нем. Angst) метафизический страх, который обусловлен тем, что человек конечен и знает об этом.

humaine[1]. *Эти вопросы относятся, конечно, не столько к литературе, сколько к человеческой жизни и опыту в целом. Основной вопрос состоит в том, бежит ли человек от своего времени в абстрактный мир (именно тогда Angst и зарождается в человеческом сознании) или же смело встречает жизнь, готовый бороться со злом и поддерживать добро. Из первого вопроса вытекает и второй: что есть человек — бессильная жертва трансцендентных и непостижимых сил или член человеческого сообщества, в улучшении и преобразовании которого он принимает посильное участие?*

Дэн прочитал этот отрывок дважды и отчеркнул его карандашом.

В Абидосе и других местах, куда их возили в те дни, Дэна поражали одержимость древних создателей большими количествами и длинными списками и их стремление к умножению предметов даже там, где было бы достаточно одного. За пантеоном египетских богов он ощутил математического сверхбога-каталогизатора с очень глубинным horror vacui[2], а точнее — horror uni[3]. Герр профессор позднее поправит его, но в те дни у Дэна возник детский, а возможно, и типично английский образ — он разделил все цивилизации на две крикетные команды. В команду своих противников он включил Древний Египет, Древний Рим, современную Америку и Россию, Британию Китченера; а за его собственную команду играли минойская и этрусская цивилизации, Возрождение и... конечно, Англия, правда, не реальная, а вымышленная.

Команда, возглавляемая египтянами, больше всего раздражала его тем, что ее искусство принципиально не поддавалось романтизации. Слишком уж явно оно покоилось на статусном потреблении и социальном престиже. Фараоны и их боги были первыми самодовольными буржуа этого мира. От их картин и скульптур несло расчисленной точностью и официально-чопорным холодом. Они каким-то образом сумели изъять из них чувствительность, любовь к жизни, любой импульсивный избыток, спонтанные преувеличения и способность к отвлеченному мышлению. Вместо того чтобы восхищаться искусством, они пользовали его. Сталин и Жданов родились уже в Древнем Египте.

Река меж берегами

Плавание по Нилу радовало Дэна и возможностью понаблюдать за птицами; Джейн особого интереса к птицам не проявляла. В этот раз Дэн, к счастью, захватил с собой в путешествие полевой бинокль. Для пернатых Нил является и местом зимовки, и одним из основных миграционных путей, так что птицы здесь повсюду: сотни трясогузок на каждом берегу и часто даже на самом пароходе; клубящиеся облака стрижей и прекрасных пурпурных и лазоревых ласточек; бесконечные стаи уток — шилохвосты, кряквы, нырки, чирки и другие, которых он не мог определить; дикие египетские гуси, чьих дальних предков он недавно видел совершенно рядом, в рисунках на храмовых стенах; серые и белые цапли, ястребы и соколы. По его представлению, любому пейзажу требовалась своя, самая характерная, эмблематическая птица; и он решил, что для Нила такой птицей был шпорцевый чибис, родственник английских чибисов, которых он иногда встречал на лугах в Торнкуме, но только здесь он гораздо элегантнее и красивее: Нефертити рядом с замарашкой. Природа, как всегда, восхищала и ободряла Дэна. А земля пребывала, и за покровами и оперением не было под солнцем ничего нового.

---

[1] Человеческое существование *(франц.)*

[2] Боязнь пустоты *(лат.)*.

[3] Боязнь единственности *(лат.)*.

Птицы в каком-то смысле были первыми феллахами этой земли; выжившие благодаря простоте, они составляли мир, противоположный корабельному,— настоящее убежище от неврозов, чрезмерной чувствительности, тщеты, иллюзий и дилемм его собственного сверхутонченного типа людей. Именно птицы помогли ему возобновить беседы с герром профессором. Это случилось на обратном пути из Абидоса в Дендеру. Дэн стоял на палубе и смотрел в бинокль на Нил, который в том месте широк и окаймлен песчаными берегами. Сзади послышался голос:

— Птицами любуетесь?

Дэн опустил бинокль.

— Да. Хотя, признаться, в орнитологии я не силен.

Концом своей трости старик указал на далекое скопление.

— Это Chenalopex aegyptiacus. Египетский гусь.

— Я только что наблюдал за ними.— Он улыбнулся профессору.— А вы еще и орнитолог?

Старик протестующе поднял руку:

— Мне пришлось выучить их названия в интересах археологии. Ими иногда выплачивали дань.

— В Карнаке мы видели изумительную птицу. Изумрудную... Ее, кажется, называют пчелоед?

— Пчело... ах, да. Bienenfresser[1]. Зеленый, как попугай? Это Merops superciliosus[2].— Он пожал плечами, словно признавая, что латинские названия — сущий педантизм.— Их тоже выплачивали в качестве дани. Из-за красивого оперения. По крайней мере, так мы предполагаем. О соответствующем иероглифе до сих пор спорят.— Помолчав, он спросил:— Знаете ли вы, что египтяне оказали этой птице великую честь? Она у них символизировала самое важное слово в любом языке. Душу. Дух.

— Я этого не знал.

Джейн лежала в шезлонге неподалеку и читала биографию Китченера. В этот момент она встала и подошла к ним. Старик приподнял свою панаму.

Дэн сказал:

— Я больше не потерплю насмешек над моей страстью к птицам. Профессор Кирнбергер привел очень веские доказательства моей правоты.— И он пересказал ей только что услышанное. Она склонила голову, изображая покаяние, и обратилась к старику:

— У меня к вам совсем банальный вопрос. Что за растение они выращивают?— Она показала рукой на ближний берег, который до самой воды был испещрен заплатами зеленых квадратиков.

— Это барсим. Сорт зимнего клевера. Им кормят скот.

— Наверное, его выращивают здесь тысячелетия.

— Нет. Неизменными остаются только методы обработки почвы.

Подошел официант с кофе, и они уговорили старика посидеть с ними. Он сидел прямо, положив обе руки на набалдашник трости, и часто кивком головы здоровался с кем-нибудь из своих подопечных. Как только они сели за столик, Джейн спросила с улыбкой:

— Не безнравственно ли с моей стороны то, что феллахи мне нравятся ничуть не меньше храмов?

Старик, по своему обыкновению, помолчал, словно собираясь с мыслями. В глазах его загорелся огонек.

— Подозреваю, madame, что вы знаете: женщины особенно прелестны, когда они безнравственны.— Сухая кожа около глаз сморщилась.— Может, поэтому не стоит и говорить, что ничего безнравственного я в этом не вижу.— Он снова бросил взгляд на берег.— Всю свою жизнь я провел, роясь в прошлом.

---

[1] Пчелоед *(нем.)*.

[2] В русском обиходе птица называется «зеленая щурка».

И он начал рассказывать им — они и виду не подали, что кое-что уже знают из туристического буклета,— о феллахах. Само слово происходит от глагола «фалаха» — пахать, обрабатывать землю. Мусульмане и копты селятся, как правило, врозь. История прокляла и тех и других тем, что у них никогда не было поместной аристократии. Их наделы всегда принадлежали отсутствующим земледельцам, которые многие тысячелетия доверяли управление ими касте безжалостных надсмотрщиков. Но положение стало быстро меняться с введением земельной реформы Насера. Пусть Дэна и Джейн не обманывает внешнее спокойствие; между феллахами происходят кровавые клановые стычки, много случаев воровства скота. Им запрещено иметь огнестрельное оружие, но винтовка есть у каждого. Они очень строги и в вопросах женской чести. История Ромео и Джульетты на феллахский манер разыгрывается здесь почти повседневно.

Джейн спросила, симпатизируют ли они социалистическим тенденциям в египетской политике. Старик покачал головой:

— Это выше их понимания. Каир столь же далек от них, как Берлин или Лондон. Они очень древние, страшно подумать, сколько на их глазах погибло так называемых великих цивилизаций — жестоких, лживых, лицемерных. Для них существует только река и земля. Только об этом они и заботятся. Социализм для них — очередная иноземная культура. Может, хорошая, а может, и плохая. Полковник Насер возвратил им часть их земель. Это хорошо. Но он же построил Асуанскую плотину, из-за которой их земли больше не удобряются плодоносным илом. Это плохо. Какая польза им от электроэнергии? Поживут — увидят. Так было с незапамятных времен, так, я думаю, будет для них всегда.— Он снова бросил взгляд на берег.— Я люблю их. Со всеми их недостатками. Это храбрые люди.

И наконец, он назвал два слова, без которых невозможно понять характер феллаха. Одно — это *кадим,* древняя сила, которая их никогда не покинет. Это ключ к их жизни, к возможности выживания. А другое — *кайф,* что означает «сидеть, думать и ничего не делать». Как сказал профессор, это похоже на ожидание поезда, который никогда не придет.

Джейн заметила:

— По-моему, это очень печально.

Старик пожал плечами:

— Это философия необходимости. А такие философии всегда печальны.

— Но вы ей симпатизируете?

— Давайте лучше скажем так: мне, старожилу здешних мест, нельзя не понимать ее.— Он посмотрел вниз, по-птичьи склонив голову, руки его по-прежнему лежали на набалдашнике трости.— Это философия для стариков.— Потом с кривой усмешкой взглянул на Джейн и Дэна.— И возможно, прежде всего для старых египтологов.

Джейн сказала:

— Профессор, мне кажется, что для фаталиста у вас слишком хорошо развито чувство юмора.

Старый немец опешил. Он посмотрел на нее сурово, словно понимая, что его дразнят, но, прежде чем ответить, снова опустил голову и задумался.

— Юмору я учился у его родоначальников, madame. Много лет назад я совершил нечто немыслимое для истинного немца и настоящего молодого ученого. Я влюбился в англичанку. И, что еще хуже, женился на ней.— Мгновение он наслаждался их недоверчивыми улыбками.— Она, увы, умерла. Но в самые счастливые наши годы ей удавалось убедить меня, что ученость и напыщенность далеко не всегда одно и то же.— Затем добавил, уже тише:— Я рад, что вы мне напомнили об этом уроке.

— Она давно умерла?

— Много лет тому назад. Сразу после войны.

— И тоже была археологом?

— Нет, madame. Врачом. Насколько я знаю, чуть ли не первой женщиной-врачом в Каире.

Он назвал ее девичью фамилию, которая ничего не говорила ни Джейн, ни Дэну; ее отец тоже был врачом и во времена английского протектората руководил в Каире больницей. Его до сих пор «с благодарностью» вспоминают в этой столице, сказал старик; и это несмотря на англофобский характер египетского национализма. Жена-англичанка родила ему двоих мальчиков. Старший живет теперь в Восточной Германии, младший пошел по отцовским стопам, хотя занимается археологией майя в Америке. У старого египтолога уже давно несколько внуков.

С тех пор они часто с ним беседовали. Когда восточноевропейцы отправлялись осматривать достопримечательности, Дэн и Джейн откровенно им завидовали. Французская группа начала тяготиться ораторскими преувеличениями своей египетской матроны; и однажды, когда две группы во время десятиминутного отдыха около храма царицы Хатшепсут случайно оказались рядом, Дэн и Джейн воочию убедились, как много они теряют. Герр профессор подозвал их к себе и повел в зал Пунта[1], где на одном из рисунков, изображающих морское путешествие царицы в Сомалиленд, показал Дэну птиц; а потом рассказал коротко о царице и ее жизни. Разница между вызубренным и живым знанием была поразительна.

Они шли вместе с седобородым стариком к ожидавшим их автобусам и осторожно пытались выяснить, что же заставляет его заниматься столь неблагодарной работой с туристами. Старик незамедлительно бросился защищать своих подопечных. По его словам, все они были прекрасными специалистами в своих областях и оказывали Египту неоценимые услуги, так что общение с ними — награда для него; кроме того, он таким образом получает вести с родины и знакомится с самыми разными взглядами на жизнь. В целом в таких поездках он получает больше, чем дает. И разве оксфордские преподаватели не ездят во главе туристических групп в Грецию или Турцию? Дэн и Джейн были вынуждены согласиться, поскольку не сумели объяснить собеседнику, что он делает нечто совсем иное, несравненно более демократичное. Дэн решился спросить, существует ли марксистская точка зрения на Древний Египет. Старик кивнул.

— Безусловно. Египет, а также Греция и Рим — наиболее изученные марксистами культуры древнего мира.— Это был самый нейтральный ответ, но, видимо, ученый догадывался о заложенном в вопросе скрытом смысле. Он покосился на Дэна.— Мистер Мартин, знаете ли вы, что означает *ка?*

— Душу?

Старик поднял палец.

— Не совсем. Этимологически оно восходит к тому, что греки называли pneuma — дыхание. Оно очень индивидуально. Каждый имел свое *ка.* Если хотите, это идеальный образ отдельной человеческой жизни. Он может пережить смерть только со своим телом — вот почему древние так заботились о сохранности своих трупов. Понять *ка* легче всего, сравнив его с *ба.* Последнее с телом не связано. Оно тоже имело индивидуальный характер, но после смерти воссоединялось с *ку* — божественным духом,— который не имел телесной оболочки. Все это достаточно сложно. Но мы можем сказать, что *ка* и *ба* суть точки зрения на человека: как на индивидуума и как на часть целого.— Концом палки он на ходу ткнул в сторону:— Человек с точки зрения художника.— Он показал палкой в другую сторону:—

---

[1] Пунт—древнеегипетское название страны в Восточной Африке. Объект грабительских походов египетских фараонов.

И человек с точки зрения ученого. С одной стороны, вместилище уникального опыта, с другой — часть общего процесса.— Он посмотрел вперед, где две группы рассаживались по автобусам, потом улыбнулся Дэну и Джейн.— Что касается меня, то я не знаю, что лучше. Древние же были мудры. Они знали, что ни одна из этих ипостасей не самодостаточна. Вы понимаете?

Дэн улыбнулся старику, потом мельком — Джейн и отвернулся.

— Понимаю. И согласен с вами.

— Ну и хорошо.

Так они еще раз убедились в мудрости старого ученого, а Дэн познакомился с новым понятием — *ка* или личным бессмертием, которое связано с телом, его пожитками и остатками, даже если последние являются всего лишь чьими-то воспоминаниями о миссис Дэллоуэй[1].

Они с Джейн обсудили эту беседу в тот же вечер перед ужином в связи с Китченером, поскольку Дэн решил вставить в сценарий разговор Китченера с викторианским египтологом, который объясняет тому значения *ка* и *ба*. Дэн подумал, что эти два понятия, *ка* и *ба*, приложимы и к его собственным отношениям с Джейн. Он выражал первое. Джейн — второе; напускное честолюбие и притворная самоотверженность; и то и другое недостаточно.

Однажды утром, когда по палубе разносили кофе, они снова уговорили профессора посидеть с ними, хотя на этот раз он был с чешским горным инженером. Дэн раскрыл истинную причину своего путешествия по Египту, которая очень заинтересовала старика. Сам он приехал в Египет уже после упразднения английского протектората над страной в 1922 году, но многое знал о тех временах. Его тесть-англичанин в молодости даже встречался несколько раз с Китченером и лордом Кромером; и сам профессор до сих пор относился к ним с уважением, которое унаследовал от своего родственника. Теперь настала очередь Дэна просвещать своих спутников. Вспомнив только что придуманную сцену, он в конце своего рассказа заметил, что фараоны, более всего страдавшие манией величия, послужили плохим примером для английского губернатора. Это соображение позабавило старого немца. Он обратился к чеху:

— Англичане часто подают очень плохой пример другим нациям. Они не уважают своих героев.— Но поддержки он не нашел. Инженер признался, что эта черта в англичанах ему как раз по душе. Старик кивнул Дэну:— Ладно. Вы вольны относиться неуважительно к лорду Китченеру. Но не к Рамсесу II.

Дэн усмехнулся:

— Так ли уж они отличаются друг от друга?

Старик бросил на него суровый взгляд.

— Какой цинизм, мистер Мартин. Уму непостижимо.

— А я надеялся, что со времени XX съезда он разрешен.

Джейн и Дэн знали, что чех не был членом партии и не без скепсиса относился и к пятилетним планам, и к государственной бюрократии; подмигнув Дэну, он встал на его сторону:

— Мне кажется, что мы вновь сталкиваемся с культом личности.

— Не следует применять эти современные термины к тем временам, мой друг.— Старик погрозил чеху пальцем.— Как я уже говорил вам всем на предыдущей экскурсии, если вы внимательно слушали, даже слово «раб» вносит путаницу.

— Почему, профессор? — спросила Джейн.

— Поскольку оно подразумевает понятие хоть какой-то свободы, состояние не раба. Свободной воли. Ничего подобного в Древнем

[1] Аллюзия на роман Вирджинии Вулф (1882—1941) «Миссис Дэллоуэй».

Египте не было. В Греции пятого века до новой эры... возможно. Но не здесь.

Дэн рискнул задать еще один провокационный вопрос:

— Разве нельзя утверждать, что древние разорители гробниц верили в свободное предпринимательство?

Но старый профессор более не был расположен к шуткам.

— Не надо понимать меня чересчур буквально. Разумеется, и в те времена были плохие люди. Честолюбивые. Нечестные. Но не было групп людей, которые бы подвергали сомнению сами принципы их общества. И как могли возникнуть сомнения? У них не было других моделей. Им не с чем было сравнивать.— Он мягко упрекнул Дэна:— Не надо ко всему подходить с современными мерками. Так мы ничего не поймем.

Дэн указал на сложность древнеегипетской иерархии, одержимость древних длинными списками и снова получил нагоняй за смертный грех антиисторизма:

— Перед нами люди самого начала современной эпохи. Жизнь полна риска, пути ее неисповедимы. Постепенно эти люди начинают замечать, что в малом ею можно управлять. Они делают много ошибок. Но они также видят, что управление есть знание и что самым мощным инструментом знания является символ, который может представлять взору неявленное. Они похожи на детей — возможно, они слишком гордятся своей маленькой властью. Но разве можно смеяться над ребенком, который хочет чему-то научиться?

— Однако этого-то им не хватает — детской простоты минойского и этрусского искусства.

— Простите, но вы выказываете свое невежество. В таких древних культурах, как египетская и минойская, искусства не было. Сознательное искусство для них не существовало. Они только хотели управлять. Именно такой нашей оценки они и желали бы — насколько успешно они управляли. А не сколь симпатичными они выглядят в наших глазах, глазах теперешних людей.— Он развел руками.— Не оттого ли другие цивилизации и просуществовали столь мало?

— И все же их методы управления более привлекательны.

Профессор покачал головой:

— Нет, мистер Мартин. Более невежественны. Более примитивны, если угодно. И думаю, что вам они нравятся только из-за вашей сверхутонченной цивилизованности.— Он поднял руку, предвосхищая возражение Дэна.— Знаю, часто Древний Египет кажется холодным... официальным, надменно царственным. Вам бы хотелось, чтобы здесь было больше народного искусства, искусства обычных людей. Я точно так же иногда скучаю о музыке Kaffeehaus моей молодости. Но зачем же винить фараонов?! Винить надо время. Время — вот источник всех человеческих иллюзий.

— Но ведь времена мы не выбираем?

— Верно, во всяком случае, в том, что касается нашей бренной плоти. Воображение же наше вполне способно вырваться из такого плена. На днях вы, как мне показалось, не без интереса слушали мой рассказ о землевладельцах, которые когда-то эксплуатировали наших милых фаллахов. Помните? — Дэн улыбнулся и кивнул.— По отношению к истории мы все — не живущие на земле землевладельцы. Мы думаем: ах, глупцы, если бы они только знали то, что знаю я. Если бы они трудились побольше, чтобы угодить мне и моим вкусам. Разве не так? — Дэн снова улыбнулся и был вынужден согласиться.— И наконец, кто сотворил все эти прекрасные скульптуры и рисунки, что вы видите каждый день?

— В том-то и дело. Боюсь, что история сохранила не те имена.

Старик улыбнулся:

— Снова слышу голос нашей эпохи. А не прошлого.

Дэн пробормотал:

— Голос моего *ка*.

— Это естественно. Вы — писатель. Со времен античной Греции все художники, как древние фараоны, хотят, чтобы их помнили по именам. Возможно, люди творческих профессий — единственные фараоны нашего времени. Вы, кажется, берете реванш у прошлого.

Разговор перешел на другие темы. Но Дэном уже овладели чары Египта, которые отбрасывали свет на все художественное творчество; он понял, что, теряя веру в загробную жизнь, люди все чаще видели в искусстве средство спасения. Это было что-то совершенно противоположное смирению феллахов, ожиданию поезда, который никогда не придет — судорожное возведение гробниц, мумифицирование, коллекционирование личных достижений, болезненная потребность окуклиться, построить кокон еще до созревания личинки и с полной уверенностью, что мира, где имаго (освобожденное *ка*) выйдет наружу, не существует. А многим ли сам Дэн отличался от неизвестного каменотеса, вырубавшего голову Рамсеса? Он мог, конечно, сослаться на то, что скорее изучает или даже разоблачает, чем возвеличивает. Но ставить в центр внимания и значит возвеличивать; и когда внимание привлекается не столько к объекту, в данном случае — к Китченеру, сколько к самому способу описания объекта, то есть к собственной творческой манере, паразитизм автора очевиден. Внутренне насмехаясь над собой, Дэн подумал, не стоит ли ему стать первым сценаристом, отказавшимся от всяких наград и почестей.

Все это каким-то парадоксальным образом укрепляло его решимость попытать силы в новом жанре, начать другую жизнь сразу после завершения сценария о Китченере; парадоксальным, поскольку сценарий как раз начинал обретать плоть, новые идеи рождались каждый день. Может быть, профессор прав, предположив, что художники — последние фараоны? Так пусть они бросают работу над чужими гробницами и монументами и создают памятники самим себе.

Пустыня день за днем подбиралась все ближе — скоро они должны были пересечь тропик Рака. Пресытились даже фотографы-любители, и многие интересные сцены на берегу и встречных фелюгах оставались незапечатленными.

Они посетили Эсну, грязный городишко, в центре которого в громадной яме стоял храм. По дороге к храму и на обратном пути туристов осаждали толпы нищих. Особенно усердствовал мужчина с двумя тростниковыми корзинами, притороченными к поясному ремню, и один из французов расщедрился на бакшиш, который у него с шумом требовали; тут же из одной корзины появилась змея, а из другой — громадный скорпион; скорпиона мужчина держал за изогнутое жало, и он медленно шевелил лапами в воздухе. Тотчас образовался круг, вновь появились десятки фото- и кинокамер. Один из друзей хозяина ядовитых тварей мешал снимать и снова требовал денег. За экзотику надо платить.

В тот день после ужина был объявлен концерт и танцы; Дэн и Джейн поднялись вечером в салон поздно. Свободных столиков не было. В дальнем конце празднично украшенного салона расположился любительский оркестр народных инструментов, составленный из членов пароходной команды. Дэн и Джейн с минуту наблюдали за происходящим из-за стеклянной двери и решили не идти туда. Они зашли в бар, заказали коньяк и отправились в маленький зал, расположенный на корме. Они думали, что зал пуст, но неожиданно увидели профессора.

На ужин профессор не приходил. Иногда он пропускал трапезы — наверное, ел в каюте. Теперь он сидел в углу зала с книжкой в

руках, рядом с ним на столике стоял стакан и бутылка минеральной воды. Заметив вошедших, он кивнул.

Дэн сказал:

— Шум доконал нас.

— Я вас хорошо понимаю. Моя каюта как раз под оркестром. На сегодня я бездомный.— Он объяснил, что плохо спит и поэтому попросил каюту подальше от машинного отделения; зато в такие праздничные ночи он вынужден платить за свой покой. Дэн предложил старику коньяк. Тот отказался: у него побаливал желудок. Он пригласил их к себе за столик — чтением он просто убивал время. Книгу взял у одного из соотечественников; там были данные об экономическом развитии ГДР со времени раздела Германии. Старик посмотрел задумчиво на обложку и едва заметно улыбнулся уже знакомой им неопределенной улыбкой.

— Весьма непростое чтение.

— Вы часто ездите на родину?

Он покачал головой:

— У меня там сестра. А также сын и внуки. Вот, пожалуй, и все, кого я оставил на родине.

— Должно быть, многое там изменилось.

— Это долгожданные изменения.— Потом добавил:— Особенно для моего поколения. Нам не на что жаловаться.

Джейн спросила, чем занимается его сын, живущий в ГДР.

— Он — врач. Пошел по стопам своей матери и деда.

— Вы, наверное, гордитесь им.

— Да, он хирур-офтальмолог. Говорят, хороший.

В голосе его чувствовалось легкое сожаление, словно он с неохотой смирился с выбором сына.

Джейн спросила как можно мягче:

— Вам, видимо, хотелось бы жить к нему поближе?

Старик пожал плечами:

— У него любимая работа, друзья... а у меня остались воспоминания.— Он улыбнулся ей.— Которые вы, madame, на днях во мне оживили.

— Чем же?

— Боюсь показаться вам чересчур сентиментальным.

— Ну, пожалуйста.

Он колебался.

— Бедные пациенты моей жены часто не имели денег, чтобы заплатить за лечение. Вместо денег они приносили ей скромные подарки. Иногда бусы вроде тех, что вы купили в магазине господина Абдуллама. Как археолог, я говорил ей, что бусы эти не имеют никакой ценности. А она отвечала... совсем как вы в тот день, madame. Потом вы очень похоже их гладили. Да и голос ваш...— Он сухо улыбнулся Дэну.— Прошу меня простить.

Дэн ответил, что прощать профессора не за что. Джейн отвела взгляд. Все замолчали. Наконец, она подняла голову.

— Я завидую вашей жене, профессор. Она умела не только чувствовать, но и очень многое делать.

— Ее, увы, уже давно нет с нами.

— Она умерла в Египте?

— В Германии. В Лейпциге. После войны.

— А вы в войну были здесь?

Старик покачал головой и ответил с грустью:

— В Палестине. В английском лагере для интернированных.

Потом постепенно, отвечая на их вопросы, он начал подробно рассказывать о своем прошлом — говорил он отрешенно, почти как о ком-то другом, тем же тоном, что и о жизни царевны Хатшепсут в Фивах.

Нацистом он не был никогда, но особой своей заслуги в том не видел. В 1930-х годах он большей частью жил за границей. Фашистскую демагогию, массовые шествия, призывы к Volk[1] он считал вульгарным и неизбежным злом, свойственным государству — институту совершенно необходимому. Он не помнил случая, чтобы «der Führer» и другие слова из национал-социалистского жаргона произносились в среде его друзей и коллег без иронии. Тогда фашизм казался чем-то далеким, не заслуживающим серьезного обсуждения. Отношение к таким вещам выражали молчаливым отказом говорить о них. Затем он познакомился со своей будущей женой и через нее стал вхож в английские круги Каира. Там эта проблема тоже обсуждалась нечасто. Момент истины настал в 1939 году, когда Гитлер показал, на что способен. Многие из его немецких коллег вернулись из Египта на родину, аналогичное распоряжение получил и он.

— Наконец, меня принудили подумать о мире, лежащем вне Древнего Египта и моей семьи. Жена мне тогда здорово помогла. Мы пришли к выводу, что наш брак важнее национальных различий. И что я остаюсь в Египте. Я начал подозревать, что моя страна не права. Однако воевать против нее я не собирался. Но и за нее — тоже.

В течение года, пока шла «странная война»[2], ему удавалось продолжать свои археологические занятия. Потом его интернировали, и оставшиеся годы он провел в палестинском лагере. Условия там были далеко не комфортабельные, но зато компания — превосходная. Он очень многое узнал о том, в чем прежде был «несколько несведущ»: о других людях.

— Конечно, после войны я убедился, что моя страна заслужила свой разгром. Еврейский геноцид. Эту новость — об обнаруженных концентрационных лагерях — мне принесла жена. Я до сих пор вижу ту полосу «Дейли телеграф» с фотографиями. Я плакал, но, боюсь, не о загубленных евреях, а о себе самом. О своем народе. Мне было стыдно смотреть в глаза жене. Все эти страшные годы она самоотверженно поддерживала меня и моих детей.

Джейн осторожно спросила:

— Но вас-то ей не в чем было винить?

— Нет, конечно нет. Но наши двое сыновей... для них, бедняжек, это был страшный удар. И, думаю, они тогда все поняли. Они поняли, что их отец, как и их отечество, потерпел крах.

— Уклоняясь от исполнения долга?

— Мне легче привести пример из моей профессиональной области, мистер Мартин. Это все равно, как если бы я переписывал с папируса только то, что легко разобрать, делая вид, что остального, требующего большего терпения и усердия, просто не существует. Очень многое я предпочитал до войны не видеть или не слышать. И велика та часть папируса, что я поленился прочитать!

Затем в дело вмешались внешние обстоятельства. Его «непатриотичное» поведение в начале войны и тот факт, что большинство его коллег-сверстников погибли, пропали без вести или предпочли остаться на Западе, сделали его профессиональные знания весьма дефицитным товаром. Как гром среди ясного неба последовало приглашение в его родной Лейпциг восстанавливать факультет — «если большую коробку без студентов можно назвать факультетом. Научный архив практически полностью погиб».

— Мы долго думали и спорили. Мои сыновья не хотели ехать. Но их мать знала, что мне не одолеть внутреннего разлада, если я не поеду. Мы постарались объяснить мальчикам, что наш долг — вернуться на родину.

— А политический аспект вас не тревожил?

---

[1] Народ *(нем.)*

[2] Период второй мировой войны с сентября 1939 г. до мая 1940 г.

Старик улыбнулся:

— Немножко. Вы ведь понимаете, что в этом отношении мы были людьми неискушенными. Для Констанции нашлась работа — она всю жизнь работала с детьми. У меня был мой старый университет. И громадное желание помочь своей стране — лучше поздно, чем никогда.

Итак, они отправились. Его жена умерла во время операции на третий год после приезда в разоренный город. «Самым печальным образом» он оказался одинок в Германии, которой теперь принадлежал больше из чувства долга, чем по привязанности. Ему пришлось заново осмыслить свою жизнь. В коммунистическую партию он так и не вступил, положение известного ученого избавляло его от «официального давления»; но со временем он признал, что социализм являлся лучшим выбором для его страны в нынешних исторических условиях. У этой системы есть свои несовершенства и «белые пятна»; но, возможно, с этого начинались все новые прогрессивные общественные формации.

Хотя о смерти своей жены профессор лишь упомянул, у Джейн и Дэна возникло ощущение, что брак их был счастливым; что и он, и его покойная жена — очень чистые люди; что эти два человека, по существу чужие для обеих сторон, разделенных «железным занавесом», держались только взаимным уважением, любовью и работой. Профессор даже сказал, что судьба его сыновей в какой-то степени отражает его собственные противоречивые чувства.

Его младший сын, археолог, который теперь живет в Соединенных Штатах, на Запад просто убежал. Старик улыбнулся:

— Он многим пошел в свою мать. Прежде всего характером. Я называю его своим английским сыном.

В его бегстве ничего драматического не было. Он поехал в Лондон на праздник к родным своей матери, да там и остался. Ему тогда было двадцать пять лет. Профессор попытался уговорить его вернуться, но особой настойчивости не проявил.

— В его возрасте часто важнее принимать решения, чем быть уверенным в их правильности.

Дэн сказал:

— А в другом возрасте?

— Возможно, и в другом тоже.

Джейн спросила, сохранились ли между братьями добрые отношения.

— Да, madame.— Потом добавил:— По крайней мере сейчас. Ганс, мой старший сын, который работает врачом, поначалу никак не мог смириться с предательством брата. Но с годами он стал мудрее. Думаю, что и теперь при встречах они спорят до хрипоты. Но уже как братья.

— А вы чью сторону принимаете?

— Мой младший сын слишком уж американизировался. Многие вещи мы видим по-разному. Да и что в этом странного? Мое поколение было слепо — особенно мы, так называемые исследователи истории. Надо платить за это. Его же поколение невинно. И, как я уже говорил, он многим пошел в свою мать. Или в ее страну.— Он улыбнулся им обоим.— В Европейского Сфинкса.

Дэн сказал:

— Более известного под именем Европейского Больного.

— Если упрямство считать болезнью...

— В нем нет ничего загадочного.

— Тут я с вами не соглашусь. Для нас, иностранцев...

— Вы так хорошо владеете английским, что...

— О да. Я говорю на этом языке. Я кое-что знаю об английской жизни. Я даже со временем полюбил некоторые английские блюда — например, мясной пирог с говяжьими почками...— Он помедлил, слов-

но пытаясь вспомнить изысканный вкус.— Но английская душа — этого я не понимаю. И прежде всего ее отношения к свободе. Немец не представляет себе свободы без ограничений. И дело совсем не в нашей любви к муштре и дисциплине — что, вообще говоря, отличает только Пруссию. Все гораздо серьезнее. Это есть в наших философах. В Канте, в Марксе. Есть в Бахе. В Гёте. Для нас неограниченная свобода — и не свобода вовсе. Мы можем спорить о характере ограничений, но отнюдь не об их необходимости.

Дэн ухмыльнулся:

— Наша свобода, как мы начинаем осознавать, большей частью иллюзорна.

Помолчав минуту, старик посмотрел на них с усмешкой.

— Слышали историю о западногерманском племяннике, который приехал в Восточную Германию навестить своих родственников? Так вот. Разговор зашел о политике. Западный немец сказал своим родичам, что ими помыкает государство и русские. Они в ответ резонно заметили, что его часть Германии не лучше — она стала самой американизированной в Европе. Может быть, ответил он, но мы, по крайней мере, свободно избрали этот путь — в лучших демократических традициях англосаксов. Но, возразил его дядя, мы тоже, мой мальчик, свой путь избрали свободно. Более того, в лучших демократических традициях немцев.— Старик заметил их улыбки.— Все дело в том, против кого направлена эта шутка. Я слышал ее как сатиру на Восточную Германию. Но она может быть легко истолкована и в ее пользу. Это зависит от того, как вы определяете понятие, противоположное свободе. Для нас это хаос. Для вас...

— Власть?

Он кивнул.

— Вот где истинный занавес между Востоком и Западом. По моему разумению, мы жертвуем частью нашей свободы ради порядка — наши лидеры называют его социальной справедливостью, равенством и так далее. Вы же жертвуете частью порядка ради свободы. Под свободой вы понимаете естественную справедливость, индивидуальные права человека...— Он неожиданно улыбнулся — разговор угрожал принять слишком серьезный характер.— Можно, я расскажу вам еще одну историю? Она антианглийская, но я ее услышал много лет назад от вашего соотечественника.

— Конечно.

— Англичанин во франкоговорящей Африке идет купаться на реку, где водятся крокодилы. Местный житель, говорящий по-английски, кричит ему: «Назад! Опасно! Немедленно назад!» Англичанин не обращает внимания на крик. Лезет в воду и погибает. Французские власти проводят расследование — никто не может объяснить, почему англичанин пренебрег предупреждением. Объяснить случившееся вызывается другой англичанин. Предупреждение было сделано на неправильном языке, такого языка настоящий англичанин не понимает. Ах, вот как? Тогда пусть мсье скажет суду правильный вариант, дабы избежать подобных трагедий в будущем. Англичанин надолго задумывается и наконец говорит: «Я надеюсь, сэр, вам не составит большого труда повернуть назад».

Они улыбаются, хотя уже и не столь искренне, как раньше. Профессор продолжал:

— Это, конечно, жестоко. Но я подозреваю, что в каких-то вопросах ваша страна скорее утонет, чем последует совету других. Такой свободы я не понимаю.

— Мы сами этого не понимаем.

Старик улыбнулся:

— Ладно. В конце концов, кто знает? Возможно, тот англичанин сам хотел, чтобы его съели крокодилы.

Дэн взглянул на Джейн, которая задумчиво молчала; по выраже-

нию ее глаз он заметил, что она согласна со стариком. Джейн опустила глаза, Дэн снова заговорил:

— У вас есть хоть какая-нибудь надежда на разрешение конфликта между Востоком и Западом?

— Когда-то я остро чувствовал вину за то, что почти всю жизнь потратил на изучение прошлого. Свои папирусы я считал чем-то вроде занавеса, которым отгораживался от того, что не хотел видеть. Теперь же я понимаю, что при желании таким занавесом, то есть предлогом, чтобы чего-то не замечать, может служить что угодно.— Он помолчал, потом продолжил: — Я помню спор, возникший еще до войны между двумя селениями, расположенными на разных берегах Нила. Это было севернее Луксора, где я в то время работал. Спор касался прав на рыбную ловлю. Ожесточившись, феллахи дошли до кровопролития. Тогда я спросил старейшину одного из селений — неграмотного, но очень старого и мудрого крестьянина, почему он вместе со старейшиной другого селения не решит эту проблему на компромиссных началах. Он с упреком ответил, что мое предложение чересчур оптимистично. На берегах мира между людьми не будет. Только в реке меж берегами.

— То есть там, где мы жить не можем.

Старик развел руками.

И потом рассказал еще одну, последнюю, историю — он назвал ее историей о привидениях без привидений. Это случилось вскоре после его первого приезда в Египет, в конце 20-х годов, еще до того, как он окончательно остановился на своем нынешнем разделе египтологии. Он работал в свежем раскопе гробницы древнеегипетского вельможи, обнаруженной в скалах недалеко от Асуана, и так увлекся описанием настенного рисунка, что задержался позднее обычного. Работая при искусственном освещении, он и не заметил, что снаружи уже стемнело. И тут что-то случилось — может, это было вызвано долгими часами предельной концентрации внимания, может, бессознательным ощущением, что в раскопе воцарилась полная тишина. У него возникло чувство, что в гробнице кто-то есть. Он даже испугался, осветил фонариком все помещение — кстати, в мистику... во все эти «проклятия и прочую чепуху» он совершенно не верил. Страх его был вполне обычным: он испугался, не пробрался ли в гробницу вор. Но раскоп охранялся ночным сторожем. Он решил, что, может, это сторож, и позвал его по имени. Ответа не последовало, и тут его взгляд снова упал на стенную роспись, которая сохранилась на удивление хорошо.

В этом месте рассказа он остановился. Они услышали, что в дверь салона, что была за их спинами, кто-то вошел, но ни Дэн, ни Джейн не повернули головы, вошедший — кто бы он ни был — ретировался.

— Со мной такое случалось и позже, но уже никогда так живо и ярко, как в первый раз. Самое странное... это чувство разрыва во временной цепи.

— Смещения?

— Да. Спасибо. Это более точное слово. На какой-то миг время исчезает. И ты перестаешь быть самим собой, современным археологом, но и не становишься художником, который когда-то расписал эту стену. Простите меня, я говорю образно, мне не хватает слов, чтобы описать это ощущение точнее — в каком-то смысле ты становишься рисунком. Существуешь, но уже как бы вне времени, в более широкой реальности, за пределами иллюзии, которую мы называем временем. Будто бы так было всегда. Нет ни прошлого, ни будущего. Знание истории, хронологии представляется занавесом, о котором я только что говорил.— Он улыбнулся им.— Мистика здесь ни при чем. Это почти физическое явление, коренящееся в природе вещей. Однажды я еще раз испытал нечто подобное, и тоже после многочасовой работы над расшифровкой трудного папируса. Я стал этим папи-

русом, снова оказался вне времени. И это никоим образом не помогло мне расшифровывать его — я не был папирусом в этом смысле. Может быть, я был рекой, в которой на несколько мгновений все застыло. Той рекой меж берегами.— Помолчав, он бросил на Джейн и Дэна быстрый взгляд.— Боюсь, что именно этого они никогда и не поймут. Реку меж берегами.

Джейн прошептала:

— Кто это «они», профессор?

Он взглянул на нее с недоверием.

— Мне кажется, madame, вы и мистер Мартин знаете это.— В его старых голубых глазах мелькнуло заговорщицкое выражение, не лишенное едва заметной иронии.— На этой планете много языков. Много границ. Но, по моему мнению, только две нации.

В наступившей тишине из музыкального салона до них донеслось уханье барабанов. Они понимали, что старик не имел в виду Восток и Запад, и еще в меньшей степени — свою Германию или их Англию.

Остров Китченера

Последняя стоянка парохода перед Асуаном была в Ком-Омбо. Древний храмовой комплекс, расположенный среди песков на равнинном мысу, чем-то напоминал греческие памятники: уединение, великолепные пропорции, иссушенный солнцем мир отражается в голубых водах. Здесь была гармония, которой так не хватало другим местам — храм был прекрасен сам по себе и, кроме того, на редкость удачно расположен. Почему-то предыдущее путешествие не оставило у Дэна никаких воспоминаний об этом чуде.

Поскольку пароход стал на якорь неподалеку от древних стен, они пошли через пески пешком. На берегу в акациях ворковали бронзово-кольчатые горлицы. По гребням песчаных дюн бегали расшалившиеся дети бедуинов. На этот раз Дэн и Джейн даже и не пытались прислушиваться к тому, что говорил их французский гид. Каменные мостовые и террасы храма располагали к молчаливой прогулке. А Дэна здесь ждал орнитологический сюрприз. В свой полевой бинокль он разглядел, как в тени по берегу скачет похожая на малиновку птичка. Очень милое существо с голубым горлышком, каких раньше ему видеть не приходилось. Он остановился понаблюдать за ней, а Джейн тем временем медленно пошла вперед и села на угол террасы, лицом к речным истокам. Затем встала, спустилась ниже и пропала из виду.

Дойдя до угла террасы, Дэн заметил пролом в стене, через который можно было добраться до воды. Джейн сидела на упавшей колонне, в тощей тени ивового дерева, спиной к нему, и смотрела на речной простор. Он осторожно спустился к ней.

— Правда, красиво, Джейн?

Джейн кивнула. Кивнула, не оборачиваясь, что несколько насторожило его. Он подошел ближе. Она бросила взгляд в его сторону, не поднимая головы, потом снова посмотрела вдаль. Через мгновенье поднесла руку к глазам.

— Прости. Пустяки.— Она тряхнула головой, словно пытаясь избавиться от его участливого внимания.— Путешествие заканчивается. Да и Энтони вспомнился. Ему бы здесь понравилось.

Он сел рядом на круглый камень и мягко спросил:

— Но почему именно сейчас?

Она не ответила.

Потом совершенно неожиданно протянула правую руку и дотронулась до его пальцев, будто извиняясь за свои слезы. Дэн не позволил ей сразу же убрать руку, накрыв ее своей. Они посидели так несколько мгновений. Дэн пожал ее руку и ощутил слабое ответное

движение; отметил про себя, как странно, отрешенно она посмотрела на их соприкасавшиеся руки. И вдруг до него дошло, что в ее взгляде и прикосновении есть какой-то новый смысл. Он почувствовал волнение и странную скованность. Этот новый смысл ощущался и в ее молчании, и в безыскусности жеста. Он хотел было обнять ее, но тут же понял, что опоздал — в таких делах надо подчиняться наитию, а не рассудку.

— Он бы не захотел сюда поехать, дорогая.

— Я знаю.

— А мы можем ездить сюда ежегодно.

Джейн улыбнулась и, не отрывая взгляда от реки, процитировала Элиота:

— «Я читаю ночь напролет, а зимой уезжаю на юг».

— Если угодно.

Позади себя, наверху, они услышали голоса французов. Она убрала руку, и они, не оглядываясь, продолжали молча сидеть в пятнистой тени. Над рекой пролетели три белоснежные цапли, но Дэн лишь скользнул по ним взглядом. Он все не мог забыть, как она смотрела на их соединившиеся руки. Взгляд ее был не спокойно-товарищеским, а вполне женским. Он пока ничего не выражал, но, пусть и на миг, появился.

Дэн нащупал в кармане сигареты. Джейн тоже закурила. Они молча курили, глядя на реку. Наконец, она справилась со слезами и сказала:

— Жизнь мне снова в радость, Дэн. Я ведь еще и поэтому заплакала. Уже давно ничего подобного не испытывала.

— Вот это мне больше нравится.

— Ты остановился понаблюдать за птицей... а я вспомнила, как три года назад в Греции — это был наш последний настоящий отдых вдвоем — у нас с Энтони вышла совершенно нелепая ссора. И всего лишь из-за того, что он засмотрелся на свои цветы и мне пришлось ждать, а я хотела побыстрее попасть на пляж и искупаться. Он был так счастлив, а я вела себя ужасно.

— Может, это он вел себя ужасно?

— Я сидела под деревом и читала. А скандал я ему устроила позднее. И причины он не понял.— Она стряхнула пепел с сигареты.

— Такие вещи, наверное, случаются в любой нормальной семье.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:

— Молодые, должно быть, правы. Институт брака безнадежно устарел.

— Их теория тоже имеет свою цену.

Помолчав, Джейн спросила:

— А ты никогда не тяготился своей холостяцкой жизнью?

— Иногда.— Но такой ответ ему самому показался неискренним. Он опустил голову.— Редко, если честно.— Потом добавил: — Пуганая ворона куста боится. Да и лень. Привыкаешь к другому типу отношений.

— Ну, а свобода?

— Ты думаешь, приятно быть стареющим донжуаном?

Она прошептала:

— И это говорит тот симпатичный, невинный молодой человек, которого я когда-то знала в Оксфорде.

— Теперь он закоренелый грешник.— Джейн смотрела на него, а он отводил глаза, понимая, что она хочет сказать своим взглядом.— Я улыбаюсь, поскольку ты прекрасно знаешь, что невинным тот молодой человек не был никогда. Симпатичным — еще куда ни шло.

Она опустила глаза, потом медленно, будто бы про себя, сказала:

— В моей памяти ты навсегда остался невинным.

— А ты сама разве не была невинной?

— Я слишком боялась своих истинных чувств.

Прежде чем он успел ответить, раздался гудок парохода. Пора было возвращаться.

— Это ведь тоже форма невинности.

— Мне так не казалось даже тогда.

— А не пытаешься ли ты быть проницательной задним числом? Я тебя запомнил совсем другой. Ты никогда не боялась дать волю своим истинным чувствам. По крайней мере в серьезных вещах. И в этом служила всем нам примером.

— То были эмоции. А это не то же самое, что глубокое чувство.— Потом добавила уже мягче: — Я хочу поблагодарить тебя, Дэн. И в истинности этого чувства я нисколько не сомневаюсь.

Снова призывно загудел пароход. Она встала и со спокойной улыбкой протянула ему руку — да здравствуют условности, с глупостями покончено. Он пожал ее руку, и они зашагали к пароходу.

За обедом Джейн держалась так, словно ничего не произошло. В конце обеда она, подперев подбородок руками, улыбнулась ему:

— Что-то ты очень сегодня молчалив.

— Так плачут мужчины.

— Какое же у тебя горе?

— Учуял возвращение к реальному миру.

— Впереди еще твой остров — разве не ради него мы сюда забрались? — Он склонил голову в знак вынужденного признания. Словно желая подбодрить его, она добавила: — И прекрасные воспоминания.

С приближением Асуана пейзаж менялся. Нил нес свои воды сквозь пустыню. Испепеленные за тысячелетия безжалостным солнцем, бесконечные пески, изредка прерываемые черными базальтовыми скалами, терпеливо ждали, когда пересохнет великая река. По берегам росли одни финиковые пальмы, а над песками летали только вороны, снова вызывая в памяти Библию, манну небесную и другие, более близкие Дэну события. Несмотря на северный прохладный ветер, солнце жгло немилосердно.

Сам Асуан возник неожиданно, грубо нарушив пустынное безлюдье. Со времени предыдущего приезда Дэна сюда в 50-х годах город сильно изменился. Повсюду были заметны следы бурного промышленного развития: большой, забитый машинами порт, высотные здания, громадный гостиничный комплекс на Слоновом острове. По реке сновало множество фелюг и моторных катеров; южный горизонт голубого неба закрывало бледно-желтое пятно пыли — там была плотина и работающие на гидроэнергии предприятия.

На пароходе им предстояло провести еще одну ночь, после чего их должны были поселить на два дня в старую гостиницу «Катаракт» — сущий карлик на фоне громады построенного рядом современного отеля. Будь его воля, Дэн переселился бы на берег тотчас же, но его останавливало опасение обидеть Джейн подобным «мотовством». Поэтому он только предложил, чтобы в тот день они не ездили вместе со всеми на запланированную экскурсию. Они вполне могут сами нанять катер... или фелюгу. Предложение свое он мотивировал профессиональной необходимостью — дескать, спешка ни к чему. Джейн, похоже, удовлетворилась таким объяснением.

Они подождали, пока все уедут, а затем пошли вдоль берега туда, где в ожидании клиентов стояла целая флотилия небольших фелюг; чтобы не вызывать споров среди лодочников, они наняли первого подошедшего к ним. Это был серьезный молодой человек в белой галабии и черно-белом головном платке, за руку он держал маленького мальчика. Звали молодого человека Омар, он знал несколько самых распространенных английских слов; его темная кожа не вязалась с бледно-голубыми глазами и неожиданно англосакскими чертами лица.

Над ним витал призрак Томаса Лоуренса [1]. Огибая Слоновый остров и лавируя против ветра, они взяли курс на песчаные утесы необитаемого западного берега. После парохода спокойное и тихое плавание завораживало. Над головой парили коршуны; потом появились охотящиеся за рыбой крачки, над далекими охряными скалами кружил сокол, с буя у оконечности острова взлетела большая птица, похожая на скопу. По мере удаления от шумного города настроение у Дэна улучшалось. Ему нравилась хмурая молчаливость их рулевого. Перед ними, выше по течению, появился плотно заросший зеленью остров Китченера.

Они поплыли к зеленой стене — к странным цветам, листьям, свисающим в воду ветвям. На этом берегу реки домов не было, город исчез из виду, и когда они оказались на тихой воде у облитой солнечным светом прибрежной зелени, можно было подумать, что настало лето и они плывут по какой-нибудь из оксфордских речек. Какая-то птица пела свою неуместную в это время года песенку. После сухих пустынь, которые их окружали еще утром, этот наполненный жизнью влажный зеленый вечный мир был упоительно хорош. Омар пришвартовал лодку. Они сошли на берег и, сделав несколько шагов под купами бугенвиллей, оказались на дорожке.

На стволах все еще висели массивные свинцовые таблички с латинскими названиями экзотических растений далеких стран, кое-где работали садовники, но несмотря на эти попытки сохранить остров в качестве гигантского ботанического сада, каким его задумал Китченер, он все же производил впечатление очаровательно запущенного и неухоженного места. Строгий научный замысел уступил место тени, бесчисленным птицам, прохладе, простоте... То была простота утонченной исламской архитектуры, непритязательность вековой народной мудрости, спасавшей от солнца. То была Альгамбра, сотворенная из зелени, воды и тени, один из самых чарующих и возделанных уголков природы на земле, тропическая bonne vaux. Остров был таким, каким и запомнился Дэну. Джейн тоже влюбилась в него с первого взгляда. Не прошли они и сотни шагов, как она тронула Дэна за рукав.

— Построй мне здесь дом, Дэн. Пожалуйста.

Он ухмыльнулся:

— То же самое чувствовали в тот приезд и мы с Андреа.

— Похоже на Эдемский сад в изображении Таможенника Руссо[2].

Они сели на скамейку на одной из боковых аллей. По главным аллеям прогуливались туристы — цветные пятнышки, плывущие сквозь пятнистую тень: фигурки, скорее, с картин Мане или Ренуара, чем Руссо. Джейн и Дэн поговорили о ближайших двух днях, о том, что еще надо посмотреть, поспорили, стоит ли лететь в Абу-Симбел...

Выдержав паузу, он спросил:

— Тебе действительно жизнь снова в радость, Джейн?

— Да.

— Последние несколько дней мне принесли больше радости, чем я ожидал. Звучит ужасно двусмысленно. Но это правда.

— Ты украл мою мысль.

— На то я и писатель.

Она улыбалась застенчиво, не поднимая глаз.

— Ты оказался прав. Мне действительно нужна была такая встряска.

Они вернулись к фелюге и поплыли на юг, к старой гостинице «Катаракт» — Дэн хотел проверить, все ли в порядке с их номерами. Ветер стих, они медленно пробирались между зелеными скалисты-

---

[1] Томас Эдуард Лоуренс (1888—1935) — английский разведчик, много лет служивший на Арабском Востоке.

[2] Анри Руссо (прозвище: Таможенник, 1844—1910) — французский живописец, самоучка, представитель примитивизма.

ми — странным образом похожими на северные — островками на фарватере Нила. Из города донесся далекий, неясный вопль и скорбно поплыл в вечернем воздухе: голос муэдзина, усиленный громкоговорителями. Омар попросил Дэна взять рулевое весло, а сам вместе с мальчиком встал на колени на носу лодки лицом к Мекке и принялся отвешивать поклоны, бормоча что-то себе под нос и касаясь лбом днища. Дэн и Джейн молча сидели на корме; их, интеллектуалов, смущала такая простодушная вера. Но когда руль вновь оказался в руках лодочника, Джейн прошептала:

— Пусть у меня еще нет здесь дома, но шофера я уже нашла.

— А что, разве плохо? Только чем бы ты здесь занималась?

— Нашла бы чего-нибудь.

— Заботилась бы о страждущих?

— Конечно.

— Ангел ты наш асуанский.

Улыбка тронула ее губы.

— Ангел с расстроенной лирой.

Он прикоснулся к ее руке:

— Тебе не холодно?

— Нет. Смотри, какой удивительный закат.

Они подплыли к парку знаменитой гостиницы. Омар был готов ждать сколько потребуется, но Дэн распростился с ним — они пешком пройдут до парохода по берегу. Дэн усадил Джейн за столик, заказал напитки и по анфиладе сводчатых комнат пошел искать администратора. С номерами никаких осложнений не было; потом девушка выяснила, есть ли билеты до Абу-Симбела. Им повезло, осталось как раз два билета на послезавтра, которые Дэн и купил. Затем попросил заказать ему телефонный разговор с Каиром и отправился в будку ждать вызова.

Когда он вернулся, Джейн уже допивала свое пиво.

— Прости. Я решил все же позвонить Ассаду. Он шлет тебе привет.

— Здесь так хорошо сидеть. Просто сидеть и наблюдать.

— Где твое красивое ситцевое платье довоенной поры?!

— Там же, где твой полотняный костюмчик и старый школьный галстук.

— Думаю, я бы остался здесь и сделался бедуином.

— Ты кстати напомнил. Мне до отъезда надо купить пару галабий.

— Мне тоже. Для Каро.

— Слушай, может, послать еще одну телеграмму Энн, что я прилетаю в понедельник? Все говорят, что на местную почту надежда плоха.

Он в нерешительности смотрел на медный столик между ними, потом с улыбкой поднял голову:

— Энн может подождать тебя еще три дня?

— Это зачем?

Дэн отвел взгляд; в глазах Джейн мелькнуло тревожное выражение.

— Мы можем полететь в Европу через Бейрут. Стоит ничуть не дороже. А оттуда всего несколько часов езды до Пальмиры. Переночуем там. И через Бейрут — в Рим.

Она устало опустила плечи.

— Дэн, это нечестно.

— Современный транспорт способен творить чудеса.

— Ты же знаешь, я и так чувствую себя достаточно неловко...

— Ничего. Будешь выплачивать мне долги ежемесячно в течение нескольких лет.

— Я совсем не это имею в виду.

— Поедем на такси. Иначе туда не доберешься. Но такси очень дешевое. Ассад говорит, тридцать фунтов максимум.

Она сложила руки на груди и выпрямилась.

— Так вот зачем ты ему звонил?

— Может, ничего еще и не получится. Сейчас самый разгар паломничества в Мекку, и все паломники едут через Ливан. Но Ассад постарается устроить для нас места.— Он смотрел на нее, ласково улыбаясь.— В эту минуту мадам Ассад звонит своей сестре, чтобы найти для нас хорошего водителя.

После долгого молчания она сказала:

— Я чувствую, будто меня умыкнули бандиты.

Он ответил:

— Не бойся. Пальмира ничуть не хуже других мест. Стоит мессы. Ассад говорит, надо обязательно посмотреть. Я и сам там ни разу не был.

— А твой сценарий?..

— Три дня отдыха никак на нем не отразятся.

— А с визами как?

— Их выдают на границе. — Он прикусил губу, догадываясь, что чувство приличия безуспешно борется в ней с искушением. — Честное слово.

Но праздновать победу было еще рано. Он почувствовал на себе взгляд ее карих глаз, неожиданно очень проницательных и пытливых, привыкших разглядывать мельчайшие деления на весах этики.

— Ты давно это задумал, Дэн?

Непонятно почему, но он не нашел простого ответа и отвернулся, потом пробормотал, словно школьник, которого строгая учительница уличила в обмане и который не ожидает, что ему поверят:

— Нет. Я прошу тебя, очень.

Полеты

Абу-Симбел им не понравился.

В гостиницу они возвратились в полчаса пятого и пошли пить чай. Дэн спросил, не хочет ли она до ужина еще раз съездить на остров Китченера, втайне надеясь, что Джейн откажется и отпустит его одного — слишком уж мрачной и неразговорчивой она была в тот день.

— Может, ты хочешь поехать один?

Дэн чуть не выдал себя. Но тут же вспомнил слезы Джейн в Ком-Омбо и миф об Эвридике и Орфее — если уж взялся вывести из царства Аида, то не оборачивайся.

— Нет. Но вдруг тебе...

Она улыбнулась:

— Я так надеялась, что ты еще раз пригласишь меня туда. Чудное место.

Хотя небо было затянуто тонкой пленкой перистых облаков, день выдался теплый. Привычный бриз почти стих, паруса и природа погрузились в сон. Когда они плыли с подветренной стороны Слонового острова, два их лодочника — Омара отыскать не удалось — взялись за весла. После мертвых пейзажей Абу-Симбела остров, даже лишенный новизны, показался им еще чудеснее: привольный покой, птицы, водные просторы; было в нем что-то почти человеческое, немного женское, трогательно не сочетавшееся с характером человека, который дал ему свое имя. Несмотря на экзотические пальмы, деревья и цветы, этот зеленый, располагающий к мечтательности остров каким-то загадочным образом сохранил английский дух.

На острове Дэн наконец немного расслабился, почувствовал себя в безопасном убежище. У Джейн заболела нога, и она села на полу-

разрушенные ступеньки пирса, когда-то построенного на южной оконечности острова; в неподвижном воздухе таяли последние лучи заходящего солнца. Обхватив руками колено, Джейн откинулась назад и устремила взгляд на воду.

— Вчера вечером, Дэн, я наконец приняла решение.

От неожиданности Дэн вскинул голову.

— И какое?

Она пожала плечами.

— Ничего особенно важного. Но я твердо решила поступить на учительские курсы, когда вернусь домой. Если, конечно, найду место.

— И чему же ты будешь учить своих учеников — как жить в реке меж берегами?

В ее взгляде мелькнули веселые искры, но голосу она придала серьезные интонации:

— Я буду учить их правописанию и французской грамматике. Расин, Бальзак, согласование причастий прошедшего времени.

— Значит, будешь метать бисер перед поросятами.

— Я должна чем-то заняться, Дэн. Меня не покидает ощущение, будто свою жизнь я растратила на пустяки и... — Она замолчала. — Не жизнь, конечно. Но свои силы уж во всяком случае.

— Мы все это чувствуем, Джейн. — Потом добавил: — И не без оснований.

— Но со мной тут тягаться трудно.

Он смотрел за реку, на далекий, тонувший в сумерках берег.

— Не знаю, как нам жить в этом веке, когда у приличного человека только две возможности: быть обделенным или виноватым. Притворяться либералом или слепым. Мне кажется, что и в том и в другом случаях мы живем не той жизнью, для которой созданы. Если мне суждено иметь еще одного ребенка, я буду молиться, чтобы он родился ненормальным.

— Что за бред ты несешь!

— В мире, в котором с каждым днем все страшнее думать о будущем,— это не бред. — Она бросила на него скептический взгляд: — Ах да! Я же путешествую, пишу, встречаюсь с кинозвездами. Мне чертовски везет.

То, что она ответила не сразу, лишь подчеркнуло горечь, с которой он говорил.

— Странный какой-то пессимизм — привилегированный.

— Это не пессимизм, а бессилие.

Она, казалось, обдумывала услышанное, затем сменила тему разговора:

— Уже много лет я смотрю на тебя только глазами Каро.

— И видишь никудышного отца.

Она мягко возразила:

— Просто трудного.

Они оба наблюдали за фелюгой, медленно плывущей по течению мимо песчаных утесов далекого берега. Он исподтишка взглянул на сосредоточенное и спокойное лицо Джейн. Он не знал, о чем она думает, но безошибочно чувствовал, что они вновь понимают друг друга и она не может не замечать этого... что они вновь сидят на том далеком, безвозвратно канувшем в прошлое берегу другой реки. Навеки разлученные, навеки неразлучные. Ему хотелось сказать ей об этом, он почти решился: она должна это чувствовать, должна знать... и все же что-то его удерживало. Сомнение в ней, сомнение в себе, боязнь отказа, боязнь согласия. Неожиданно она с улыбкой повернулась к нему:

— В кои-то веки я задумала доброе дело, а ты все испортил.

Слава богу, что он не решился на признание.

— Что же ты задумала?

— Не дать тебе грустить.

— Я не люблю прощаний.

— Но ты же еще приедешь сюда.

— Не знаю. Но даже если и приеду, то буду скучать без своей идеальной попутчицы.

Она снова улыбнулась — лесть тронула ее ничуть не больше, чем его недавнее самоунижение,— взглянула на часы, а затем — что он отметил с неудовольствием, словно бы в ответ на его упоминание об идеале,— заговорила о вещах самых обыденных:

— До ужина мне еще надо принять ванну и вымыть голову.

— Да и мне тоже.

Джейн бросила на Дэна быстрый, изучающий взгляд, потом молча пожала его руку; он не мог понять, чего больше в этом жесте — ободрения, симпатии или безмолвной мольбы, ему ясно было только одно: на этот раз он не выражал ничего, кроме дружеской симпатии. Даже если бы он и хотел задержать ее руку в своей, то не успел бы — так быстро она убрала ее.

Оставшись один в гостиничном номере, он наконец решил, что с мальчишеской суетливостью и неловкими ухаживаниями пора кончать. Поэтому, когда Джейн спустилась к нему в бар, он уже был более похож на того уравновешенного солидного человека, с которым она начала путешествие несколько дней назад. Они поужинали, старательно избегая в разговоре всего, что могло их вернуть к самоанализу и самокопанию, потом отправились выпить по чашке кофе в длинную гостиную рядом с террасой, выходящей в парк. Обычно там бывало совсем мало народа, но в тот вечер гостиная быстро заполнялась. Вокруг было много русских лиц, на которые они обратили внимание еще в ресторане. К стоящему в конце гостиной роялю подошла пухлая дама средних лет в старомодном вечернем платье — ее длинные изящные пальцы совсем не вязались с толстыми руками. Какой-то мужчина помог ей поднять крышку рояля. Играть она начала сразу, никто ее не представил, но по тому, как быстро стих шум и как дружно люди вокруг них повернулись в сторону пианистки, Дэн и Джейн поняли, что, сами того не желая, они без приглашения попали на импровизированный концерт. Концерт начался с одной из мазурок Шопена. Дэн не считал себя знатоком музыки, но сразу почувствовал, что перед ними если и не профессионал, то очень талантливый любитель. После первой пьесы из-за соседних столиков раздались сдержанные аплодисменты. Пианистка сыграла еще одну мазурку. Когда она закончила и отзвучали на сей раз более продолжительные аплодисменты, мужчина, поднимавший крышку рояля, встал и объявил что-то по-русски — очевидно, то, что было исполнено и что последует дальше.

— Кажется, мы здесь de trop [1],— сказал Дэн.

— Пожалуй. Но так приятно снова услышать хорошую музыку.

— Может быть, посидим на террасе? Откуда тоже слышно.

— Давай.

Они поднялись из-за стола и быстро вышли, Дэн показал стоявшей у дверей паре на их освободившийся столик.

— А я пока зайду в бар и возьму по рюмке коньяку.

— Я поднимусь наверх за пальто,— сказала Джейн.

С коньяком он вышел на террасу и отправился вдоль рядов закрытых ставнями окон в дальний конец, где музыка была слышнее. Там у открытого окна стоял столик. Вечер, слабые речные запахи, звезды, свет из гостиной выхватывает экзотическую листву под террасой; фигура Джейн приближалась к нему, выныривая из темноты в полосах падающего из окон света. В гостиной снова заиграли Шопена.

— Тебе не холодно?

[1] Здесь: лишние *(франц.)*.

— Нет. Сегодня намного теплее.

Она села рядом.

— Хорошо играет?

— Очень. Русская школа. Чувствуется влияние Рихтера.

Они замолчали. После еще одной пьесы Шопена зазвучала соната Моцарта. Снова аплодисменты, короткая пауза, шум голосов; затем все стихло, мужской голос сказал что-то по-русски. Женщина за роялем начала играть Баха. Дэн вопросительно посмотрел на Джейн. Она улыбнулась:

— Голдберговские вариации. Если надоело, можешь идти.

— Нет, отчего же. Целую вечность не слышал этой музыки.

Они сидели, внимая в африканской темноте бесконечному звуку, поражавшему столь по-европейски расчисленной барочной сложностью.

Из гостиной послышались бурные аплодисменты, один или два восклицания; потом приглушенный говор славянских голосов.

Глядя в мучительных сомнениях на парк и не видя его, Дэн наконец решился:

— Джейн, через четыре дня мы расстанемся. Неужели тебя это совсем не огорчает?

— Конечно, огорчает. Я получила такое огромное...

— Я не об этом.

Молчание. Она, конечно, все сразу поняла, но ничего не ответила.

Он уставился в пустую рюмку:

— В последние дни я понял, что мне очень тяжело будет расстаться с тобой. Ты наверняка уже и сама догадалась.

Молчание Джейн чем-то было похоже на паузы в только что звучавшей музыке: на колебание между логикой и вдохновением, рутинной разработкой темы и инстинктивным прозрением. Сама предательская тишина уже содержала ответ.

— Я испытываю к тебе чувство глубокой привязанности, Дэн.

— А у тебя нет ощущения, что колесо сделало полный оборот?

И снова для ответа ей потребовалось много времени; она с трудом подбирала слова:

— Кроме того, я чувствую, что мир между нами восстановлен прочно и надолго. Я просто не сумела это хорошо выразить.

— Музыка дала мне почувствовать всю нелепость нашего отчуждения. Когда там, наверху, такие леденящие бездны. Прости, это все так банально, но...— Она ждала, либо соглашаясь, либо просто не зная, что ответить. Догадываться она, конечно, могла, но открытого признания никак не ждала. Он сказал:— Я и не подозревал, что такое может произойти. Поэтому не подумай, что я тебя завлек сюда специально или хоть как-то обманул.

Краем глаза он видел, что она качает головой.

— Это я тебя обманула.

— Каким же образом?

— Тем, что была паинькой всю эту неделю.

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь. Откуда тебе знать, что творится в моей душе?

— А что творится в твоей душе? Какие чувства ко мне ты там прячешь?

Она прошептала:

— Безграничную дружбу.

— Мне этого мало. Я хочу большего.— Он полуобернулся к ней, криво улыбаясь.— Ты однажды совершила поступок. Теперь моя очередь.— Помолчав, он добавил:— Я знаю, что мы во многом расходимся. Интеллектуально... Политически.— Он замолчал в нерешительности.— Я действительно думал, что тот далекий день в Оксфорде засыпан пеплом. Но я, оказывается, не забыл его. Он и теперь стоит

перед глазами. Именно это я пытался сказать тебе, когда мы в первый раз были на острове Китченера. Тот наш поступок был порочным и для тебя, и для меня, хотя и по-разному. Но было в нем и что-то провидческое. Я это понял только в последние дни.

Она сказала мягко:

— Мне так не хочется делать тебе больно, Дэн.

— Разве я не прав?

— Ты не прав только в том, что нас тогдашних не отличаешь от нас нынешних. Ты ведь не знаешь, какой я стала.

— Какой же?

— Мне почти нечего дать тебе.

— Перестань. Позволь мне судить об этом. Может, тебя смущает Дженни Макнил?

— Вот уж об этом действительно судить не мне.

— У меня такое впечатление, что я говорю не с тобой, а с кем-то другим. Неужели ты не испытываешь ко мне никаких чувств?

— Женщины испытывают самые разные чувства. В частности, и такие, что, как им хорошо известно, не переживут породивших их событий.

— Тогда, может, тебя беспокоит, что подумает Нелл?

— Среди прочего и это.

— Мне кажется, она поймет. Даже одобрит... Как это ни странно.— Джейн молчала.— Я действительно почти не знаю, что творится у тебя в душе. И возможно, не понимаю, что происходит. Но я все время представляю в мечтах, какой была бы наша жизнь, если бы мы всю ее, а не только оставшиеся дни, провели вместе. И мне она кажется интереснее той, что я живу.

— Ты неверно представляешь семейную жизнь. Особенно с такой женщиной, как я.

— А ты, по-моему, не хочешь замечать того, что есть между нами. Мы отказались от этого в молодости, не бережем и сейчас.

Помолчав в нерешительности, она сказала примирительно:

— Я, Дэн, на самом деле внешне стараюсь держаться. Но ты не знаешь, что кипит у меня внутри.

— Что же?

— Ненависть к себе. Жгучее чувство вины. Гнев. И то, чему я и названия не знаю.

— И я не могу тебе помочь?

— Ты уже помог. Очень помог.

— Я хочу помогать тебе и дальше.

Она снова задумалась:

— Я не имею права перекладывать все это на чужие плечи. Я... я не каменная. Я, конечно, не забыла тот день, все те месяцы в Оксфорде.

— Но это будто бы происходило с кем-то другим?

— И ты тоже был другим.

— А ко мне нынешнему ты испытываешь только дружеские чувства?

— Я не позволяю себе испытывать к тебе ничего другого.

— Ты уходишь от ответа.

На сей раз пауза длится еще дольше.

— Я нормальная женщина, Дэн, и испытываю нормальные чувства. Если бы это было...

— Единственным препятствием?

— Если бы только во мне было поменьше.... сумбура.

Дэн заметил, что на террасу вышел босоногий слуга-нубиец и посмотрел в их сторону. Дэн махнул рукой — им, мол, ничего не надо. Слуга ушел. Высоко в темном небе над рекой раздался тонкий протяжный крик, пронзивший затянувшееся молчание.

Дэн смотрел в темноту за террасой.

— Значит, у тебя нет ощущения, что так надо?

— Несколько раз в течение последних лет мне хотелось проглотить побольше снотворных таблеток, и дело с концом. Был период... сразу после отъезда Питера в Гарвард... меня остановило только то, что мое самоубийство было бы в каком-то смысле победой Энтони. Я не защищаю себя. Но тогда мне казалось, что надо именно так.

— Но если твой инстинкт подвел тебя тогда...

Она сидела, нахохлившись, опустив голову, засунув руки в карманы пальто.

— В моей жизни было всего трое мужчин — один из них ты. И каждый раз все кончалось болью. С тобой — болью для тебя. В моем последнем... романе болью для меня. С Энтони мы, кажется, квиты. Как здесь не задуматься, что причина во мне?

— А со мной ты боли совсем не испытывала?

— Конечно, испытывала. В то время.

— Не могу понять, почему надо лелеять чувство вины, да еще таким странным образом. Почему ненависть к себе важнее... того, что, по моему убеждению, еще может быть между нами?

— Это не ненависть к себе... а сомнение в собственных силах.

— Почему бы нам вдвоем не побороться с этими сомнениями?

Отчаяние его росло, ему казалось, что между ним и Джейн появилась перегородка из непробиваемого стекла.

— Дело совсем не в тебе, поверь. Я знаю, ты человек добрый и интеллигентный...— Помолчав, она сказала:— Если мне кто и нужен, то совершенно новый человек. Совсем не милый и не добрый ко мне... А такой, кто вырвет меня из привычного окружения и заставит забыть мое прошлое, вместо того чтобы постоянно возвращать меня туда.

— Я слишком долго жил вдали от родных мест, чтобы поверить в такую чепуху. Прошлое забыть нельзя. И пытаться не стоит.

— Я и не пытаюсь оправдать себя.

Дэн мучительно искал брешь, дверь в стене.

— Ты пыталась найти решение своих проблем вовне, а не в себе. И у тебя ничего не получилось. А я даже и этим похвастаться не могу. И результат тоже плачевен. И этот общий итог сближает нас больше, чем ты себе представляешь.— После паузы он продолжал:— Откуда ты взяла, что мой так называемый успех разделяет нас? Я знаю, что у тебя и в мыслях не было меня обидеть, но ведь это, по существу, оскорбительно, Джейн. Это оскорбляет то, во что мы когда-то верили. И все еще верим — каждый на свой манер. Пусть мое нытье кажется привилегированной формой пессимизма. Но я прекрасно понимаю, как ко мне относится интеллигентный мир, да и ты тоже.— Он снова остановился, ожидая, что Джейн наконец заговорит, но она молчала.— Ты все говоришь, что стала совершенно другой. А ведь в чем-то главном — именно это я любил в тебе больше всего — ты совсем не изменилась. В тот вечер, когда Энтони покончил с собой в Оксфорде, я вдруг отчетливо ощутил это. Потом на теплоходе. И сейчас тоже.— Он еще раз грустно улыбнулся ей:— Я бы больше ни с кем в мире не смог быть таким откровенным... Потому что никто в мире меня не понял бы.— Дэн ждал, а Джейн молчала и по-прежнему не отрывала глаз от стола.— Неужели все это для тебя ровным счетом ничего не значит?

— Значит. Я чувствую себя все более виноватой.

— Вот уж странно — не вижу для этого никаких причин.

Они опять замолчали. В ее ответе прозвучал смутный укор и искренняя мольба простить ее, войти в ее нелегкое положение.

— Ты всю жизнь наслаждался свободой, Дэн. А теперь выбираешь тюрьму, из которой я только стараюсь вырваться.

— Дорогая, моя хваленая свобода забросила меня в безжизненные пески. Ты сама скоро все поймешь. Я не нашел пути к острову Китченера.

— Там никто из нас жить не может, увы.

— Так выбрось из головы всю романтическую чепуху. Но почему то, что останется,— тюрьма?

— Потому что любовь — тюрьма.

Он улыбнулся в темноте:

— Значит, будь мои чувства слабее, предложение мое стало бы более приемлемым?

— Я не настолько независима, как ты себе вообразил. Потому-то я и цепляюсь за то немногое, что у меня есть.

Скрестив руки на груди, он откинулся на спинку стула.

— Иногда я начинаю сомневаться: а порвала ли ты с церковью?

— Откуда такие сомнения?

— Самоотречение и целибат[1] — это религиозный путь к праведной жизни.

Джейн сидела съежившись и, насколько Дэн мог судить по собственным ощущениям, видимо, замерзла. Подождав немного, он резко встал, обошел вокруг стола и протянул ей руки.

— Пошли. Пока я не заморозил тебя в прямом и переносном смысле.

Она медленно вытащила руки из карманов, позволила поднять себя со стула и, не поднимая головы, осталась стоять.

— Если бы я только могла объяснить...

— Чего уж тут объяснять?!

— Дело не в тебе. А во мне.

Она сжала его пальцы, и они молча постояли еще мгновение. Потом она высвободила руки и снова сунула их в карманы. Они повернулись и пошли к дверям. Но за шаг до светового прямоугольника у входа она остановилась и первый раз за весь вечер посмотрела ему в глаза.

— Дэн, может, мне завтра вылететь отсюда прямо в Рим?

Он улыбнулся:

— Лети, если хочешь, чтобы я на тебя смертельно обиделся.

Она, не отвечая на его улыбку, искала ответ в его глазах, но, так и не найдя, опустила голову.

— В любом случае это было бы невежливо по отношению к Ассадам. Они так старались,— сказал он.

— Видишь ли...

— А мне показалось, что кто-то здесь говорил о безграничной дружбе.

Неохотно соглашаясь, она кивнула головой. Он шагнул к ней, положил руки на плечи и поцеловал ее волосы.

— Иди наверх. Я хочу немного выпить. Один.

Пить ему на самом деле не хотелось, но очень хотелось избежать неловкого прощания перед номерами в коридоре, заставленном фикусами во внушительных медных бочках. Чувствовал он себя на удивление спокойно, даже умиротворенно — словно сбросил с плеч тяжелый груз.

Через несколько минут он поднялся в номер и заставил себя собрать вещи, приготовиться к завтрашнему отъезду. Ничего особенного не произошло, все лишь греза и игра воображения. И тем не менее он невольно прислушивался, не постучат ли в дверь, не стоит ли кто за ней, не решится ли проблема безо всяких разговоров; так наверняка все и устроилось бы в сценарии, где ограниченность времени не позволяет дотошно воспроизводить медлительную неповоротливость реальной жизни. В то же время он боялся теперь такого поворота событий, понимая всю его порочную простоту.

В привычной ночной темноте, в материнской утробе постели он несколько минут лежал, уставясь в потолок, потом на губах его за-

[1] Обязательное безбрачие католического духовенства.

играла еле заметная улыбка, которую следовало бы назвать метафизической: потенциальное бытие примирялось с актуальным. Англичанин не пропадет: он до глубочайших корней собственного естества знает, что в конечном счете все — комедия, всего лишь широкий шаг во мраке с terra firma [1] на арбузную корку.

Край света

Водитель Лабиб произнес, показав рукой вперед:

— Пальмира.

Далеко на севере угадывались огни. Местность стала более холмистой. Забравшись на очередную пологую вершину, они увидели внизу неясные грозди огней современного оазиса. После поворота фары автомобиля на мгновение выхватили из темноты разрушенный дом и далекие арочные развалины. Машина замедлила ход и, круто свернув с шоссе, стала пробираться сквозь фантастический окаменевший лес сломанных стен, колоннад, упавших капителей. Через несколько сотен метров у дороги выросло длинное одноэтажное здание, странным образом напоминавшее построенную на скорую руку раздевалку небогатого гольф-клуба 20-х годов.

— «Зиновия»[2],— сказал Лабиб.

Это была единственная гостиница Пальмиры, разместившаяся на громадном кладбище мертвого города. Они вышли из машины в темноту на пронизывающий зимний ветер. В сотне метров, на фоне облаков, чуть подсвеченных огнями невидимой им деревни, можно было различить силуэт неровных стен старого замка. Тишина была полнейшей, древней, зловеще-пугающей. Затем открылась дверь и на песок упал желтый сноп света. Лабиб что-то отрывисто крикнул, человек в дверном проеме поднял руку.

Вопреки их надеждам в «Зиновии» их ждал столь же нереальный мир. Внутренний вид гостиницы оказался не менее странным, чем место ее расположения. С улицы они попали в большую комнату, центр которой занимала громадная печь; вокруг печи на деревянных табуретах сидели трое мужчин. Один из них, самый старший, был косоглаз, на другом красовался длинный белый — вернее, когда-то белый — фартук, третьим был молодой человек, который встретил их у двери. На Дэна и Джейн никто не обращал внимания, словно бы их и не было вовсе. Лабиба что-то спрашивали по-арабски, он что-то отвечал. Дальняя часть комнаты представляла собой весьма примитивную столовую: около полудюжины столов, вышитые переметные сумы и ковры на стенах. За печкой, у боковой стены, стоял старый диван с высокой спинкой — остаток буржуазного или, точнее, французского лоска, на нем было навалено столько розовых, красных, синих ковриков и подушек, что, если бы не газета и не вмятина, оставленная только что сидевшим человеком, можно было подумать, что все это выставлено на продажу. Комната напоминала навечно установленную декорацию для ненаписанной пьесы: холод и тишина снаружи, удушливое тепло внутри, трое странных людей — наверняка персонал гостиницы,— совершенно не расположенных оказывать услуги или хотя бы поприветствовать гостей.

Лабиб, похоже, описывал путешествие километр за километром, но один из вопросов хозяев, видимо, касался Джейн и Дэна, поскольку водитель, словно вспомнив об их существовании, повернулся и спросил, не хотят ли они посмотреть свои комнаты.

Старший среди хозяев, косоглазый, встал и жестом пригласил их

---

[1] Твердая почва *(лат.)*.

[2] Название гостиницы по имени последней правительницы Пальмиры, побежденной римским императором Аврелианом в 272 г. н. э.

следовать за собой. Через боковую дверь они вышли в холодную тьму. Старик щелкнул старым фаянсовым выключателем, и тусклая лампочка осветила длинный коридор с двумя унылыми рядами дверей. Косоглазый повернулся к Дэну и вопросительно поднял один палец, потом два. Дэн в ответ поднял два. Старик проковылял несколько шагов по коридору и открыл дверь. Кровать, стул, гардероб, две вытертые ковровые дорожки на плиточном полу, керосиновая печь. Старик нагнулся и разжег ее. Потом хмуро открыл гардероб и показал на лежащие там одеяла. Дэн поставил сумку Джейн на пол, а сам пошел вслед за стариком на другую сторону коридора; та же голая комната; та же процедура с печкой. Дэн повернулся к Джейн:

— Эта немного побольше. Может, тебе здесь будет удобнее?

— Тут еще холоднее. Как ты думаешь, ванная у них есть?

К их удивлению, ванная была — в конце коридора. Из крана текла только холодная вода, но старик показал на пластмассовое ведро и изобразил, будто моется,— если они хотят, он готов принести горячую воду. Появился Лабиб. Он пришел объявить меню. Яйца или баранина; макароны или рис. Они выбрали баранину с рисом.

Пять минут спустя Дэн и Джейн сидели на диване в большой комнате, послушно ожидая ужина и радуясь, что, по крайней мере, не мерзнут. Повар исчез, но двое других сели напротив, молча и не без раздражения разглядывая английскую пару, нарушившую их ночное бдение у печи. Лабиб за столом читал газету. Из-за занавески слышалась арабская музыка — там включили радио — и шум передвигаемой посуды. Но в самой комнате царил тяжелый дух молчаливого ожидания. Джейн наклонилась к уху Дэна:

— Если ты не скажешь хоть что-нибудь, я сейчас засмеюсь.

— Это идея. Они, видимо, поспорили, кто из нас не выдержит первый.

— Какое невероятное место.

— Край света.

— Оно напоминает современную пьесу с временными смещениями.

На ее губах промелькнула улыбка:

— И мне то же самое пришло в голову. Когда мы вошли. Неужели мы добрались до цели?!

— На самом-то деле наши тела валяются сейчас где-то на дороге.

— И Лабиб вот-вот прочтет об этом в газете.

Джейн посмотрела на Лабиба. По случайному совпадению тот действительно перевернул страницу; и какое-то время они напряженно наблюдали за ним. Но он просто опустил руку в карман и вытащил пачку сигарет. Джейн с улыбкой отвела от него глаза.

— Как ты думаешь, что произойдет, если мы попросим что-нибудь выпить?

— Думаю, за это полагается по меньшей мере десять лет каторги в соляных копях.

Но он тем не менее подошел к Лабибу. В гостинице было только пиво — таков закон. Лабиб обратился к двоим, сидящим в зале. Тот, что помоложе, отправился на кухню и возвратился со стаканами и двумя бутылками без этикеток. В бутылках оказалось местное пиво, хотя и слабое, но вполне терпимое. В комнате снова повисла тишина, двое арабов продолжали пялиться на приезжих. Снаружи, со стороны Хомса, послышался шум приближающегося грузовика. Грузовик проехал мимо. Где-то в развалинах раздалось тявканье бродячей собаки. Лабиб отложил газету и уставился в пространство, потом вынул записную книжку и занялся какими-то вычислениями — так, во всяком случае, показалось Дэну, поскольку карандаш его не столько писал, сколько висел над бумагой. Дэн взглянул на Джейн.

— Жалеешь, что оказалась здесь?

— Не говори глупостей.

— Мы проехали один из самых пустынных районов мира. Ты назвала его фантастическим. Для меня же он в высшей степени реален. Во всяком случае, символичен.— Он бросил взгляд на ее склоненную голову: — Может, мне заткнуться?

Она покачала головой. Он уставился в свой стакан.

— Я себя чувствую так, будто путешествую в пустоте. За занавесом, о котором говорил герр профессор. Та девушка в Калифорнии — всего лишь прикрытие, защита от ветра. Я больше не могу пользоваться Дженни, как прежде. И она знает это.— Дэн говорил спокойно, словно бы о ком-то постороннем.— Может показаться, будто я хочу, чтобы ты спасла меня от нее. Это не так.

— Согласись, что пустота — понятие весьма относительное.

— Ты имеешь в виду, что не мне о ней говорить? Неужели материальные привилегии лишают человека всех других прав?

— Конечно нет. Просто... слово «пустота» взято из словаря отчаяния.

Я понимал, что она имеет в виду: настоящую пустоту... многих жизней.

Араб помоложе встал и ушел на кухню; оттуда послышались тихие голоса. Косой старик уронил голову на грудь и, казалось, задремал.

— Я знаю, что мы и такие, как мы, с биологической точки зрения — счастливчики. Образование, культура, деньги... и все остальное. Но я не понимаю, почему чувство вины должно определять все наши поступки. Не хочу сказать, что мы не растрачивали впустую отпущенные нам дары. Но зачем же отказывать им в ценности, пусть даже потенциальной?..

— В этом я им не отказываю...

— В каком-то абстрактном смысле — нет. Но на практике — да. Мне, видите ли, не позволяется даже чувствовать, что я растрачивал себя впустую.— Он бросил на нее взгляд: — Мы ведь по-настоящему и не пытались. Струсили. И оправданий у нас меньше, чем у кого бы то ни было в этом мире. Энтони должен был стать священником. Ты моей женой. Я должен был попытать себя в серьезной драматургии.— Джейн продолжала молчать, и он заговорил чуть помягче: — Я допускаю, что из нас троих на тебе лежит самая большая вина. Ведь в Оксфорде именно у тебя мелькнула догадка, что мы живем в вымышленном мире.

— Ты идеализируешь меня. Или не понимаешь, какой я стала.

— К счастью, ни один мужчина и ни одна женщина никогда этого до конца не понимают. В противном случае им пришлось бы жить на разных планетах. Так что довод несостоятелен.

Снова наступила неловкая заминка.

— Дело не только в прошлом, Джейн. Мне пришлось знакомиться с тобой заново. С такой, какой ты стала. И, мне кажется, я тебя почти понимаю.— Он подождал ответа, а потом спросил в лоб: — Неужели ты ничего не чувствуешь?

— Чувствую. Временами.

— Тут, в Египте, я понял, что первый раз за многие годы стремлюсь к чему-то. И теперь вижу только два действительных препятствия. Первое — если наша прежняя близость уже более ничего для тебя не значит. В таком случае я, конечно, умолкаю. Тут слова бессильны.

— А второе?

— Если ты окончательно решила, что обретешь внутренний покой, только пожертвовав собой ради других... помогая, к примеру, обездоленным. Мое собственное решение по меньшей мере понятно и естественно. Я в жизни предал как раз то, к чему имел хоть какой-нибудь талант: во-первых, умение обращаться со словами и, во-вторых, настоящую любовь к единственной женщине.— Он помолчал.— Последний грех я делю с тобой.— Каким-то странным образом, особенно странным, если иметь в виду то, что он скажет дальше, к нему верну-

лось воспоминание о том далеком, бесконечно повторяющемся andante из Голдберговских вариаций; потом все многозначительно стихло.— Ты, Джейн, убила что-то в каждом из нас троих. Видимо, даже не подозревая об этом, и поэтому «убила», возможно, сильно сказано. Но из-за тебя какие-то решения и события стали невозможны. Мы с тобой во власти твоих прежних поступков. Мы еще там.

Его прямота отняла у нее последнюю надежду, что разговор удастся удержать в каких-то рамках. Он продолжал:

— Я не могу простить тебе сравнения любви с тюрьмой. Я бы предпочел, чтобы ты призналась, что не веришь мне. Это по крайней мере было бы честнее.

Она слегка откинулась назад и снова покачала головой.

— Во мне столько недоверия к себе самой, что в других мне его искать не надо. Ты умеешь жить в мире с самим собой, Дэн, а я — нет.

— И это мне, разумеется, простить нельзя?

— Ну зачем же ты так?

— Мы оба—очень несовершенные люди, Джейн. Я — эгоист, ты — идеалистка. Нам далеко до мечты Платона. Но из этого вовсе не следует, что нам нечего дать друг другу.— Она промолчала.— Или дело все-таки в нашей животной природе?

Он видел, что, несмотря на внешнее спокойствие, она очень взволнованна и лихорадочно ищет выход из положения.

— Мне очень трудно с тобой.

— Что ж, облегчу твою задачу. Я бы предпочел, чтобы причина твоего отказа была чисто физической, а не той, на которой ты настаиваешь.

Подняв наконец голову, Джейн посмотрела на стену перед собой.

— В Асуане я часами не могла заснуть. Если бы я ничего такого не чувствовала, то и не заикалась бы о тюрьме.

— Ради бога, скажи, в чем причина?

— Наверное, в самом боге.

— Что это значит?

— Я имею в виду то или того, кто на следующее утро заставил меня испытать радость, что ночью ничего не случилось,— сказала Джейн, потом добавила: — Я знала, что правды тебе говорить нельзя. Потому как нельзя назвать и истинную причину моей сдержанности.

— В чем же она?

Продолжать ей не хотелось, но отступать уже было некуда.

— У тебя богатый сексуальный опыт, и ты едва ли способен представить себя на месте человека, у которого его совсем немного. Который... хранит память о том немногом, что у него было. Вот одна причина, почему я так колебалась, прийти ли к тебе, зная...— И она замолкла.

— Зная что, Джейн?

— Что могут вернуться прежние чувства.— Она торопливо продолжала: — А еще из-за Энтони, Дэн. Я не имею в виду его смерть. А как раз нашу с ним жизнь. Все наши неудачи.

— Но ведь сам Энтони чуть ли не хотел, чтобы это произошло.

— Даже если его странное метафизическое построение верно, его епитимью не должны исполнять другие.

— Глядя на тебя, можно подумать, что оно и вправду верно. Словно он наблюдает за нами, а ты все делаешь ему назло.

— Я не должна принимать во внимание то, чего хотел он. А также и то, чего хочет мое женское естество.— Она провела пальцами по ободку стакана: тишина нарастала. Снаружи еще раз пролаяла бродячая собака.— Той ночью в Асуане, лежа без сна, я старалась быть иной. Я говорила себе: этот человек всегда привлекал меня, так почему бы и нет? Чем не приключение?! Да ведь однажды оно уже было. Но я знала, что не смогу.

Дэн внимательно рассматривал свой стакан.

— В очень плохом киносценарии интрига всегда зависит от упущенных возможностей.

— Но наша с тобой история от них зависит. Ты только что сказал, что я убила возможность выбора у всех троих. Я не имею права рисковать снова.

— Значит, за эти годы мы ничему не научились. Разве только делать пустыни еще пустыннее.

— Я заплачу, если ты и дальше будешь так говорить.

— Я, пожалуй, тоже.

Дэн, словно пытаясь остановить эту бессмыслицу, взял ее руку в свою. Через какой-то миг она ответила на пожатие. Сцепленные руки лежали между ними на диванном коврике.

— Ума не приложу — как я мог дважды в жизни влюбиться в такую стерву.

— Слава богу, хоть в этом мы согласны.

Разговор зашел в тупик. Но руку ее он все равно не отпустит. Их поколение чересчур серьезно воспринимало себя или свой так называемый духовный мир. Зеркала в его студенческой комнате красноречиво отразили и высокомерное самолюбование всего их поколения, и его либеральную мягкотелость, и мелочную заботу о добрых мыслях и поступках, которые диктовались не принципами, а самовлюбленностью. Пожалуй, именно старание соответствовать представлениям своего времени о духовном благородстве и было верхом пошлости — будто были они не смертными животными на умирающей планете (никто из них ни на йоту не верил в загробную жизнь), а обладателями бессмертных душ, готовящих себя к Страшному суду. А ведь желания их часто были так невинны и малы. Дэна подмывало объяснить это Джейн. Понимая всю бесполезность затеи, он опустил доказательство и перешел сразу к выводу:

— Джейн, а почему бы нам не переночевать сегодня в одном номере — как двум нормальным людям?

— Потому что это ничего не изменит.

Он пробормотал с деланной горечью:

— Говори за себя.— Она не только не ответила, но даже не улыбнулась. Он пожал ее руку и сказал еще тише: — Дело ведь не в животных инстинктах. Я просто хочу обнять тебя. Прижаться к тебе.

Она не отрываясь смотрела даже не в пол, а почти сквозь него, на что-то очень далекое. Он снова сжал ее руку, уже безжизненную. Выражение мрачного упорства на ее лице не изменилось, разве что приобрело оттенок грусти — она не умела сдаваться даже в безвыходном положении.

Ему не пришлось узнать, кто из них первым нарушил бы наступившее молчание, поскольку в комнате появился Лабиб (Дэн уже решил, что к счастью) и подошел к ним. Не хотят ли они сесть за стол, ужин готов. Обслуживал их араб помоложе. Баранье жаркое на горке плова было непритязательным, но достаточно вкусным... Тминный аромат, другие экзотические травы и рис им понравились. Дэн заказал еще одну бутылку пива. Они сидели лицом к Лабибу, который через два столика ел ту же самую пищу. Косой старик проснулся, официант, обслужив гостей, подсаживался к нему, повар вышел из-за занавески и устроился у печки.

За бараниной последовали йогурт, миска апельсинов и, наконец, кофе по-турецки. Джейн и Дэн обсудили с водителем завтрашний день. Лабиб хотел отправиться в обратный путь не позднее полудня. А им еще предстояло осмотреть музей, бани, гробницы, сам мертвый город... Чтобы все успеть, они должны встать в семь, на рассвете. Потом Лабиб сказал, что в гостинице есть старый французский путеводитель, и заставил старика разыскать его.

На диван за печкой Джейн и Дэн вернулись с растрепанной книжицей. Посуду убрали. Лабиб за своим столом играл с поваром во что-то похожее на триктрак. Только играли они не костями, а картами. Двое других подошли поближе и наблюдали за игрой, делая время от времени замечания; иногда слышался негромкий стук передвигаемых фишек. Джейн переводила Дэну путеводитель с такой тщательностью, словно эта маленькая услуга могла искупить ее отказ. Он слушал ее голос, не вникая в смысл услышанного. В нем боролись два желания: выхватить из ее рук книжонку и швырнуть ее о стену и, с другой стороны, замереть и раствориться в этой странной, непонятной отрешенности от мира. Он взглянул на часы. Не было еще и девяти. Казалось, они провели здесь уже несколько дней, а не какие-то три неполных часа. Джейн кончила читать. Четверо мужчин вокруг стола оживились и зашумели — повезло повару, он выиграл у Лабиба; началась новая партия.

— Пойдем проветримся?

— Как хочешь. Здесь действительно жарко и душно.

Они встали, Джейн пошла в свой номер, а Дэн объяснил Лабибу, что они решили прогуляться.

Водитель сделал жест рукой:

— Руины не ходи. Плохие собаки.

И чтобы предупреждение было нагляднее, он пальцами одной руки «укусил» большой палец на другой.

— Значит, сюда? — Дэн махнул рукой в сторону дороги. Кажется, в этой стороне все было в порядке. Лабиб сказал что-то молодому арабу, и тот принес фонарик.

Джейн стояла в дверях своего номера; она была уже в пальто и завязывала платок. Из комнаты несло керосином.

— О боже.— Дэн прошел мимо нее и окунулся в керосиновую вонь.— Тебе здесь спать нельзя.

— Я открою окно.

— И окоченеешь от холода.

— Тут достаточно одеял.

Ветер стих, хотя снаружи было все так же промозгло и сыро. На землю опустился туман. Змееподобные языки его извивались в луче фонарика, будто выползая из пасти какого-то неведомого чудовища. Дэн и Джейн миновали черную тень машины и пошли к дороге, разговаривая о таинственных собаках. Может, Лабиб имел в виду шакалов, но ни он, ни она точно не знали, водятся ли здесь эти твари.

Северный горизонт едва заметно светился, их же окутывала тьма, из которой смутно выступали обломки погибшей цивилизации: разрушенные стены, колоннада, усыпанный черепками вал. Все дело в погоде, решили они: это она лишала классическую античность ее безмятежного духа, низводила ее до простых составляющих, обнажая разор, упадок, гибель; это она подчеркивала контраст между реальной Пальмирой и очарованием ее имени, которое ассоциировалось с тенистыми прудами, сверкающим мрамором, залитыми солнцем садами, где сибаритский Рим обручился с томным Востоком. А сейчас Пальмира была похожа скорее на шотландский Дартмур или американский Коннектикут, где в войну прошли школьные годы Джейн и Нелл.

Они выбрались на дорогу и прошли немного по ней; промозглый холод пробирал насквозь. Откуда-то справа, и недалеко, из тумана раздался беспокойный лай невидимой собаки (возможно, той же самой, что они слышали раньше), который заставил их трусливо ретироваться. Прерывистый лай, вместивший в себя гнев и отчаяние собачьей души, сопровождал их до самой гостиницы.

Мужчины, ухмыляясь, оторвались от игры — похоже, их забавляло, что к иностранцам так быстро возвратилась способность здра-

во мыслить. Пока Джейн грелась у печи, Дэн расспросил хозяев о собаках. Одичавшие собаки жили в норах среди развалин. Араб, который обслуживал их за ужином, сделал вид, что прицеливается и нажимает на курок; в глазах его мелькнул насмешливый, но весьма зловещий огонек. Он что-то тихо сказал по-арабски, и остальные заулыбались.

— Что он сказал, Лабиб?

— Когда он стреляет собака, думает израильский солдат.

Дэн выдавил из себя ухмылку:

— Нас разбудят?

— Конечно. В семь часов.

Дэн повернулся к Джейн:

— Если ты не хочешь еще посидеть здесь и почитать...

— Нет.— Она отошла от печи.

— Давай поменяемся комнатами.

— А тебе зачем...

— В такой вони спать нельзя.

— А тебе можно?

Джейн и Дэн пожелали мужчинам доброй ночи и вышли в коридор. Она остановилась у закрытой двери своего номера, опустив голову: чего тут скажешь?!

— Дай я хотя бы подверну эту штуковину.

Помедлив, она кивнула и открыла дверь. В нос им ударило удушливой вонью. Задержав дыханье, он присел на корточки около древней печки и завернул мокрый от керосина краник топливопровода. Потом повернул грязное колесико — пламя вспыхнуло на миг и исчезло, печка зачадила. Он повернулся к Джейн и скорчил гримасу:

— Разреши, я попрошу их открыть другой номер.

Она смотрела в пол, так и не вынув руки из карманов. Он поднялся на ноги и подошел к ней.

— Джейн?

Очень медленно ее руки в перчатках вылезли из карманов и робко протянулись к нему. Голова ее в зеленом платке была по-прежнему опущена, будто она собиралась боднуть его. Он взял ее руки в свои. Она произнесла так тихо, что он едва расслышал:

— От этого ничего не изменится.

— Значит, все-таки...

— Мне холодно, Дэн.

Он улыбнулся, хотя фраза была по существу оскорбительной — будто ее капитуляция зависела всецело от температуры и он здесь совершенно ни при чем.

— Все тепло в этой пустыне — твое.

Она застыла на миг, а затем сильно сжала его руки.

— Я приду к тебе через минуту.

Он наклонился, поцеловал ее в голову, сжал в ответ ее руки, повернулся и пошел в ванную. Когда он шел обратно, дверь ее номера была закрыта. В его комнате меньше пахло керосином, и она хорошо прогрелась. Он наклонился было выключить печь, потом раздумал, разделся, потушил свет и залез в холодную постель. Простыни были жесткие, плохо выглаженные, совершенно сырые. Голубое пламя из печки бросало на потолок голубые отсветы. Он слышал, как Джейн прошла в ванную, а потом возвратилась к себе. Дверь ее закрылась, наступила тишина. Он подумал о Дженни, о том, что изменяет ей. Тишина тянулась долго. Джейн минут пять как вернулась из ванной — много больше, чем требовалось, чтобы раздеться; значит, большого желания прийти к нему она не испытывает. Он испугался, что она передумает. Представил, как она, одетая, сидит на кровати, не находя сил сдвинуться с места.

Он решил, что подождет еще минуту, начал считать; но тут дверь

ее комнаты тихонько скрипнула. Вошла Джейн в пальто. Приподнявшись на локте, он сначала подумал, будто она пришла сказать «нет».

Потом она повернулась закрыть дверь, и он понял, что пальто служило ей халатом. Она быстро подошла к кровати, одним махом скинула с себя пальто и бросила его на единственный стул поверх одежды Дэна. Еще через мгновение она нырнула под откинутое им одеяло и уткнулась лицом ему в шею. Он привлек ее к себе. И тут неожиданно при первом же соприкосновении обнаженных тел исчезло время, исчезли годы разлуки, ее замужество, материнство — исчезло все, кроме ее нетронутого девичества. Он остро и мучительно ощутил заново уже пережитое однажды, что притупили многие другие раздевания и постели, этот резкий переход от общения духовного и публичного к плотскому и интимному, странную простоту откровения, сладкое потрясение, удивление, что людей может занимать что-то еще, кроме этого.

Они долго лежали обнявшись, потом он поцеловал ее. Она ответила, и все же он чувствовал если не смущение, то какую-то скованность. Он немного ослабил объятие, они лежали, как дети, почти соприкасаясь носами.

— Почему ты так долго не приходила?

— Когда я была католичкой, мы называли это молитвой.

Но в глазах и уголках губ он заметил улыбку, ощутил и запах духов — явные признаки мирской тщеты.

— За нас обоих?

— Прежде всего за тебя.

Он погладил ее обнаженное плечо.

— Ты совсем не изменилась.

— Ты все забыл.

— Ничего я не забыл.— Он взял ее за руку, и их пальцы переплелись.— А ты?

— Физических ощущений не помню.

— А какие помнишь?

Она долго смотрела ему в глаза.

— Ты сам-то помнишь ту ночь в Тарквинии? Мы пошли купаться, а потом все вчетвером спали в одной комнате?

— Как сейчас.

Она отвела взгляд.

— Вот тогда я помнила.

— Расскажи.

— Я знала, что все еще влюблена в тебя.— Она смотрела в сторону.— Когда мы вернулись домой, я хотела рассказать все Энтони, но не смогла. Попыталась исповедаться и тоже не смогла. Не могла решить, какой грех страшнее — любить тебя или считать эту любовь грехом.

Она посмотрела ему в глаза, в ее взгляде было такое странное сочетание серьезности и робости, будто она говорила не с Дэном, а с Энтони той поры или со своим духовником, и он понял, что по какой-то непостижимой причине старая тайна не только не сближает их, но и мешает сближению: однажды утаенное должно остаться таковым навсегда.

Гнусная тварь опять залаяла.

— Простыни совсем сырые.

— Ну и пусть...

— Может, ты хочешь, чтобы мы просто полежали обнявшись?

Она покачала головой и закрыла глаза. Ноги у нее были действительно холодные, но тело горело. Она не противилась, когда он снова привлек ее к себе, и опять уткнулась ему лицом в шею. За ее покорностью чувствовались и внутреннее смятение, и разлад. Так прошло полминуты, но вот в ответ на его непроизвольное движение ее рука соскользнула с его талии на ягодицу, лицо повернулось

и чуть поднялось для поцелуя — ощущение нетронутого девичества исчезло. Она наконец отдала себя на его ласки и поцелуи.

Когда плотская страсть овладела ими сполна, у него вдруг возникло чувство, что все это происходит с кем-то другим. Нельзя сказать, что она была совсем уж холодна — руки ее ласкали его в ответ на его ласки, но они словно бы исполняли обряд, подчиняясь какой-то физической условности. Первый раз в жизни ему захотелось, чтобы женщина заговорила в такой момент, рассказала, что она чувствует. Он отбросил одеяло, и его уже привыкшие к темноте глаза искали на ее лице ответы, но не нашли их даже в самый сокровенный миг. Ее тело возбуждало его больше, чем он ожидал,— в тусклых отблесках огня оно было по-прежнему молодым: тонкие руки, изящные груди...

Все оказалось не так, как он мечтал, они так и не сумели разжечь тот неплотский духовный огонь, который переплавил бы все будущие сомнения.

Их близость оставила у него и горько-печальное предчувствие старости, расставания с иллюзией, что они могут обрести друг друга таким кратким, простым, детским способом. Может, поэтому последние годы он предпочитал более молодых женщин: ровесницы Дженни еще безоговорочно верят в мифы женского тела.

Открыв глаза, Джейн смотрела в потолок. Ее сухие глаза были обращены куда-то в себя, и это лишь подтверждало его мысли. Неужели физическая близость была ей нужна лишь для того, чтобы показать ему, что истинной близости между ними быть не может?

— О чем ты думаешь?

В тусклом голубоватом свете она повернула к нему улыбающееся лицо:

— Не хочу, чтобы наступало утро.

В ее взгляде была нежность и что-то вроде признания.

— Значит, все в порядке?

— Мне с тобой было очень хорошо.— Она дотронулась до его руки.

— Согрелась? — Она кивнула, все еще улыбаясь.— Почему ты все-таки согласилась?

— Чтобы ты знал, что дело не в этом.

Он поднял к губам их сцепленные руки и поцеловал ее пальцы.

— Мне одного доказательства мало. Теперь я знаю, какой бес в тебе живет.

Ее карие глаза нежно смотрели на него. В них было что-то новое, материнское, и одновременно прежнее, неизменившееся. Она закрыла глаза.

— Устала?

— Угу.

— Я выключу печку.

Он наклонился над Джейн и поцеловал ее в губы. Она обвила его рукой и на мгновение прижала к себе, будто прося прощения за то, что он только что прочитал в ее глазах. Он встал с постели, потушил печку, поднял ставни и немного приоткрыл одно из окон. Джейн тем временем подняла слетевшее на пол белье. Он снова лег рядом с ней. Они еще раз поцеловались, и она повернулась к нему спиной. Он подсунул руку под ее шею и обнял за груди; другую руку положил ей на живот и притянул ее к себе. Ее руки легли на его, словно пытаясь удержать их. Он почувствовал, пока они согревались, что эта невинная молчаливая нагота глубже и сокровеннее любовной страсти, что так они ближе, чем когда он обладал ею. Запах, прикосновение ее волос, прижавшееся тело, ее руки на его руках... для него оставалось загадкой, почему она не понимала, что ее страхи беспочвенны, сомнения нелепы, что личная независимость чужда ее природе, что случившееся не прихоть судьбы.

Минут через двадцать он увидел, что она заснула. Он осторожно вытащил уже затекшую руку и повернулся на другой бок. Она, должно быть, на миг проснулась. Вскоре он почувствовал, что она тоже повернулась и инстинктивно, как спящая жена, положила руку на его бедро — может, ей приснилось, что он собирается убежать?

Сука

Дэн еще крепко спал, когда в дверь постучали. Он отозвался каким-то хрипом, не вставая с постели. За дверью раздалось невнятное бормотанье, шаги удалились. Сквозь ставни пробивались первые лучи холодного рассвета. Все еще не проснувшись до конца, он несколько мгновений не мог понять, где находится; выбираясь из привычной путаницы беспорядочных снов в упорядоченную реальность, он пытался узнать очертания своей спальни в Торнкуме. И, вдруг заметив, что на нем нет пижамы, все вспомнил. И тем не менее еще какое-то время он лежал не шевелясь, зная, что достаточно просто повернуться или вытянуть руку и... Сон унес с собой чувство беспокойства; эта тишина, этот молчаливый рассвет не отнимут ее у него. Он вытянул руку. Однако вместо теплой женской кожи рука наткнулась на простыни. Стряхнув с себя остатки сна, он приподнялся на локте и резко повернулся.

Рядом никого не было — только вмятина от головы на подушке да аккуратно расправленные одеяла. Исчезло и пальто со стула. У него мелькнула мысль, что, может быть, она ушла в ванную, и он снова потрогал простыни, где она лежала,— там не осталось даже следа человеческого тепла. С постели он перевел взгляд на закрытую дверь. Плечи замерзли, в душе было не теплее. Мысль о том, что она, возможно, сделала это из какого-то странного уважения к правилам приличия, он тут же отбросил. Любовь, не говоря уж о такте и привязанности, не позволила бы ей оставить его вот так. Нет, ему хотели показать что-то другое, причем безжалостно. Похоже, ей надо, чтобы он почувствовал, что прошедшая ночь ему просто приснилась. Правда, в комнате все еще висел слабый аромат ее духов.

Дэн встал с постели, накинул плащ. В коридоре, у двери, стояло ведро теплой воды, от которой шел пар. Около комнаты Джейн ведра не было. Он подошел к ее номеру, постучал, открыл дверь. У кровати стояла собранная сумка, на кровати лежало пальто, но самой Джейн в комнате не было. Он вернулся к себе и открыл ставни. Его ждало еще одно потрясение. Туман поднялся, но серая громада облаков нависла почти над самыми холмами. Впрочем, ничего этого Дэн почти не замечал.

Перед ним расстилалась необыкновенная долина, усеянная бесконечными руинами и грудами камней — будто город подвергся в древности ядерному нападению, а потом был полузасыпан песком. На западе возвышались грозные квадратные башни. Темно-серые развалины кое-где были тронуты кирпично-красными и охряными пятнами. Ни дома, ни дерева, ни человека. Трудно было поверить, что ночь скрывала такой невероятный пейзаж — холодный, безнадежный, застывший, бескрайний, неожиданный, своей пустынной необъятностью намного превосходящий Геркуланум, Помпеи и любые другие развалины древних городов, которые доводилось видеть Дэну. Первые несколько мгновений его реакция была чисто профессиональной: просто поразительно, что такая фантастическая натура никогда не использовалась ни одним режиссером и не вошла в визуальную память образованных людей. Он поискал взглядом Джейн и не нашел ее. Совершенно безжизненная картина.

Он пошел в ванную, умылся, побрился; вернулся в свой номер,

оделся. Ее уход казался все более непростительным и жестоким; почему бы им вместе не пережить первое потрясение видом мертвого города?! Приведя себя в порядок, он отправился в большую комнату с печкой. Она сидела за тем же самым столом, где они ужинали накануне, перед ней стоял медный кофейник. Больше в комнате никого не было. Увидев выражение его лица, она заговорила извиняющимся тоном:

— Я рано проснулась. Что-то не спалось.

— Ты давно встала?

— С час назад.

Он сел, ожидая какого-нибудь слова, жеста, протянутой руки. Но она молча взяла кофейник и налила ему кофе, будто такой банальный домашний жест мог вычеркнуть случившееся из его памяти. От неожиданности Дэн подхватил ее тон:

— Жаль, что ты не разбудила меня.

Она улыбнулась:

— Ты спал как убитый.

Улыбка ее показалась совсем неуместной, невыносимо покровительственной, было в ней что-то от жены, с которой они живут долгие годы. Она передала ему сахарницу, и он успел схватить ее руку.

— Джейн?

Как и в Ком-Омбо, она молча смотрела на их соединенные руки. На пожатие она не ответила. Ее взгляд лишь подтвердил его опасения. Взгляд этот признавал, что ночь была, но сверх того он не обещал ничего. Дэн спросил:

— Что случилось?

— Ничего.

Он сжал ее руку сильнее, но рука оставалась вялой и безжизненной.

— Ничего?

Она снова посмотрела на их руки и высвободила свою.

— Да нет, конечно, случилось.

Он вздохнул — от настроения, с которым он проснулся, не осталось и следа,— опустил голову, принялся разглядывать свой кофе.

— Что за нужда подняла тебя до света?

— Видимо, готовлюсь.

— К чему?

— К Риму и реальной жизни.— Она снова посмотрела ему в глаза.— То был прекрасный сон, Дэн.

— Зачем вчера вечером ты напомнила мне о Тарквинии?

— Хотела возродить в себе прежние чувства к тебе. Когда я еще была цельным человеком.— Поскольку он молчал, она тихо спросила: — Ты подходил утром к окну?

— Да.

— А вот я не могу смотреть на это. Из-за тебя.

Он пытался взять себя в руки, но все-таки взорвался:

— Боже, и ты еще что-то говорила об отчаянии!— Она опустила голову, и он с горечью продолжал:— Вот для чего ты все еще носишь на пальце это проклятое кольцо. Как знак вечного союза с собой. Как символ негасимой любви к собственным ошибкам.

Из кухни вышел старик с ведром угля для печки, за ним появился повар. Последний жестами спросил, не хотят ли они еще кофе, но Дэн решительно потряс головой. Он взял свой кофе и выпил его залпом — словно до дна горькую чашу. Старик начал выгребать золу из печки, повар стоял рядом. Они переговаривались по-арабски, очевидно о печке. Дэн и Джейн молча ждали, пока они уйдут. Но, кончив возиться с углем, арабы взяли у стены деревянные стулья и уселись у горящего очага.

Она тихо спросила:

— Хочешь еще кофе?

— Нет. Это не кофе, а отрава.

Проглотив эту грубость, она продолжала тем же тихим голосом:

— Тогда, может, пойдем погуляем?

Дэн колебался.

— Пойдем.

— Я схожу за пальто.

Подождав, пока она дошла до своей комнаты, он встал из-за стола и отправился к себе; из своего номера он вышел только после того, как она уже вернулась в большую комнату. Показывая на часы, жестами он объяснил арабам, что они с Джейн вернутся не позднее чем через час. Лабиб не появлялся. Они вышли на улицу.

Вдалеке виднелся оазис: финиковые пальмы и плоские крыши домов; казалось, что современный город убежал, спрятался от древнего. Безжизненность грандиозных развалин вселяла ужас — шутки или легкомысленные замечания здесь были неуместны. Время от времени из-под ног молча выпархивали похожие на жаворонков птицы и улетали прочь — единственные живые твари вокруг. Снова поднялся ветер; колючий, пронизывающий холод заставил их идти быстрее. На лице Дэна застыла сосредоточенно-мрачная мина, он не смотрел в сторону Джейн. Как только они вышли из гостиницы, она показала рукой на самые величественные развалины:

— Это, наверное, храм Баала?

— Наверное.

Дэн твердо решил пресекать любые ее попытки заговорить с ним; отлучать так отлучать. Но возможно, она и сама поняла, что говорить больше не о чем; она получила то, что заслужила, и должна терпеть.

Даже в лучшие времена безмолвная прогулка по таким местам выглядела бы вполне естественно. Безграничная равнина, бесконечные руины с красноречивой неумолимостью говорили сами за себя — впрочем, как и воцарившееся между Джейн и Дэном молчание. Когда они приблизились к квадратной ограде храма, в воздух поднялась стая черных птиц; по горькой иронии это были тотемные птицы Дэна, целая их колония; и, может быть, впервые в жизни он смотрел на них глазами всего остального человечества и Эдгара Алана По и, следовательно, видел в них не символы свободы и выживания, но предвестников несчастья и смерти. У Джейн появился новый предлог начать разговор:

— Что это за птицы?

— Вороны.

Это было сказано таким тоном, который исключал дальнейшие расспросы. Они подошли к храму, который своей массивностью и стойким духом дикой ереси напоминал скорее Египет, чем Рим. В храме Дэн откровенно показывал, что ему здесь скучно и неприятно. Пока Джейн несколько минут осматривала развалины, он наблюдал за воронами, которые кружили, каркая, вверху и время от времени издавали странные звуки, похожие на перестук сухих костей или быстрые удары палкой по железной решетке. Спрятавшись от ветра, он ждал ее у входных ворот.

— Посмотрела?

Она кивнула, он резко повернулся — как человек, которого заставили бесцельно ждать. Они шли назад через центр древнего города, прошли под триумфальной аркой, вдоль колоннады, мимо унылых четырехколонников из асуанского гранита; миновали хорошо сохранившийся амфитеатр — как и все остальное, холодный и мертвый,— потом древний форум и, лавируя между бесчисленными обломками стен и холмиками разрушенных домов, направились к Лагерю Диоклетиана. Около амфитеатра и форума они обменялись несколькими ничего не значащими, мучительно-искусственными фразами, а теперь снова замолчали.

Они смотрели, но — как было ясно обоим — не видели того, на что смотрят. Последний день путешествия оказался фатально лишним, вся их прежняя жизнь, все их прежние надежды лежали теперь, словно древний город, в развалинах. Джейн как-то сразу осунулась и подурнела, лицо ее застыло в той же мрачной гримасе, что и у Дэна. Он чувствовал, что все его надежды, связанные с ней, рушатся.

Последние несколько сот метров они прошли в полном молчании. Он погрузился в угрюмые размышления. Будь проклят тот день и тот вечер в Торнкуме, когда он предложил ей это путешествие.

И вдруг случилось то, чего он никогда бы не смог вообразить.

Неподалеку от Лагеря Диоклетиана и метрах в сорока от Дэна и Джейн стоял разрушенный храм, а точнее — высилась гигантская груда обломков. Массивные обтесанные камни, расколотые дорические колонны, фрагменты резных карнизов и капителей, лиственный орнамент на камнях и волюты лежали кучей, как после землетрясения. Оттуда до них донесся звук, кто-то жалобно скулил: то был голос несчастья, исторгнутого из самых глубин существования. Они остановились, потом Дэн — почти нетерпеливо — пошел к развалинам. Дойдя до первых камней, он увидел, в чем дело.

У входа в темную щель, среди нагромождения расколотых карнизов и колонн, которые усеивали пол храма, стояли два мышастых щенка. Щенки были крохотные, они едва умели ходить и еще не умели бояться — когда Дэн сделал шаг в их сторону, они, хотя и замолчали, даже не попытались спрятаться. Дэн оглянулся на Джейн. Остановившись поодаль, она тоже разглядывала щенков.

Он сказал:

— Последние жители Пальмиры.

Джейн кивнула и произнесла глухим голосом:

— Вон их мать.

Метрах в шестидесяти от них стояла шелудивая черно-серая сука неопределенной породы и молча наблюдала за ними. Сделав несколько прыжков в их сторону, она снова остановилась, не сводя с них взгляда. Ростом со среднюю борзую, тощая, с торчащими ребрами и вспухшими сосками; вид у нее был одновременно забитый и злобный.

Бросив взгляд на щенков, Дэн сказал:

— Близко не подходи.

Джейн не ответила.

Он оглянулся. Джейн медленно шла по песку к тропинке. Он догнал ее.

— Бедняжки.

Она едва заметно кивнула, губы ее тронуло подобие улыбки, но голову она не подняла и руки из карманов не вынула. Он дотронулся до рукава ее пальто.

— Джейн?

Она покачала головой: все в порядке. Они сделали еще несколько шагов. На этот раз он решительно взял ее за руку и остановил:

— Джейн.

Она снова покачала головой, как бы прося оставить ее в покое. Он заглянул в ее склоненное лицо и обнял за плечи. Они стояли так минуту. Затем она медленно повернулась к нему и уткнулась лицом в его плечо. Он опешил от неожиданности и принялся осторожно похлопывать ее по спине. Потом посмотрел на собаку. Животное, наконец, повело себя по-собачьи: подняв морду, сука нюхала воздух. Дэн опустил голову.

— Скажи мне, что стряслось.

Вместо ответа она судорожно вздохнула. Она стояла, все еще держа руки в карманах, не в силах ни говорить, ни двинуться, и рыдала. Он обнял ее крепче и поцеловал в голову, даже не пытаясь ус-

покоить. Рыдания вырывались из нее с трудом — так рыдают дети. Будто бы по внушению свыше, он догадался, что боги порой принимают странные обличья и выбирают для своих откровений необычные время и место, и понял, что все пережитое им за последние три четверти часа — тоже прах.

Ветер трепал заросли сухого невысокого чертополоха между ними и собакой. Словно что-то учуяв, животное по дуге отбежало еще на двадцать метров и снова остановилось, напряженно наблюдая: два больших двуногих существа стояли неподвижно, как одно целое, в какой-нибудь сотне метров. Наконец, Джейн смогла выдавить из себя:

— О, Дэн.

Он снова поцеловал ее в голову.

— Это пройдет. Обязательно пройдет. Все дело в нашем глупом одномерном веке, Джейн. Мы все отдали дневному свету... все наши инстинкты, все, чего мы в себе не понимаем. А в нас не меньше животного, чем вон в той жалкой твари.— Он поднял руку и прижал ее голову к себе.— Вчера вечером было так хорошо. Особенно после. Боже, обнимать тебя, знать, что ты рядом.

Она пошевелилась, подняла руку к лицу, прерывисто всхлипнула.

Он спросил:

— А тебе было хорошо?

— Конечно, хорошо.

— Тогда почему ты убежала?

— Мне показалось, что я совершила что-то ужасное. Я не понимала ни где я, ни кто мы такие. И как все это могло случиться.— Джейн вздохнула.— Я, кажется, не взяла с собой носового платка.

Дэн отпустил ее и сделал самый старый мужской жест в мире. Через какое-то время она обернулась и через плечо бросила взгляд на собаку.

— Почему она бросила своих щенков?

— Почему ты всегда делаешь неверные выводы? — Он взял ее за плечи, повернул к себе, обнял, прошептал в ухо:— Ты думаешь, она недостаточно любит своих щенков? Нет, Джейн, это хорошо известная уловка. Биологи называют ее отвлекающим поведением. Так ведут себя и птицы. Мать предлагает сделку. Предлагает убить себя, если мы оставим в покое ее малышей. Вот почему она отбежала на такое расстояние, на каком ее нельзя застрелить из ружья. Хочет отвлечь нас от этого места.

Она смотрела на него с любопытством и детским восхищением.

— А мне казалось, что она просто испугалась.

— Если бы она просто испугалась, то вела бы себя как ты. Неслась бы прочь сломя голову.

Они смотрели на собаку, а та смотрела на них.

Джейн медленно произнесла:

— Мне не надо было отрекаться от католичества.

— В первую очередь тебе не надо было принимать его.

— Церковь создана для таких, как я.

— Для таких, кто не верит в любовь?

— Кто ее боится.

Сука покружила и скрылась за грудой камня.

— Она вернется к щенкам?

— Конечно. Как только мы уйдем.

Джейн вновь вздохнула, словно не веря в такой простой оптимизм, потом на миг опустила голову. Одна ее рука выскользнула из кармана и дотронулась до его руки, все еще лежавшей на ее плече.

— Дэн, я хочу остаться одна. Иди в гостиницу. Я догоню.

Его смутил и ее застенчивый тон, и неожиданность просьбы.

— Зачем?

— Мне надо кое-что сделать. Это недолго.

— Не подходи близко к щенкам. Она может...

— Я знаю.

Он безусловно пытался прочесть что-нибудь на ее лице. Потом пожал плечами и медленно пошел к далекому пятнышку гостиницы. Его разбирало любопытство, терзало смущение; через полсотни шагов он не выдержал и обернулся. К его удивлению, она сидела на песке, поджав ноги, спиной к нему, и, опираясь на руку смотрела вниз, перед собой. Совершенно сбитый с толку, он остановился — видимо, она молится, просто постеснялась встать на колени из опасения, что он обернется и увидит.

Ему никогда не забыть той поразительной, почти сюрреалистической картины: среди запустения и холмов с мрачными сторожевыми башнями колючий ветер ерошит мех ее воротника и развевает концы платка.

Он сделал еще несколько медленных шагов вперед, потом снова обернулся. Джейн уже встала и шла к нему. Он ждал, пытаясь по выражению ее лица понять, что произошло. Лицо ее ничего не выражало, пока она не подошла к нему почти вплотную; тут она скорчила гримасу и остановилась.

— Глаза, наверное, совсем размазались.

Он с улыбкой пожал плечами.

— Ничего не поделаешь — ветер.

Пятнадцать — двадцать шагов они прошли в молчании, а потом она пожала его руку.

— Расскажи мне об отвлекающем поведении.

— Чтобы понять, в чем заключается такое поведение, достаточно понаблюдать за тобой.

Она снова сжала ему руку.

— Говори о чем угодно, Дэн. Только не обо мне, пожалуйста.

Вскоре после полудня они покинули Пальмиру и отправились в неблизкий обратный путь до Ливана; Лабиб разглагольствовал о глупости сирийцев, которые не могут по-хозяйски распорядиться таким местом... построить дороги, отели, казино, аэродром. Когда он замолчал, они обменялись понимающими взглядами. Дэн, смирившись с тем, что ему ничего не расскажут, взял руку Джейн в свою и нежно погладил ее. Даже наблюдательные мужчины подчас бывают слепы: на ее пальце он наконец-то заметил след от кольца, но само золотое обручальное кольцо исчезло.

Дэн взглянул на Джейн почти с упреком: значит, там, в пустыне, она, оказывается, смотрела на свою руку без кольца. Сейчас Джейн смотрела в боковое окно, он уставился в лобовое, но руки их сцепились крепче. Прошло почти полминуты, прежде чем она заговорила, так и не отрывая взгляда от окна:

— Как ты думаешь, ее застрелят?

Он снова сжал ее руку.

— Не сейчас.

Будущее прошедшее

В час когда кончился один день
а следующий еще не настал
в час когда время застыло
найди человека который с самого начала правил
твоим телом
ищи чтобы другой
нашел его хотя бы после твоей смерти.

Георгос Сеферис.
«Костры Святого Иоанна»

Дженни задержалась у стойки бара. Бар только что открылся и, как она и ожидала, был почти пуст; ее привычный мир, ее земля — эта

северная часть Лондона — всегда была чужой для Дэна. На стене за барменом красовались фотографии с автографами звезд телевидения и шоу-бизнеса: добрые пожелания, шутливые послания; неразборчивые каракули, непонятые таланты. Как-то в Лос-Анджелесе Дженни сказала ему, что бар этот играет роль неофициальной актерской биржи, где по воскресеньям собираются неудачники и те из счастливчиков, кто считает полезным время от времени изображать из себя неудачников. Дэну рассказ этот не понравился тогда, не понравился ему реальный бар и сейчас; впрочем, именно поэтому она, видимо, и выбрала его для встречи.

Хозяин бара, похоже, хорошо знал ее, и сейчас они обменивались последними новостями. Дженни улыбнулась ему, что-то сказала через плечо и вернулась с напитками к столу. Молодой человек, в одиночестве сидевший в дальнем конце бара, проводил ее взглядом. На Дженни была знакомая калифорнийская одежда: джинсовый костюм, туфли без каблука, вышитая сиреневая шапочка, бело-голубой шерстяной свитер — и никакой косметики. Это делало ее банальнее, проще, открытее, чем она была на самом деле.

Она поставила на стол виски и полпинты «Гиннеса» и села на скамью рядом с ним.

— Ты здесь как дома.

— Извини.

Дэн снова улыбнулся и опять попытался начать разговор:

— Я слышал, что на студии дела у тебя идут отлично.— Она слегка пожала плечами.— Мне на днях звонил Билл.

— Мне тоже.

— Ты уже подписала контракт на следующий фильм?

— Пока нет. Дэвид выжидает. Хочет выжать из них побольше.— Дэвид был ее коммерческим агентом.

— Но ты подпишешь?

Она не ответила. Потом, помолчав, сказала:

— Дэн, пожалуйста, не будь таким.

— Каким таким?

— Вот имено «каким таким».— Затем добавила:— Я не твоя дочь. Кстати, она рада за тебя?

— Да, Каро всегда любила свою тетку.— Потом добавил с наигранной беспечностью:— Первое, что она сказала: «Я всегда считала, что ты в молодости выбрал не ту сестру».

Дженни даже не улыбнулась. Допрос продолжался. Делала она это осторожно, не глядя на него.

— А твоя бывшая жена?

— Она, поколебавшись, все же решила, что по-прежнему будет поддерживать с нами отношения. Мы оба, как она изящно заметила, всегда были совершенно несносными людьми.

— А что вы делали в Италии?

— Мы остановились там на пару дней, чтобы навестить младшую дочь Джейн. Она изучает лингвистику во Флоренции.

— И написать мне уведомление об увольнении.

— Просто объяснить, Дженни.

Наступило долгое молчание. Дженни отпила немного пива и принялась разглядывать стойку бара. Дэну стало не по себе, он пришел сюда с намерением не позволять ей такого. Наконец она заговорила, все еще не отводя взгляда от стойки бара:

— Каждый день я не могу не думать, где ты и что сейчас делаешь. Хотя и знаю, какой ты лживый ублюдок.

— Ты обещала, что мы...

— Это я так.

Он помолчал.

— Я иногда и сам задумываюсь, что же я делаю. Если это может служить для тебя утешением.— Он ощущал на себе ее взгляд,

но голову к ней не повернул.— С годами нам все труднее. За жизнь мы надеваем на себя так много брони, что часто забываем, как она снимается. Так что «ублюдок» знает, кого он потерял в тебе.

— Мне не нужно твоих подслащенных пилюль, Дэн.

— Увы, это правда.

Она опустила кружку на стол, откинулась, скрестила руки на груди.

— Завтра я уезжаю домой. В Чешир.

— Твои родители знают?

— Я сделала вид, будто ты вел себя как настоящий джентльмен. Бог знает почему.— Но тут же скривилась:— Ты заставляешь меня говорить именно то, чего я говорить как раз и не хотела.— Помолчав, она сказала:— Я потому и назначила здесь встречу, что мне тут стыдно плакать.

— Ты же знаешь, что до отъезда у меня и в мыслях ничего подобного не было.

Она опустила руки на колени, разгладила складку на рукаве жакета.

— Как сценарий?

— У машинистки.

— Доволен?

— Я с удовольствием написал слово «конец».

— Тебе, как я вижу, нравится это слово.

— Ты не права.

— Два месяца на это. Два месяца на то.— Она взглянула на Дэна.— Не думаю, что у тебя хватит терпения на роман.— Он догадывался, что она имеет в виду под «романом», но не знал, как ответить помягче, чтобы не обидеть.— Ручаюсь, что не пройдет и полгода, как ты вернешься к сценариям.

— Даже года не дашь?

Дженни покачала головой. Бар потихоньку заполнялся, у стойки уже было восемь-девять человек.

— Она не возражала против нашей встречи?

— Нет. В студенческие годы в Оксфорде она сама была неплохой актрисой. Между вами больше общего, чем ты можешь представить.

— У нас все общее, кроме тебя.

Это было сказано настолько серьезно, что Дэн улыбнулся.

— Ты настоящая актриса.

— Другого ты во мне никогда и не видел.

— Меня бы здесь не было, если бы это было так. Как ты думаешь, почему вон те молодые люди все время украдкой смотрят на нас? — Она промолчала.— Ты им нравишься, Дженни. Но еще больше им нравится то, кем ты становишься. Ты обречена на роль своего рода богини. Иконы. Неприкасаемой весталки. Какой стремится быть любая девушка и какой стремится обладать любой мужчина. И пусть они знают, что ты не девственница. Очень скоро в общественном сознании ты будешь причислена к лику святых. И выбор тебе известен. Либо ты плюешь на все это и отказываешься играть роль иконы. Либо принимаешь игру со всеми ее последствиями.

— Я к нему приползаю в предсмертных судорогах, а он, видите ли, излагает мне теории.

— Перестань. Монро из тебя не получится. Другая культура.— Она снова промолчала.— Тебе придется выбирать. Поверь мне, я слишком долго прожил в мире кино.

— Меня уже не переделаешь.

— Тогда выбирай, какой тип современной весталки тебе больше по душе. Не забывай, что работаешь в гнуснейшем из искусств. Где даже самые лучшие, чтобы хоть чего-то добиться, вынуждены унижаться самым отвратительным образом. Где всем сейчас заправляют кретины. И будут заправлять. Где все отношения между людьми сво-

дятся в конце концов к отношениям сутенера и проститутки. Ты все это знаешь. Включая причины.

— Ты, похоже, слишком долго проработал в кино.

— Оставайся собой. Только даром это не дается.

— Раньше мне все было ясно и понятно. Теперь ты все безнадежно запутал.

— Это не я. Ты просто взрослеешь.

— Я стала взрослой еще до того, как мы встретились.

— Вот уж не хотелось бы играть в твоей жизни роль Ловеласа.

— А это кто такой?

— Обольститель из «Клариссы» Ричардсона.

Наступило самое жуткое молчание — совершенный тупик, когда больше сказать нечего.

Дженни неожиданно спросила:

— Пойдем?

Она одела свое замшевое пальто и взяла сумку. Дэн вышел за ней из бара на свежий воздух. Сновали пешеходы, машины натужно взбирались к Хампстеду[1]. Был ясный, залитый ярким солнцем день, предвещавший весну. Дженни держала плетеную сумку двумя руками и, глядя ему в глаза, робко улыбалась.

— Очень любезно с вашей стороны, мистер Мартин, что вы смогли уделить мне целый час.

Он долго смотрел на нее в упор, и она потупилась.

— И приличие, Дженни, бывает неприличным.

Не поднимая головы, она слегка пожала плечами.

— У меня нет твоего дара к красивым фразам.

Странно, но Дэн неожиданно почувствовал за своей спиной присутствие отца (много лет он был свидетелем его пастырских трудов, хотя никогда не понимал их и презирал за бессмысленность, скучные, притворно-вежливые сборища и бесконечные разговоры ни о чем) и понял, что не замечал в нем главного — человеколюбия. И еще один призрак, не столь далекий — да и призрак только потому, что в тот момент не присутствовал там, а лишь следил за Дэном — стоял рядом и подсказывал ему, что он делает не то, что следует.

— Где здесь можно погулять на свежем воздухе?

— В Хампстед-Хит. Тут на такси рядом.

— Хорошо. Поехали.

Пять минут спустя он расплатился с таксистом у Уайтстоунского пруда. Далеко внизу, за деревьями, раскинулся Лондон, весь в нежно-голубых, серых и розовых тонах, обманчиво безмятежный. Лондон Констебля[2]. Они свернули с дороги на покрытую гравием аллею; навстречу шли матери с детьми, студенты, старики. На деревьях прыгали белки и ворковали лесные голуби. Он попытался рассказать ей все, о чем не хватило смелости написать в письме: о женщине в камышах и о том, что за этим стояло. Немного об Асуане и Пальмире. Рассказ был сух и конкретен.

Когда он закончил, Дженни не заговорила. Они присели на скамейку; потом снова пошли, на сей раз — к Кенвуд-хаусу[3].

— А сейчас я хочу попрощаться с тобой, Дэн.— Она встала перед ним, изображая девочку, которая благодарит за угощение. Улыбнулась, заглянула ему в глаза.— Спасибо за то, что ты был со мной. Во всех смыслах. Поднимешься вот по этой аллее и попадешь на Хампстед-Лейн, где легко поймать такси.— Она снова улыбнулась.— А я, пожалуй, пойду домой одна.

---

[1] Фешенебельный район на севере Лондона; там на возвышенности расположен лесопарк Хампстед-Хит.

[2] Джон Констебль (1776—1837) — английский живописец, мастер изображения свето-воздушной среды.

[3] Кенвуд-хаус — дворец-музей на северо-западе Лондона, имеет богатое собрание картин и мебели. Построен в XVIII в.

Несколько мгновений они стояли не шевелясь, потом она прикоснулась губами к его губам, позволила ему на миг обнять себя и быстро пошла прочь.

Он сел на свободную скамейку и, не отрывая взгляда, смотрел на удаляющуюся Дженни, пока та навсегда не скрылась из его жизни. Потом он закурил сигарету и окинул невидящим взором неброский спокойный пейзаж перед ним.

Наконец он встал и вошел в туннель под грабами. Но вместо того, чтобы идти по аллее наверх к шоссе, он вспомнил, что здесь находится публичная картинная галерея, и импульсивно открыл дверь. Бесцельно побродив по залам, ни на чем по существу не останавливая внимания, Дэн неожиданно оказался перед знаменитым поздним автопортретом Рембрандта.

С холста на него смотрел печальный гордый старик, прекрасно знавший, что он гений и что гений бессилен перед человеческими обстоятельствами. В гостиной XVIII века картине было неловко говорить ту правду, для сокрытия которой и была создана обстановка Кенвуд-хауса. Правду о высшем благородстве такого искусства, о плебейской простоте такой печали; правду о бессмертном угрюмом старом голландце, о его глубочайшем внутреннем одиночестве, о том, как его выставили на бесцеремонное обозрение публики; правду о дате под рамой и о том, что настоящий художник всегда и везде современен; правду об оплывшем лице, о паре слезящихся глаз и о его всепроникающем и неутолимом зрении.

В своем веке, в своей бренной оболочке, в своем искусстве Дэн чувствовал себя карликом. Великая картина обвиняла. Стоя перед Рембрандтом, он испытывал подобие головокружения: сколько же ему еще идти!

Он видел только одно утешение в этих беспощадных, холодных голландских глазах. В конечном счете дело не в мастерстве, не в знаниях, не в интеллекте и не в везении или невезении, а в решимости и умении чувствовать. За внешним слоем картины, за ее суровостью провозглашалась единственно праведная духовная связь мыслящего человечества, основной принцип гуманизма: нет истинного сострадания без воли, нет истинной воли без сострадания.

В зал вошли школьники, зазвучали детские голоса. Покой был нарушен, и Дэн решил уйти. Выходя из зала, он на миг повернулся и еще раз бросил взгляд на старика в углу. Дети шумели около картины, утомленная женщина пыталась рассказать им что-то о ней. Но глаза Рембрандта продолжали неумолимо следить за Дэном поверх детских голов; много лет назад, когда он сам был мальчишкой, его отец, сам того не желая, вселил в него ужас, убедив, что глаза Христа следят за человеком, куда бы он ни шел и что бы ни делал.

В тот вечер в Оксфорде, слоняясь вокруг Джейн, пока та готовила ужин, Дэн сказал ей с иронией, что нашел заключительную фразу для романа, который никогда не напишет. Джейн посмеялась над такой несусветной ирландской заумью. Может, именно поэтому, а также зная, что роман Дэна не прочтут, ибо роман этот всегда будет в будущем, его уже почти не таящийся призрак поставил ту невозможную заключительную фразу в начало своего романа.

■

НАГИБ МАХФУЗ

Да осчастливит Аллах твой вечер!

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского Л. СТЕПАНОВА

Сегодня я начинаю новую жизнь — жизнь пенсионера. Проведя целую вечность на правительственной службе, я сгубил свою молодость и зрелые годы, вплотную приблизился к старости. Эта служба обязывала меня хранить верность королю, а после него — четырем президентам [1], но никто из них не обратил внимания на мое существование. Но главное не это. Вместо одних тягот на меня навалились другие, похлеще. Меня мучают память и воображение. Пожалуй, насекомое, копошащееся в помойке, счастливее меня, ведь у него нет памяти и воображения. Скорее всего, помойка даже доставляет ему наслаждение. Ну а между моей старой берлогой и помойной ямой почти нет разницы. Какая несправедливость, что я не встречаю этот день в новой, праздничной обстановке, в чистой, свежеубранной квартире. Да, мне уже не стать цветущим и плодоносящим древом! Я вспоминаю свою семью, и мое лицо перекашивается от гнева и горечи. Но время для сведения счетов безвозвратно миновало. Мне не верится, что я прожил в этой комнате со школьных лет до пенсионного возраста. На вид она почти не изменилась. Вот деревянная кровать. Как ты прочна, кровать-долгожительница! Твою силу и выносливость не сломили многие годы. Нынешняя мебель не может похвастаться такой дерзновенной мощью. Вот совершенно допотопного вида одностворчатый шкаф средних размеров, всю стенку которого занимает зеркало. Между двумя окнами — небольшой письменный стол с прочными ножками и выщербленной поверхностью, за ним я готовил уроки, когда учился в начальной и средней школе, а потом в университете. Рядом музейного вида софа-оттоманка. А вот персидский ковер — подарок к окончанию школы — единственная вещь, сохранившая свою красоту. Современная архитектура уже не знает ни таких огромных комнат, ни таких высоких потолков, ни такого паркета. Но самому зданию тоже впору отправляться на пенсию. А от прежней улицы Абу Хода осталось одно название. О, жалкие строения минувшего века, в темных закоулках которых таятся воспоминания молодости! Абсолютно ничего нового, кроме новых жильцов, сеющих вокруг себя отчужденность, неприязнь и страх. Я один в огромной квартире, состоящей из четырех пропыленных комнат и зала. Вместе со мной живут только тараканы и мыши. Я безуспешно борюсь с этими непрошеными гостями, с одиночеством и тоскою, а также со сладкими воспоминаниями, проклиная свою память и воображение. Наводя порядок в комнате и

[1] Имеются в виду король Фарук (1936—1952) и президенты республиканского Египта (с 1953 г.) М. Нагиб, Г. А. Насер, А. Садат, М. Х. Мубарек. *(Здесь и далее прим. перев.)*

убирая постель, я думаю, что когда-то я был центром внимания и больших надежд в исчезнувшей навсегда семье. Я был огнем, вокруг которого роились прекрасные бабочки. Клянусь Аллахом, мир не видел таких красивых, нежных и соблазнительных созданий! Мои мечты были под стать скромным мечтам любого юноши: жениться и спокойно прожить свой век в семье, в окружении детей. Мне было несвойственно чрезмерное честолюбие, которым отличались иные мои друзья и коллеги. Некоторые достигли всего, чего хотели, и даже прославились. То, о чем мне мечталось, было для них лишь первым шагом на долгом пути. Почему же рухнули надежды и все приняло непредвиденный оборот? Почему я оказался сегодня одиноким пенсионером, чьи единственные друзья и собеседники — радио, телевизор и тягостные воспоминания? Вновь и вновь завязывается бесконечный диалог между мною и моими родными. Я говорю им: «Если бы не вы, то я был бы иным». А они отвечают мне: «Если б не судьба, то все мы были бы иными». Сердиться ли мне или поддаться чувству жалости, милосердия? В конце концов проклинать следует только судьбу.

После полудня меня, уставшего от жары, потянуло в кафе. Куда угодно, только бы не сидеть в этой ужасной, как тюрьма, квартире! Из прежних знакомых у меня никого. Одни умерли, а тех немногих, что остались, жизнь разбросала по всему городу. Дорога между улицей Абу Хода и кафе «Успех» на площади Армии приобрела вполне современный вид: разбитые тротуары, бурлящий людской поток, ужасающий рев, следующие одна за другой впритык машины всевозможных марок, пыль столбом. О былой красоте, умиротворенности и всепоглощающей тишине теперь можно только мечтать. Я нахожу Хамаду ат-Тартуши на его обычном месте — за столиком на площадке возле кафе, где он меня уже поджидает.

Он вышел на пенсию пятью годами раньше меня. Нашему знакомству способствовали преклонный возраст и одиночество. Его старость сразу заметна по морщинам, в чертах лица и голосе, он выглядит старше своих лет. Голова его бела как снег, брови опущены на веки, будто жесткая проволока, взгляд — потухший, и вместе с тем это очень общительный и веселый человек. Он одинок в том смысле, что у него нет друзей. Однако у него есть семья: преуспевающие сыновья служат в разных министерствах, с ним же в его доме на улице аш-Шарфа живет сейчас только жена.

При виде меня ат-Тартуши расплылся в улыбке, обнажив беззубые десны, и прошамкал:

— Привет. С первым днем пенсионной жизни! Да продлит Аллах твои годы.

— Что и говорить, тоскливо,— ответил я ему смиренно.

— По правде, на меня это подействовало сильнее.

— Каждодневные заботы не позволяют предаваться романтическим чувствам.

Он махнул задубевшей морщинистой рукой:

— Ты прав, старина Халим. Как-никак пенсия меньше зарплаты.

— Мне и зарплаты не хватало. А от тех, кто живет на пенсию, до жертв голода в Эфиопии — один-два шага.

Он беззвучно рассмеялся и, переменив тон, предложил:

— Может, попросить нарды?

— Времени у нас теперь сколько угодно,— отвечал я без особого воодушевления.

— Одиночество, вот твоя главная проблема,— произнес он с чувством.

— Да, работа в министерстве отняла полжизни.

— Послушай моего совета: как можно меньше сиди дома.

— Одиночество не только дома, оно и здесь,— сказал я задумчиво, ткнув себя в грудь.

— Ты, я вижу, не расстаешься со своей старой мечтой о женитьбе,— проговорил он улыбаясь.

— А разве возможность уже упущена? — спросил я с грустью.

— Наши возможности в руках всевышнего, но хватит ли у тебя пороху?

— Все сходятся на том, что я намного здоровее своих сверстников,— отвечал я с жаром.— Иногда мне даже кажется, что я вернулся в отрочество. Меня миновали все известные хронические болезни. Из хвороб был только насморк. Зубы целы и крепки, лишь на четыре коренных мне поставили пломбы. Я никогда не нуждался в очках ни для дали, ни для чтения, хотя, признаюсь, в последние годы почти не испытываю прежней любви к книгам. Но, чтобы не сглазить, не буду особенно распространяться. Честно говоря, образование не вытравило из меня веры в приметы.

— Если женишься,— сказал Хамада ат-Тартуши,— я буду только рад. Ну а нет, будь доволен судьбой. Не завидуй женатым, вроде меня, мы тоже можем тебе позавидовать. Клянусь Аллахом, ничто так не подрывает силы и не сокращает жизнь, как супружество и преподавание в средней школе!

Как часто я слышу от него эти слова! Они входят мне в одно ухо и выходят в другое. Да, мне не пришлось испытать его забот. Но, потеряв семью, я живу без горячей пищи, на бутербродах и консервах, довольствуюсь радио и телевидением. Однако я никогда не переставал мечтать о жене и детях. Даже сейчас. Какое-то утешение я нахожу в нардах. Час возвращения в ветхое здание на улице Абу Хода для меня самый тяжелый и грустный. Подружившись с Хамадой ат-Тартуши, я раскрыл перед ним многие секреты своей жизни. Когда я рассказал ему мою историю с Маляк, он спросил:

— Сколько ей сейчас?

— Она моложе меня самое большее на год или два.

— А что она представляет собой как женщина?

— Я не раз видел ее издали на балконе по дороге в кафе. Мне кажется, она... все еще женщина.

Тут он сказал с серьезным видом:

— Вдова, два сына постоянно живут в Саудовской Аравии; так же, как и ты, одинока, к тому ж твоя родственница. Навести ее, братец, пощупай ей пульс.

Тогда эта странная идея меня рассмешила, однако же она прочно засела у меня в голове. Какие только картины я не рисовал в своем воображении! Мне и раньше виделось нечто подобное, особенно когда я испытывал сильные плотские желания. Маляк посещала меня, когда я готовился отойти ко сну; между нами происходил разговор и совершались действия, но это была прежняя девушка, девушка моего сердца и мечты, которую уготовила мне в жены сама природа. Как жаль, что это только сон! Не то чтобы это была исключительная любовь, пронесенная через годы. Любовь умерла. Я наблюдал за свадьбой Маляк как посторонний. Но как превозмочь одиночество и голод плоти? Я проклинаю превратности судьбы, что обрушились на мою страну и весь мир и настигли меня в моем собственном доме, кляну место своего рождения между улицей Абу Хода и площадью Армии. Я спрашиваю себя: был ли кто-нибудь до меня, кто бы родился, вырос и состарился в одном квартале, на одной улице, в той же самой квартире и даже в той же самой комнате? Кого обстоятельства хватали бы за глотку всякий раз, как он пытался сдвинуться с места? Моя злость достигает предела, когда я приближаюсь ко входу в старое здание, громоздкое и неприветливое в любое время дня, и вступаю на заваленную отбросами лестницу со сбитыми ступенями, потерявшими от грязи свой изначальный цвет. В здании нет

ни привратника, ни служителей, а я ведь так люблю чистоту и порядок. В ноздри шибает тяжелый, затхлый запах. За всем этим, конечно, стоят инфляция, политика «открытых дверей», войны, порочность мировой экономики. Я лично не хотел ничего более, как только жениться на Маляк — дочери моего родственника Баха-эфенди Османа.

Однажды Хамада ат-Тартуши сказал:

— Не уверен, что наша страна благополучно преодолеет кризис.

— Подумай лучше о нашем с тобой «кризисе»! — возразил я ему с негодованием.— Ведь наша жизнь исчисляется днями, а жизнь страны — веками.

Мой друг любит поговорить на отвлеченные темы, я же всецело поглощен собственными заботами. Глядя на свое убогое жилище, я спрашиваю себя: «Неужели эти жалкие руины были колыбелью семейного уюта, благородных чувств и любви?!» Моя мать после Фикрии и Зейнаб родила шестерых мальчиков, которые поумирали еще в детстве, а уж потом произвела на свет меня. Возродив у родителей веру в отцовство и материнство, я стал любимой игрушкой двоих, нет, даже четырех людей. Разве можно забыть любовь ко мне Фикрии и Зейнаб? Все они хлопотали вокруг меня, когда отец брал меня с собой ради забавы и развлечения в кафе: мать причесывала, Фикрия надевала матросский костюмчик, Зейнаб чистила до блеска мои ботинки. Из своей комнаты выходил отец, одетый по последней моде, источающий аромат нежнейших духов,— само воплощение элегантности. Беря в руку трость с набалдашником из слоновой кости, он бросал на меня одобрительный взгляд сквозь очки в золотой оправе и говорил улыбаясь:

— Пожалуйте, Халим-бек[1].

Отца звали Абд аль-Кави аль-Бек. «Бек» в данном случае — имя, но он добавлял это имя к моему как титул, хотя мой дед аль-Бек был всего лишь торговцем пирожками на улице аш-Шейх Камар. В кафе отец заказывал для меня мороженое и рассказывал своим друзьям о моем раннем развитии, добавляя при этом:

— У меня есть фотография, где он очень напоминает Саада Заглула [2] в детстве.

Надо признаться, мои глаза видят больше, чем следует. Вот мы собираемся за обеденным столом — семья в полном составе. Я люблю их всех, но это не мешает мне замечать недостатки. Мне не нравится лицо моего отца, особенно когда он снимает очки. Лицо у него худое, вытянутое, несколько сплюснутое, нос до смешного маленький, глаза узкие, еле прорезанные, лоб выпуклый — в общем, облик малопривлекательный. У матери изящная фигура, нежное лицо, большие красивые глаза, мягкие волнистые волосы, тонкий прямой нос. Правда, ее голос портят гнусавость и вечно недовольный, истеричный тон. Но больше всех не повезло Фикрии и Зейнаб, которые стали точной копией отца. Я же безо всякой для себя пользы унаследовал миловидное лицо матери. Вследствие такой несуразности в нашей семье прочно воцарилось невезение. Я был единственным счастливчиком, но и ко мне подкралась беда. В поведении и словах матери явно проявлялась нервозность, будущее всегда рисовалось ей в мрачном свете. С течением времени ее все больше и больше переполняла тревога. Она говорила отцу:

— Надо бы отдать девочек в школу.

На что он отвечал:

— Пусть Аллах меня судит, но я не унижу своего достоинства.

[1] Бек, или бей *(турецк.)*,— ранее один из титулов знати в странах Ближнего Востока.

[2] Саад Заглул (1857 — 1927) — египетский государственный и политический деятель, основатель и лидер либерально-националистической партии «Вафд», возглавившей после первой мировой войны борьбу Египта за независимость.

У отца с матерью были очень хорошие отношения, у Фикрии и Зейнаб с отцом — превосходные. Однако между матерью и обеими сестрами редко когда бывало все спокойно. Каждая из них испытывала страх, и потому они постоянно находились в состоянии напряженности и беспричинной вражды. Ох, эти вечные ссоры и горькие обвинения!

Однажды мой друг Али Юсуф — однокашник и сосед — сказал с убежденностью:

— Твое счастье, что у тебя богатый отец!

Я удивленно спросил:

— Почему ты так говоришь?

— Да это видно с первого взгляда. Он самый важный человек на нашей улице.

Я согласился с ним, мысленно сопоставив отца с Юсуфом-эфенди — отцом своего друга. Между тем Али Юсуф продолжал:

— А сколько тебе, старик, дают каждый день на карманные расходы!

Действительно, карманные деньги моих сверстников не превышали полпиастра в день, а я же получал целый пиастр [1].

Отец брал меня иногда с собой в кафе или кино. Я был, как говорил мой друг Али, «из благородных». Наш дом в ту пору был, можно сказать, еще в юном возрасте — новее, чем дом Али Юсуфа и Баха Османа, отца Маляк. Ей-богу, мне доставляло счастье слыть благородным и богатым. Разве есть в мире что-либо прекраснее богатства? Я говорил матери:

— Мы богатые.

Она отвечала мне несколько в нос (это, пожалуй, единственное, что ее портило):

— Слава Аллаху, мы ни в чем не нуждаемся.

— У нас есть имение?

— Нет у нас никакого имения,— смеялась она.

— Тогда откуда же взялись богатства отца?

— От щедрот нашего Господа, сынок.

Очевидно, богачи не сообщают своим детям до поры до времени, откуда берется их богатство. Достаточно того, что мы ели, чего нам хотелось; в месяц рамадан [2] кладовая наполнялась орехами, в праздник разговенья[3] — пирожными и печеньями, а в праздник жертвоприношения[4] полагался еще и барашек.

Мой отец, вне всякого сомнения, был состоятельным человеком. К числу его достоинств принадлежало и то, что он единственный в нашей семье читал — ежедневную газету и иллюстрированный еженедельник. От него и я перенял страсть к чтению. После того как мне наскучил детский журнал, я попросил отца покупать мне переводные повести. С тех пор моя жизнь потекла по-новому: я стал жить как бы в двух мирах — в мире повседневной действительности, где была школа и непременные ссоры женщин дома, и в мире фантазии, с героями и героинями романов.

Отец спрашивал меня:

— Тебя это не отвлекает от уроков?

— Но, папа, я ведь прекрасно успеваю.

— Тебе нужно получить высшее образование, диплом,— говорил он ободряюще.

— А ты, папа, получил такой диплом?

— В наши дни начальное образование было самым высшим,— отвечал он, смеясь.— Но, несмотря на это, я получил еще и специальность. В ваше время больше возможностей. Кем бы ты хотел стать?

[1] Пиастр, или кырш,— мелкая монета, одна сотая египетского фунта (гинеи).

[2] Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста.

[3] Мусульманский праздник по случаю окончания поста.

[4] Отмечается на десятый день месяца зу-ль-хиджжа (двенадцатый месяц по мусульманскому календарю).

— Я хотел бы быть как ты.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, чтобы у меня был такой же костюм, столько же денег и чтобы у меня был дом!

Он захохотал:

— Ладно, ответишь на мой вопрос, когда подрастешь.

Как и отец, я совершаю молитвы и соблюдаю пост. Женщины ограничиваются постом, но я ведь мужчина. Отец был добрым и нежным, любил пошутить. Когда он сердился, то запирался в своей комнате или надевал костюм и отправлялся в кафе.

Та жизнь отошла в прошлое, и ее герои исчезли со сцены. Они спят вечным сном на кладбище Баб ан-Наср в склепе, одна половина которого отведена для мужчин, а другая — для женщин.

Я занимаю ту же комнату, что и прежде. Соседняя с ней комната отца еще пригодна для жилья. Ее украшают телевизор, радиоприемник и книги. В гостиной — обеденный стол, четыре стула и полупустой шкаф. Старая мебель продана по дешевке, и две другие комнаты полностью оголились. Кухни в общепринятом смысле этого слова у меня нет. Есть только небольшая газовая плита, на которой я готовлю себе кофе или чай. Питаюсь я бобами, тамией [1], консервами, иногда яйцами. Поистине, пища мудрецов в наше сумасшедшее время!

Одиночество меня томит, и я упорно пытаюсь с ним бороться: включаю телевизор или отправляюсь в кафе. Читаю я теперь крайне редко — прошли те времена, когда спутниками моей жизни были отечественные титаны мысли и корифеи зарубежной литературы. Мой кругозор расширился, я стал просвещеннее, но на мои убеждения это нисколько не повлияло, вернее, не повлияло в такой степени, чтобы от них можно было отказаться. Я по-прежнему молюсь и соблюдаю пост и ожидаю неотвратимого конца. Увы, я не совершил в этой жизни ничего заслуживающего внимания. Меня одолевают скука и тоска, и до смерти опротивел дом. Меня преследует страх перед болезнями и смертью. Я боюсь, что мной овладеет немочь и не найдется никого, кто протянет мне руку помощи. Или что меня настигнет смерть и я буду лежать, пока не начну смердеть. Я говорю себе: «Гони прочь эти мысли, глупо тревожиться, пока не свершится назначенное судьбой».

Ат-Тартуши считает, что мне можно позавидовать. Неисправимый плут, нашел кому завидовать! Его сыновья утопают в роскоши. В начале каждого месяца он получает от них денежное пособие. Когда придет его срок, в доме у них соберется множество людей, и вся аль-Аббасия огласится громкими воплями. «Аль-Ахрам»[2] посвятит ему некролог, в котором будут такие слова: «О почившая душа, вернись к Господу своему удовлетворенною и умиротворенною! Под сень Аллаха сошел достойнейший педагог». За гробом пойдут уважаемые люди — друзья его сыновей и прочих родственников. Этому ничтожному, хотя и доброму, человеку устроят похороны по первому разряду.

Если же умрет Халим-бек, то не будет напечатано никакого некролога. Сообщение о его смерти появится лишь в отделе происшествий. Пусть Хамада завидует мне, если хочет. Он не знает, что такое одиночество, он не вдыхает в своем жилище запах тлена, он каждый день ест мясо, хоть у него нет зубов. Он забывает о холодной постели, лишенной супружеского тепла, не знает, что значит лишиться женской ласки, не испытать отцовских чувств. Будь у меня друзья

[1] Тамия — блюдо из дробленых бобов, сваренных в масле с приправами—петрушкой, мятой, луком и чесноком.

[2] «Аль-Ахрам» («Пирамиды») — старейшая египетская газета, издается с 1875 г.

помимо него, я бы давно его проклял. Телевизор — тоже мой друг, и еще какой! Он вводит в волшебный мир фантазии и прекрасных женщин...

Жалкая, ничтожная жизнь! Но сам я — не такое уж ничтожество. До вчерашнего дня я был генеральным инспектором в министерстве просвещения. Я мог бы осуществить свои мечты, если бы не обстоятельства. Какой толк в мизерном повышении зарплаты, если из-за инфляции цены выросли вчетверо! В моем нынешнем положении виновата не только семья, но весь мир с его порочной экономикой и политикой. Я старался держаться от него подальше, но он не пожелал оставить меня в покое.

Где найти водопроводчика, чтобы починить кран в ванной? Интересно, сколько он возьмет теперь за услуги? Я был бы счастлив, если бы полдня спал, но не могу спать больше пяти часов в сутки. Мне нужно отдохнуть от мыслей о тебе, Маляк. Мои тайные беседы с тобой никогда не прекращались. Некое чувство подсказывает мне, что ты еще не утратила способности любить. Мы оба одиноки, Маляк. Почему бы нам не совершить сейчас то, чему злая судьба помешала раньше? Ат-Тартуши оживил во мне мысль о встрече с тобой, превратил меня в жертву навязчивой идеи. Мое воображение бешено заработало. Вот я нажимаю на звонок и жду. Открывается дверной глазок, она смотрит: «Ах, это ты... пожалуйста, заходи, как ты вдруг о нас вспомнил?» — «Да вот, шел мимо».— «Ну, милости просим!» Разговор ведется вокруг да около. Я искусно маневрирую, а сам не могу отвести взгляда от ее груди. Она читает мои мысли и подает мне едва заметный знак. Я сажусь рядом с ней, как в прежние дни. Ее слабое сопротивление лишь еще больше возбуждает меня, и вот мы уже глушим тоску, сливаясь в нежных объятиях.

Ах, если бы сбылись эти мечты, Маляк! Были и другие женщины, которых я и поныне встречаю на улицах квартала. От них веет ароматом прекрасного прошлого. Время безжалостно изменило их, а от прошлого остались одни имена. Они стали мне чужими, несмотря на мимолетные улыбки при встречах. Они теперь почтенные матроны и матери. Если бы не тяжкие обстоятельства, я бы взял одну из них себе в жены. Но что толку говорить об этом?

Сейчас я меняю нижнее белье один раз в неделю, чтобы сэкономить на стирке и глаженье. Ем кебаб только в особых случаях. О пенсионерах люди забывают так же, как об умерших. Некогда я парил орлом на крыльях цветущей юности. Приятельницы говорили моей матери: «Халим создан для Маляк, для Бусейны, для Ребаб, для Бисы». Мою же мать волновала больше трагическая участь двух ее дочерей. Годы шли, и надежды гасли. Все девушки, кроме Фикрии и Зейнаб, повыходили замуж. А к ним не подступались ни чужие, ни родственники. Я удивленно говорил себе: «Ведь на свете так много безобразных жен. Неужели богатств отца не хватит, чтобы уладить это дело?»

Я стряхивал с себя груз семейных забот и продолжал гордо парить на крыльях юности. Под разными предлогами в нашем доме появлялись, словно сияющие луны, в сопровождении своих матерей Маляк, Бусейна, Ребаб и Биса. В унылую атмосферу нашей квартиры врывались сполохи соблазна и кокетства; влеклись друг к другу взгляды, исполненные желания и страсти; не обходилось без нежного слова, произнесенного как бы невзначай, без легкого прикосновения или даже поцелуя, украденного незаметно от соглядатаев. Я любил всех и не останавливался ни на ком. В присутствии одной я на время забывал о других, но Маляк уже тогда отличалась от прочих силой характера и умом. Однажды, когда я был, не помню, то ли учеником средней школы, то ли студентом, мать спросила меня:

— Кто тебе из них больше нравится?

Я задумался, потом произнес:

— Не знаю!

— Но ведь должна одна из них хоть чем-то да выделяться?

Я подумал о Маляк, но тем не менее ответил:

— Все они похожи друг на дружку.

Засмеявшись, мать сказала:

— Я ничего так не желаю, как увидеть твоих детей, пока я жива. Господь, надеюсь, поможет Фикрии и Зейнаб, и тогда наступит твой черед.

Событий в моей тогдашней жизни было немного. Однажды в Восточной Аббасии я встретил Бусейну, и мы торопливо поцеловались. С Ребаб я обменивался символическими сувенирами, Бисе тайно вручал письма. С Маляк же я обходился без сувениров и писем: нам все говорили взгляды. Мне доставляло удовольствие быть светилом, вокруг которого девушки вращались, словно планеты. Ах, если бы собрать их всех вместе в одном гареме! Но Маляк медленно и постепенно входила в мое сердце, и огоньки звезд меркли в соседстве с восходящим солнцем. До сих пор перед глазами у меня стоит картина: Маляк — на женской половине в трамвае, медленно идущем по Аббасии, в своем белом платье, как столп света — высокая, в меру полная, с развитой грудью, светлокожая, с пышными, черными как смоль волосами и прелестными глазами.

Она окончила среднюю школу и хорошо знала домоводство. Задушевные беседы между родственниками, взаимные визиты и мои частые посещения ее дома привели в конце концов к тому, что нас стали считать женихом и невестой безо всякого объявления. Из-за этого другие сваты оставили Маляк в покое. Ее сестры повыходили замуж, а она ждала меня. Она — моя жена, а я ее муж! Завершив образование и получив должность, я мечтал только о том, как женюсь на ней. Я часто оставался с ней наедине в ее доме. Когда она устремляла на меня глаза, полные страсти и неги, я чувствовал себя как чайник на плите, крышка которого подрагивает и вздымается от клокочущего в нем пара. Мы обменивались поцелуями, но она не позволяла мне вольностей и мягко говорила:

— Всему есть предел.

Я ловил мгновенье, она же обращала свой взор в будущее, делясь сокровенными мыслями:

— Устроишься на работу, отложишь из зарплаты сто гиней, и тогда все уладится.

— Папа не пожалеет для меня таких денег,— отвечал я самоуверенно.

— Твой отец — служащий, такой же, каким был мой!

— Нет, не совсем такой,— возражал я ей с улыбкой.

Вся улица знала о нашей любви. Она наполняла гордостью сердца моих родителей, над ней подшучивал мой друг Али Юсуф. Если бы не трагедия Фикрии и Зейнаб, то родители были бы вполне счастливы и не выказывали бы тревожную озабоченность, отец — изредка, а мать — беспрестанно.

Меня же занимала отнюдь не одна любовь, но я был создан только для беспорочной жизни. Для беспорочной жизни и отцовства.

Сегодня мы играем с Хамадой ат-Тартуши в нарды на чашку кофе. Я торжествую над ним победу, но вскоре воодушевление иссякает. Мы сидим и смотрим на площадь Армии, залитую яркими огнями. Как много женщин, мужчин, детей! История цивилизации наглядно представлена всевозможными средствами передвижения — от тачек и телег до автобусов и трамваев. Со всех сторон до нас доносятся разные звуки — разговоры, ругань, крики, пение. Хамада продолжает:

— Эта страна...

Он жалуется и негодует на все на свете. Мое спокойствие раздражает его.

— Тебя ничего не волнует.

— Я по горло сыт волнениями!

— Но ты видел на своем веку много событий, войн, людей.

— Ну и что?

— Ты думаешь только о себе.

— Я еще в худшем положении, чем страна.

— Но ты же интеллигентный человек.

— Пошел к черту!

Хамада громко смеется — он еще умеет весело смеяться — и произносит:

— Начни новую жизнь.

— То есть?

— Ты владеешь английским, учился на вечерних курсах менеджеров и секретарей при «инфитахе»[1], что тебе стоит начать снова?

— Мне нужна передышка.

— Боюсь, ты привыкнешь к безделью.

— Не беспокойся за меня.

Объявлений о вакантных должностях сейчас много, и зарплата, как я слышал, приличная, но ее все равно не хватит, чтобы изменить мою жизнь.

Такая зарплата, увы, не позволит мне переехать на новую квартиру в один из современных жилых кварталов, правда, мой скудный рацион пополнится горячей пищей.

Я говорю Хамаде:

— Немного терпения — и ты услышишь приятную новость.

Он смеется:

— Ты должен высоко держать знамя пенсионеров!

Я наделен хорошим здоровьем, но что с того? И все же мне следует славить и благодарить Аллаха. Он знает о моих долгих лишениях и одиночестве и должен помочь мне. Ведь он милостив и милосерден. Я говорю Хамаде:

— Будь я крепче в своей вере, я был бы счастливее.

— Человек бывает либо верующим, либо неверующим, середины быть не может.

Я сердито отвечаю:

— Ты сегодня что-то остер на язык.

Он хохочет:

— Я не признаю веры у интеллигенции!

Я молчу. Он вечно брюзжит, а сам прекрасно спит по ночам. Но он — едва ли не все, что у меня осталось в эти жалкие времена. Где вы, друзья? Где вы, закадычные приятели?..

Из своей комнаты я слышу, как моя мать говорит матери Ребаб или Бусейны, точно не помню:

— Халим не может связывать себя, пока не закончит учебу.

Логика безупречная, но она меня бесит. Хорошо еще, это говорится не матери Маляк. Ведь Маляк спросила меня:

— Когда мы объявим о помолвке?

И в ответ услышала:

— Семейные обстоятельства не позволяют мне этого сделать до окончания учебы.

Она пошла на уступку. Ее мать скрепя сердце тоже вынуждена была согласиться. Пока я учился в университете, Бусейна, Ребаб и Биса вышли замуж. Расставание с каждой невестой отзывалось в мо-

[1] Инфитах *(арабск.)* — либерализация. Имеется в виду политика «открытых дверей», проводившаяся президентом Садатом в 70-е годы, когда в Египет был открыт широкий доступ иностранному капиталу.

ей душе болью, но эта боль была преходящей: она не оставляла глубоких следов. Брак сильнее влюбленности. Его чары прекраснее и долговечнее. Розовые мечты юности быстро рассеиваются, как аромат духов от спешащей мимо женщины. Пока я жив, не забуду слов Маляк в минуту откровения:

— Если бы даже у меня попросил руки принц, я бы ему отказала, у меня нет ничего, кроме тебя.

Маляк казалась мне верной и надежной, вернее любой истины на свете. Ах, то была великая, настоящая любовь! Она одержала окончательную победу в счастливый незабываемый день.

Из окна своей комнаты Маляк увидела, как я обмениваюсь знаками с Бусейной. При первом же посещении нашего дома — в сопровождении матери — она бросилась ко мне в комнату и застенчиво спросила:

— Тебя можно поздравить?

Я удивился:

— С чем?

— С Бусейной!

Мне стало стыдно. Я посмотрел на нее долгим взглядом. Она храбро, в упор глядела на меня. Гордость не позволяла ей выказывать ревность. Как прекрасна она была в ту минуту!

В порыве искреннего счастья я прошептал:

— Никто, кроме тебя, Маляк.

Тогда она громко сказала, чтобы ее голос был слышен за дверью:

— Дай мне почитать какую-нибудь книгу.

— Ты читала «Магдалину» [1]?

— Да.

— Тогда возьми «Вертера».

— Давай,— произнесла она улыбаясь.

С той поры другие девушки утратили для меня свое очарование. Все мои помыслы были теперь о браке. Как уже говорилось, я был создан для безгрешной жизни. Я не такой, как Али Юсуф и остальные.

Однажды вечером приятели сказали: «Пойдем прогуляемся, попытаем удачи». Ну что ж, попытаем!

Как давно это было!..

Сегодня по пути в кафе я спрашиваю себя: «Неужели мне суждено до конца моих дней ходить этой осточертевшей дорогой между улицей Абу Хода и площадью Армии?» Неисповедимы пути Господни! Я представляю себе, как возвращаюсь домой из кафе, и моя мимолетная радость тускнеет. Весь облик Аббасии вызывает у меня отвращение, словно лицо какой-нибудь уродины. А еще говорят, что настоящая жизнь начинается после шестидесяти! Как хочется видеть вокруг себя все новое, дышать чистым воздухом, бродить среди тенистых деревьев, величаво расхаживающих красавиц. Хорошо бы пойти в клуб, где много друзей и развлечений, почувствовать тепло и уют, которые отвлекают от мыслей о болезнях и смерти. Молодость и деньги — вот счастье в этом мире. Повсюду говорят о неожиданно выпавшем богатстве, о сногсшибательных вечеринках в снимаемых на ночь номерах, о «золотых» балах в отелях. Где путь, что ведет в этот волшебный мир?

Мои товарищи — где они? Однажды я повстречал возле кафе «Американ» доктора Хазима Сабри. Мы поздоровались за руку, обменялись двумя-тремя словами и расстались! Кто поверит, что мы были неразлучны все детские и школьные годы? Кое-кого унесла

[1] Переложение на арабский сентиментального романа французского писателя XIX века Альфонса Карра «Под липами», выполненное известным египетским литератором М. Л. аль-Манфалюти.

смерть. Остался только этот добрый старикан. Вот он уже машет мне рукой со своего привычного места. И говорит с серьезным видом:

— Я знаю, что тебя привело сюда сегодня так рано.

— Что?

— Кризис доллара и египетского фунта!

Я от души рассмеялся, что со мной случается редко.

— Да не смилуется над тобой Аллах, старик!

Он важно произнес:

— Я видел тебя во сне!

— Правда?

— Мне приснилось, что ты едешь на осле, а на голове у тебя большая чалма. Потом ты снял чалму, помахал ею в воздухе и пришпорил осла каблуками. Я спросил тебя, куда ты направляешься, и ты ответил, что едешь в Мекку совершать малый хадж [1].

— Ты можешь истолковать свое сновидение?

— Конечно. Тебе предстоит доброе дело, но прежде ты должен отбросить плохие мысли!

В тот вечер я опять почувствовал к нему симпатию, как и в тот день, когда он предложил мне посетить Маляк. Должен признаться, Хамада скрашивает мое одиночество. Если бы не он, я бы сошел с ума от постоянных разговоров с самим собой...

Итак, друзья сказали: «Попытаем удачи». И мы направились в какую-то кофейню. Там мы поужинали под звуки мандолины. Я впервые выпил бокал вина и тотчас почувствовал радостное возбуждение, какого никогда еще не испытывал. Первый самостоятельный шаг в нашей жизни, казавшийся таким заманчиво волшебным, обернулся обыкновенной веселой попойкой. Не в силах сдержать бьющую в нас через край радость, мы начали безо всякой причины громко хохотать, чем привели в замешательство даже сидевших вокруг отъявленных пьяниц. Мы впервые вступили на путь порока. Каждый пошел с приглянувшейся женщиной. Не успел я закрыть за собой дверь, как она привычным движением сбросила с себя платье. Я смущенно остановился. Сердце у меня упало. Меня будто окунули в бочку со льдом. Она окинула презрительным взглядом мою оцепеневшую фигуру: «Эй ты, я тебе не сестра милосердия». Когда я выскочил на свежий воздух, мой желудок взбунтовался и исторг все содержимое. Один из приятелей высказал предположение, что в первый раз не обходится без неприятных последствий. Но и второй раз был не лучше. Я понял, что мне не найти счастья ни в вине, ни в этих женщинах. Где тот огонь, что сжигает меня в присутствии Маляк? Али Юсуф махнул на меня рукой:

— У тебя желудок мусульманина и чувства тоже мусульманские.

Я понял, что мой удел — беспорочное поведение и законный брак. Мои мечты скромны, их легко осуществить. Итак, подходящая должность и женитьба. Все другие желания вскоре исчезли, как сон после пробуждения. Друзья мечтают о новых, неизведанных мирах. Их прельщает власть или продвижение по службе. Иные из них вступают в разные партии и восседают рядом с вождями. Я же так высоко не стремлюсь. Мне нужна только должность, которая обеспечит необходимые средства существования, добропорядочная жена и дети. В самый разгар политической междоусобицы, охватившей страну, мой отец сказал:

— Мы, служащие, храним верность тому, кто правит страной.

Я передавал ему услышанные мною разговоры о вождях честных и вождях бесчестных, а он отвечал:

[1] Малый хадж, или умра, — паломничество в Мекку, совершаемое вне установленного срока.

— Все они свиньи, грызутся друг с другом за власть. Только сумасшедшие ставят свою жизнь и будущее под угрозу в никому не нужной борьбе.

Будь то дома или в кафе, его разговоры неизменно вращаются вокруг должностей, постов и штатных единиц. Я учусь прилежно, хотя не делаю особых успехов. Однако я не мучаю себя и не стараюсь занять первое место. Я читаю, развлекаюсь, влюбляюсь. Все мои друзья считают, что моя возлюбленная красива и благонравна. Я люблю ее с каждым днем все сильней и беззаветней. Одержимый любовью и бешеной страстью, я постоянно кружу вокруг нее. Иногда она хмурится и шепчет:

— Будешь долго тянуть, не избежать нам скандала!

В ответ я жалобно бормочу:

— Я испытываю смертельные муки.

Она с укором говорит:

— Мне не нравится, что ты иногда слишком много себе позволяешь. Любовь по своей природе — благородное чувство. Держись со мной так же, как я держусь с тобой.

Она подарила мне свою фотографию, и я хранил ее возле сердца. Благодаря любви я чувствовал себя как никогда счастливым. Но меня переполняли желания молодости, и в отличие от Али Юсуфа я не мог с ними совладать. Он мой самый лучший друг. Мы с ним вместе готовим уроки, попеременно то у него дома, то у меня. Он ниже меня ростом, но красивее на лицо и смышленее. Иногда он объясняет мне то, чего я не понимаю. Он знает больше моего и интересуется политикой. Али Юсуф пылко говорит:

— Я еще увижу новый Египет, в котором не будет ни короля, ни англичан.

Али Юсуф рассказывает мне о новых политических течениях, таких как «Братья-мусульмане»[1], марксисты, «Молодой Египет»[2]. Сам же он остался верен «Вафду». Долгое время он встречался с девушкой-еврейкой, но в начале второй мировой войны она бесследно исчезла. О других его любовных связях мне ничего не было известно. Мне даже казалось, что он вообще не способен на глубокое чувство. Мы вместе поступили на юридический факультет и продолжали вместе готовить домашние задания. Я сказал Маляк:

— Остались считанные годы. Скоро мы начнем новую жизнь.

Маляк все еще живет с матерью, хотя она самая привлекательная из сестер. Она говорит мне:

— О, если бы у меня было законченное образование!

— Тебя тоже прельщает служба?

— А почему бы и нет?

— Но я хочу видеть тебя хозяйкой дома.

Я не оспариваю права женщины на образование и на труд, но предпочитаю, чтобы она была домохозяйкой. Али Юсуф осуждает меня, он считает, что я слишком консервативен:

— Ты, как и твой желудок, не стремишься к новой жизни.

— Не смейся,— отвечаю я.— У меня еще будет новая семья, получше нынешней.

Мы закончили учебу накануне войны и стали, как говорится, «учеными господами». На службе мы не добились высоких должно-

[1] «Братья-мусульмане» — религиозно-политическое движение в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, возникшее в 1928—1929 гг. в Египте. Его приверженцы выступают за особый, «исламский», путь развития, возврат к первоначальной чистоте ислама.

[2] «Молодой Египет» — мелкобуржуазная националистическая партия, существовавшая в Египте под разными названиями с 1933 по 1953 г.

стей. Я — из-за того, что не слишком старался, Али Юсуф — из-за своей политической деятельности. Али приходился родственником господину адвокату Гафару Бархаму, и тот взял его в свою контору. После долгих хлопот отец помог мне устроиться в министерство просвещения. Если бы не проблема с Фикрией и Зейнаб, он бы считал, что выполнил свою жизненную миссию наилучшим образом. Как бы то ни было, наша семья почувствовала себя относительно счастливой. Еще счастливей была семья Баха-эфенди Османа — отца Маляк. Мои визиты к ней после моего вступления в должность приобрели новый смысл. Разговоры теперь велись о будущей совместной жизни, уже без тайных шептаний и любовных намеков. Я говорил, как бы извиняясь:

— Хорошие должности нынче большая редкость.

Маляк весело отвечала:

— Я понимаю... Не стоит желать сразу слишком многого.

— Восемь гиней — этого достаточно.

— Более чем достаточно.

— Будем надеяться, испытательный срок продлится недолго.

Она радостно кивает в знак согласия, и ее щеки покрываются розовым румянцем. Я любуюсь ее стройным станом, когда она подает мне кофе. Меня охватывает трепет, я спрашиваю себя: «Если б объявили помолвку, добился бы я от нее чего-то большего или нет?»

Хамада насмешливо замечает:

— Стоило нам закончить партию в нарды, как ты снова стал блуждать в далеких мирах. О чем ты думаешь?

Я молча слежу за фокусником, который показывает свои трюки перед кафе, окруженный ребятней. С отвращением смотрю на змею, что обвивается вокруг его шеи.

Хамада спрашивает:

— Ты любишь фокусников?

— Нет.

Вздыхая, он произносит:

— Мой внук очень болен.

— Да поможет ему Господь.

— Ты помнишь стихотворение, которое начинается словами: «И наши дети подобны...» Как там дальше?

— Вроде бы я его читал, но я плохо запоминаю стихи.

— А я теперь забываю то, что следует помнить, и помню совершенно ненужное.

— Я тоже.

— Иногда я даже забываю грамматические правила, которые преподавал всю жизнь.

Моего отца отправили на пенсию в тот самый год, когда я поступил на службу. Я прочитал на его лице растерянность и что-то похожее на стыд, который он пытался спрятать за вымученной улыбкой, и сказал про себя: «Мой отец опечален». Он старался не менять своего ежедневного распорядка: ложился спать в полночь, вставал рано утром, в восемь утра — вместо семи, как раньше, уходил из дома, после полудня возвращался из кафе «Дававин» — вместо министерства, обедал, спал и снова отправлялся в кафе. Но его печаль не проходила. Я решил утешить его и вселить в его сердце немного радости. Ведь он мой отец и друг, и нам нечего друг друга стыдиться. Я скажу ему: «Давай руку, пойдем вместе в дом Баха-эфенди Османа сватать Маляк. Сегодня мой, а также и твой решающий день. Нет никакого смысла ждать замужества Фикрии и Зейнаб — так можно прождать до скончания века». Но отец внезапно умер. Он не болел и

ничего не подозревал. Это случилось рано утром, за завтраком, когда он пил кофе. Как позже определил врач, у него отказало сердце. Женщины вопили и били себя по лицу. Я плакал вместе с женщинами, словно был одной из них. Я никого так не любил, как отца. Его смерть застигла меня в том возрасте, когда в нее трудно поверить.

— Смерть от разрыва сердца — самая легкая,— говорил он и приводил мне в пример своего отца.

Я не думал, что когда-нибудь познакомлюсь с нуждой. Она предстала предо мной неожиданно, хотя долгое время жила рядом. Я понял, как мы бедны, только после кончины отца. Целую вечность я жил в мире призрачных надежд. Меня поразило, что отец не оставил после себя никакого состояния, если не считать сорока гиней, которые он завещал матери на похороны и погребение. В чем же был секрет достатка, в котором жила наша семья? Дело объясняется очень просто. Мир находился в тисках глобального кризиса, о котором я читал в газетах, не придавая этому значения. Люди, обеспеченные постоянной работой, имели твердый доход, на котором, при всей его незначительности, зижделось их благополучие. Товары были дешевыми и расходились прежде всего среди служащих. Благодаря этому мы ели, пили, одевались и гордились тем, что живем в Каире. После того как разразилась война, все стало меняться. Наступил коммерческий бум. Цены начали неуклонно подниматься. Собственники воспрянули духом. Наполнились мошны тех, кто наживался на войне. Свет померк перед простыми служащими, которым будущее не сулило ничего хорошего. И вот избалованный юноша оказался главой семьи, ответственным за судьбу матери и двух сестер, засидевшихся в девушках. Их жалкой пенсии едва хватало на самую скромную одежду, а на его зарплату с каждым днем можно было купить все меньше и меньше. Как в таких условиях говорить о моем обручении? И когда я теперь смогу жениться?

Я встретился с ней в ее доме — после поминок по отцу, устроенных на сороковой день. Сама атмосфера встречи не предвещала ничего хорошего. Я был еще во власти скорби, а она уважала мою скорбь. Но я никогда не видел ее такой печальной.

Я робко говорю ей:

— То, что отец ничего не оставил, поистине было для меня ударом!

Она уныло вопрошает:

— А пенсия?

— Пенсия! Какая же это пенсия, Маляк?!

— Все это похоже на заранее обдуманное убийство,— бормочет она.

— Это действительно убийство.

— Что ты думаешь о будущем?

— Я постоянно думаю о нем, нужно только время.

Несмотря на гнетущую нас печаль, моя страсть к ней разгоралась с новой силой. Или, может, печаль только подбросила дров в этот жаркий костер? Мне даже приходили в голову сумасшедшие мысли об изнасиловании. Мы расстались в самом тревожном расположении духа. Как и когда я женюсь? Вот вопрос, что постоянно мучил меня. Все мои коллеги по министерству женаты. Их удивляет, что я до сих пор холост. Многие готовы найти мне невесту: «Тебе это почти ничего не будет стоить». Но они — представители бунтующего поколения, погрязшего в грехах. Я слушаю, страдаю и молчу. Проклятие! Вот уж не предполагал, что судьба уготовит мне такой сюрприз!

Однажды мать вошла ко мне в комнату в своем траурном одеянии и села рядом со мною на софу. Опустив глаза долу, она произнесла:

— Надеюсь, Халим, я поступила правильно.

Ничего не подозревая, я спросил:

— Какие-нибудь новости?

— Не знаю, что и сказать.

Помолчав, она продолжала:

— Сегодня утром у меня была мать Маляк. Она моя подруга детства и вправе позаботиться о судьбе своей дочери. Она предложила объявить о помолвке, спросила о будущем. Я сказала ей: «Ты моя лучшая подруга, и между нами не может быть секретов. Маляк мне как дочь, и я никогда не найду Халиму девушку, которая бы была лучше ее, красивее, воспитаннее и ближе мне по крови. Ты должна знать, в каком мы сейчас положении». И я ей подробно обо всем рассказала, а потом спросила: «Что с нами будет, если Халим покинет нас?» — «А разве нельзя объявить о помолвке сейчас, чтобы прекратить всякие пересуды?» — «Еще неизвестно, когда он будет в состоянии содержать две семьи». Мы расстались, я — опечаленная, она — рассерженная,— закончила мать свой рассказ.— Может быть, я поступила неправильно, сынок?

Я был во власти гнева и бессилия. Но кого мне бранить или упрекать? Реальность несокрушима, как скала. Не могу же я сражаться с бесплотным призраком, имя которому невезение. Я возненавидел жизнь. О, тягостное, ужасное время!

Я отправился с визитом в дом своей возлюбленной. В этом доме любви и розовых мечтаний меня впервые встретили сухо. Маляк сидела безрадостная, хмурая, на лице ее не было и тени улыбки. В центре гостиной восседала ее мать, которая с издевкой спросила меня:

— Ты попросил разрешения у своей матери, прежде чем явиться сюда?

Потом, сменив тон, она с горечью произнесла:

— Вот уж не предполагала такого вероломства!

— Вы же знаете о наших обстоятельствах,— ответил я убитым голосом.

— Аллах тебе не простит. Как может молодой человек вроде тебя жертвовать всей своей жизнью из-за того, что кому-то другому не повезло? Потом, в чем вина моей дочери?

— Позвольте мне объяснить...

Но она не дала мне договорить:

— Меня не интересуют объяснения, для меня важнее всего репутация моей дочери и ее будущее.

— Репутация Маляк вне всяких подозрений! — воскликнул я протестующе.

— О нет, твои посещения могут быть теперь истолкованы не в ее пользу.

— Мама! — вскричала Маляк.

— А ты помолчи! — прикрикнула та.

Я ничего не видел перед собой, когда бесславно покидал их дом. Я шел шатаясь, не в силах вынести выпавших на мою долю оскорблений, в тоске и отчаянии. Я спрашивал себя растерянно: «Неужели действительно со всем покончено? С любовью и надеждой? С Маляк и женитьбой?» Меня захлестнула волна бурной, яростной ненависти ко всему. Меня душила ужасная догадка о том, что я жертва в семье жертв. В тот вечер дома у нас царила такая же атмосфера, как в день смерти отца. Моя мать, Фикрия и Зейнаб сидели вместе на софе, не смея поднять глаз от стыда и досады. Мать виновато промолвила:

— Мы тяжелая ноша, но против судьбы не пойдешь.

Фикрия, которая жалела меня еще больше, чем мать, сказала:

— Я сделала бы все, даже невозможное, только бы ты был счастлив, но что я могу?

Зейнаб, огорченная не меньше их обеих, молчала. Когда я пошел в свою комнату, она пробормотала:

— На все воля Аллаха.

Сейчас, всякий раз оглядываясь назад, я вижу лишь свою ничтожную, бесплодную и жалкую жизнь, пустые грезы о богатстве и женщинах и этот отвратительный дом-тюрьму на улице Абу Хода. И всякий раз Хамада ат-Тартуши, желая развеять мою тоску, говорит полушутя, полусерьезно:

— Иди к ней, она, как и ты, одинока.

Теперь, как и встарь, Маляк стала возбуждать во мне желание. Как часто я мысленно сжимаю ее в объятиях!

Еще Хамада говорит:

— Если бы не теперешние времена, ты бы нашел женщину, которая предоставила бы тебе весь набор комплексных услуг! — И, хохоча, добавляет: — Вроде нашего «комплексного развития»!

Старик, будь он неладен, в хорошем настроении и поэтому шутит.

— Хочешь, скажу правду? — продолжает он.— Ты мог бы на ней жениться.

Я сердито глянул на него.

— Будь я тогда на твоем месте,— сказал он,— я бы купил обстановку для своей комнаты, хотя бы в рассрочку, и привел бы девчонку в семью, а там уж положился бы на Аллаха.

Я резко ему ответил:

— В то время мне это не пришло в голову.

— Не сердись, я просто вижу, что ты смирился с поражением, даже не пытаясь сопротивляться.

— Прошу, не вини меня за мою несчастную судьбу.

Нашему дому, казалось, мало было одного невезения. К нему присоединились и другие несчастья. Семью раздирала ненависть: то Фикрия препирается с Зейнаб, то мать бранится с Фикрией, то Зейнаб ссорится с матерью.

Фикрия говорит:

— Если бы мы получили образование и нашли работу, то не оказались бы в таком положении, да простит вас Аллах.

Мать кричит в ответ:

— Времена вашего покойного отца не то, что нынешние. Не поминайте злом усопшего.

В разговор вступает Зейнаб:

— Будь я посмелее, пошла бы в служанки.

Мать восклицает:

— Хоть бы Господь поскорее послал мне смерть!

О, дом несчастья и скорби! Будет ли конец этим взаимным упрекам? В то же время по отношению ко мне они проявляли всю нежность и любовь, на какие были способны. Я — глава дома и одновременно его жертва. Я ненавижу их в той же мере, в какой сочувствую им и жалею их. Какой превосходной хозяйкой была моя мать! Как счастливы они были с отцом! Она и не подозревала, что ее семью ожидает столь печальный финал. Однажды я сказал с досадой:

— Почему на наш дом обрушиваются одни несчастья?

— Из уксуса меда не получишь,— ответила мать.— Ты же сам...

— Сам?! — возмутился я.

— По правде говоря, я желаю, чтобы они вышли замуж, только ради тебя.

— Если каким-то чудом и появится жених, то что́ я за них смогу ему дать? — спросил я насмешливо.

Мать вздохнула и ничего не ответила. Я повысил голос:

— А я? Чем я виноват?!

— Уходи, женись и предоставь нас нашей судьбе,— сказала она раздраженно.

— Я даже этого не могу сделать! — воскликнул я с горечью.

Дом несчастий, который я с каждым днем ненавижу все сильнее. Все те же лица, все те же лишения. Будет ли у этой жизни когда-нибудь конец? Фикрия раздражительна, Зейнаб эгоистична. Они не покидают дома из-за того, что злы на весь мир, что в их гардеробе нет приличной одежды. Между тем война продолжается, цены растут, тревоги множатся. Я говорю матери:

— Главная наша беда в том, что мы слишком многое себе позволяем. Мы должны быть крайне осмотрительными в расходах.

— Я делаю все, что в моих силах.

— Отец, да простит его Аллах, не позаботился о будущем!

Как обычно, она встала на его защиту:

— Он был не в состоянии сделать больше того, что сделал.

— Он транжирил деньги, слишком меня баловал и тем самым испортил мне жизнь!

— И ты его упрекаешь за то, что он любил тебя больше всего на свете?!

— Он поступил бы разумней, если бы экономил деньги, чтобы выдать замуж своих дочерей.

— Отец намеревался откладывать для этого часть своей пенсии.

Однажды мой начальник позвал меня к телефону. До меня донесся голос, от которого бурно забилось сердце. Да это Маляк, моя любимая! Она назначила мне встречу в предвечернее время на улице Дворцов. Мы встретились, когда в моем сердце уже угасла последняя искра надежды, после целого года мучительно долгой разлуки. Передо мной снова ее прекрасное лицо, прелестный стан. Смущаясь и стыдясь, она сказала:

— Ты, конечно, меня забыл!

Мы пошли вместе.

— Я никогда не думал, что все так кончится,— произнес я.

— Всякий раз, когда мне делали предложение, я отказывала, но как жить дальше?

— Я виноват перед тобой, Маляк.

— Значит, никакой надежды?

— Если не будет еще хуже!

Она сникла.

— Было бы нехорошо обманывать тебя,— произнес я.

Мы шли молча, словно на похоронах, пока не очутились на площади, где расположена французская больница.

— Я сделаю то, что ты мне укажешь,— пролепетала она.

— Как я могу тебе указывать. Теперь мне остается только винить себя за твои загубленные годы.

Быстро надвигавшаяся темнота давила своей тяжестью, ее не мог рассеять свет уличных фонарей, окрашенных в синий цвет, как того требовали инструкции противовоздушной обороны. Мы должны были расстаться, не доходя до аль-Аббасии. Окончательное расставание, которое унесет с собой все! Мы остановились. Я спросил дрогнувшим голосом:

— По-твоему, я заслуживаю всяческих упреков, не так ли, Маляк?

Она отрицательно покачала головой. Наши руки встретились. Последние слова, что я сказал ей, были:

— Я буду всегда молить о твоем счастье.

Я с трудом оторвал от нее взгляд и ушел. Эта встреча лишь раз-

бередила незажившую рану. Моя ненависть ко всему окружающему возобновилась с новой силой, я даже стал усердным читателем оппозиционной прессы, хотя никогда по-настоящему не интересовался политикой. Я попросил своего друга Али Юсуфа:

— Научи меня, всезнайка. Мне предстоит навсегда остаться холостяком, как мне решить мои мужские проблемы?

Он громко засмеялся — разговор происходил во время прогулки по парку аль-Эзбекийя — и сказал:

— Попытай удачи в кофейнях.

— Но я не переношу ни женщин-профессионалок, ни вина,— проговорил я, теряя надежду.

Тогда он сказал:

— Тебе остается одно — обратиться к Умм Абдо.

— Умм Абдо?! — воскликнул я.

Он спокойно продолжал:

— Она выросла в вашем доме, жизнь у нее не сложилась, и в ней еще что-то есть. Почему не попробовать?

— Но она старше меня на десять лет.

— Я ведь не предлагаю тебе на ней жениться, профессор!

Наверное, во всей вселенной не найдется таких гнилых, захудалых мест, где в то же время обитало бы столько волшебных грез, как старое здание на улице Абу Хода и кафе «Успех» на площади Армии. А что еще, кроме грез, остается одинокому пенсионеру? Если бы мне удалось разжиться деньгами, я совершил бы путешествие по стране — с востока на запад и с севера на юг. А если бы мне неожиданно привалило богатство — от родственника, живущего где-нибудь в Бразилии, то я избороздил бы весь земной шар вдоль и поперек и женился бы на юной красавице, не думая о последствиях. Как сладки и как жестоки мечты! Маляк, ты живешь в каких-нибудь нескольких шагах от меня, а я пальцем о палец не ударю, чтобы быть рядом с тобой. Мы связаны одними воспоминаниями, мы жертвы одного поколения. Сердце мне подсказывает, что ты еще женщина!

Хамада ат-Тартуши радостно сообщил мне:

— Моего сына повысили, он стал генеральным директором.

Поздравив его, я сказал:

— Кофе и сандвич сегодня за твой счет.

— Только кофе! — возразил он решительно.

— Ты все еще живешь со своей супругой как с женщиной?

— Пустой вопрос,— произнес Хамада, засмеявшись.

— Извини, но это для меня важно.

— Когда есть желание,— ответил он лаконично, а потом добавил: — Способность и желание часто не сопутствуют друг другу.

После этого он сказал с сожалением:

— И как это ты остался холостяком? Я не знаю человека, который так стремился бы жениться, как ты.

— Вплоть до последнего года я продолжал содержать семью,— отвечал я с горечью.— Всякий раз, когда зарплата немного повышалась, цены поднимались вдвое.

— Какое несчастье! И Умм Абдо отправилась к праотцам раньше срока!

— Напротив, с опозданием, после того, как перестала быть женщиной!

— Твоя судьба. Что мешает тебе теперь встретиться с Маляк?

Али Юсуф стал преследовать меня взглядом. Я знаю, о чем он хочет спросить, но делаю вид, что ничего не замечаю. Мы сидели в

старинном кафе «Радость», на месте которого сейчас выставка мебели, когда он наконец задал вопрос:

— Как поживает Умм Абдо?

— Это чистейшая авантюра, но она увенчалась успехом,— ответил я, засмеявшись.

— Ну и как? — нетерпеливо спросил он.

— Что сказать? Многолетняя привычка. Я знаю ее с детства, она для меня как часть домашней обстановки. После того как я занял в доме место своего отца, она стала еще больше меня уважать. Должно быть, она очень удивилась, заметив, что я по-новому стал на нее смотреть и иначе разговаривать. Таких вещей не замечают одни идиоты. Она простая женщина, но, к счастью, не идиотка. Когда я до нее дотронулся, она смутилась, отпрянула и учащенно задышала, явно встревожившись. Теперь все идет наилучшим образом, но мне приходится соблюдать большую осторожность.

— Боишься скандала?

— Конечно.

— Они не дали тебе жениться, а теперь хотят еще и подвергнуть мучительной пытке?

— Меня удерживают правила приличия и стыд.

— Важно, что теперь у тебя с нервами все в порядке, не так ли?

— Да, конечно.

— Если что, пригласи меня.

— Убить тебя мало, проклятый сводник! — засмеялся я.

Да, я действительно стал спокойнее, но в то же время я еще сильнее почувствовал отвращение к самому себе, собственное бессилие и никчемность. Я спрашивал себя: чем мы отличаемся от стран, участвующих в войне? Мы привыкли к ее ужасам, к сигналам воздушной тревоги, привыкли видеть солдат-союзников. Нас поражали изменчивость военного счастья и падение былых кумиров. Я дважды в день встречался с Али Юсуфом — вечером в кафе «Радость» и ранним утром в бомбоубежище. Как-то вечером он сказал мне:

— Я хотел бы знать твое мнение по очень важному делу.

— Говори,— ответил я, ни о чем не подозревая.

Он спросил со смущенным видом:

— Какие у вас сейчас отношения с Маляк?

Его вопрос застиг меня врасплох. С минуту я не мог вымолвить ни слова. Потом ответил:

— Абсолютно никаких отношений.

— Я спрашиваю не об официальных отношениях, а о том, что тебе говорит сердце.

— Прошлое навсегда забыто.

— И тебя не огорчит, если она сегодня-завтра выйдет замуж?

— Напротив, я пожелаю ей счастья. Возможно, с ее замужеством меня окончательно покинет чувство вины.

— Тогда у меня еще вопрос.

— Слушаю, господин,— сказал я, улыбаясь.

— Ты не будешь возражать, если я попрошу ее руки?

— Я первый вас поздравлю,— ответил я, не задумываясь.

— Только прошу тебя говорить правду, чтобы впоследствии ни ты, ни я не раскаялись.

— Я сказал правду.

Да, я был искренним. Я ощутил лишь мимолетную печаль, навеянную разочарованием, но не испытывал больше ни любви, ни ревности.

В тот день, когда я рассказал обо всем этом дядюшке Хамаде ат-Тартуши, он спросил меня:

— Ты вправду излечился от любви к Маляк?

— Можешь не сомневаться,— уверенно ответил я.

— И ты не взял бы ее себе в жены, если бы позволили обстоятельства?

— Взял бы, если она еще подходит для этого.

— Следовательно, ты продолжаешь отдавать ей предпочтение?

— Мой выбор мог бы пасть и на какую-нибудь другую.

Сощурив глаза, Хамада сказал:

— Ты мне говорил, что он жил с ней в одном доме?

— Да.

— Клянусь Каабой [1],— заговорщически произнес Хамада,— он давно ее любил.

— Мне это тоже приходило в голову.

— Твой Али Юсуф — настоящая лиса!

— По отношению ко мне этот человек совершенно чист. До последних дней своей жизни он оставался моим лучшим другом.

— И ты не был против его брака?

— Мы пришли к полному согласию.

Вслед за тем я ему рассказал:

— У них родились два мальчика, такие же талантливые, как их отец. Они тоже увлеклись политикой, но в отличие от своего отца-вафдиста вступили в организацию «Братья-мусульмане» и впоследствии были вынуждены эмигрировать в Саудовскую Аравию. Там они женились и остались на постоянное жительство. Я думаю, что благодаря им Маляк сейчас живет неплохо.

— А когда она овдовела?

— Лет десять назад. Мой друг умер в расцвете сил от рака. Это был благородный, великодушный человек, и таким он оставался до последнего дня.

Мои родные встретили известие о замужестве Маляк молча. Их чувство вины передо мной возросло, и в доме стало еще печальнее. Я присутствовал на свадьбе своего друга и поздравил Маляк. Словно между нами ничего и не было. Я с изумлением думал о том, сколь обманчивы и преходящи чувства, сколь скоротечны мечты отрочества и юности и сколь жалка и горька действительность.

Как бы то ни было, Али Юсуф — незаурядная личность. Его доход от адвокатской практики в десять раз превышал мою зарплату в министерстве. Он создал Маляк прекрасные условия, дал сыновьям отличное воспитание. Он гордился их успехами, правда, у него вызывала беспокойство их политическая деятельность — не только потому, что она шла вразрез с его собственными убеждениями, но и потому, что им угрожали преследования со стороны правительства. Поэтому Али Юсуфа обрадовал отъезд сыновей в Саудовскую Аравию, но вскоре его стала терзать тоска по ним, ибо он был настоящим, любящим отцом. Мне никогда не забыть ни его короткой и жестокой схватки с ужасной болезнью — раком мочевого пузыря, ни его мучений в последние дни, ни его кончины, после которой в моем сердце осталась зияющая пустота. Единственным для меня утешением в ту пору были мои некоторые успехи по службе и тайная связь с Умм Абдо. Я покорился реальности, которую для меня олицетворяли три истеричные, вечно недовольные женщины. Они словно были живым символом времени, отмеченного дороговизной жизни, противоречиями и невзгодами.

Вскоре после революции[2] ухудшилось здоровье моей матери и обострилась психическая болезнь Зейнаб. На мои плечи легли новые

[1] Кааба — священный храм мусульман в Мекке.

[2] Имеется в виду Июльская революция 1952 г., в результате которой в Египте был свергнут феодально-монархический режим.

расходы на лечение и лекарства. Я привык к холостяцкой жизни, и прежние мои намерения жениться и обзавестись детьми казались мне теперь неосуществимыми. Я с досадой спрашивал себя: удастся ли мне вырваться на свободу из этого постылого логова? Меня одновременно радовало и печалило то, что они втроем стараются услужить мне, окружить меня уютом. Но мне меньше всего был нужен этот уют. Они опутали меня цепями, в то время как годы уходили. Но вот отправилась к праотцам Умм Абдо. Что касается матери, Фикрии и Зейнаб, то я потерял их на последнем году своей службы. Сначала умерла мать, достигшая к тому времени почтенного возраста. Спустя несколько месяцев за ней последовали семидесятилетняя Фикрия и Зейнаб, которая была моложе Фикрии на два года. Похороны обошлись недешево, я даже залез в долги. После этого в свои шестьдесят лет я оказался один в обезумевшем, свихнувшемся мире, где лимон стоит десять пиастров!

Хамада ат-Тартуши говорит мне:

— Не поддавайся отчаянию. Тебе опротивело твое жилье, но тысячи бездомных, что ютятся в склепах на старых кладбищах, могут тебе позавидовать. Ты вполне мог бы работать в частной компании и увеличить свои доходы. И еще есть женщина, одинокая, как и ты, почему бы тебе не навестить ее?

Смеясь, он добавляет:

— Слава Аллаху, у тебя отменное здоровье, а твои мужские способности предвещают полный успех.

В один прекрасный вечер я сказал ему:

— Я решил бросить вызов судьбе.

Старик одобрил меня за храбрость. Бóльшую часть следующего дня я приводил себя в надлежащий вид. Я постригся, побрился, как следует вымылся под душем, надел свои лучшие брюки и рубашку и стал ждать, пока стемнеет. Потом вышел на главную улицу и пересек ее. Мне вспомнился Али Юсуф. Я сказал себе, что он верил мне и я тоже не изменяю его памяти, и еще, что человеку в моем возрасте стыдно смущаться. Постояв в полной темноте перед дверью на третьем этаже, я нажал на звонок. Услышал приближающиеся шаги. В двери открылся глазок, и очень знакомый голос спросил:

— Кто там?

Над дверью вспыхнула лампочка и осветила мое лицо. Маляк не поверила своим глазам:

— Ты?!

Она открыла дверь. Ее голос дрожал от волнения. Указав мне на комнату справа от входа, она прошептала:

— Пожалуйста.

Маляк удалилась, и я остался один. Было душно. Я открыл окно, выходящее на улицу. Да, все та же старая знакомая гостиная, но мебель в ней новая, очень современная. Придется ли мне раскаиваться в своем поступке? Маляк, наверное, сейчас переодевается. Как давно я не видел ее вблизи! Снова послышались шаги. Она вернулась в красивом летнем платье скромного покроя, открывавшем только руки и лодыжки. Голову ее покрывал белый платок. Не присаживаясь, она спросила:

— Выпьешь кофе? А хочешь, у меня есть апельсиновый сок.

— Не беспокойся, пожалуйста.

Она снова ушла. Но я уже успел ее рассмотреть. Лицо округлилось больше прежнего, но еще сохраняло привлекательность, и морщин на нем не было заметно. На смену прежней свежести и молодому задору пришли степенность и серьезность. Интересно, поседели

ли у нее волосы? Она пополнела, но не огрузла. Под платьем тело ее выглядело даже соблазнительно. Да, клянусь Аллахом, соблазнительно! На меня обрушился вихрь страстных желаний. Ах, прижать бы ее к груди и слиться с нею в жарких объятиях, как бывало! Но будь осторожен, говорил я себе. Ты ведь не знаешь, что сейчас у нее на душе. Возможно, она решила навсегда посвятить себя материнству и чистой, беспорочной жизни. Умерь свой пыл и постарайся не оплошать.

Она вернулась, держа в руках маленький серебряный поднос, на котором стояла бутылка с соком. Поставив поднос на деревянный столик, инкрустированный перламутром, она пододвинула его к моему креслу.

— Я тебе доставляю много хлопот. Присядь отдохни,— произнес я.

Она села на диван напротив меня, и в этот момент я обратил внимание на свадебную фотографию, что висела у нее над головой. И по бокам две фотографии: на одной — Али Юсуф, на другой — их сыновья в арабской одежде. На мгновение я растерялся: моя задача усложнялась.

— Доброе дело, наконец-то ты вспомнил своих родных!

— Неразумно жить в одном квартале и сторониться друг друга!

— Милости прошу. Ты все еще работаешь в министерстве?

— Только-только вышел на пенсию.

— Да продлит Господь твои дни. А кто тебя обслуживает?

— Никто. Живу наедине со старыми стенами,— сказал я, засмеявшись.

— Я тоже одна вроде тебя, если не считать доброй преданной женщины, которая бывает у меня раз в неделю.

— Разве ты никогда не покидаешь дома?

— Выхожу лишь время от времени, по необходимости.

— Одиночество — тяжкая вещь. Хотя у меня есть излюбленное кафе и друг, все равно очень тяжело.

— А у меня телевизор, одна-две соседки,— призналась она со вздохом.

— Этого мало.

— Все же лучше, чем ничего!

— А как поживают твои сыновья?

— Великолепно, они поселились там навсегда. У меня теперь внуки... Что ж, таков мой удел.

В последних словах ее прозвучала горечь.

— Ты к ним не ездила? — спросил я.

— Один раз совершила там малый хаджж.

— Поздравляю тебя, хаджа [1],— произнес я с грустью.

— Желаю тебе тоже его совершить,— ответила она.— Если ты когда-нибудь захочешь поехать, они тебя примут.

— Все зависит от воли Аллаха. Скажи лучше, как твое здоровье?

— А твое?

— Слава богу, лучше быть не может.

— Я тоже не жалуюсь, разве что пришлось вставить зубы.

— Это ничего.

— Я молю Аллаха о счастливом конце.

— Тебе еще жить и жить! — пылко воскликнул я.— Как я счастлив, что тебя вижу!

— Я тоже. Жаль только, что ты одинок.

— Но ты тоже одинока.

— Я хочу сказать,— мягко произнесла она,— что тебе следовало бы обзавестись женой и детьми.

— Что поделаешь, судьба...— сказал я с сожалением.

[1] Ха́джа *(арабск.)* — женщина, совершившая хаджж; также обращение к пожилой женщине.

Мы смолкли, чтобы перевести дух. Я осушил бутылку до дна и весь покрылся потом. Между действительностью и мечтой — огромная пропасть. Я представлял себе, что без труда направлю беседу в нужное русло, что ринусь в объятия к Маляк, отягощенный скопившейся за долгие годы страстью, что свершу то-то и то-то. Здесь же все дышит благопристойностью. Передо мной сидит чопорная дама, не позволяющая ни малейшей вольности. Сверху на нас смотрят портреты. Они как бы участвуют в беседе, не допуская никакого безрассудства, окрашивая нашу встречу в печальные тона. Интересно, о чем она думает? Неужели в ее памяти не всплыл ни один обольстительный образ из прекрасного прошлого? Может ли она обуздать свои мысли так же, как свое поведение? Мне хочется уловить в ее глазах хотя бы легкий намек, искру игривости, мимолетную стыдливость, тень улыбки — это бы объяснило многое. Но я встречаю лишь серьезный, участливый взгляд, взгляд, каким родственница смотрит на родственника, встреченного ею на закате жизни. Неужели прежняя Маляк никогда не вернется? Как бы то ни было, я не уйду из этой квартиры не солоно хлебавши. Неужели собственная трусость заставит меня раскаиваться до последних дней жизни? Набравшись смелости, я спросил:

— Ты не против, если мы будем время от времени скрашивать визитами наше одиночество?

— Милости прошу,— ответила она спокойно, потом, поколебавшись, добавила: — Но...

Поняв, что кроется за этим «но», я сказал:

— Мы ведь родственники, да и возраст наш исключает всякие пересуды.

Она промолчала.

— Значит, ты не согласна, чтобы я тебя навещал! — расстроился я.

— Я этого не говорила,— тотчас ответила она.

— Может быть, ты за строгий образ жизни?

— Это то, о чем нам не мешает подумать.

— Я хотел бы, чтобы ты высказалась со всей откровенностью.

— Если бы я думала по-другому, я бы откровенно тебе об этом сказала.

— Мне просто необходимо общаться с тобой, одиночество невыносимо! — воскликнул я с жаром.— Ты же знаешь, у меня нет никого, кроме тебя. Я все время только об этом и думаю.

Она улыбнулась и с порозовевшим от смущения лицом прошептала:

— Я тебя понимаю.

— Значит, оба мы нуждаемся в общении! — сказал я, осмелев.

Маляк засмеялась и ничего не ответила. Я чувствовал, что мы словно бы перенеслись в былое.

— Одиночество тягостно, жизнь горька. Мне так хочется чего-то нового. Вот ты обновила свою мебель...

— В моей квартире вся обстановка — новая. Покойный муж оставил мне приличную сумму. Вахид подарил спальный гарнитур, а Бекр, второй сын,— гарнитур для гостиной. Сама же я купила мебель для столовой.

— И тебя не пугают нынешние цены?

— Пенсия у меня мизерная, но Вахид и Бекр присылают мне все необходимое. А как твои дела?

— Стараюсь держаться, хотя кто заботится о пенсионерах! Но я думаю начать новую жизнь.

— Теперь, уйдя на пенсию?

— Здоровье у меня крепкое Я владею английским, и у меня есть опыт административной работы. Хочу попытать счастья в одной частной инвестиционной компании.

— Там неплохие оклады.
— Я возлагаю на это большие надежды.
— Что ж, идея прекрасная.
— Я рад, что ты одобряешь.
Мы снова умолкли, и я решил, что пришло время проститься.
— Мне пора.
Она из вежливости предложила мне побыть еще, но я встал и протянул ей руку.
Я шел по тихой вечерней улице, вдыхая свежий летний воздух. Хотя моя мечта не осуществилась, надежда еще не потеряна. В кафе я отправился уже в другом настроении. Когда Хамада ат-Тартуши заметил меня, лицо его расплылось в улыбке:
— К тебе вернулась молодость. Я никогда не видел тебя таким, как сегодня.
Я принялся рассказывать ему о том, что произошло между мною и Маляк, заново переживая свою радость.
— Я смотрю на это с оптимизмом,— прокомментировал Хамада,— а ты?
Подумав немного, я ответил:
— Успех обеспечен пока лишь наполовину.
— Нет, больше.
— И правда.
— Если бы она захотела, то это посещение было бы первым и последним.
— Несомненно.
— Наверняка она догадалась о цели твоего визита.
— Надеюсь.
— Поверь мне, я разбираюсь в женщинах лучше тебя, но ты действительно считаешь, что она еще в форме?
— Клянусь тебе, она все еще привлекательна! — заверил я его пылко.
— Хочу тебя предупредить: не особенно обольщайся,— сказал он, смеясь.— Внешний вид в таком возрасте мало о чем говорит. Под платьем тело может показаться соблазнительным, но если его обнажить, то станут заметны бугры и колдобины, как на теперешних улицах. Поэтому я советую тебе: если добьешься своей цели, занимайся любовью в полной темноте!
Я покатился со смеху, а потом сказал:
— Прежде всего надо добиться цели.
Возвратившись к себе, я почувствовал страшную тоску и еще больше возненавидел свой дом. Хоть бы он сгорел! Ни кафе, ни телевизор не доставили мне в последующие дни радости. Новый визит — вот единственная оставшаяся надежда. Прийти через неделю — слишком рано, а ждать целый месяц — невыносимо, и я решил повторить визит через две недели. За это время я узнал, что в одном из филиалов «Дженерал электрик», ведущем строительство водоочистной станции, есть свободная должность. Работа временная, рассчитана на три года, но зарплата — четыреста египетских фунтов в месяц, не считая бесплатного проезда. Я подал заявление на конкурс. Выбор пал на какую-то девушку, но директор предложил мне должность в административном отделе с оплатой в триста фунтов. Я согласился, меня это вполне устраивало. Конечно, с такими доходами я не смогу позволить себе переехать в новый район, но питаться и одеваться буду куда лучше. Выждав две недели, я отправился под покровом сумерек к своей возлюбленной; терпение иссякло, страсть разгорелась, решимость окрепла! Я убедил себя, что мужчине моих лет не подобает теряться подобно мальчику и стыдиться как юноше. Когда Маляк открыла дверь гостиной, я попросил, чтобы мы перешли в другую комнату — будто бы для того, чтобы чувствовать себя

непринужденнее, а на самом деле чтобы не видеть фотографий на стене.

— Благодаря тебе в мою жизнь вернулась радость,— сказал я ей, не таясь.

— Не преувеличивай,— улыбнулась она.

— Я поступил на работу в «Дженерал электрик»,— сообщил я, не скрывая своего удовлетворения.

— Поздравляю.

Я рассказал ей о зарплате и о прочих вещах, после чего добавил:

— Теперь я смогу осуществить свою мечту.

Она, по-видимому, не поняла.

— Если ты хочешь переехать в новую квартиру, то я сомневаюсь, что ты этого добьешься.

— Получить квартиру для меня не самое главное,— сказал я, набравшись храбрости.

— Неужели?

— Я всерьез думаю о женитьбе.

— О женитьбе? — проговорила она, умело, как мне показалось, скрыв свое удивление.

— У меня отличное здоровье,— произнес я уверенно.

— Да укрепит Господь его еще больше,— сказала она, смущенно улыбнувшись.

— Я хотел бы знать твое мнение.

— Почему бы и нет? Такие, как ты, женятся. Женятся даже люди постарше.

— То же самое я сказал и себе.

— Позволь мне подыскать для тебя подходящую жену,— весело произнесла она.

— Что значит «подходящая жена»?

— Ну, серьезная женщина не меньше сорока лет.

— В таком случае это будет вдова или разведенная.

— И что с того?

— И у нее будут дети, возможно даже несовершеннолетние.

— Придется смириться с тем, что есть.

Глядя прямо в ее растерянные глаза, я произнес:

— Я знаю, кто мне нужен, и тебе не надо никого искать.

— Что ты имеешь в виду? — в полном замешательстве спросила она.

— Маляк,— произнес я со смирением и мольбою,— жена, которая мне нужна,— это ты.

Она опустила глаза и нахмурилась. Но я был настойчив:

— Что ты на это скажешь?

— Ты ради этого и пришел?

— Ну да.

— Это стыд и позор!

— Позор?!

— А что же, по-твоему?

— Это естественная потребность, и никакого позора здесь нет.

— Я не помышляла о браке,— сказала она дрогнувшим голосом.

— Вспомни, это было нашей самой заветной мечтой.

— Теперь все в прошлом и поросло быльем,— потерянно сказала она.

— Но прошлое воскресло во мне со всей силой! — воскликнул я горячо.

— Ты сам не понимаешь, что говоришь. Одиночество лишило тебя разума. Твои мечты скоро угаснут сами по себе.

— Я знаю, чего хочу.

— Нет, я не допущу позора,— взволнованно проговорила она.

— Да что ты повторяешь все время это мерзкое слово?

— Надо трезво смотреть на вещи. Ты забываешь, что я мать и бабушка.

— Вначале это, может быть, непривычно, но потом человек отдается своему счастью, ни о чем не думая,— произнес я с нежностью.

Скорбно потупив взгляд, она прошептала:

— Не лишай меня душевного спокойствия.

Мне показалось, что она уже спорит со мной как женщина, а не только как мать, бабушка или родственница. Я вскочил с места и шагнул к ней, чтобы сесть рядом, как мы, бывало, сидели когда-то. Но она отпрянула, гневно воскликнув:

— Не тронь меня!

Этот крик ожег меня, словно пощечина. На какое-то мгновение я застыл, весь во власти отчаяния. Уходя, я прошептал:

— Да хранит тебя Аллах...

В кафе я не пошел. И домой тоже. Я долго бродил без цели, отдыхая иногда в попадавшихся по пути кофейнях. На заре вернулся в свой склеп.

На следующий день, направляясь привычной дорогой в кафе «Успех», я поднял глаза к ее балкону. Смотрю, она стоит в дверях и вроде бы глядит в мою сторону. Из вежливости я поприветствовал ее кивком. Вдруг вижу, она машет мне рукой. Сердце у меня замерло, я стал как вкопанный. Что бы это означало? Она отступила назад, вновь помахала мне и скрылась.

Я истолковал этот знак в свою пользу и, не чуя под собой ног от радости, пересек улицу. На этот раз я не стал дожидаться вечера.

■

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН

Перевод с английского ВИКТОРА ТОПОРОВА

Творческий путь англо-американского поэта Уистена Хью Одена (1907—1973) продолжался свыше четырех десятилетий: от первой книжки, напечатанной в 1928 году на стеклографе его приятелем по Оксфорду, впоследствии известным поэтом Стивеном Спендером, до опубликованных за год до смерти «Послания крестнику» и цикла переводов из Гуннара Экелёфа. Есть нечто знаменательное в том, что под старость Оден обратился к этому шведскому лирику. Ведь он и сам отчасти скандинав. Его отец — врач, практиковавший в Йорке, происходил из Исландии. А любимой детской книгой Одена были саги в обработке для подростков.

Как сказано у Т. С. Элиота, старшего его современника и друга, «в моем начале — мой конец».

На Элиота юный Оден взирал почти как на божество, не отличаясь в этом смысле от многих своих сверстников. Три программных поэмы Элиота — «Бесплодная земля», «Полые люди», «Пепельная Среда» — поразили поколение 20-х годов. Оно нашло в них столь ему близкое чувство опустошенности современной жизни, перевернутой недавними катастрофами и встрясками — мировой войной, русской революцией. Былой порядок вещей распался, и этот поминутно о себе напоминающий факт, вызывая боль, страх, скепсис, неуверенность перед будущим, заставлял мучительно искать хоть какое-то оправдание мира, который выглядел обесценившимся и омертвевшим.

Оден разделял подобное умонастроение. Собственно, оно так и останется у него главенствующим, проявляя себя очень по-разному, но не меняясь по существу. Критику вечно удивлял диапазон его поэзии, то ироничной, то трагедийной, владеющей, кажется, всеми стилистическими возможностями и всеми формами от пародийного бурлеска до торжественной оды или эклоги. Удивляться, однако, следовало другому — устойчивости мироощущения, определившегося в ту пору духовного сдвига, сомнений и переоценок, на которую пришлась молодость Одена.

Эпоха Одена создавала богатую почву и для отчаяния, и для радикальной неудовлетворенности, и для постижения жизни как абсурда или, наоборот, как поля социальных экспериментов, уверенно начинаемых с чистой страницы, словно все предшествующее лишилось какой бы то ни было состоятельности и поучительности. До той или иной степени подобные идейные поветрия отозвались и у Одена, но ни одно из них не оказалось преобладающим. На время его захватывая, ни одно не становилось больше чем увлечением и сказывалось на поэзии Одена скорее внешне — меняющимися темами, новыми ракурсами изображения,— чем по существу.

Если необходимо с наивозможной краткостью охарактеризовать то главное, что изначально и неизменно определяет особый облик поэзии Одена, потребуется категория метафизики, взятая в исходном ее значении: умозрительная картина бытия, возникающая из размышления о его высших началах. Впрямую откликаясь на важнейшие события времени, Оден все-таки никогда не мог ни ограничиться, ни удовольствоваться сегодняшним, текущим. Ему необходим прорыв к существенному; конкретика важна лишь в той мере, насколько позволяет ощутить саму ситуацию человека, оказавшегося пленником трагической действительности нашего столетия.

Эта действительность воспринята Оденом как знак нового состояния мира, в котором сместились и деформировались исходные понятия логики, разумности, этической обязательности, непереступаемых нравственных границ. XX век, запечатленный у Одена россыпью выразительных своих примет, тем не менее интересен ему не своей хроникой, как она ни насыщенна, а свидетельствами метафизического кризиса, который переживает людское сообщество: иногда — зримыми, но чаще зашифрованными и требующими сложных метафор, чтобы их поэтически осмыслить и воплотить.

О свойстве Одена обнаруживать глубокие истоки и дальние следствия коллизий, развертывающихся в гуще реального исторического времени, пишет Иосиф

Бродский, многим Одену обязанный. Он говорит, что всегда распознавал у Одена «взгляд человека, который не в состоянии отвратить нависшие над нами угрозы, однако не устает снова и снова указывать и на симптомы, и на саму болезнь. Но это вовсе не похоже на так называемый «социальный реализм», поскольку и сама болезнь — не социальная по своей природе; она экзистенциальна».

Со стороны событийной биография Одена многими нитями соединена с летописью времени и была типичной для его поколения. В юные годы — чувство травмированности окружающим, почти инстинктивное желание бегства или, по меньшей мере, непричастности к происходящему рядом и день за днем. Оглядываясь на ту пору жизни, Оден вспоминал: «Ни революция в России, ни инфляция в Германии и Австрии, ни фашизм в Италии — все, что людям постарше внушало такие страхи или надежды,— не задело нас совершенно. До 1930 года я ни разу не заглянул в газеты». Потом — резкий поворот влево под воздействием атмосферы 30-х годов. Поездки в Испанию, где разгоралась гражданская война, в Китай, подвергшийся японской агрессии.

Одена называли едва ли не первым, говоря об английских писателях, ощупью, но упорно ищущих свой путь к революционным идеалам, и сравнивали с Брехтом. Но вскоре такие сравнения утратили под собой почву.

Советско-германский пакт 1939 года, начавшаяся неделю спустя вторая мировая война потрясли Одена, осознавшего эти события и как крушение собственных высоких иллюзий, в которых будущее представало торжеством социальной справедливости, разума, свободы. Он уехал в США, сразу после войны приняв американское подданство. «Блюз для беженцев» — стихи, написанные еще в марте 1939 года, но, не зная даты, их можно воспринять как репортаж из Нью-Йорка, переполненного изгнанниками поневоле, тысячами и тысячами счастливчиков, которые спаслись от гитлеровских лагерей, от судьбы предназначенных к тотальному уничтожению жителей гетто, но и за океаном, в безопасности, ощутили себя не нужными решительно никому.

Страшная реальность того времени многое заставляла обдумать по-новому. С рабочего стола Одена исчезают томики Маркса, уступив место сочинениям Сёрена Кьеркегора, датского мыслителя, еще в XIX веке обосновавшего идею восхождения личности к Богу через неизбежную и целительную стадию отчаяния, без которого невозможно осознать религиозное значение собственного жизненного опыта,— коренную идею христианского экзистенциализма. О своей обретенной вере Оден возвестил в стихах, помеченных 1941 годом. На самом деле тогда был только сделан решающий выбор. Истинное обретение придет к концу жизни, впрочем так и не убедив ортодоксов в том, что оно свершилось.

Их подозрительность не должна удивлять. Пафосом поэзии Одена и в 50-е годы, и в 60-е оставалось искание истины о мире, направляемое давно знакомой его читателям иронией относительно любых истин, присваивающих себе значение абсолютов. И если у позднего Одена не встретить желчной иронии над обанкротившимися понятиями о высшей разумности бытия, устремленного к прогрессу, то не встретить и умиротворенности. Преследовавшее его почти всю жизнь чувство надвигающегося вселенского краха — прочтите хотя бы «Гибель Рима» или печатавшееся у нас в антологиях американской поэзии стихотворение «1 сентября 1939» — в конце концов отступило. Однако сменилось оно не оптимизмом, хотя бы чисто философическим, отвлеченным от удручающего зрелища современности, а только вынужденным смирением перед дисгармонией мира, которую Оден все так же осознавал непреложным фактом. Считая, что выправить ее нельзя, он долго боролся с собой, прежде чем ее признать неизбежным условием существования. По сути, все творчество Одена и вело к подобному признанию, достигнутому как итог трудной духовной работы, следами которой заполнена его лирика.

Подобно Заболоцкому, который иногда очень ему созвучен, особенно в последних своих стихотворениях, Оден тоже не нашел «высокой соразмерности начал» — ни в природе, ни в человеке. Тем более — в социальной жизни, так для него и оставшейся, даже после религиозного перелома, каким-то непрерывающимся издевательством над естественными устремлениями личности к гуманному и справедливому жизнеустройству. Мало кто с такой резкостью, как Оден, называл ее царством фетишей и нелепостей, почитаемых нормой, владеньем тиранов, украсивших площади призывами к совершенству, обиталищем «слов, не верящих словам», однако таких, которым при всей откровенной их лживости дано решать судьбу.

Это образы из стихотворений, писавшихся в разные годы — и до войны, когда Оден был левым, и много позже, когда его поспешно и пристрастно именовали отступником. На самом деле переменился не столько он сам, сколько время, обогатившееся до того жестоким опытом, что легкокрылый энтузиазм верующих в близкое социальное обновление становился явным анахронизмом. Для очутившихся в лабиринте утрачивали всякий смысл поиски кратчайшего пути напрямую, как бы ни ободряла их в таких усилиях наука, и самым непосредственным смыслом наполнялся «вопрос: есть выход или нет?» Как бы ни иронизировал Оден в стихотворении «Лабиринт», где «полуразумный человек» принужден каким-то образом осмыслять для себя вопросы, на которые не нашли ответа и лучшие умы, сам он — поэт таких вот вопросов, поставленных с нечастой для западного писателя прямотой.

В этом отношении Оден ничуть не менялся, начиная с первых своих сборников. Сделаться заурядным «жителем равнины», как это сформулировано в стихах 1953 го-

да, он бы не смог, даже прилагая максимум стараний. «Субстанция пологой пустоты», доминируя в духовном пейзаже, вызывала у Одена лишь жажду разрушения, а верней, преображенья магией искусства. Он не ожидал, чтобы подобное преображенье сделалось весомым фактором в окружающей действительности,— это было бы, на его взгляд, еще фантастичнее, чем выигрыш «на рандеву с Историей». Но, отвергая романтические грезы, Оден верил, что человеку по силам не просто обитать «на равнине», не просто прилаживаться к ее климату, а сохранить нравственное самостоянье, пусть это нередко требует неимоверного напряжения. Меру человеческих возможностей Оден не переоценивал. Но и не принижал.

Через многие его стихотворения, поэмы, пьесы проходит антитеза Тристана и Дон Жуана, понятых как два типа отношения к злу. Оден осмыслил обоих героев, конечно, очень по-своему, совсем не традиционно, если подразумевать огромную литературную предысторию этих образов, зато в высшей степени органично для того сознания, которое опознавало действительность и время как лабиринт. Легко заметить, с какой настойчивостью мотив зла вторгается у Одена даже в стихи, тематически вроде бы не провоцирующие подобные размышления, уже не говоря, например, о «Германе Мелвилле», где к ним обязывает само присутствие автора «Моби Дика». И почти неизменно мысль Одена пульсирует между двумя точками, обозначенными при помощи персонажей, которые восходят к средневековью: Тристан — само терпенье, воплощенная пассивность, оцепенелый страх и Дон Жуан — воля к противодействию, сопротивляющаяся энергия, непримиренность.

Вторая позиция, кажется, должна была привлекать Одена намного больше. Однако он отверг и ее, из опыта времени усвоив тот слишком часто проверенный урок, что подобная энергия оборачивается насилием, которое не испытывает потребности в социальных обоснованиях, а тем более в моральном критерии, — не менее самоубийственным, чем безволие. Действительность, как ее постигает Оден, подорвала фундамент, на котором держался и тристановский эстетизм, и та этика, которую несет в себе деятельный, целеустремленный Дон Жуан. И Кьеркегор оказался самым близким Одену философом как раз оттого, что отдал предпочтение религиозному началу перед эстетическим и этическим, но не сталкивая их прямолинейно и не противопоставляя, а выстраивая последовательность восхождения от низших ступеней духовного развития к высшим.

Оден одолевал тот же путь, в полной мере сознавая, насколько он труден, и не испытывая уверенности, что сумеет пройти его до конца. Кому-то важен только финал, но, наверное, поучительнее и, уж во всяком случае, интереснее пройти вместе с Оденом шаг за шагом всю эту дорогу. Такое странствие даст очень многое: и понимание эпохи, и понимание крупной личности во всех сочленениях противоборствующих верований, из которых состоит ее духовное развитие.

Что же касается реального финала, Оден его предсказал с точностью, заставляющей лишний раз увериться в ясновидении, этой загадочной особенности поэтического восприятия жизни. «Должно быть, я умру в каком-нибудь отеле, доставив массу хлопот дирекции». Это из письма 1947 года. Двадцать шесть лет спустя все так и вышло: после выступления на фестивале поэзии в Вене, вернувшись в гостиницу, Оден почувствовал себя плохо и вызванный к утру врач констатировал смерть. Одена похоронили в Кирштетене, австрийском городке, где он по преимуществу жил все последние годы, отлучаясь на зиму в Оксфорд, почтивший былого своего питомца кафедрой, к которой он, впрочем, остался вполне равнодушен.

А. ЗВЕРЕВ

Блюз у Римской стены

Службу солдатскую здесь я несу.
В тунике вши и соплищи в носу.

С неба на голову сыплется град.
Службе солдатской я вовсе не рад.

Вечно здесь сырость, тоска и туман.
Спишь в одиночку не сыт и не пьян.

Девка осталась в родной стороне.
Может, тоскует уже не по мне.

Глуп мой напарник, он верит в Христа.
Все на земле, говорит, суета.

Свадьбу сыграем, сказала она.
Нет уж — и женка нужна, и мошна.

Выклюют глаз мне парфянской стрелой —
Сразу же в Небо уставлю второй.

1937

Прозаик

Талант поэта словно вицмундир.
Любому барду воздают по праву.
Как молния поэт ударит в мир,
Погибнет юным и стяжает славу;

А то — пойдет в отшельники гусар...
Мучительно и медленно прозаик
Мальчишество в себе (бесплодный дар),
Спесь и экстравагантность выгрызает.

Чтобы любую малость воплотить,
Сам должен стать он воплощеньем скуки:
Претерпевать любовь, а не любить,

Вникать в чужие склоки или муки,—
И все, чем жизнь нелепа и страшна,
Познать в себе — и ощутить сполна.

1938

Эпитафия тирану

Призывами к совершенству он изукрасил площади.
Его сочинения были понятны и дураку,
А он повидал дураков на своем веку
И постоянно перетасовывал поэтому вооруженные силы.
Когда он смеялся, сенаторы ржали, как лошади,
А когда он плакал, детские трупики по улицам проносили.

1939

Блюз для беженцев

В городе этом десяток, считай, миллионов —
На чердаках, в бардаках и при свете ночных лампионов,—
Но нет приюта для нас, дорогая, здесь нету приюта для нас.

Было отечество, а ничего не осталось.
В атлас взгляни — поищи, где там было и как называлось.
Мы не вернемся туда, дорогая, нельзя нам вернуться туда.

Дерево помню на кладбище в нашей деревне.
Каждой весной одевается зеленью ствол его древний.
А паспорта, дорогая, просрочены, да, никуда паспорта.

Консул глядел на нас, как на восставших из гроба:
«Без паспортов вы мертвы, для отчизны вы умерли оба!»
А мы живем, дорогая, мы все еще как-то живем.

Я обратился в комиссию и услыхал, сидя в кресле:
«Если бы вы через год, а сейчас понапрасну не лезли»...
Ну а сейчас, дорогая, где жить нам, на что жить сейчас?

Был я на митинге, где говорили: нельзя им
К нашим тянуться — и так-то плохим — урожаям.
Это о нас говорили они, дорогая, они говорили о нас.

Гром прокатился по небу старинным проклятьем.
Гитлер восстал над Европой и крикнул: «Пора помирать им!»
«Им», дорогая, в устах его значило — нам, это значило — нам.

Здесь пуделей одевают зимою в жакеты,
Кошек пускают к огню и дают молоко и котлеты.
А, дорогая, немецких евреев не терпят, не терпят они.

В порт я пришел и на рыбок взглянул у причала.
Плавать вольно им, резвиться, как будто войны не бывало.
Недалеко, дорогая, от берега — только от нас далеко.

В лес я вошел и заслушался пением птичек.
Нет у них вечных оттяжек, уверток, крючков и кавычек.
Не человеки они, дорогая, нет, не человеки они.

Сниться мне начало тыщеэтажное зданье —
Тысяч дверей приглашенье и тысячи окон сиянье.
Но не для нас, дорогая, те двери — любая из них не про нас.

Вышел на улицу — вьюга, колонны, знамена.
Тыща солдат маршируют целеустремленно.
Это за нами они, дорогая,— за мной и тобою — пришли.

1939

Герман Мелвилл

На склоне лет он взял курс на кротость,
Причалил к супружеской суше,
Заякорился за женину руку,
Плавал каждое утро в контору,
Где заколдованные архипелаги расплывались на бумаге.

В мире было Добро — и это открытие
Брезжило перед ним в порастаявшем тумане страха,
Бури, однако, бушевали и после вышеозначенного срока,
Они гнали его за мыс Горн осязаемого успеха,
Тщетно манивший потерпеть кораблекрушение именно здесь.

Оглушенный грохотом грома, ослепленный сполохами света,
Фанатик, искавший (как ищут фантастическое сокровище)
Омерзительное чудовище, всеширотный фантом;
Ненависть за ненависть, исступление за оскопление,
Необъяснимое выживание в последнем прибое гибели;
Ложь не сулила прибыли, а правда была проста, как правда.

Зло некрасиво и непременно человекообразно:
Спит с нами в постели и ест за нашим столом,
А к Добру нас каждый раз что есть силы тянут за руку,—
Даже в конторе, где тяжким грузом почиют грехи.
Добро бесхитростно и почти совершенно —
И заикается, чтобы мы не стеснялись с ним знакомиться;
И каждый раз, когда встречаются Добро и Зло, происходит вот что:
Зло беспомощно, как нетерпеливый любовник,—
И начинает свару, и преуспевает в скандале,
И мы видим, как, не таясь, взаимоуничтожаются Добро и Зло.

Ибо теперь он бодрствовал и осознавал:
Спасение поспевает вовремя только в сновидении,
Но и в ночном кошмаре несем потери:
Само воздаяние как знак внимания и любви,
Ибо небесные бури порождены небесным отцом,
А на груди у отца он несом был до этих пор —

И лишь ныне отпущен, опущен наземь.
На капитанском мостике деревянного балкончика
Стоял он на вахте — и звезды, как в детстве, пели:
«Все суета сует»,— но теперь это означало нечто другое.
Ибо слова опустились наземь, как горные туманы,—
Натаниэл не возмог, паче любовь его была своекорыстна,—
Но вскричал в первый раз в унижении и восторге:
«Как буханку хлеба, раскромсали небо. Мы ломти божьи».

Позже он сумел написать и об этом тоже.

1939

Лабиринт

«Антропос аптерос» — спешащий
Бог весть куда, прямоходящий,
Полуразумный человек —
Веками продолжает бег

По лабиринту. Но в трехсотый
Раз у того же поворота
Тропы вдоль рощи тех же лип
Он понимает, как он влип.

Не лабиринт ли эта штука?
И все ж, как учит нас Наука,
Найди вопрос — найдешь ответ.
Вопрос: есть выход или нет?

Как возгласило Богословье,
Быть может выход лишь любовью
Того, кто, лабиринт создав,
В конечном счете в чем-то прав.

Коль так, то что-то здесь неладно,
Ведь нету нити Ариадны.
На чувства полагаясь, в пять
Сторон пойдешь — и всюду вспять.

По Математике кротчайшей,
Путь напрямую есть кратчайший,
Но Исторический Урок
Гласит: кратчайший путь — не впрок.

Искусство, ведь оно свободно,
Велит идти куда угодно,
Лишь только б душу ублажить.—
Но не довольно ли кружить?

К тому же эти рассужденья
Старинного происхожденья,
Тогда как Современный Взгляд
Вперен вовнутрь, а не назад.

Да и подсказка наготове:
Мы — созидатели условий,
И, значит, лабиринт возрос,
Из наших выделясь желез.

Центр (лабиринта, мирозданья) —
В моем греховном подсознанье.
Не видишь центра — не беда:
Ты в нем, а он в тебе всегда.

В хотенье — гибель; нехотенье —
Спасительное поведенье;
Лишь всхлипывая, слышишь всхлип;
Я влип лишь в мысль о том, что влип.

А коль хотенье неизбывно,
То этот опыт негативный
Имеет позитивный смысл,—
Он в том, что вкус теорий кисл,

А практика неэфемерна.
Я здесь, мне скверно, это верно,
Не вижу выхода вокруг,
И стены выше всех наук!

«Антропос аптерос»,— в какую
Мне нынче сторону,— взыскуя,
Взглянул на птичку в небесах,
Лишенную сомнений сих.

1940

* * *

Грядущее крадется к нам, как тать.
Мы собираем слухи по крупице —
О чем мечтает королева-мать
Или к кормилу рвущийся тупица.

На прошлое великие мужи
Косятся, чем темней, тем беззаботней,—
Там те же казни, те же миражи
И та же потасовка в подворотне.

Мы в страхе опираемся на то,
Что кончилось; кончаясь, бьемся в стену,
Дырявую подчас, как решето,—

Что пропускает жирную Алису
В страну чудес, за ветхую кулису,—
До слез мало то место во вселенной.

1940

Гибель Рима

О волнорезы бьется с воем
И тяжким грохотом вода.
В разгаре брошена страда.
В пещерах гор — приют изгоям.

Покрой парадных тог — с ума
Сойти; агенты тайной службы
Приходят под покровом дружбы
В патриархальные дома.

Не зарясь на соборных шлюшек,
Берут любую, кто дает,
И славит евнух-стихоплет
Воображаемых подружек.

Головорожденный Катон
Пытает древние вопросы,
Но быкомордые матросы
Удавятся за выпивон.

Огромно Цезарево ложе.
КОГДА ЖЕ АВГУСТУ КОНЕЦ? —
Выводит молодой писец
Стилом казенным с личной дрожью.

Авгуры обожают птиц,
А те на яйцах восседают
И, не гадая, наблюдают
Распад империй, крах столиц.

И, босоноги, безобразны,
По золотым заветным мхам
Прут отовсюду орды к нам —
Быстры, безгласны, безотказны.

1947

Леса

Вначале чащи были черт-те чем
(Пьеро ди Козимо писал их часто) —
Медведи, львы, нагие толпы тел
И вепри с человеческою пастью
Друг дружку пожирали в глубине,
Бежав неопалимой купины.

Местами став охотничьих забав
Эсквайров из соседних деревенек,
Всё шепчутся, тех игрищ не забыв,
И рады бы спалить весь деревянник,
Но Трон и Церковь, дав им статус рощ,
Мешают взбунтоваться дебрям чащ.

Пусть потаскух уводят в номера,
Где спросят подороже, но немного,—
А здешний дух вовек не умирал,—
И, пав во мху, былая недотрога
Клянет не опрометчивость свою,
А сводника — лесного соловья.

Вам эти птички разве что видны,
А пенье заглушает перебранка
На пикничке. Но как заземлено,
Как второсортно протяженье Ганга
В сравнении с протяжной жизнью в чащах —
Вне духов, вне божеств, вне тещ и мачех.

Здесь древности могильный ареал.
Здесь человек принижен, но не жалок,
Здесь алчность первородную сдержал,
И здесь душою отдохнет филолог —
Среди теней древесности густой,
Не знавших дней словесности пустой.

Здесь перевоспитание ушей:
Морзянка Пана выше расшифровки,
Кукушка по-крестьянски колгошит,
А дикие голубки-полукровки
Туземные акценты привнесли
В уклад цивилизованной семьи.

Здесь гибель не безгласна никогда.
Осенний плод над палою листвою
Умеет объявить свою беду,
А человек, противясь естеству — и
Потерями и старостью объят,—
Звук счастья ловит в вечном шуме вод.

Хороший лес не хуже алтаря:
Ты позабыл, что презираешь ближних.
С самим собой ты бьешься на пари,
Что человек — превыше слов облыжных.
Хороший лес, особенно в глуши,
Двойник народа и его души.

Но рощица, сожженная в золу,
Но гордый дуб с насквозь прогнившей грудью
Гласят, что нашим миром правит зло,
Уродство верх берет над плодородьем.
Хитра культура наша, как лиса,
А все ж не краше, чем ее леса.

1952

Равнины

Я запросто себя воображу
На старость лет унылым попрошайкой
В питейном заведении в порту.
Я запросто представлю, как опять,
Подростком став, в углу кропаю вирши,
Чем непроизносимей, тем длинней.
Лишь одного не в силах допустить:
Не дай мне бог стать жителем равнины.

Чудовищно представить эту гладь —
Как будто дождь сровнял с землею горы,—
Лишь каменные фаллосы церквей
Ждут разрушенья, словно пробужденья.
Субстанция пологой пустоты,
Слепая полость в глиняном кувшине,
И гравий — как гранит или асфальт —
Бесполостью калечащий пространство.

А как расти, где все кругом равно?
В предгорьях веришь в горы; в самом нищем
Ущелье — по течению реки
Спуститься можно в поисках сокровищ.
Здесь ничего подобного: орел
И решка — вот для гения весь выбор.
Сдуй фермы с мест — как тучи поплывут.
Того и жди сюда чужого флота!

Любовь? Не в здешнем климате. Амур,
Овидием описанный проказник,
В раю аркадском будь хоть трижды слеп,
Здесь от жары и холода прозреет.
Равнинным несгибаемых матрон
Не распатронить, если не решила
Умножить население страны
Соитьем в темноте, но не вслепую.

Но и чем климат круче здешний Кесарь.
Он аки коршун кружит наверху.
Где горы, там порой сорвется мытарь,
Где лес, порой подстрелят лесника,—
И не ударит молния в смутьяна.
А на равнине стражи тут как тут:
Придут, распнут — и прочь... Но можно выпить.
Поколотить жену. И помолиться.

Из захолустья родом (с островков,
Где жульничество пришлых канонерок
Толковый парень мигом в толк возьмет),
На рандеву с историей выходят
Герои на равнину. Полумесяц
Побит крестом. У мельниц ветряных
Крыла недосчитался император,
А самозванец рухнул в поле ржи.

Будь жителем равнины я — питал бы
Глухую злобу ко всему вокруг,—
От хижин до дворцов,— и к живописцам,
Апостола малюющим с меня,

И к пастырям, пред засухой бессильным.
Будь пахарем я, что б меня влекло,
Как не картина истребленья градов
И мраморов, потопленных рекой?

Лишь в страшном сне — точней, в двух страшных снах,
Я вечно обитаю на равнине:
В одном, гоним гигантским пауком,
Бегу и знаю — он меня догонит;
В другом, с дороги сбившись, под луной
Стою и не отбрасываю тени —
Тарквинием (и столь же одинок
И полн посткоитальною печалью).

Что означает, правда, что страшусь
Себя, а не равнин. Ведь я не против
(Как все) повиноваться и стрелять —
И обитать в пещере с черным ходом.
Оно бы славно... Хоть и не могу
Поэзией наполнить эти долы,
Да дело-то, понятно мне, не в них,
Да и не в ней... Поэзия — другое.

1953

Слова

Сужденья образуют мирозданье,
В котором все послушно их азам.
Лгать может вестник, но не сообщенье.
У слов нет слов, не верящих словам.

Но правила есть в словосочетанье:
Держитесь за сказуемое там,
Где вкривь и вкось пошло соподчиненье,
Внимательными будьте к временам,—

Правдоподобья требуют и сказки.
Но если правду хочешь прошептать
И срифмовать живое без описки,

Тогда не ты — слова пойдут решать
Твою судьбу: так на потешной пляске
Вольно мужланам в рыцарей играть.

1956

■

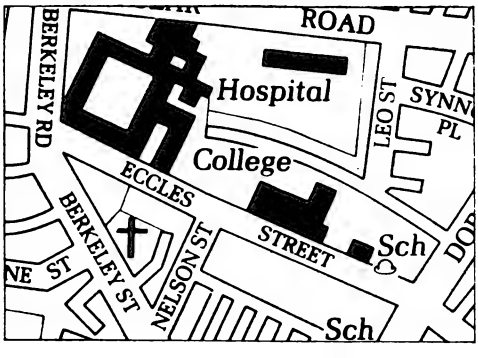
ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

18



Да никогда с ним такого не было чтобы потребовал себе завтрак в постель гляди-ка пару яиц еще с гостиницы Городской герб когда он все притворялся что прикован к постели да умирающим голосом строил из себя принца чтоб заинтриговать эту старую развалину миссис Риордан воображал будто с ней дело в шляпе а она нам и не подумала отказать ни гроша всё на одни молебны за свою душеньку скряга какой свет не видал боялась выложить четыре шиллинга за денатурат все уши мне прожужжала о своих болячках да еще эта вечная болтовня о политике и землетрясениях и конце света нет уж дайте сначала нам чуть-чуть поразвлечься упаси господи если б все женщины были вроде нее сражалась против декольте и купальников которых кстати никто ее не просил носить уверена у ней вся набожность оттого что ни один мужчина на нее второй раз не взглянет надеюсь я на нее никогда не буду похожа удивительно что не требовала заодно уж и лица закрывать но чего не отнимешь это была образованная и ее бесконечные разговоры про мистера Риордана я думаю тот счастлив был от нее избавиться а ее пес все обнюхивал мою шубу и норовил под юбку забраться особенно тогда но пожалуй мне нравится в нем такая деликатность со старухами и с прислугой и даже с нищими он не пыжится попусту хотя не всегда если

Окончание. Начало см. в № 1—11.

вдруг с ним и вправду что-то серьезное тогда закавыка в том что конечно следует лечь в больницу где все чистое но думаю мне бы сначала пришлось месяц его уговаривать да а потом тут же на сцене появляется медсестра и он там будет торчать покуда не выкинут или скажем монахиня наподобие той что у него на этом похабном снимочке такая же она монахиня как я да они ведь когда заболеют до того слабые хнычут нуждаются в нас чтоб выздороветь у него кровь из носу пойдет так по его виду подумаешь тут Ах какая трагедия или когда сходили с Южной Кольцевой состроил уж совсем умирающую мину в тот раз он ногу себе растянул на пикнике с нашим хором на горе Шугарлоф помню я была в том платье мисс Стэк принесла ему цветы самую заваль какая могла найтись любой предлог годится лишь бы проникнуть к мужчине в спальню с этим своим голоском старой девы тщится вообразить будто бы он умирает от любви к ней уж не увидеть вновь твое лицо хотя он выглядел тогда более мужественно борода слегка отросла покуда лежал отец был такой же а кроме того я терпеть не могу делать перевязки и отмерять дозы когда порезал бритвой большой палец на ноге срезал мозоли боялся как бы не вышло заражения крови а положим стоит мне заболеть представляю какая была бы забота только конечно женщина это прячет чтобы не причинять столько хлопот как они да с кем-то он переспал сразу по аппетиту видно но только это не любовь иначе в мыслях о ней ему было б не до еды стало быть либо из ночных шлюх если он был на самом деле в тех краях а про гостиницу просто наврал с три короба чтоб скрыть чего он задумал мол это Хайнс меня задержал а кого же я встретил ах да я встретил помнишь такого Ментона и кого же еще погоди кого же лицо этакого большого младенца я его видела он недавно женился и флиртовал с молоденькой девушкой в Волшебной Панораме Пула и повернулась к нему спиной когда он выскользнул оттуда с таким видом будто он провинился хотя что плохого но он имел наглость ухаживать за мной одно время браво покоритель нашелся и эти выпученные глаза видала я болванов но не такого еще называется адвокат только потому что я не терплю долго пререкаться в постели ну а если не это так тогда какая-нибудь сучка с которой он где-то там сошелся или подцепил тайком если б они только знали его как я да потому что позавчера он строчил какое-то письмо когда я вошла в гостиную показать ему про смерть Дигнама в газете будто мне кто шепнул а он прикрыл промокашкой и сделал вид будто задумался о делах так что вполне возможно оно и писалось какой-нибудь которая думает будто нашла себе дурачка потому что у всех мужчин в его возрасте такое бывает особенно когда им под сорок как вот ему так что сможет теперь повытянуть из него денежки сколько выйдет старый дурень дурее любого дурня и значит когда он мне зад поцеловал как всегда это было тоже чтоб скрыть а мне плевать с кем он там этим занимается или кто раньше у него был хотя пожалуй знать бы хотелось раз уж это не такой случай когда оба они у меня под носом все время как с той потаскухой Мэри которую мы держали на Онтарио-террас вертела постоянно своим турнюром чтоб его соблазнить противно когда от него запах этих размалеванных баб раза два у меня возникло такое подозрение специально подозвала его поближе а в другой раз нашла длинный волос на пиджаке и это все не считая случая когда я вошла в кухню а он притворился как будто пьет воду 1 женщина что говорить мало им кто же кроме него виноват если он спутается со служанкой а потом предлагает посадить ее с нами за рождественский стол как вам нравится вот уж тут нет спасибо только не в моем доме крала у меня картошку и устрицы дюжина 2 и 6 когда уходила навестить тетку как вам нравится настоящая воровка и ничего больше но я уверена у него что-то было с ней у меня нюх на это он сказал у тебя нет

доказательств может это и не она О да доказательства ее тетка очень любила устрицы но я все-таки ей сказала что я о ней думаю уговаривал меня пойти погулять чтоб самому с ней остаться наедине я не унизилась бы шпионить за ними те подвязки что я нашла у ней в комнате в пятницу в ее выходной этого уже мне хватило с лихвой у ней все лицо налилось от злости когда я ей сказала за неделю об увольнении я это отлично видела лучше вообще обходиться без них комнату я сама уберу быстрей если бы только не проклятая стряпня и не мусор выносить но все равно я заявила ему или она или я останется в этом доме я бы до него даже дотронуться не смогла если б узнала что он был с какой-то грязной бесстыжей лгуньей неряхой вроде вот этой что в глаза тебе смотрит и отпирается да еще распевает песни в клозете потому что думала ее дела лучше некуда да известно ведь что он долго не сможет без этого так что где-то должен себе найти в последний раз он кончил на мой зад это когда же было да в тот вечер когда шли по берегу Толки и Бойлан ужасно крепко сжал мою руку как в той песенке в мою руку скользнула другая рука а я в ответ только погладила ему тыльную сторону ладони большим пальцем вот так и напевала из нашего дуэта юный май и луна как сияет она о любовь потому что он догадывается насчет нас не так уж он глуп сказал пообедаю в городе и пойду в Гэйети но я ему не доставлю такого удовольствия все равно видит Бог он это какая-то перемена нельзя все время одно и то же а сама с собой не будешь вот если б заплатить молоденькому красавчику чтобы мы с ним я бы понравилась юному мальчику слегка смутила его а если бы остались наедине дала б увидеть подвязки те новые смотрела бы на него так что он покраснеет соблазнила бы его я знаю как мальчики чувствуют такие у которых еще только пробивается на щеках тянут никак не подойдут к делу часами вопросы и ответы а вы бы сделали то да это да то а если с угольщиком да а если с епископом да вполне потому что рассказала б ему про какого-то настоятеля или епископа который сидел со мной в садике у синагоги а я еще вязала ту шерстяную вещицу он не знал Дублина приезжий что это за место и все такое о памятниках до того меня замучил этими статуями что начала его подзадоривать будить в нем дурные стороны кто у вас сейчас на уме скажите о ком вы думаете кто он скажите мне его имя кто нет вы скажите кто да император германский вот кто да а представьте что я это он подумайте о нем вы можете его почувствовать или нет пытается сделать из меня шлюху чего ему никогда не удастся в его-то годы уже пора бы это оставить а женщину это просто разрушает и удовольствия никакого притворяйся как будто тебе приятно пока он не кончит а потом как хочешь сама кончай а от этого губы становятся бледные ну ладно теперь-то уж это брошено навсегда и при всей болтовне которую вокруг этого развели только в первый раз это все-таки что-то значит а потом обычное дело и через минуту уже не помнишь почему нельзя поцеловать мужчину без того чтоб сперва обвенчаться с ним иногда вдруг захочешь просто безумно и с головы до ног всю охватит такое чудесное чувство тут уже ничего с собой не поделаешь хочу чтоб какой-нибудь мужчина меня обнял и целовал поцелуй не сравнить ни с чем проникает в самую душу долгий горячий лишает сил только ненавижу что надо исповедоваться потом бывало придешь к отцу Корригану он коснулся меня досточтимый отец а кстати что тут такого где это было я как дура отвечаю на набережной нет где именно он коснулся твоего тела дочь моя коснулся моей ноги сзади и высоко ли ну в общем довольно высоко там ли на чем сидят да О Господи неужто не мог сказать прямо зад и на том покончить при чем тут это а совершила ли ты не помню уж как он выразился нет досточтимый отец и еще всегда думаю про настоящего отца он-то зачем это все хотел

знать если я уже исповедовалась перед Богом у него была красивая пухлая рука ладонь всегда влажная если б коснулся мне вовсе бы не было противно да и ему тоже я это видела по его бычьей шее которой тесно было как в хомуте интересно узнавал он меня в исповедальне я могла смотреть на него а он на меня нет конечно он никогда бы не обернулся и не позволил себе только все-таки глаза у него были красные когда умер его отец а для женщины что говорить они потеряны должно быть это ужасно когда мужчина плачет а уж священник тем более я бы хотела чтоб меня обнял кто-нибудь в таком облачении и запах ладана от него почти как сам папа к тому же если ты замужем со священником ничем не рискуешь он сам слишком опасается потом платит сколько-то Его Святейшеству папе за покаяние интересно он остался доволен мной или нет мне одно не понравилось в передней когда уже уходил до того бесцеремонно хлопнул меня по заду я хоть и засмеялась но уж знаете я ему не лошадь и не ослица наверно вспомнил отцовских интересно может быть он сейчас проснулся и думает обо мне или видит сон про меня но кто же подарил ему тот цветок он сказал что купил чем-то от него пахло хмельным только не виски и не пивом может этим их сладковатым клейстером для афиш какой-нибудь ликер хорошо бы посмаковать тех напитков что потягивают театралы в цилиндрах зеленые желтые и видно сразу что дорогие однажды помню отведала окунула палец к тому американцу что разговаривал с отцом о марках у него еще белка была а он изо всех сил удерживался чтоб не заснуть после последнего раза мы принялись за портвейн и паштет был отличного вкуса солоноватый да и я себя чувствовала чудесно тоже устала повалилась сразу к себе в постель и как каменная заснула пока не проснулась от этого ужасного грома помилуй Господи я уж думала небо на нас разверзлось за грехи наши перекрестилась прочитала Аве Мария громовые удары жуткие совершенно как в Гибралтаре казалось что конец света и тут являются говорят тебе Бога нет а что ты можешь поделать когда вокруг все так сотрясается и рушится только одно-единственное покайся и кстати посмотри-ка свеча что я поставила в кармелитской часовне на месяц май она вот и принесла счастье хотя он уж поизвелся бы если б услыхал он-то никогда в церковь не ходит ни к мессе ни на молитвенные собрания говорит душа душа нет у тебя внутри никакой души одно серое вещество потому что сам-то он не знает что это такое иметь душу да когда я зажгла лампу должно быть он 3 или 4 раза спустил этой своей здоровенной красной дубиной я думала вот-вот у него жила или как ее там зовут лопнет а кстати нос почему-то у него не такой уж большой я с себя сняла все и шторы были плотно задернуты спрашивается зачем столько часов наряжалась причесывалась душилась а у него как толстенный стержень или железный лом и все время стоит должно быть ел устрицы я думаю несколько дюжин устриц и он был очень в голосе нет мне никогда в жизни еще не приходилось ни с кем у кого был бы такого размера чувствуешь что тебя заполняет всю наверно потом он съел целого барана и что это нас создали на такой манер с какой-то дырищей посредине как Жеребец засаживает в тебя им ведь от нас только этого одного и надо и вид при этом у них какой-то решительный злой я не выдержала прикрыла глаза а все-таки живчиков в нем не так чтоб ужасно много когда я заставила его вынуть и кончить на меня думаю раз такой здоровый пусть лучше так вдруг потом не все вымоется как следует ну и последний раз уж позволила в меня кончить недурно это они придумали насчет женщин все удовольствие себе а доведись им бы самим испробовать знали бы тогда через что я прошла с Милли это же никто не поверит и потом когда у нее зубки резались а муженек Майны Пьюрфой со своими бакенбардами задает темп начиняет ее ребенком или двойней каждый год ре-

гулярно как часы уж от нее так и разит пеленками а один есть они его называют непоседа или что-то вроде так это вылитый негритос волосы все кудлатые ах милостивый боже младенец чернокожий последний раз я была там так их целая туча лезут друг на друга орут так что собственного голоса не услышишь считается это хорошо для здоровья вот они и стараются покуда не раздуют тебя как слониху или не знаю кого пожалуй я бы рискнула завести еще одного но не от него хотя женись он я уверена у него был бы хороший крепкий ребенок но не знаю в Польди как-то больше соков да это было бы ужасно здорово наверно это встреча с Джози Пауэлл да похороны да мысли обо мне с Бойланом так его растравили что ж пускай теперь думает что угодно если от этого ему легче я знаю они друг с другом заигрывали когда я появилась он танцевал и выходил с ней на воздух в тот вечер когда праздновали новоселье Джорджины Симпсон а потом хотел задурить мне голову дескать просто ему не нравилось смотреть как она подпирает стенку именно поэтому мы так разругались насчет политики и начал он а не я когда сказал про то что Господь Наш был плотник в конце концов довел меня до слез конечно женщина так чувствительна ко всему а потом я страшно сердилась на себя что уступила только из-за того что знала у него ко мне слабость говорит Он был первый социалист а меня сильно злило что никак не могу вывести его из себя но все-таки он знает массу разных вещей особенно насчет нашего тела и внутренностей мне часто самой хотелось выучить по тому домашнему лечебнику что там у нас внутри даже если толпа в комнате я всегда умела не выпускать его из виду и различить голос после того случая я притворилась будто обиделась на нее из-за него потому что он слегка ревновал каждый раз когда спрашивал а к кому ты идешь я ответила к Флуи и он подарил мне стихи лорда Байрона и три пары перчаток тем все и кончилось я с легкостью и в любой момент могла его склонить помириться знаю как это делается если даже он снова связался с ней и уходит к ней на свидание куда-нибудь я бы узнала например он откажется есть лук и масса еще других способов попросишь отвернуть воротник у блузки или заденешь вуалью и перчатками уходя а уж от 1 поцелуя любой из них так завертится однако ладно посмотрим пускай идет к ней а ее хлебом не корми всегда рада изобразить будто она без ума от него но только меня этим не испугаешь я к ней приду сама и спрошу в лоб ты его любишь и буду смотреть ей в глаза так что не сможет провести вот только с него станется вообразить будто он и вправду да начнет объясняться ей в своем закрученном стиле как он мне объяснялся хотя если вспомнить мне-то пришлось чертовски потрудиться чтобы это вытянуть из него хотя мне это даже нравилось значит у него есть характер и он не пойдет на поводу у любой со мной он уже был на волос от объяснения в тот вечер на кухне я раскатывала тесто для картофельных пирожков хочу тебе кое-что сказать только я его сама осадила сделала вид как будто сержусь отстань у меня руки по локоть в тесте потому что вечером накануне слишком разоткровенничалась когда говорили о снах и не хотела теперь чтоб он знал больше чем ему следует эта Джози вечно обнимала меня при нем вешалась на меня конечно разыгрывала все это ради него а когда я сказала что вымылась вся с головы до пят просто до пределов возможного она тут же спрашивает а само возможное тоже помыла женщины постоянно наводят разговор на такое просто сыплют такими штучками стоит ему появиться чувствуют что он за тип по его глазам плутовским слегка подмаргивает и делает равнодушный вид когда они при нем отпустят что-нибудь эдакое все это портит его но меня вовсе не удивляет в то время он был очень хорош собой старался быть похожим на лорда Байрона потому что я сказала он нравится мне хотя для мужчины слишком красив и он правда был на него немного похож потом мы

обручились хотя ей это страшно не понравилось в тот день на меня хохот такой напал никак не могла остановиться даже шпильки попадали из волос а она говорит я вижу у тебя отличное настроение да это ее растравляло потому что она знала что это значит я ведь ей много рассказывала про то как у нас дела с ним не все конечно но в самый раз чтобы у нее слюнки текли но уж тут я не виновата когда мы поженились она нас не баловала визитами интересно как она выглядит сейчас пожив со своим полоумным муженьком когда я ее видела последний раз лицо у ней уже было слегка увядшее и замученное должно быть только что повздорила с ним я это поняла по тому как ей не терпелось сразу перевести разговор на мужей перемыть ему косточки а что она рассказывала-то ах да как он иногда прямо в грязных сапогах валится на постель если вдруг блажь на него найдет представить только что ты должна ложиться в постель с этаким экземпляром который может прикончить тебя в любую минуту ну и тип а впрочем всякий по-своему с ума сходит хотя Польди что бы он там ни делал всегда вытирает ноги в сырую погоду и всегда башмаки себе сам чистит и при встречах на улице всегда приподнимает шляпу вот как в тот раз а сейчас бродит в шлепанцах затребовать 10000 фунтов за открытку ку-ку ку-ку О май любовь моя нет но это уже что-то совершенно убийственное настолько туп что даже не снимет сапоги я б лучше умерла двадцать раз чем пойти за такого конечно ему в жизни не найти другой женщины которая переносила бы его как это я умею раз меня любишь ложись со мной да в глубине души он и сам это сознает а взять эту миссис Мэйбрик * которая отравила мужа за что интересно знать имела роман с кем-нибудь да это потом открылось это ведь надо быть отпетой негодяйкой чтобы пойти и сделать такое конечно некоторые мужчины бывают невыносимы до ужаса просто сойдешь с ума и еще про нас же последними словами зачем тогда они сами просят выйти за них если мы такие плохие не могут обойтись без нас вот и все она подсыпала ему стрихнин взяла наверно средство от крыс интересно почему называется так у него спросишь он скажет это греческое слово лучше останемся уж при своей темноте должно быть она безумно любила того другого если пошла на такой риск могли ведь повесить или ей было все равно если уж у нее натура такая ничего не поделаешь да кроме того и они не такие звери чтобы взять и повесить женщину правда не такие они

они такие все разные Бойлан говорил он сразу заметил какая у меня ножка еще раньше чем мы познакомились когда я была в кондитерской с Польди я смеялась прислушивалась и покачивала ногой мы заказали простые бутерброды и чай а он там был с двумя сестрами обе старые девы и я видела что он на меня смотрит когда я встала и спросила у девушки где тут у них а что я могу поделать когда из меня уже чуть не капает да еще эти тесные черные панталоны что он меня заставил купить успеешь обмочиться пока их спустишь каждую неделю у него новая блажь и так долго я это там что забыла перчатки замшевые на стуле так они и пропали стянула какая-нибудь воровка а он хотел чтобы я поместила об этом в Айриш таймс потеряны в дамском туалете в кондитерской на Дейм-стрит нашедшую просят вернуть миссис Мэрион Блум я видела он смотрит на мои ноги когда выходила оттуда и когда потом обернулась он все смотрел через 2 дня я снова зашла туда выпить чаю надеялась но его там не было на него особенно действовало как я кладу ногу на ногу сначала он хотел выбрать такие узкие туфли что нельзя в них ходить рука у меня тоже красивая только хорошо бы иметь кольцо с камнем по моему месяцу с красивым аквамарином постараюсь вытянуть из него такое и еще золотой браслет а моя ножка как раз мне не особенно нравится хоть я однажды ему доставила ножкой полное удовольствие это в тот вечер после концерта на котором Гуд-

вин так оплошал был холод страшный и ветер но дома у нас был ром мы его согрели огонь в очаге еще не погас и он устроился перед камином на коврике а меня попросил снять чулки это было на Ломбард-стрит а в другой раз ему хотелось чтобы я была в своих грязных ботинках на которые налипло конского навозу со всей округи что говорить он не такой как все нормальные люди кого я как это он сказал могу дать Катти Ланнер 9 очков вперед из 10 и все равно выиграю я его спросила что это значит забыла что он ответил потому что как раз пронесли последний выпуск газеты и прошел тот мужчина из молочной Льюкена с курчавыми волосами и очень вежливый кажется он мне попадался раньше я на него обратила внимание когда пробовала масло поэтому не спешила тоже и Бартель д'Арси над которым он посмеивался когда он начал меня целовать на хорах после того как я спела Аве Мария Гуно Ах зачем же мы медлим мой друг поцелуй пока тихо вокруг интересно вокруг чего целовать несмотря на свой тусклый голос он тоже был очень пылкий его всегда восхищало как я беру низкие ноты если верить его словам а мне нравились движения его губ когда он пел потом он сказал ужасно что мы этим занимаемся в таком месте а я не вижу тут ничего ужасного когда-нибудь не сейчас я ему расскажу про это вот будет ему сюрприз ай-яй-яй поведу туда и покажу то самое место нравится тебе или нет а что было то было он думает ничего не может случиться так чтоб он не узнал насчет моей матери * у него и в мыслях не было до самой нашей помолвки а не будь этого я бы никогда ему так легко не досталась но все равно сам-то он еще хуже умолял дать ему хоть маленький лоскуток от моих панталон это было в тот вечер мы шли по Кенилворт сквер и он поцеловал меня в глазок перчатки мне пришлось ее снять а он все приставал с расспросами нельзя ли осведомиться как выглядит моя спальня и я ему позволила оставить ее у себя как будто забыла пускай будет на память я видела как он засовывает ее себе в карман а на панталонах он совершенно помешан ясно как божий день эти бесстыжие на велосипедах юбки до пупка задраны он же глазами ни одной не пропустит даже когда он был и со мной и с Милли на загородном празднике эта в желтом муслиновом стала прямо напротив солнца так что ему до ниточки было видно все что на ней когда он шел за мной в дождь и сзади на меня смотрел я все равно его раньше заметила чем он меня стоит на углу Хэролдс-кросс в новом плаще с ярко-пестрым шарфом чтобы темная шляпа и цвет лица лучше подчеркивались и как всегда этот хитрецкий вид вот только что он там делал где у него дел никаких они куда угодно могут пойти и получить что им надо от любой юки и мы не смей задавать никаких вопросов а сами желают все знать где ты была да куда идешь я прямо чувствовала как он крадется за мной и смотрит мне в спину он обычно не подходил близко к дому думал это далеко заведет поэтому я остановилась и обернулась слегка потом он пристал ко мне чтобы я сказала да пока я не стала снимать перчатку медленно глядя на него он сказал рукава у моего платья слишком открытые для такой погоды просто искал предлог руками подобраться ко мне и панталончики панталончики пристал как репей пока я не пообещала ему пару со своей куклы чтоб он их носил в жилетном кармане О пресвятая Мария у него был совсем дурацкий вид под дождем но великолепные зубы на них смотришь и появляется чувство голода а он стал умолять чтоб я приподняла нижнюю юбку на мне сборчатая была оранжевая говорил кругом мол нет никого и он готов тут же стать передо мной на колени прямо на мокром если не соглашусь до того привязался и новый плащ мог испортить когда мужчина с тобой наедине никогда не знаешь что он способен выкинуть когда доходит до этого они становятся просто бешеные и могли прохожие появиться так что я подняла слегка свои юбки а другой рукой потрогала его брюки как де-

лала потом с Гарднером чтобы он не начал чего-нибудь похуже прямо на улице мне до смерти было любопытно обрезанный он или нет а он так и трясся весь им хочется все слишком быстро а тогда в этом никакого удовольствия и все это время отец дожидается обеда а он говорит мне скажите что вы оставили кошелек в мясной лавке пришлось возвращаться просто Обманщик какой-то потом написал мне письмо со всеми этими словами как он только мог после этого смотреть в лицо женщине при его светских манерах это было так странно потом когда встретились он спросил вы не обиделись на меня я опустила глаза но он конечно видел что нет он всегда соображал не то что этот простофиля Генри Дойл вечно порвет что-нибудь или поломает когда играем в шарады терпеть не могу таких пентюхов конечно если бы я знала что это значит я бы должна была сказать нет хоть для проформы а я сказала не понимаю вас ну и что вполне естественный ответ конечно в Гибралтаре на той стене всегда почти были рисуночки женских и это самое слово которое я нигде не могла найти только для детей рано еще на это смотреть потом он начал мне писать письма каждый день или даже по два в день мне нравилось как он ухаживает в ту пору он знал как надо покорять женщину прислал мне 8 огромных маков потому что я родилась 8-го потом я тоже написала ему в тот вечер у Долфинс-барн он меня поцеловал в сердце этого нельзя описать то что при этом чувствуешь невозможно сравнить ни с чем и все-таки он никогда не умел так же хорошо обнимать как Гарднер надеюсь он придет в понедельник в то же самое время в четыре часа как обещал ненавижу когда являются врасплох идешь к двери думаешь принесли овощи а это оказывается с визитом и ты стоишь перед ними невесть в чем или вдруг распахивается дверь твоей замызганной кухоньки как в тот день когда важный старый Гудвин явился на Ломбард-стрит насчет концерта а я вся красная растрепанная разогреваю вчерашний суп пришлось сказать не смотрите на меня профессор у меня жуткий вид да но он был настоящий старый джентльмен большей благовоспитанности нельзя представить прислуги нет не пошлешь сказать что тебя нет дома приходится выглядывать в щель как сегодня с рассыльным сперва решила что он раздумал приходить раз прислал мне этот портвейн и персики хочет из меня сделать дурочку от таких мыслей у меня уже начиналась нервная зевота и тут его трезвон в дверь кажется он все-таки запоздал потому что когда я видела как 2 дочки Дедала идут из школы это было четверть четвертого никогда точно не знаешь время даже эти часы что он мне купил не ходят как следует нужно чтобы мастер их посмотрел когда я подала пенни этому хромому матросу за Англию дом и красу когда я насвистывала мила мне девушка одна и я даже не надела чистую сорочку и не напудрилась вообще ничего значит ровно через неделю мы должны ехать в Белфаст и хорошо что он как раз должен ехать в Эннис 27-го годовщина его отца если бы поехал со мной не очень-то было бы приятно положим комнаты в отеле у нас будут рядом в новой постели всегда всякие дурачества и я же не могу ему сказать оставь не трогай меня а тот в соседней комнате или может какой-нибудь протестантский священник с натужным кашлем начнет стучать в стенку и он на другой день ни за что не поверит что мы ничего такого не делали с мужем это сколько угодно пройдет но любовника ты не проведешь после того как я сказала ему что между нами никогда ничего не было он само собой не поверил нет так лучше что он поедет куда он должен тем более с ним вечно какие-нибудь истории в тот раз когда поехали на концерт Моллоу в Мэриборо он заказал для нас суп на станции потом дали сигнал к отправлению он встал и двинулся по платформе с тарелкой в руках суп проливается кругом а он на ходу отправляет в рот ложку за ложкой завидная невозмутимость не правда ли а за ним следом официант вопит устраивает нам адскую

сцену отправление поезда задерживается а он заявляет что не заплатит покуда не кончит есть но потом два господина в купе 3-класса сказали что он был совершенно прав конечно он был прав иногда бывает упрям как бык когда что-нибудь вобьет в голову но хорошо что он тогда изловчился открыть дверь вагона своим ножом а то они нас увезли бы до Корка я думаю что это в отместку ему О я так люблю поехать куда-нибудь на прогулку на поезде или в экипаже с удобными мягкими сиденьями интересно не возьмет ли он мне 1-ый класс может быть захочет этим заняться в поезде даст проводнику побольше на чай да нет скорее всего опять будут идиоты таращить на нас свои бараньи глаза это было большое исключение тот простой рабочий что нас оставил вдвоем в купе когда ехали в Хоут хотелось бы о нем узнать что-нибудь кажется 1 или 2 туннеля а потом надо поглядывать в окно тем приятней возвращаться потом а что если я вдруг не вернусь что они скажут сбежала с ним так устраивают себе карьеру на сцене последний концерт в котором я пела где это было больше года назад а когда в зале Святой Терезы на Кларендон-стрит теперь там у них поют разные малявки вроде Кэтлин Карни* помогло что у меня отец в армии я пела беззаботного нищего приколола себе значок в честь Лорда Робертса когда у меня карта была всех этих дел а Польди недостаточно ирландец кажется в тот раз это он устраивал он умеет например добился чтобы я пела в Стабат Матер стал для этого всюду ходить и говорить будто бы сочиняет музыку для гимна Свет путеводный и благой * как я подговорила его барабанил на пианино светом я ведом Твоим на мотив из какой-то старой оперы пока иезуиты не обнаружили что он масон да он разгуливал с некоторыми из этих шинфейнеров или как там они себя называют и нес свой обычный вздор показал мне какого-то коротышку шеи нет почти и говорит это Гриффитс восходящая звезда умен необыкновенно не знаю на вид что-то непохоже все что могу сказать но кажется это с ним он и был знаком потом был бойкот после войны я стала ненавидеть когда говорят о политике все эти Претория и Лэдисмит и Блумфонтейн где Гарднер лейт Стэнли Джи 8-ой Б-н 2-ой Вост Ланкш Полк от брюшного тифа он отлично выглядел в хаки ростом как раз в меру выше меня и храбрости наверняка тоже не занимать и он сказал что я чудесная девушка моя ирландская красавица когда мы вечером целовались на прощанье у шлюза он был весь бледный от волнения оттого что уезжал или что нас могли увидеть с дороги едва стоял на ногах а я так разожглась как до этого никогда лучше бы в самом начале заключили мир или пускай бы дядюшка Пауль со всякими остальными старыми Крюгерами * вышли да сражались между собой вместо того чтобы все тянулось годами и всех пригожих парней убивали бы этим их брюшняком если бы он хоть погиб в бою было бы не так обидно люблю смотреть полк на параде помню в первый раз я увидела испанскую кавалерию в Ла Рок было красиво когда смотришь через бухту от Альхесираса все огоньки на скале словно светлячки или эти маневры на 15 акрах * Черные Стражи * в шотландских юбках парадным маршем а впереди гусары 10-го принца Уэльского полка или уланы Что за бравые уланы или Дублинцы что победили при Тугеле его отец разбогател на поставках лошадей для кавалерии что ж он мог бы купить мне какой-нибудь хороший подарок в Белфасте после того что от меня получил у них там чудесное белье или скажем изящное кимоно надо кстати купить нафталин как раньше у меня был и положить в ящик где все эти вещи будет безумно интересно ходить с ним вместе по магазинам в новом городе пожалуй кольцо лучше снять ну-ка надо крутить его три часа пока не стащишь с сустава а то могут раззвонить по всему городу еще в газеты попадет или донесут в полицию хотя наверно будут думать что мы женаты ах да пошли они все плевать я хотела у него денег куча жениться не со-

бирается сам Бог велел чтобы кто-нибудь его порастряс если бы узнать нравлюсь ли я ему конечно вид у меня был довольно замученный когда я пудрилась и смотрелась в зеркальце но зеркало всегда дает не то выражение и вдобавок он столько времени на мне орудовал со своими здоровенными бедрами тяжелый и грудь вся волосатая в такую жару и еще ложись под них засунул бы лучше сзади жена Мастянского рассказывала он заставлял ее по-собачьи и чтобы высовывала язык как можно сильней а сам на вид такой тихий мягкий на цитре бренькает когда-нибудь разве угадаешь чего им надо он отлично выглядел в этом голубом костюме модный галстук носки с шелковой голубой вышивкой богат это ясней ясного и по фасону одежды видно и такие часы массивные но первые минуты когда он вернулся с газетой он был совсем как безумный билетики рвал ругался на чем свет стоит что потерял 20 фунтов а половину он ставил за меня сказал что проиграл из-за какой-то темной лошадки что вдруг пришла первой ставку Ленехан подсказал и уж он клял его на все корки паразит проклятый он позволял себе со мной вольности когда возвращались с обеда в Гленкри и экипаж так подбрасывало на горе Фезербед лорд-мэр там все поглядывал на меня сальными глазками Вэл Диллон толстый безбожник я его заметила за десертом когда грызла орехи цыпленок там был такой что хотелось прямо пальцами все подобрать до кусочка до того поджаристый нежный просто нельзя представить только я не хотела чтобы у меня на тарелке все было съедено дочиста а вилки и рыбные ножи серебряные с пробой неплохо бы такие иметь легко можно было сунуть парочку в муфту пока я возилась с ними вечно от них зависишь за их деньги за каждый кусок в ресторане ты должна быть признательна за жалкую чашку чая как за великое благодеяние так вот устроен мир ладно как бы там ни было а если это будет продолжаться я хочу еще по крайней мере две хорошие сорочки это во-первых и еще я не знаю какие он любит панталоны любит наверно чтоб никаких не было кажется он так и сказал да в Гибралтаре половина девушек их никогда не носили голые как Бог сотворил эта андалузка что пела Манолу не очень старалась скрыть чего на ней нет да и вторая пара чулок поползла в первый же день стоило бы их взять наутро обратно к Люэру и устроить там сцену чтоб поменяли только не надо выходить из себя правда есть риск натолкнуться на него и этим все погубить и еще хорошо бы тот облегающий корсет что рекламировался в Дамском журнале с упругими пластинками на бедрах он подправил тот что сейчас у меня но это все равно барахло как там говорилось придает фигуре восхитительную линию 11 шиллингов 6 скрадывает излишнюю ширину в нижней части спины живот у меня великоват должна прекратить за обедом пиво или я уже слишком пристрастилась к нему последнее что прислали от О'Рурка было совсем вода легко ему достаются денежки этому Ларри нечесаному как его прозвали прислал нам жалкие объедки на Рождество творожный пирог да бутылку помоев которые никому не удалось сбагрить пытался выдать за бордо у такого и плевок бережется на случай засухи а может начать упражнения для дыхания не знаю насколько сильное то средство от полноты а то можно перестараться сейчас худые не очень в моде подвязки пожалуй есть фиолетовые которые сегодня носила это единственное что он мне купил с того чека что получил первого числа хотя нет еще лосьон для лица вчера весь кончился от него кожа просто как новая сто раз ему повторила закажи в том же самом месте и не забудь и все равно неизвестно сделал как сказано или нет хотя ведь можно по этикетке узнать если не принес мне пожалуй только останется использовать собственную мочу похоже на мясной отвар или на куриный бульон с добавкой опопонакса и фиалки я решила кожа уже начинает немножко выглядеть старой или огрубелой там где сошла почему-нибудь там новая гораздо лучше как на этом

пальце после ожога жалко что не везде так и четыре дешевеньких платочка все на каких-нибудь 6 шиллингов ясно как день на этом свете без элегантности ничего не достигнешь все уходит на еду и квартиру а я как только что-нибудь получу тут же бросаю на ветер с шиком завариваю чай всегда норовлю всыпать полную горсть когда покупаю хоть даже грубые башмаки и то все без конца примеряю да кручусь перед зеркалом как тебе нравятся эти новые туфли О да сколько они стоят одежды у меня просто совсем нет коричневый костюм потом юбка с жакеткой и тот что в чистке это 3 ну что это такое для любой женщины одна шляпа переделанная из старой другая заплатанная да на тебя мужчины смотреть не станут а женщины тут же начнут тебе наступать на ноги смекнут живо что у тебя нет мужчины вещи с каждым днем все дороже а у меня всего 4 года жизни до 35 мне ведь Господи сколько же мне в сентябре будет 33 так ведь ну и что а миссис Гэлбрейт еще гораздо старше меня я ее видела на прошлой неделе уже красота на убыль а прежде была прелестная женщина великолепные волосы до самой талии откидывала их назад вот так как Китти О'Ши на Грантэм-стрит бывало я каждое утро на нее любовалась через дорогу как она их причесывает казалось ей самой это нравится и их было так много жаль что я с ней познакомилась только перед самым отъездом и эта миссис Лэнтри * джерсейская лилия у которой был роман с принцем Уэльским я думаю он как любой мужчина с улицы только что королевского рода все они на один манер вот только с негром бы интересно попробовать еще была красавицей в свои во сколько 45 кажется какой-то помню забавный анекдот про старого ревнивого мужа еще там устричный нож и он уезжал нет он ее заставил надеть на себя какую-то жестяную штуку а принц Уэльский да у него был устричный нож такого конечно не может быть как в некоторых из книжек что он мне приносит сочинения Магистра Франсуа Какого-то это якобы священник о том как ребенок у нее родился из уха потому что у нее прямая кишка выпала чудное словечко для священника и ее ж-а как будто любой дурак не догадается что это значит больше всего я ненавижу притворство еще этакая физиономия старого жулика всякому ясно что это враки а эту другую Руби и прекрасные мучительницы он два раза мне приносил помню я дошла до пятидесятой страницы где она подвешивает его за крюк на веревке и начинает стегать абсолютно уверена для женщины в этом ровно ничего нет все чистые выдумки или про то как он пьет шампанское из ее туфельки когда бал кончился как в Инчикоре Иисус младенец в яслях на руках у Пресвятой Девы ясно что никакая женщина не смогла бы разродиться таким огромным младенцем и я сперва думала он у нее родился из бока потому что как же она могла ходить в уборную когда ей надо было а она знатная леди конечно она считала что ей оказали честь Его Королевское Высочество он посетил Гибралтар в тот год когда я родилась не сомневаюсь что для него и там нашлись лилии он посадил там саженец дерева но он на своем веку не только такие саженцы засаживал мог бы и меня посадить если бы приехал чуть раньше уж тогда бы я тут сейчас не была ему надо бросить это дело с Фрименом еле выколачивает несколько жалких шиллингов пошел бы в контору или еще куда-нибудь на твердое жалованье или в банк где посадят его на трон целый день считать деньги но он-то конечно предпочитает болтаться дома так что некуда деться от него какие планы у тебя на сегодня я бы даже хотела чтобы он курил трубку как папа был бы мужской запах или делает вид будто это он шляется ради своих реклам хотя мог бы быть у мистера Каффа если бы не наделал дел а потом посылает меня все улаживать я бы могла добиться чтобы его повысили и назначили управляющим один-два раза он бросил на меня такую mirada [1] сначала

[1] Взгляд *(исп.)*.

был холоден до предела только так и никак иначе миссис Блум и я себя преотвратно чувствовала в затасканном старом платьишке из шлейфа пластинка потерялась на вырез даже намека нет но сейчас снова такие в моде купила только чтобы ему угодить я сразу знала отделка никуда не годится и зря я передумала пойти к Тодду и Бернсу как сама сказала вместо того чтоб к Ли платье как сам магазин там будто распродажа забытых вещей одна куча барахла ненавижу эти роскошные магазины просто действуют на нервы меня ничем особенно не проймешь но только эта его уверенность будто он великий знаток в женских нарядах и в стряпне и в уходе за детьми в чем угодно а сам валит в кастрюлю что ни найдет на полках если б я слушалась его советов то каждую несчастную шляпку эта идет мне да возьми ту она лучше подходит сказал мне идет про ту что как свадебный пирог торчала вверх на милю от головы а другая как крышка от кастрюли и спускалась до самой задницы на каких-то булавках а продавщица в том магазине на Грэфтон-стрит куда я имела несчастье его привести наглая до предела с этакой улыбочкой говорит боюсь мы причиняем вам много хлопот а для чего она там вообще но я с нее сбила спесь да он был ужасно холоден что вовсе не удивительно но в следующий раз уже было по-другому засмотрелся Польди упрям как баран но я заметила он так и ест глазами мой бюст когда он встал проводить меня до дверей это было любезно с его стороны поверьте я глубоко сожалею миссис Блум слишком-то он не подчеркивал все-таки первый раз после того как его оскорбили а я считаюсь его жена я только улыбнулась слегка я знаю у меня грудь выдавалась немного вот так когда я стояла у двери а он сказал я глубоко сожалею и я уверен что вы

да я думаю они стали тверже оттого что он их столько сосет а я сама при этом начинаю чувствовать жажду титечки он их называет мне было смешно да по крайней мере вот эта чуть что сосок поднимается и твердеет скажу ему пусть продолжает так же а я буду есть взбитые яйца с марсалой чтобы их сделать еще полней для него интересно что такое все эти жилки и прочее и что их 2 одинаковых на случай близнецов считается они воплощают красоту как те статуи в музее одна из них как будто прикрывает это рукой чем они уж этак прекрасны конечно если сравнивать с тем как мужчина выглядит со своим мешочком и с этой штукой что висит у него или торчит прямо на тебя как крючок для шляпы ничего странного что они это прикрывают капустным листом этот мерзкий камеронец возле мясных рядов или тот рыжий негодяй за деревом где раньше стояла скульптура рыбы * сделал вид как будто он справляет нужду и выставил чтобы я все видела задрал кверху свои пеленки Королевский полк это была отпетая братия хорошо что Суррейцы сменили их они вечно старались это самое показать когда я проходила возле мужского сортира у станции Харкорт-стрит нарочно чтобы проверить почти каждый раз то один то другой пытались чтоб я увидела как будто это одно из 7 чудес света но уж и вонь в этих паскудных местах в ту ночь когда возвращались с Польди домой после вечеринки у Комерфордов апельсины и лимонад действуют приятно и мочегонно пришлось зайти в такое местечко холод был собачий не могла выдержать когда ж это в 93-ем канал был замерзший да это было месяца два спустя жаль что там не было парочки камеронцев полюбоваться как я на корточках в мужском заведении meadero [2] я пробовала его нарисовать потом разорвала что-то вроде сосиски удивляюсь как они ходят и не боятся получить в это место удар или ушиб конечно женщина прекрасна это все признают когда он сказал что я могла бы позировать обнаженной какому-то богатому любителю на Холлс-стрит когда он потерял работу у Хили и я распродавала платья да бренчала на

[2] Писсуар *(исп.)*.

пианино в кафе если распустить волосы буду ли я похожа на это купанье нимфы да только она помоложе а может я чуточку похожа на ту шлюху с испанской фотографии у него что нимфы всегда разгуливали в таком виде я у него спросила и еще спросила про то слово метим чего-то там а он развел насчет воплощения такое что черт ногу сломит никогда не может объяснить просто чтобы человеку понятно стало потом он удалился и сжег сковородку все из-за своей Почки а эта не так сильно тут еще след от его зубов когда он попытался куснуть сосок я даже закричала ну не изверги нарочно стараются сделать больно с Милли у меня грудь была такая полная хватило бы молока на двоих интересно почему это он сказал я бы могла как кормилица получать фунт в неделю вся набухшая однажды утром студент что жил в № 28 у Цитронов Пенроуз хрупкий такой на вид через окошко почти застал как я моюсь только я сразу схватила полотенце это он так студентствовал потом стало болеть дочку начали отучать от груди и пока доктор Брэди не прописал белладонну ему приходилось отсасывать из них такие были тугие он говорил что оно слаще и гуще чем коровье потом выдумал доить меня себе в чай должна сказать его заносит сверх всякой меры кому-то надо бы его ввести в рамки а я если б могла запомнить хоть половину изо всего вышла бы книга сочинения Магистра Польди да сейчас кожа настолько глаже настолько он целый час с ними я уверена по часам как будто у меня был какой-то большой младенец они всё хотят себе в рот сколько же удовольствия эти мужчины получают от женщины я еще чувствую его рот О Боже надо вытянуться во всю длину хочу чтобы он был тут или еще кто-нибудь с кем я могла бы внутри прямо как огонь или если бы я могла это приснить себе когда во 2-ой раз он меня заставил кончить щекотал сзади пальцем я кончала наверно 5 минут ноги у него за спиной и еще потом должна была его обнимать О Боже хотелось закричать говно или хуй что угодно только бы не оставаться в таком уродском виде да потом еще морщины от напряжения неизвестно как бы он это принял когда ты с мужчиной надо чувствовать куда ты идешь но слава Богу не все такие как он другим нравится если ты очень деликатная в этих вещах я заметила разницу он в это время не разговаривает я придала глазам то самое выражение волосы слегка распушились от возни язык выглядывает между губами к нему грубый дикарь четверг пятница один день суббота два воскресенье три О Боже я не могу ждать до понедельника

ффиииууфф где-то поезд свистит такая сила в этих машинах как громадные великаны и вода брызжет из них и течет по ним со всех сторон как в конце Любви эта старая сладкаяаапесня кто там работает должны бедняги всю ночь жариться возле этих машин далеко от жен от семей сегодня можно было задохнуться хорошо что я сожгла половину тех старых Фрименов и Фотокартинок везде раскидывает всякий хлам не обращая внимания а половину выкинула в клозет скажу ему чтобы завтра нарезал их для меня да получить за них пару пенсов вместо того чтоб валялись там еще год а он бы выспрашивал где номер за прошлый январь и все старые пальто убрала из прихожей от них только духота еще больше чудный дождик прошел тут же как я вздремнула все освежилось я сначала думала будет как в Гибралтаре упаси Господи какая там жара была перед тем как восточный ветер налетел темно как ночью и во время вспышек скала выступает как громадный великан не сравнить с этой их горой 3 Скалы они думают какая огромная красные часовые тут и там тополя все раскалено добела и запах дождевой воды в баках солнце без конца палит и все платье выцвело которое папина знакомая миссис Стенхоуп мне прислала из Бон Марше в Париже такая жалость красивое славная моя Жучка она мне писала она была очень милая только как же ее звали эта открыточка только чтобы сказать что я посла-

ла тебе маленький подарок я только что приняла теплую ванну получила большое удовольствие и сейчас чувствую себя совсем чистенькой собачкой я и черныш она его называла черныш мы все готовы отдать за то чтобы снова очутиться в нашем Гибе и слушать как ты поешь Ожидание и в старом Мадриде Конконе так назывались эти экзерсисы он мне купил такую новомодную какое-то слово я не разобрала шаль интересная вещица они чуть что рвутся но по-моему красивые думаю и тебе всегда будут вспоминаться наши милые чаепития со вкуснейшими смородиновыми пирожками и с малиновыми вафлями которые я обожала будь умницей милая Жучка и пиши поскорей теплый а слово привет она пропустила твоему отцу и капитану Грouву с любовью и друж чув масса поцелуев она нисколько не выглядела замужней дамой совсем как девочка он был гораздо старше ее этот черныш он очень меня любил на корриде в Ла Линеа придержал проволоку ногой чтобы я могла переступить в тот раз матадор Гомес получил ухо быка ну и платья приходится нам носить кто только их придумал попробуй например взобраться на холм Киллини как на том пикнике затянута вся в корсет в толпе в этаком наряде пропащее дело ни убежать ни отскочить поэтому я так испугалась когда другой Бык старый разъяренный принялся бодать бандерильерос с шарфами и с этими двумя штуками на шляпах а дикари мужчины кричат браво торо уверена что и женщины там были не лучше в своих белоснежных мантильях несчастные лошади с выпотрошенными кишками я в жизни не слыхивала про такое да он всегда помирал со смеху когда я изображала как скулит тот бедный больной пес на белл-лейн что-то с ними сталось с тех пор думаю уж давно оба умерли вспоминается как сквозь какой-то туман и чувствуешь себя такой старой пирожки я пекла конечно у меня все было чего захочу потом эта девчонка Эстер мы с ней сравнивали волосы у меня были гуще она показала мне как их закручивать на затылке когда собираешь наверх и что-то еще а как делать узел на нитке одной рукой мы были как сестры сколько мне лет тогда было в ту ночь когда буря я спала в ее постели она меня обвила руками потом наутро мы сражались подушками так весело было он всегда смотрел на меня при любой возможности когда я стояла на эспланаде Аламеда возле оркестра с отцом и капитаном Грouвом я посмотрела сначала вверх на церковь потом на окна потом опустила взгляд и тут наши глаза встретились я почувствовала словно меня колют иголками глаза заблестели помню когда я потом посмотрелась в зеркало я едва узнала себя такая перемена он мог вполне нравиться девушкам несмотря на то что слегка лысел умный и вид растерянный и в то же время веселый похож на Томаса из тени Эшлидайат я была словно роза кожа просто великолепная от солнца и от волнения ночью не могла сомкнуть глаз по отношению к ней это было бы некрасиво но я бы вовремя могла прекратить она мне дала прочесть Лунный камень до этого я ничего не читала Уилки Коллинза Ист Линн * прочла и тень Эшлидайат миссис Генри Вуд еще Генри Данбар * этой другой женщины потом я ее давала ему с заложенной фотокарточкой Малви чтоб он видел что у меня есть и лорда Литтона Юджин Эрам* Молли боун миссис Хангерфорд * эту она дала мне из-за названия а я не люблю книжек где есть Молли вроде той что он приносил про девку из Фландрии * воровала где только могла одежду и материал целыми ярдами Ох одеяло слишком на мне тяжелое так вот лучше не имею ни одной приличной ночной рубашки эта вся подо мной скрутилась да еще он со своими глупостями так лучше в тот раз я из-за жары все вертелась на стуле нижняя юбка пропотела и прилипла между половинок сзади когда я встала они были такие крепкие полненькие когда я стала на диван чтобы посмотреть и подобрала подол полно клопов ночью и москитные сетки я не могла ни строчки прочесть Господи как давно это было целая вечность конечно они так никогда и

не вернулись и свой адрес она не написала как следует возможно она заметила что ее черныш все всегда уезжали а мы никогда я помню тот день волны на море качаются лодки с высокими носами корабль поднимается и опадает мундиры офицеров на берегу из-за этого отъезда у меня сделалась морская болезнь он не говорил ничего и был очень серьезный на мне были высокие ботинки на пуговках платье раздувалось она поцеловала меня раз шесть или семь а я плакала или нет наверно да или близко к тому губы у меня тряслись когда говорила до свиданья на ней была Дивная дорожная накидка совершенно особенного голубого цвета и очень необычный фасон на одну сторону это было страшно красиво после их отъезда настала такая адская скука я готова была сбежать от этого куда-нибудь где мы есть там нам никогда не нравится отец или тетка или свадьба только и делаешь что ждешь вечное Ожидание его ты поджидаешь а ооон к тебе спешиииит их проклятые пушки палили и гремели по всей округе особенно в день рождения Королевы и все летит во все стороны если не отворить окна когда генерал Улисс Грант* уж кто или что он был считалось важная птица сошел с корабля старый Спрейг консул что пребывал там с допотопных времен при всем параде горемыка в трауре по своему сыну потом все так же побудка по утрам и барабанная дробь и бедняги солдатики шмыгают кругом с котелками от которых вони больше чем от старых евреев с длинными бородами в своих желтолапах и собрание левитов и рожок орудия к бою и пушечный сигнал всем вернуться за стены и начальник стражи ходит с ключами запирает ворота и волынки и только капитан Гроув с отцом все рассуждают про Роркс Дрифт и Плевну и сэра Гарнета Уолсли* и Гордона в Хартуме я им всегда разжигала трубки старый пьяница со стаканом грога на подоконнике в жизни не оставит капли на донышке вечно колупает в носу и думает какую б еще рассказать непотребную историю в уголку но все-таки при мне он не забывался всегда старался услать меня из комнаты под любым предлогом говорил мне комплименты или скорей пары виски в нем говорили он бы то же самое любой женщине кажется он умер давным-давно от белой горячки дни тянулись как годы ни одного письма ни от единой души если не считать тех что я послала сама себе просто вложила туда чистые лоскутки бумаги иногда до того доходишь от скуки готова была визжать и царапаться как заслышу того старого кривого араба с его ишачьим инструментом распевающего свое иа иа аиа наши кумплименты у вас чудный ишачий вой так же тоскливо как сейчас когда глазеешь в окошко опустив руки если б хоть был какой симпатичный парень напротив как тот медик на Холлс-стрит которым интересовалась медсестра когда я надевала перчатки и шляпу перед окном показать что я выхожу он так и не понял ни разу ну не тупы ли они никогда не понимают что ты хочешь сказать им надо чтоб написали крупными буквами на большом листе даже если ты дважды при пожатии подала левую руку он меня не узнал и когда я сощурилась на него возле часовни на Уэстленд-роу куда девается весь их великий интеллект хотела б я знать серое вещество думаю оно у них все в хвосте эти деревенские ловкачи за гостиницей Городской герб у них интеллекта горазло меньше чем у коров и быков которыми они торгуют и звонок угольщика этот не в меру прыткий мудак пытался меня надуть вытаскивает из шапки какой-то не тот счет а уж лапищи у него и кастрюли чайники сковородки починять и нет ли пустых бутылок для бедняка и никогда никаких гостей и никакой почты кроме его чеков да случайной рекламы как от этого чудотворца прислали ему а обращение дорогая сударыня только этим утром его письмо и открытка от Милли смотри-ка она написала ему а от кого же мне было в последний раз А миссис Двен чего ей вздумалось после стольких лет писать из Канады ради какого-то рецепта pisto madrileno[3] и Флуи

[3] Помидоры и красный перец по-мадридски *(исп.)*.

Диллон написала что выходит за богача архитектора если только я этому поверю вилла и восемь комнат ее отец был ужасно милый человек уже лет под семьдесят и всегда в отличном настроении ну-с а теперь мисс Твиди или мисс Гиллеспи вот наши фортепьяны и был кофейный сервиз из чистого серебра стоял на буфете красного дерева потом он умер где-то там далеко ненавижу людей которые любят приставать со своими несчастьями у каждого свои неприятности бедняжка Нэнси Блейк умерла месяц назад от невмонии но я-то в сущности ее не знала как следует она была больше подруга Флуи бедняжка Нэнси это целая забота что отвечать он мне всегда подсказывает что-нибудь не то и притом шпарит без остановки как будто говорит речь ваша горестная утрата скорьбь у меня в этом слове вечно ошибка и еще черезвычайно всегда с двумя е надеюсь в следующий раз он мне напишет письмо подлиннее если только я ему правда нравлюсь О великая слава Богу наконец у меня кто-то есть кто может дать мне то в чем я так сильно нуждалась вернуть чувство жизни а то ведь здесь абсолютно никаких шансов не так как в давние времена хочется чтобы кто-нибудь написал мне любовное письмо его было не очень-то но теперь я ему сказала он может писать все что захочет твой навеки Хью Бойлан чепуха как в старом Мадриде в которую мы глупенькие верим ах вздохнула любовь не вернуться мне вновь все-таки когда так пишут хоть насколько-то это правда правда или нет это заполняет весь твой день и всю жизнь тебе есть о чем думать каждую минуту и все что вокруг ты видишь словно впервые я бы могла написать ему ответ в постели чтобы когда читает воображал бы меня короткое каких-нибудь пару слов не как те длинные перечерканные послания которые Этти Диллон писала своему парню он служил где-то в суде ухаживал а потом дал ей от ворот поворот из письмовника для дам когда я ей посоветовала написать несколько простых слов таких чтоб он мог крутить их и так и сяк предпочи предпочти тельней не торопить ход событий с равной чистосердечностью величайшее счастье на земле ответить положительно на благородное предложение силы небесные и ничего больше им-то это отлично но если ты женщина то едва стареешь они тут же готовы тебя выбросить на помойку.

Малви самое первое было от него я лежала утром в постели и миссис Рубио принесла его вместе с кофе и осталась стоять я попросила ее подать мне и показала на них не могла вспомнить слово шпильку чтобы открыть конверт horquilla [4] упрямая старуха они у ней перед самым носом с этим ее пучком накладных волос кичилась своей наружностью а страшна словно смертный грех и уж лет под 80 или под 100 вместо лица одна сетка морщин и при всей своей религии давила на всех потому что не могла вынести как это Атлантический флот имеет половину судов во всем мире и британский флаг развевается вопреки всем ее carabineros [5] потому что 4 пьяных английских матроса у них захватили всю скалу и потому что я не так часто ходила к мессе в Санта Мария чтобы ей угодить вечно шаль у ней на плечах разве что когда бывало венчание и вечные истории о чудесах и святых и черная всеблагая дева в серебряном одеянии и солнце трижды танцует в небе утром на Пасху и когда священник проходил с колокольчиком неся дары умирающему молилась о здоровье Ero Majestad[6] ваш обожатель так он подписался я чуть не подпрыгнула от радости мне сразу захотелось подойти к нему когда я увидела в магазинной витрине что он идет следом за мной по Калье Реаль потом он прошел мимо и слегка коснулся меня я и в мыслях не имела что он мне напишет и назначит свидание я засунула его под рубашку на груди и весь день таскала с собой и перечитывала в каж-

[4] Шпилька *(исп.)*.
[5] Карабинеры *(исп.)*.
[6] Величество *(исп.)*.

дом укромном уголке пока отец муштровал солдат чтобы угадать по почерку или как-нибудь по штампам по маркам помню я напевала приколю ли я белую розу и все хотела перевести противные старые ходики чтобы ускорить время он был первый мужчина который поцеловал меня под Мавританской стеной подруга юных лет моих я и понятия не имела что это значит целоваться пока его язык не скользнул ко мне в рот его рот был сладким и юным несколько раз я до него дотрагивалась коленом узнавала дорогу что ж я говорила ему шутила будто помолвлена с сыном испанского дворянина по имени Дон Мигель де ла Флора и он поверил что я должна за него выйти замуж через 3 года в шутке всегда доля истины вот прекрасный цветок весь в цвету кое-что я ему сказала про себя правильно чтобы дать пищу воображению испанские девушки ему не нравились я думаю какая-нибудь его отвергла он со мной разгорелся помял мне все цветы на груди которые сам принес он не умел считать песеты и перрагорды пока я его не научила сказал что родом из Каппоквина на блэкуотере но это продолжалось слишком недолго потом накануне его отъезда в мае да это было в мае когда родился наследник у испанского короля я всегда такая весной мне б хотелось каждый год нового кавалера на самом верху скалы под пушкой возле башни О'Хара я ему рассказывала как в нее ударила молния и про старых мартышек которых послали в Клафам бесхвостые носятся на спине друг у друга миссис Рубио она была из коренных местных говорила они воруют цыплят с фермы Инса и швыряются камнями если подойдешь близко он все смотрел на меня на мне была та белая блузка спереди приоткрытая чтоб придать ему храбрости но не чересчур они у меня как раз начинали округляться я сказала что я устала мы прилегли на укромной полянке под елками наверно это самая высокая скала на свете галереи казематы и эти жуткие обрывы и пещера Святого Михаила где свисают сосульки или как там они называются и лестницы и вся грязь тебе липнет на ботинки я уверена этим путем обезьяны и переправляются под морем в Африку после смерти корабли вдали как игрушки это проходил на Мальту да море и небо и можешь делать все что угодно лежать сколько хочешь он их ласкал через блузку они любят этим заниматься округлости привлекают я прислонилась к нему новой шляпой из рисовой соломки чтобы слегка ее пообмять с левой стороны у меня лицо выглядит красивей блузка раскрыта ради его последнего дня а на нем была прозрачная рубашка и там розовела его грудь в какой-то момент ему захотелось потрогать мою своей но я не позволила он страшно огорчился во-первых боялась никогда не знаешь чахотка или оставит с ребенком embarazada[7] та старая служанка Инес мне говорила что даже одна капля в тебя попадет и хватит потом я пробовала Бананом но испугалась что может отломиться и останется где-нибудь там во мне да потому что однажды что-то там достали из женщины что в ней было целые годы уже все покрылось слоем солей они прямо сходят с ума чтоб забраться откуда вышли на свет им всегда кажется еще недостаточно глубоко а потом ты не требуешься до следующего раза да потому что там все время такое чудное бесконечно приятное ощущение на чем у нас тогда кончилось да О да моими трудами он кончил в мой платок я делала вид как будто сама не разожглась но я раздвинула ноги залезть под юбку я б ему не позволила потому что у меня юбка расстегивалась сбоку замучила его до смерти а сперва щекотала его я любила дразнить эту собаку в гостинице рррр авгавгав глаза у него были закрыты и птичка порхала рядом он был стеснительный но мне все равно нравилось что ему нравится когда так постанываешь я слегка вогнала его в краску когда наклонилась над ним вот так потом расстегнула ему вынула на-

[7] В затруднительном положении *(исп.)*.

ружу и оттянула с него кожу у него посредине как будто глаз у мужчин внизу все на Пуговицах только не с той стороны милочка Молли он меня звал а его звали Джек Джо Гарри Малви кажется так он был лейтенант довольно красивый голос всегда смеющийся так что я пошел в этосамое у него все было этосамое он носил усики и он сказал что вернется Господи для меня это все как будто только вчера и если я буду замужем то непременно получит свое и я обещала да клянусь сейчас я бы тут же ему дала может быть он умер или убит или капитан или адмирал почти 20 лет прошло если бы я сказала полянка под елками то он бы если он подошел бы сзади и закрыл мне глаза руками угадай кто я бы наверно его узнала он еще молодой около 40 может быть женат какая-нибудь девушка на блэкуотере и сильно переменился они все меняются по сравнению с женщинами у них гораздо слабей характер она знать не знает чем я занималась с ее возлюбленным супругом когда он еще и не слыхивал про нее притом среди бела дня можно сказать на виду у всего мира так что могли бы об этом написать в Кроникл после этого я была какая-то слегка ошалелая надула старый пакет от печенья братьев Бинади и хлопнула переполошила всех вальдшнепов и голубей назад возвращались тем же путем как пришли по среднему из холмов мимо старой караулки и еврейского кладбища притворялись как будто читаем еврейские надписи на могилах я хотела пострелять из его пистолета а он сказал у него нет он не знал как ему со мной сладить фуражку надевал всегда набекрень а я ему каждый раз подвигаю прямо КЕВ Калипсо и покачиваю своей шляпой тот старый епископ говорил длинную проповедь с амвона о высшем назначении женщины и о современных девицах что катаются на велосипедах и носят фуражки и костюмы-блумер Господи пошли ему разума а мне денег наверно они так называются в честь него никогда не думала что это будет моя фамилия Блум пробовала ее писать печатными буквами чтобы посмотреть как будет выглядеть на визитной карточке или упражнялась за мясника для М Блум с почтением желаю всяческого блумополучия сказала Джози когда я вышла за него ну и что это лучше чем Брин или Брук без брюк или эти ужасные фамилии с задом миссис Чейзад или еще какой-нибудь зад Малви у меня тоже не вызывает восторга или положим если б я с ним развелась миссис Бойлан моя мать кто бы она ни была могла бы видит Бог подыскать мне имя получше у нее самой было такое красивое Лунита Ларедо было так весело когда мы бежали по Виллисс-роуд что вьется вдоль всей той стороны Джерси к мысу Европа они подпрыгивали и плясали у меня в блузке как теперь маленькие у Милли когда она взбегает по лестнице я любила смотреть сверху на них у тополей и у перечных деревьев я подпрыгивала срывала пригоршни листьев и бросала в него он уехал в Индию собирался писать у этих парней судьба мотаться на самый край света и обратно зато хоть иногда повезет потискать женщину разок-другой отправляясь в какое-нибудь местечко где можно запросто потонуть или взлететь на воздух наутро в воскресенье я поднялась на площадку на вершине холма Уиндмилл-хилл с маленькой подзорной трубой покойного капитана Рубио такая же как у дозорного он сказал он может взять парочку с корабля на мне было то парижское платье из Бон Марше и коралловые бусы пролив сверкал мне было видно почти до самого Марокко белый Танжер с бухтой снежные горы Атласа и пролив прозрачный словно река Гарри милочка Молли я думала как он там на море все время потом у мессы когда нижняя юбка на мне стала сползать во время выноса чаши и тот платок я несколько недель держала у себя под подушкой чтобы был его запах в Гибралтаре нельзя было достать никаких приличных духов только дешевые испанская кожа они слабели и оставалась на тебе какая-то вонь мне ужасно хотелось оставить ему что-то на память он мне подарил

то неуклюжее кладдаское кольцо на счастье я его отдала Гарднеру когда он отправлялся в южную Африку где эти буры его убили своей войной или тифом но их самих порядком поколотили все равно это как будто оно принесло несчастье как жемчуг или опал но в нем было все-таки небось чистых 18 корыт золота потому что очень тяжелое только что найдешь в таком месте песчаный смерч из Африки да этот допотопный кораблик что приходил в гавань Мария какая-то там Мария этосамое нет у него ведь не было усиков это у Гарднера да ясно вижу сейчас его лицо чисто выбрит ффиииииииииииииииииииууфф опять этот поезд жалобный звук гдежеминуувшие дни прикрыть глаза вдох губы вытянуть словно для поцелуя вид печальный потом глаза широко раскрыть и пиано ииа аио мне донеслаась сквозь туман ненавижу это асьсквозь сладкая песня любвиииииииииии на сцене я это исполню в полную силу Катлин Карни и ее свора доносчиц Мисс Эта Мисс Такая и Мисс Сякая стайка пердучих пигалиц мельтешат кругом да трещат о политике в которой они понимают столько как моя задница все что угодно лишь бы показаться чуточку интересней ирладнские красотки домашней выделки ах я дочь солдата а вы чьи же сапожников и трактирщиков прошу прощения почтеннейшая карета я вас приняла за телегу они бы легли на месте и умерли если б им выпало когда-нибудь пройтись по Аламеде под руку с офицером как я в тот вечер когда военный оркестр в глазах огонь бюст какого им не иметь темперамент Господи снизойди к их убожеству в 15 лет я больше знала о жизни и о мужчинах чем все они будут знать в 50 и песню им тоже так не спеть Гарднер говорил ни один мужчина не может увидеть мою улыбку и при этом не подумать кое о чем сперва я боялась что ему может не понравиться мой выговор он настолько английский все что отец мне оставил кроме своих марок глаза и фигура у меня мамины он всегда это говорил иногда эти кадеты пропасть воображают о себе но у него этого совсем не было на моих губах он прямо помешан был пускай они сначала найдут себе мужа такого чтобы не стыдно показать и такую дочку как у меня или посмотрим сумели бы они завлечь толстосума который может ткнуть пальцем и выбрать себе любую как Бойлан да и способен заделать 4 или 5 раз подряд не выпуская из объятий или взять мой голос я бы могла быть примадонной если б не вышла за него песня любвиии взять ниже подбородок опустить только немного а то будет двойной Гнездышко Моей Милой слишком длинно на бис о старой усадьбе в сумерках и сводчатых залах да я спою Южные ветры он мне дал ее после нашей сцены на хорах сниму это кружево на черном платье так чтобы сиськи оценили как следует а еще да черт побери еще починю большой веер они от зависти лопнут а дыра моя так и зудит когда думаю о нем чувствую как хочу его чувствуется газы скопились лучше потише не разбудить его а то опять обслюнявит когда я у себя все вымыла спину живот бедра если бы хоть была настоящая ванна или у меня своя комната как бы там ни было хочу чтобы он спал отдельно а то положит холодные ноги на тебя даже пернуть нет места Господи или хоть чуточку поудобней да сдвинем их вот так к боку пиано мягко любвиии опять вдали этот поезд пианиссимо фиииии еще одна фесня

ну легче стало где ты ни будь пукнуть не позабудь эта свиная отбивная что я съела до чаю свежая была или нет при такой жаре неизвестно но запаха я от нее не слышала у мясника там весьма подозрительный вид наверняка он мошенник лампа надеюсь не коптит лучше уж пускай нос будет забит сажей чем он оставит газ на всю ночь в Гибралтаре никогда не могла улежать спокойно в постели непременно встану проверю и что я так нервничаю из-за этого хотя зимой мне даже нравится как будто уже есть компания о Господи жуткий холод стоял в ту зиму мне было всего лет десять кажется да у меня была большая кукла со всяческими одежками я

все ее одевала раздевала ледяной ветер налетал с гор как их какая-то там Невада сьерра невада стояла у камина в одной коротенькой рубашонке задранной кверху чтобы погреться я любила в ней танцевать по комнате и потом стрелой обратно в постель уверена что жилец напротив все время был тут как тут летом погасит свет и глазеет как я там прыгаю в чем мать родила я тогда себе нравилась потом раздетая умываешься обтираешься крем только когда уже доходило до церемонии с горшком тоже гасила свет так что нас становилось двое прощай мой сон по крайней мере на эту ночь надеюсь все-таки он не свяжется с этими медиками что сбивают его с пути а то начнет воображать будто он опять молодой приходить домой в 4 утра если не позже как в этот раз но при всем том имел деликатность не разбудить меня о чем они там находят трепаться всю ночь мотают денежки да накачиваются пьяными вдрызг накачивались бы лучше водой а потом начинает отдавать приказания чтоб ему яйца и чаю и семгу от Финдона горячие гренки с маслом скоро увидим как будет восседать словно король на троне и ковырять яйцо не тем концом ложечки где только выучился этому меня позабавило когда он утром оступился на лестнице и чашки задребезжали на подносе потом играл с кошкой она трется об тебя в свое удовольствие интересно блохи у нее есть она ничем не хуже любой женщины вечно облизывается и вылизывается но эти их когти я терпеть не могу интересно видят ли они что-нибудь чего мы не можем когда надолго усядется наверху лестницы уставится и прислушивается как я жду всегда и страшная воровка такую чудную свежую камбалу я купила пожалуй захвачу какой-нибудь рыбы завтра или сегодня ведь уже пятница да так и сделаю и бланманже со смородиновым вареньем как тогда давно но только не те двухфунтовые банки со смесью сливового и яблочного от Вильямса и Вудса из Лондона и Ньюкасла держатся вдвое дольше угря я не переношу только из-за костей трески да возьму кусочек трески получше всегда все беру на троих забывается во всяком случае от этого мяса из лавки Бакли уже тошнит филейные котлеты говяжья нога бифштекс на ребрышках баранья шея телячий потрох одно название чего стоит или пикник положим по 5 шиллингов с каждого или пусть он заплатит и пригласить еще какую-нибудь женщину для него кого бы миссис Флеминг и поехать в пушистую лощину или на земляничные угоры первым делом он примется осматривать копыта у всех лошадей как он письма всегда осматривает нет не при Бойлане да сандвичи с ветчиной и с холодной телятиной там есть маленькие домики внизу по бокам лощины они специально там но он говорит в них жарко как в пекле только чтобы не в табельный праздник не выношу эти оравы что выезжают за город вырядившись как в мюзик-холл и Духов День тоже несчастливый день ничего странного что его пчела ужалила лучше всего к морю только я никогда в жизни больше с ним не полезу в лодку после того как в Брэе он уверял лодочников будто умеет грести если его спросят мог бы он выступить в скачках на золотой кубок он тоже ответит да потом поднялись волны старое корыто накренилось всем весом на мою сторону он мне командует руль направо теперь давай налево а воды все набирается натекает прямо ручьем через щели в дне а у него еще весло выскочило из уключины просто чудо что мы там не потонули он конечно умеет плавать а я-то нет опасности абсолютно никакой будь спокойна в своих фланелевых брюках так и хотелось разодрать их на нем при всем народе и задать ему то что у этого называется бичевание да так чтоб до черных синяков это ему было бы полезней всего только и удержалась из-за этого молодца с длинным носом не знаю кто он такой с тем другим красавчиком Берком из гостиницы Городской герб кругом все вынюхивал слонялся на пристани вечно там где его не звали нет ли где какой заварушки а рожа такая что блевать хочется мы

друг на друга не потратили теплых чувств одно только это утешает интересно что за книжку он притащил Прелести греха сочинение светского человека еще какой-нибудь мистер де Кок верно ему за то дали прозвище что шлялся со своим прибором от одной бабы к другой мне даже было не во что сменить туфли белые совсем новые соленой водой испортило начисто и шляпа на мне с пером совершенно растрепанная изжеванная прямо хоть плачь с досады тем более запах моря на меня возбуждающе действовал конечно сардинки и морские лещи в Каталанской бухте с той стороны скалы они были как серебряные в корзинах у рыбаков старик Луиджи почти под сотню лет говорили что он из Генуи и тот пожилой высокий с серьгами в ушах я вовсе не люблю когда на мужчину надо карабкаться пока наконец доберешься наверно они все давным-давно померли и истлели потом не люблю одна оставаться ночью в этой большой казарме хотя пожалуй с этим придется мне примириться я даже позабыла посыпать щепотку соли когда въезжали сюда засуматошилась так он собирался устроить музыкальную академию в гостиной второго этажа и медную табличку повесить или семейный пансион Блума идея специально чтоб разориться как раньше его отец в Эннисе и все его планы что он рассказывал отцу моему и мне они все такого же сорта но я его видела насквозь расписывал мне все дивные места где мы бы могли провести наш медовый месяц Венеция при лунном свете гондолы и озеро Комо он вырезал его вид из какой-то газеты мандолины фонарики О как чудесно сказала я любое мое желание он бросался исполнять в тот же миг а то и заранее тот кто будет мне мужем пусть сперва мне послужит пускай дадут ему деревянную медаль на картонной ленточке за все эти его планы а в итоге по целым дням оставлял нас одних не знаешь еще какой нищий появится под дверями за коркой хлеба с очередной длинной басней а может что и бродяга выставил ногу так чтоб я не смогла захлопнуть похож на портрет того закоренелого преступника как его назвали в Ллойдс Уикли ньюс 20 лет просидел и как только вышел убивает старушку из-за денег представить только его несчастную жену или мать или кто там у него этакая рожа от нее хочется бежать без оглядки я не могла спать спокойно пока не запру на засов все двери и окна и второй раз не проверю но взаперти еще хуже словно ты в тюрьме или в сумасшедшем доме их всех бы перестрелять или плеткой девятихвосткой этакий здоровенный скот что способен наброситься на бедную старушку и зарезать прямо в постели я б не раздумывая казнила таких от него пожалуй немного толку но все же лучше чем ничего в ту ночь я была уверена что слышу как грабители в кухне и он взял свечку и кочергу спустился вниз как будто бы искал мышь весь белый как полотно чуть не помер со страху и такого наделал шуму как специально чтобы те услыхали конечно свидетель Бог там и воровать почти нечего но все-таки переживаешь особенно сейчас когда Милли нет и что ему вдруг взбрело отсылать девочку учиться там фотографии в память его деда вместо того чтобы отдать в Академию Скерри она бы там выучилась не так как я у нее же в школе одни высшие баллы только он пожалуй все равно устроил бы что-нибудь такое из-за меня с Бойланом уверена он именно потому так и сделал всегда в таком духе хитрит-мудрит последнее время мне не было никакой свободы с ней в доме разве если запирать двери то и дело меня ошарашивала входя без стука в тот раз когда я приставила стул к двери и принялась мыть губкой себе внизу у меня нервы уже не выдержали а потом весь день без дела валяется как бревно хоть посади ее под стеклянный колпак и пропускай по два человека поглядеть на это создание если б он знал что она отбила руку у этой его завалящей статуэтки из-за того что такая неуклюжая и разболтанная перед тем как уехать а я позвала того маленького итальянца и он за два шиллинга починил так что

не видно никакой трещины даже не соизволит если попросишь слить воду с картошки еще бы она же испортит руки я заметила что в последнее время он всегда с ней разговаривал за столом объяснял ей о чем пишут в газетах а она притворялась что понимает хитрит конечно это у нее от него про меня он никак не скажет что я притворяюсь или выдумываю я наоборот слишком честная и подавал ей пальто но если хоть что-нибудь у нее не ладится она мне расскажет а не ему я думаю он считает что я уже кончена и сдана в архив однако не тут-то было ничего подобного еще посмотрим посмотрим сейчас она флиртует вовсю с двумя сыновьями Тома Девана идет по моим стопам насвистывает с этими девчонками Мерри сущие сорвиголовы вызывают ее скажите пожалуйста а Милли не может выйти на нее большой спрос вытягивают из нее все что могут поздним вечером каталась тут за углом по Нельсон-стрит на велосипеде Гарри Девана пожалуй это неплохо что он ее отослал где она сейчас уже начинала переходить границы желала без конца на каток курить с ними сигареты пуская дым через нос я почуяла запах от ее платья когда перекусывала нитку пришивши ей нижнюю пуговицу к жакетке скрывать от меня у нее не выйдет могу заверить только не надо мне было пришивать прямо на ней ведь это к разлуке и пирог тоже надвое разломился в последний раз видишь вот и сбылось что бы ни говорили язык у ней слишком длинный по-моему у тебя вырез на блузке слишком глубокий это она-то мне горшок попрекал кастрюлю что дно черно а мне пришлось ей сказать чтобы не задирала ноги на подоконник на поглядение всем прохожим все так и пялятся на нее как бывало на меня в ее годы еще бы в такую пору любые лохмотья на тебе смотрятся но она же и великая недотрога на свой манер тогда на спектакле Единственный путь* в Театре ройял убери свою ногу я не выношу когда до меня дотрагиваются смертельно боялась что я помну ей складки на юбке в театре хочешь не хочешь дотрагиваешься когда теснота и темно они всегда норовят об тебя потереться как тот парень в партере Гэйети на Трильби с Бирбомом Три * ради какой угодно Трильби хоть с голой жопой я больше туда не сунусь в такую давку каждые две минуты он меня тронет за это место а сам отвернется в сторону может слегка ненормальный потом я его видела еще раз возле витрины Свитцера подлаживался как подобраться к двум модно одетым дамам все те же милые игры я его сразу узнала лицо и все остальное но он не вспомнил меня да а она даже не захотела чтобы я поцеловала ее в Бродстоуне на прощанье что ж я надеюсь она найдет себе кого-нибудь кто будет плясать вокруг нее так как я когда она лежала больная свинкой железы все распухли подай мне то подай это конечно она пока еще не может глубоко чувствовать я по-настоящему ни одного разу не кончила до скольких же лет до 22 или около того вечно куда-то не туда шло одно хихиканье да ломанье как всегда у девиц эта Конни Коннолли пишет ей белыми чернилами на черной бумаге и запечатывает воском хотя она хлопала когда опустили занавес потому что он был безумно красив и после этого Мартин Харви с утра до ночи не сходил у ней с языка потом я думала про себя что вот уж это истинная любовь когда мужчина не задумываясь отдает свою жизнь ради нее я полагаю немного осталось таких как он даже трудно в это поверить если с тобой самой не случалось у большинства из них ни капли любви в душе попробуй отыщи в наши дни двух человек совершенно упоенных друг другом так чтоб другой чувствовал точно как и ты обычно у них чуточку не все дома должно быть и отец его был со странностями если взял так вот и отравился после нее но все-таки очень жалко беднягу я думаю ему казалось для него все потеряно она приходила в страшный восторг от моих нарядов эти несколько жалких тряпок что я имею хотела сделать себе высокую прическу в 15 и брала мою пудру для нее это только кожу портить еще хватит

на это времени вся жизнь впереди конечно ей не сидится на месте когда знает что она такая хорошенькая губки яркие как жаль они не останутся такие все это и у меня было но нет никакого смысла миндальничать если она тебе отвечает как торговка на базаре когда я ее попросила сходить за картошкой в тот день мы встретили миссис Джо Галлахер на рысистых бегах а та сделала вид будто не замечает нас в своей коляске с адвокатом Фрайри видно мы недостаточно знатные пока я не закатила ей две преотличные оплеухи на вот тебе за то что так отвечаешь а это за твою наглость совершенно вывела из себя пререканиями и вообще я была не в духе а с чего началось сор какой-то попался в чай или плохо выспалась перед тем что я такого съела кажется сыру и я сто раз говорила ей не оставлять так ножи крест-накрест все оттого что некому ее приструнить как следует она сама это говорила что ж если он с нее не спрашивает то клянусь я сама буду это был последний раз когда она слезы распустила я тоже была точно такая же надо мной никто в доме не смел командовать конечно это он виноват заставил нас обеих тут надрываться как в рабстве когда уже давно надо было прислугу взять будет ли у меня приличная служанка снова когда-нибудь конечно она бы видела как он наведывается пришлось бы посвятить ее в это дело а то подложит свинью такая морока с ними эта старуха миссис Флеминг за ней ходи по пятам и все ей подавай в руки набздит и начихает во все кастрюли конечно она стара при всем желании не может иначе еще хорошо я нашла за буфетом эту посудную тряпку вся прелая и вонючая я знала там что-то такое есть потом открыла окно проветрить приводит в гости приятелей как в ту ночь когда явился с собакой извольте радоваться а что если она бешеная особенно сына Саймона Дедала папаша его такой критикан в своих очках в цилиндре на крикетном матче и здоровенная дыра на носке смехотворное сочетание а сын в средней школе завоевал все награды за все на свете подумать только перелез через ограду а если бы кто из наших знакомых увидел интересно он еще может дыру прорвал на этих парадных брюках мало как будто той которую природа дала притащить его в эту обшарпанную кухоньку ну не спятил ли он я спрашиваю жалко это не день стирки а то б мои старые панталоны могли висеть там кстати для обозрения его это разве беспокоит на них от утюга пятно прожгла эта старая развалина а он бы мог подумать это кой-что другое так она и не вытопила то сало как я велела и тут она какая ни есть а лучше чем ничего собирается и уходит мол ее мужу паралитику стало хуже у них вечные неурядицы болезнь или надо ложиться на операцию а нет этого так он пьянствует и колотит ее а мне сейчас опять пускаться на поиски каждый день встаешь и что-нибудь еще новенькое Боже мой Боже милостивый наверно только в могиле найдешь покой захотелось встать на минутку погоди О Господи погоди ну так и есть началось этосамое да еще бы не началось после того как он там столько во мне долбал шуровал пахал что я теперь буду делать Пятница Суббота Воскресенье всю душу вымотает хотя может ему так нравится некоторые мужчины любят Дева Мария всегда что-нибудь не то с нами на каждые 3 или 4 недели 5 дней ежемесячная распродажа более гадкого не придумаешь в ту ночь у меня тоже так началось один-единственный раз попали в ложу Майкл Ганн ему дал посмотреть миссис Кендал с ее супругом * в Гэйети за какие-то его услуги насчет страхования у Дримми я чуть с ума не сошла но я сдержалась потому что какой-то элегантный джентльмен все время смотрел на меня в лорнет сверху а рядом этот толкует про Спинозу и его душу что померла небось миллион лет назад я улыбаюсь изо всех сил а сама в сплошной луже наклоняюсь вперед как будто мне очень интересно и так надо было высидеть до самого занавеса не скоро я забуду эту жену Скарли * считалось это очень рискованная пьеса о супружеских из-

менах и этот идиот на галерке начал свистеть вопить прелюбодейка думаю он потом вышел и подцепил себе тут же бабу из тех что шныряют по всем задворкам чтобы уж на ней отыграться хотела б я чтобы у него было то же что у меня сейчас не стал бы небось подсвистывать клянусь последней кошке и то лучше чем нам крови что ли в нас слишком много или еще что О воля божья из меня течет словно море но благо не забеременела хоть он такой здоровенный не хочется испортить чистые простыни как раз постелила надела наверно чистое белье вот и накликала к черту к черту а они всегда хотят увидеть пятно на постели удостовериться что ты до них была девушкой это их волнует ужасно отменные дураки ты можешь быть вдова или 40 раз разведенная нужна только капля красных чернил или ежевичного сока нет слишком темный Ох мать честная помоги подняться отсюда тьфу прелести греха кто только выдумал эти женские дела в придачу еще к стряпне шитью детям а чертова старая кровать скрипела адски думаю слышно было аж на другой стороне парка пока я не предложила расстелить одеяло на полу и мне подушку под зад интересно днем приятнее или нет думаю что спокойно думаю я подбрею там себе волосы от них только жарче буду пожалуй выглядеть как девочка то-то бы он опешил в следующий раз как станет задирать мои юбки хотела бы поглядеть на его лицо куда же ночной горшок подевался легче вечно так и дрожишь что он под тобой развалится как тот старый стульчак интересно ему не показалось тяжело когда я села ему на колени я его нарочно усадила в шезлонг и сама сняла только юбку и блузку в соседней комнате он так был занят тем чем ему не следовало что вес мой не чувствовал надеюсь у меня было приятное дыхание после этих пастилок легче Боже я помню могла бывало пускать совсем прямую струю насвистывая почти как мужчина легче Господи с каким шумом надеюсь там сверху пузыри они сулят денежки от какого-то парня а с утра не забыть бы там надушиться держу пари он в жизни своей не видывал лучшей пары бедер какая белизна загляденье а тут вот самое гладкое местечко как раз в уголке и нежные словно персик легче Боже я бы совсем не прочь быть мужчиной да залезть на хорошенькую женщину О Господи какой задала трезвон словно джерсейская лилия легче легче О как изливаются воды в Лахоре *

кто знает может у меня там что делается внутри или что-нибудь там растет из-за чего эти дела случаются каждый раз а когда был последний раз в Духов День да всего три недели назад надо мне пойти к доктору только это получится как незадолго до нашей свадьбы когда что-то белое начало из меня вытекать и Флуи заставила пойти к доктору Коллинзу по женским болезням на Пембрук-роуд старый сухой как палка и называет это ваша вагина я думаю на этом он и нажил все свои ковры и зеркала в золоченых рамах ублажая богатых со Стивенс-грин что прибегают к нему чуть что им взбредет ее вагина да ее мандолина конечно у них есть деньги стало быть все в порядке вот уж за него я б не вышла хоть он останься один мужчина на свете и потом есть что-то странное в их детях всю жизнь обнюхивает этих грязных сучек со всех сторон спрашивает нет ли неприятного запаха у того чем я хожу а чем он хочет чтоб я ходила золотом что ли дурацкий вопрос если б я это размазала по его старой сморщенной роже вот вам мои комплименты тогда бы узнал наверно а хорошо ли у вас работает кто работает решила он о прислуге такой его способ выражаться впрочем тоже отличный механизм только я любила под конец опуститься как можно глубже в дыру и дернуть спустить воду так прохладно и приятно покалывает но все-таки я согласна в этом есть что-то когда Милли была малышкой по тому как она сходит я всегда узнавала есть у ней глисты или нет но все равно за это еще платить ему сколько я вам должна доктор одну гинею с вашего позволения и еще спрашивал а часто ли бывают у меня

выжделения откуда только эти старые господа выкапывают такие слова выжделения глядел на меня как-то искоса своими близорукими глазками я бы ему не доверилась целиком скажем чтобы он мне давал хлороформ или что-то подобное но он мне даже понравился когда уселся выписывать сурово наморщился нос умный такой а ты окаянная ты лгунья Ах да не важно тут же любой сообразит если не полный идиот а уж у него ума хватит конечно все это из-за мыслей о нем и о его безумных посланиях Сокровище мое все что связано с твоим сияющим Телом все он подчеркнул все что исходит от него есть источник красоты и радости навеки набрал из какой-нибудь дурацкой книжки я без конца сама себе это делала иногда по 4 и по 5 раз в день а ему говорю нет вы уверены О да я сказала совершенно уверена таким тоном что он на этом замолк я знала уже что он дальше скажет у вас просто естественное недомогание сама не знаю как он возбуждал меня в тот вечер когда мы впервые встретились я жила на Рихобот-террас и мы стояли и смотрели друг на друга минут 10 казалось будто мы где-то уже встречались думаю это из-за того что у меня тип еврейский я похожа на мать мне было интересно с ним рассказывал разные вещи с этой своей ленивой полуулыбочкой на лице у Дойлов все говорили он выставит свою кандидатуру в парламент о Господи какая ж я набитая дура была верила его всей белибурде и про гомруль и про земельную лигу он мне прислал длинную нудную арию из Гугенотов чтобы я пела по-французски ради пущего шика O beau pays de la Touraine [8] я ее ни одного разу не пела плел сущую околесицу про религию и гонения не даст тебе ни к чему подойти по-человечески просто так а потом нельзя ли ему как величайшую милость как только ему выдалась первая же возможность на Брайтон-сквер он стрелой в мою спальню выдумал что у него чернильное пятно на руке и надо отмыть у меня было обычно мыло Альбион на молоке и с серой в такой обертке в тот день я над ним хохотала до упаду лучше мне не рассиживаться на этой штуке всю ночь надо делать нормального размера горшки чтоб женщина могла усесться как следует а он когда справляет свои дела становится на колени я думаю во всем мире не найдешь второго с такими повадками как у него стоит полюбоваться как он улегся в ногах постели как он так может спать без твердого валика хорошо не брыкается а то бы вышиб все зубы мне и как он дышит закрыл себе нос рукой словно индийский бог которого однажды он мне показывал в музее на Килдер-стрит в дождливое воскресенье весь желтый в каком-то фартуке лежит на боку опираясь на руку и все десять пальцев на ногах на тебя торчат это сказал он еще более великая религия чем у евреев и у Господа Нашего взятые вместе она по всей Азии решил подражать ему как он всем всегда подражает тот тоже наверно спал в ногах да задирал эти квадратные огромные ступни чуть ли не в рот жене черт бы побрал эту вонючую посудину ладно а где салфетки ах да знаю надеюсь шкаф не будет скрипеть ну вот так и знала что заскрипит но он спит крепко хорошо где-то провел время что ж за его денежки она должна была недурно его обслужить разумеется он ей должен платить за это О что за нескладная штуковина надеюсь на том свете что-нибудь получше для нас найдется чем так вот зануздывать себя ну с Божьей помощью на эту ночь все в порядке а эта старая кровать продавленная и дребезжащая всегда мне напоминает про старого Коэна верно он в ней частенько почесывался а он думает что это отец купил ее у Лорда Напье * которым я так восхищалась когда была девочкой так я ему наговорила тише пиано Ох хорошо в своей постели и через 16 лет мы все в такой же яме как раньше сколько же домов мы сменили Рэймонд-террас и Онтарио-террас и Ломбард-стрит и Холлс-стрит а

[8] О прекрасная страна Турень *(франц.)*.

он себе ходит да насвистывает каждый раз как нам надо снова убираться своих гугенотов или марш лягушек делает вид будто помогает грузить так называемую мебель четыре доски а потом гостиница Городской герб из куля в рогожку как говорит Швейцар Дейли это дивное местечко на площадке всегда кто-нибудь там внутри совершает свои молитвы и оставляет после себя свою вонь всегда можно узнать кто был последний каждый раз как только слегка налаживается так тут же что-то стрясется или он влезет как слон в лавку и все испортит у Тома потом у Хили у мистера Каффа у Дримми то чуть в тюрьму не угодил за свои лотерейные билеты на которые возлагал все надежды а то пойдет и нахамит скоро увидим как его выпрут из Фримена как прежде из других мест из-за этих его шинфейнеров или франкмасонов посмотрим тогда сильно его утешит тот коротышка которого он мне показывал на Коудис-лейн ковыляет одинешенек под дождем говорит он такой способный и такой патриот Ирландии что ж может и патриот на нем брюки очень были патриотические погоди это колокол у Святого Георгия погоди 3 четверти час погоди 2 часа самое чудесное время возвращаться домой и перелезать через ограду а если бы кто увидел я его отучу от этого завтра осмотрю первым делом его рубашку или проверю этот презерватив еще в бумажнике у него кажется он думает я не знаю все мужчины обманщики им 20 карманов мало для их обманов а раз так почему мы им должны рассказывать даже если и правда они тебе не поверят свернулся в постели как те младенцы в Шедевре Аристократа * однажды притащил мне его как будто нам в жизни этого не хватает без какого-то Аристократа или как там его от этих мерзких картинок только еще противней младенцы с двумя головами или совсем без ног и вот такими гадостями у них голова забита больше там ничего из них стоило б половину отравить медленным ядом а после подавай ему чай свежие яйца гренки с маслом с обеих сторон я думаю я стала пустое место для него с тех пор как однажды ночью на Холлс-стрит не дала ему меня полизать о мужчина мужчина всегда тиран прежде всего он на полночи улегся спать прямо на полу нагишом так делают евреи когда кто-нибудь умрет из родни потом не стал есть завтрак и отказался разговаривать ему хотелось чтобы с ним повозились поублажали ну я подумала что для одного раза довольно сопротивлялась и разрешила ему но он делает все неправильно думает только о своем удовольствии и язык у него какой-то то ли плоский слишком то ли не знаю что он забывает что мыладно я не я его заставлю это сделать еще раз если он сам не догадается и на ночь запру его спать в угольном погребе с тараканами интересно а не Джози ли это бывало на седьмом небе от моих обносков он же ведь лгун до мозга костей но нет с замужней у него никогда пороху не хватит поэтому он и хочет чтобы я с Бойланом хоть в данном случае этого ее Дэниса как она его называет это скорбное зрелище мужем едва ли назовешь да скорее он спутался с какой-нибудь сучкой даже когда и я с ним была и Милли на Университетских соревнованиях тот Хорнблоуэр в детском чепчике на самой макушке нас туда пропустил через задний вход он с самым невинным видом без конца глазел на тех двух что все прохаживались да вертели юбками сперва я ему пробовала намекнуть только все без толку вот так его денежки и текут таковы плоды похорон мистера Падди Дигнама да они все там были такие важные на таких торжественных похоронах про них было в газете что принес Бойлан а видели бы они настоящие офицерские похороны это действительно нечто оружие стволами вниз приглушенные барабаны и позади белый конь в черной сбруе Л Бум и Том Кернан тот маленький пузатый пьянчужка что себе прикусил язык свалившись пьяный в мужском сортире где-то такое и Мартин Каннингем и два Дедала и муж Фанни Маккой голова капустный кочан костлявая и глаза косят она пыталась

петь мой репертуар но ей бы сперва для этого родиться заново в старом зеленом платье с низким вырезом и все остальное в ней так же заманчиво как дождик за шиворот сейчас я это все насквозь вижу у них это называется дружба убивать друг друга потом хоронить а у каждого дома жена и дети особенно этот хорош Джек Пауэр который содержит официантку конечно его жена все время больна или на грани болезни или едва оправилась а сам вполне еще интересный мужчина хотя и седина на висках теплая компания они все но только мой муж больше не попадется им в когти если это в моих силах они потешаются над ним за его спиной я знаю отлично когда он разводит им свои идиотства потому что у него хватает ума не проматывать им на пропой последний заработанный грош а подумать о жене и ребенке никчемный народ Падди Дигнам бедняга все равно мне жалко его что-то теперь станет с его женой и с 5 детьми если он не был застрахован комичный маленький как юла вертлявый и вечно торчит в трактире в каком-нибудь углу а она или сынок поджидают О Билли Бейли я прошу пойдем домой вдовий траур не сделает ее привлекательней хотя если ты хороша собой то он очень к лицу кто из мужчин а был ли он да он был на обеде в Гленкри и Бен Доллард бас-бормотон на тот вечер он взял у нас фрак на Холлс-стрит чтобы в нем петь кое-как затиснулся запихнулся в него ухмыляясь во всю свою обширную физиономию как у огромной Куклы похожую на задок свежевысеченного ребенка он выглядел будто двинутый по яйцам что говорить на сцене это было яркое зрелище представить только что платишь по 5 шиллингов заказываешь места чтоб лицезреть его как он семенит в своих рыболовных портах да еще Саймона Дедала тот являлся всегда под мухой и пел второй куплет первым старая любовь словно новая это один был из его номеров и так нежно пела дева на ветвях боярышника всегда настроен пофлиртоводничать когда я пела с ним Маритану в частной опере Фредди Майерса у него был изумительный дивный голос Феба милая прощай ненаглядная прощай он пел всегда ненаглядная не то что Бартель д'Арси у которого выходила ненаблядная прощай конечно такой голос это дар природы искусство тут ни при чем он словно всю тебя омывал как будто теплый душ О Маритана дикий цветок великолепно мы пели хотя для моего регистра это чуть-чуть слишком высоко даже транспонированное в то время он был женат на Мэй Гулдинг но вечно он ляпнет или выкинет что-нибудь и испортит все сейчас он вдовец интересно какой у него сын он говорит писатель и будет профессором итальянского языка в университете и я чтоб брала уроки куда это он клонит теперь показал ему мою карточку я на ней плохо вышла лучше бы я задрапировалась это никогда не выходит из моды и я молодой выгляжу интересно может он ее подарил ему насовсем а заодно и меня в конце концов почему бы нет я видела его как они с матерью и с отцом ехали на вокзал Кингсбридж я была в трауре сейчас это уже 11 лет назад да ему было бы 11 хотя какой был толк носить траур по тому что еще было ни то ни се я с первого его крика все уже поняла и потом я слышала как жук-могильщик в стене скребется конечно он настоял он бы носил траур даже по кошке я думаю он сейчас-то уже мужчина а тогда был невинный мальчик такой миленький в костюмчике фасона лорд Фаунтлерой * и с кудрявой головкой как у принца на сцене когда я его увидела у Мэта Диллона я тоже ему понравилась я хорошо помню я им всем нравлюсь постой-ка Господи ну да да это ведь он и выпал на картах утром когда я раскинула встреча с молодым незнакомцем ни блондин ни брюнет которого раньше уже встречала я думала на него но он же и не птенец и не незнакомый и кроме того моя карта смотрела не в ту сторону а какая была 7ая карта после той 10 пик к дороге сухим путем потом было письмо в дороге и еще ссоры 3 дамы и 8 бубен к успеху в обществе да гляди-ка так все и вышло

и 2 красные восьмерки к обновам нет ты смотри и что-то еще такое мне приснилось да там было что-то насчет поэзии надеюсь он не носит этакие длинные сальные волосы свисающие на глаза или торчащие дыбом как у индейца и для чего спрашивается они так ходят устраивают только посмешище из себя и своей поэзии я всегда любила стихи когда была девочкой сначала я думала он поэт как лорд Байрон а в нем ни капли этого не найдешь я его представляла совсем другим интересно не слишком ли он молод еще ему примерно минутку 88 я вышла замуж в 88-ом Милли исполнилось 15 вчера 89 сколько же лет ему было тогда у Диллона что-нибудь 5 или 6 думаю ему 20 или чуть больше я для него не слишком стара если ему 23 или 24 надеюсь он не из тех университетских хлыщей нет он бы тогда не стал сидеть с ним в нашей убогой кухне за разговорами да пить какао Эппса конечно он делал вид как будто все понимает наверно сказал ему что кончил Тринити Колледж для профессора он еще слишком юн надеюсь он не такой профессор как Гудвин тот уж был форменный профессор питейных наук они в своих стихах всегда пишут о какой-нибудь женщине ну что ж я думаю таких как я он не много найдет услышь гитары вздох и улови поэзия там в самом воздухе голубое море и сияющая луна это так прекрасно когда возвращалась ночным пароходом из Тарифы маяк на мысе Европы тот парень с таким чувством играл на гитаре может когда-нибудь я еще вернусь туда все лица новые как веер скрыл блеснувший взгляд я спою это для него это ведь о моих глазах если он хоть насколько-нибудь поэт двух глаз прекрасных как звезда любви какие изумительные слова как юная звезда любви это настолько меняет все Бог свидетель когда есть разумный человек с кем можно поговорить о себе а то от него только слышишь реклама для Билли Прескотта и реклама для Ключчи и реклама для Черта Лысого а потом если у них дела худо то страдать нам уверена он безупречно воспитан мне бы хотелось встретить такого человека не то что прости Господи все это стадо к тому же он молод как те молодые красавцы которых я видела на пляже в Маргейте где место для купания у скалы стоят обнаженные на солнце словно какие-то боги потом ныряют в море почему не все мужчины такие это было бы для женщины утешением как эта милая статуэтка что он купил я на нее могла любоваться целыми днями длинные кудри плечи и поднял палец словно прислушиваясь вот где тебе настоящая красота и поэзия мне часто хотелось расцеловать его кругом с головы до ног и его миленький юный член тоже выглядит так невинно что я бы не задумалась взять его в рот когда никто не видит так и просится чтобы его пососали а сам он весь такой беленький чистенький с мальчишеским лицом я бы ему это сделала за полминуты даже если немного проглотишь ну и что это просто как кисель или как роса ничего страшного и потом такой чистый разве сравнишь с тем как у этих свиней мужчин я думаю им никогда и не снилось его помыть чаще раза в год они почти все такие но только у женщины от этого начинают расти усы уверена это будет великолепно если я в мои годы сумею сойтись с молодым красивым поэтом раскину на картах это первое что я сделаю с утра посмотрю выпадет ли 9 червей или попробую положить свою даму и посмотреть выйдет ли он к ней на пару я прочитаю и изучу все что смогу отыскать и что-нибудь выучу наизусть если б я знала кто ему нравится тогда он не думал бы что я глупая если он считает что все женщины одинаковы а я могу научить его всему остальному я научу его наслаждаться целиком каждой клеточкой пока он не придет в полное изнеможение подо мной и потом он напишет обо мне любовник и любовница ко всеобщему сведению 2 наших фотографии во всех газетах когда он станет знаменитым Ах но что же мне тогда делать с тем хотя

нет с тем это безнадежно у него никаких манер никакой утон-

ченности вообще ничего нет в его натуре способен только хлопать по заду за то что я его не называла Хью невежа которому что стихи что кочан капусты вот что выходит если ты их сразу не поставишь на место стягивает с себя ботинки раскладывает штаны на стуле перед моими глазами совершенно нахально даже не спросив разрешения и стоит как дубина в своей полурубашке они носят такие чтоб выставлять всем на диво как священник или мясник или те римские лицемеры во времена Юлия Цезаря конечно он по-своему прав когда смотрит на это как на шуточку чтобы только провести время с тем же успехом можно лечь в постель с кем скажем со львом черт побери я уверена он бы сумел получше бравый Лев но нет я думаю это еще оттого что они у меня были такие пухленькие соблазнительные под коротенькой сорочкой что он не мог устоять иногда я даже сама от них возбуждаюсь хорошо мужчинам такую массу наслаждений они получают от женского тела мы такие беленькие такие округлые мне всегда хотелось для разнообразия побыть как-нибудь на их месте просто попробовать как оно с этой штукой которая у них на тебя взбухает такая твердая и в то же время такая нежная на ощупь у дядюшки Дика есть длинная пика я слышала как уличные мальчишки говорят когда проходила на углу Марроубон-лейн у тетушки Салли есть дыра с волосами там темно было а они знали что девушка проходит а я даже не покраснела с какой стати ведь это просто природа и он свою длинную сует в тетушкину волосатую и так далее а оказывается это вставляют черенок в половую щетку опять все для мужчин они могут пойти и выбрать что захотят замужнюю или игривую вдовушку или девицу на любой вкус как в тех домах вокруг Айриш-стрит нет а мы должны быть вечно прикованы только меня им не заковать уж раз я начну я не испугаюсь будьте уверены ревности тупых мужьев почему бы нам всем не остаться друзьями вместо того чтоб ссориться из-за этого муж застал ее чем они вдвоем занимались ну естественно а раз застал то уж назад не вернешь теперь что бы он ни делал он coronado[9] и тогда из-за жены он бросается в другую крайность в Прекрасных Мучительницах конечно мужчина и не думает размышлять ни про мужа ни про жену он хочет женщину и он берет ее для чего еще эти желания нам даны я спрашиваю пока я молода я с этим ничего не могу поделать разве не так это чудо что я не превратилась до времени в старую высохшую каргу живя с ним до того холодный никогда не обнимет только во сне изредка и то не с того конца сам не зная я думаю кто тут с ним любой кто целует женщину в зад для меня конченый человек после этого он готов вообще все неестественное целовать у нас там ни единого атома хоть какой-нибудь выразительности у всех те же два кома жира я бы никогда в жизни такое не сделала мужчине тьфу грязные скоты даже подумать противно целую ваши ножки сеньорита в этом какой-то смысл еще есть не целовал ли он нашу входную дверь да целовал вот ненормальный никому не понять его шальные идеи кроме меня но конечно женщина хочет чтоб ее обнимали чуть не 20 раз на день она от этого выглядит молодой а с кем это все равно лишь бы была любовь или кто-нибудь тебя бы любил если тот кого ты хочешь сейчас далеко бывало иногда Господи Боже думаешь а не выйти ли в темный вечер на набережную где тебя не знает никто да подцепить матроса сошедшего с корабля изголодавшегося по этому делу ему наплевать откуда я взялась лишь бы заделать где-нибудь в подворотне или одного из тех дикарей цыган в Ратфарнхэме они стояли табором недалеко от прачечной в Блумфилде чтоб у нас вещи таскать при случае я туда свои отсылала только несколько раз и то ради одного названия образцовая прачечная а они мне постоянно присылали назад какое-то

[9] Носящий тонзуру *(исп.)*; Молли имеет в виду слово cornudo (рогоносец).

старье чулки непарные тот парень с красивыми глазами похожий на разбойника что стругал палочку если бы он на меня набросился в темноте да оседлал бы у стенки без дальних слов или убийца кто угодно они делают то же самое эти шикарные господа в цилиндрах тот королевский адвокат что живет тут где-то недалеко он выходил из Хардвик-лейн в тот вечер когда пригласил нас на ужин в рыбный ресторан по случаю выигрыша на боксерском матче конечно ради меня пригласил я его узнала по гетрам и по походке а когда обернулась через минуту специально чтоб посмотреть оттуда уже выходила женщина какая-нибудь грязная шлюха и после этого он приходит к своей жене только наверно из этих матросов половина с дурной болезнью Ах да подвинь же отсюда свою здоровую тушу ради святого Дуралея изволь тут слушать его зефир что вздохи донесет мои к тебе ладно пусть его спит со своими вздохами великий Иллюзионист Дон Польдо де ла Флора если б он знал как он вышел утром на картах ему нашлось бы о чем вздыхать брюнет в затруднительном положении между двумя семерками в казенном доме за какие-то свои дела черт знает какие я не знаю но зато я должна лезть из кожи на кухне готовить завтрак его сиятельству пока он тут валяется закутанный как мумия только буду ли я вот вопрос кто-нибудь видел когда-нибудь чтоб я носилась как угорелая сама б не прочь поглядеть прояви к ним внимание и они с тобой как с последней тряпкой что ни говори было бы настолько лучше если б правили миром женщины вы не увидите чтобы женщины резали и убивали друг друга и где видано чтобы женщины валялись пьяные так как эти или проигрывались до последнего гроша да просаживали все на скачках да потому что женщина что б ни делала вовремя умеет остановиться а этих если б не мы вообще не было бы на свете они не знают каково это быть женщиной и матерью откуда им а где бы они все были не будь у каждого матери чтобы о нем заботилась которой у меня не было я думаю оттого он и сумасбродствует сейчас по ночам забросивши все занятия книги и дома не живет потому что наверняка там вечные свары сплошная жалость что у кого такой сын хороший те недовольны а у меня никакого нет не способен он что ли был его сделать уж я тут не виновата мы вместе кончили когда я смотрела на эту пару собак как он ей сзади засунул прямо посреди улицы после этого я совсем пала духом наверно мне не надо было его хоронить в той шерстяной кофточке что я сама связала и рыдала все время лучше отдала бы какому-нибудь бедному малышу только я знала точно у меня никогда не будет другого потом это была у нас 1-ая смерть с тех пор мы уже никогда не были такими как прежде О нет больше не дам себе окунаться в эти мрачные мысли интересно почему он не остался переночевать я чувствовала все время он незнакомого кого-то привел лучше бы не шатался по городу сталкиваясь Бог знает с кем с ночными девками и с карманниками его бедной матери будь она жива это не понравилось бы он может загубить себе так всю жизнь а все же это приятное время суток так тихо я любила возвращаться с танцев домой ночной ветерок у них есть друзья с кем можно поговорить а у нас никого либо он хочет того что не может получить либо это какая-нибудь женщина готовая сунуть тебе нож в спину вот это я в женщинах ненавижу не диво что они с нами так обращаются мы жуткая свора сук я думаю это из-за всех наших неприятностей мы делаемся такие невыносимые но я сама не такая он бы вполне мог лечь на софе в другой комнате наверно он бы стеснялся как мальчик еще такой молодой всего каких-нибудь 20 из-за того что я через стенку он бы услышал как я на горшке arrah что тут дурного Дедал интересно это как имена в Гибралтаре Делапаз Делаграция у них там чертовски странные имена отец Вильаплана из Санта Марии который подарил мне четки Розалес и О'Рейли на Calle las

Siete Revueltas[10] и Писимбо и миссис Описсо на Говернор-стрит ну уж фамилия я утопилась бы в первом омуте будь у меня такая о Боже и все эти улочки спуск Пэредайз и спуск Бедлам и спуск Роджерса и спуск Кратчета и лестница Чертов Провал что же не стоит слишком меня винить если я ветреная я знаю что за мной это водится клянусь Богом я не чувствую себя ни на один день старше чем в ту пору интересно язык у меня еще повернется что-нибудь выговорить по-испански como esta usted muy bien gracias y usted[11] смотри-ка не все забыла а думала уже все только грамматика существительное есть название любого человека места или предмета жалко я даже не попробовала прочесть роман Валера* что приносила эта ворчунья миссис Рубио там вопросительные знаки вверх ногами и так и так я всегда знала что мы в конце концов оттуда уедем я могу учить его испанскому а он меня итальянскому тогда он увидит я не такая необразованная как жаль что он не остался я уверена бедняга устал смертельно ему б хорошенько выспаться я бы принесла ему завтрак в постель немного гренков только не обжаривала бы их на ноже это дурной знак или может прошла бы зеленщица с салатом и еще с чем-нибудь вкусным и симпатичным на кухне там есть маслины возможно ему понравились бы я даже вида их не переносила у Абринесов я бы могла быть вместо criada[12] комната выглядит неплохо с тех пор как я изменила все по-другому понимаешь меня что-то подмывало все время что мне надо представиться он меня абсолютно не знает как было бы забавно правда я его жена или изобразить будто мы с ним в Испании он полусонный не ведает ни сном ни духом куда попал dos huevos estrellados senor[13] Господи какие шальные мысли иногда лезут в голову было бы таким развлечением если бы он положим стал у нас жить а почему бы нет наверху свободная комната и кровать Милли в комнате выходящей в сад он мог бы писать заниматься там стол есть для его бумагомарания а если ему вздумается перед завтраком читать в постели как я делаю то этот может приготовить завтрак и для 2 точно так же как он готовит для 1 я ни за что не буду брать квартирантов с улицы для него если он делает из дома постоялый двор так приятно бы подольше поговорить с воспитанным образованным человеком я бы завела себе хорошенькие красные домашние туфли как продавались у тех турок в фесках или желтые и красивый слегка прозрачный пеньюар он мне так нужен или матине персикового цвета как то что когда-то давно у Уолпола всего за 8 и 6 или за 18 и 6 пожалуй я дам ему еще один шанс встану утром пораньше все равно это ложе старого Коэна надоело безумно и можно пойти на рынок посмотреть овощей капусту помидоры морковь разных фруктов получше они такие чудесные свежие когда их привозят кто знает какой первый мужчина мне попадается они по утрам бродят в поисках этого Мэйми Диллон так уверяла и по ночам тоже это она так ходила к мессе вдруг страшно захотелось грушу большую сочную грушу тающую во рту как в ту пору когда меня одолевали причуды потом я ему швырну его яйца и подам чай в той чашке с приспособлением для усов ее подарок чтоб у него рот стал еще шире думаю мои сливки тоже ему понравятся я знаю как я сделаю я буду ходить по дому довольно веселая но не слишком напевая mi fa pieta Masetto[14] потом начну одеваться чтоб выйти presto non son piu forte[15] надену лучшие панталоны нижнюю юбку и дам ему как следует на все посмотреть так чтоб у него встал пускай знает раз он сам этого хотел что его жену драли да и отодрали

---

[10] Улица Семи Поворотов *(исп.)*.
[11] Как поживаете очень хорошо спасибо а вы *(исп.)*.
[12] Горничная *(исп.)*.
[13] Яичница из двух яиц сударь *(исп.)*.
[14] Мне жаль Мазетто *(итал.)*.
[15] Скорее силы меня покидают *(итал.)*.

как надо досыта только не он 5 или 6 раз подряд на простыне след от семени а я даже не стану трудиться выводить утюгом это должно его убедить если не веришь пощупай мой живот или остается только чтоб я его заставила стать тут посреди и заправить того в меня меня тянет рассказать ему все до малейшей мелочи и заставить чтоб он сам себе сделал у меня на глазах он это заслужил его одного вина если я прелюбодейка как сказал этот субъект на галерке О не так велика беда если это все зло которое мы совершили в этой юдоли слез видит Бог это не так уж много все что ли так не делают только скрывают о я думаю женщины для того и существуют иначе Он бы сотворил нас как-нибудь по-другому чтоб меньше привлекали мужчин ладно если он желает целовать мой зад то я стяну панталоны и выпячу ему прямо в физиономию в натуральную величину пускай засовывает свой язык в дыру хоть на 7 миль в то вокруг чего целовать а потом скажу ему мне надо 1 фунт или может быть 30 шиллингов скажу что хочу купить для себя белья тогда если даст значит он не такой уж плохой я не хочу из него выжать все до последнего как другие женщины поступают я уж давно могла бы выписать себе недурной чек расписалась бы за него на пару-другую фунтов он сколько раз забывал запереть книжку к тому же он и так не проматывает я позволю ему чтобы он кончил на мой зад только пускай не перепортит мне панталоны или с этим уж примиримся приму равнодушный вид задам ему 1—2 вопроса и по ответам узнаю когда он такой он ничего не способен скрыть я изучила его до черточки зад я сожму как следует и скажу какие-нибудь похабные выражения понюхай задницу или полижи говно или любую дурь что взбредет в голову а потом предложу да О погоди а теперь солнышко моя очередь буду такая веселая привлекательная как ни в чем не бывало Ах да ведь я ж позабыла про эти чертовы крови тьфу не знаешь плакать или смеяться так в нас всего намешано нет лучше всего тогда надеть какое-нибудь старье это как-то даже острее он никогда не узнает он это сделал или же нет вполне сойдет для него любая старая тряпка потом оботру с себя совершенно непринужденно все его выделения и пойду себе а его оставлю гадать куда же она отправилась это единственный способ его заставить чтобы хотел меня четверть пробило экое несусветное время сейчас наверно в Китае как раз встают заплетают на день свои косички скоро у монахинь утренний благовест к ним никто не является испортить им сон разве что один-два священника для ночного богослужения у соседей будильник с первыми петухами трезвонит так что того гляди надорвется посмотрим сумею ли я хоть задремать 1 2 3 4 5 что это за цветы они выдумали как будто звезды на Ломбард-стрит обои были гораздо красивее похожи на передник который он мне подарил а я надевала всего два раза лучше притушить лампу и опять попытаться так чтобы смогла встать пораньше пойду к Лэм что рядом с Финдлейтером скажу чтобы прислали цветов поставить в доме на случай если он опять его приведет завтра то есть сегодня нет нет пятница несчастливый день сначала надо хоть прибрать в доме можно подумать пыль так и скапливается пока ты спишь потом можно будет музицировать и курить я могу аккомпанировать ему только сначала надо протереть у пианино клавиши молоком а что мне надеть приколю ли я белую розу или эти изумительные пирожные от Липтона мне нравится как пахнет в богатом большом магазине по $7^1/_2$ пенсов за фунт или те другие с вишневой начинкой и розовой глазурью по 11 принести пару фунтов красивое растение в середину стола это можно взять подешевле у погоди где ж это я недавно их видела я так люблю цветы я бы хотела чтобы все здесь вокруг утопало в розах Всевышний Боже природа это самое прекрасное дикие горы и море и бурные волны и милые сельские места где поля овса и пшеницы и всего на свете и стада пасутся кругом сердце радуется смотреть на озера реки цветы всех вообразимых

форм запахов расцветок что так и тянутся отовсюду из всякой канавы фиалки примулы все это природа а эти что говорят будто бы Бога нет я ломаного гроша не дам за всю их ученость отчего они тогда сами не сотворят хоть бы что-нибудь я часто у него спрашивала эти атеисты или как там они себя называют пускай сначала отмоют с себя всю грязь потом перед смертью они воют в голос призывают священника а почему почему потому что совесть нечиста и боятся угодить в ад о да я их отлично знаю кто был первый человек во вселенной когда никого еще не было кто все сотворил кто ага они этого не знают точно так же как я так что вот вам с тем же успехом они могли бы попробовать запретить завтра восход солнца это для тебя светит солнце сказал он в тот день когда мы с ним лежали среди рододендронов на мысу Хоут он в сером твидовом костюме и в соломенной шляпе в тот день когда я добилась чтоб он сделал мне предложение да сперва я дала ему откусить кусочек печенья с тмином из моих губ это был високосный год как сейчас да 16 лет назад Боже мой после того долгого поцелуя я чуть не задохнулась да он сказал я горный цветок да это верно мы цветы все женское тело да это единственная истина что он сказал за всю жизнь и еще это для тебя светит солнце сегодня да этим он и нравился мне потому что я видела он понимает или же чувствует что такое женщина и я знала что я всегда смогу сделать с ним что хочу и я дала ему столько наслаждения сколько могла и все вела и вела его пока он не попросил меня сказать да а я не стала сначала отвечать только смотрела на море и небо и вспоминала обо всем чего он не знал Малви и мистера Стенхоупа и Эстер и отца и старого капитана Гроува и матросов на пирсе играющих в птички летят и в замри и в мытье посуды как они это называли и часового перед губернаторским домом в белом шлеме с околышем бедняга чуть не расплавился и смеющихся испанских девушек в шалях с высокими гребнями в волосах и утренний базар греков евреев арабов и сам дьявол не разберет кого еще со всех концов Европы и Дьюкстрит и кудахчущий птичий рынок неподалеку от Ларби Шэрона и бедных осликов плетущихся в полудреме и неведомых бродяг в плащах дремлющих на ступеньках в тени и большие колеса повозок запряженных волами и древний тысячелетний замок да и красавцев мавров в белых одеждах и тюрбанах как короли приглашающих тебя присесть в их крохотных лавчонках и Ронду где posadas[16] со старинными окнами где веер скрыл блеснувший взгляд и кавалер целует решетку окна и винные погребки наполовину открытые по ночам и кастаньеты и ту ночь когда мы пропустили пароход в Альхесирасе и ночной сторож спокойно прохаживался со своим фонарем и Ах тот ужасный поток кипящий внизу Ах и море море алое как огонь и роскошные закаты и фиговые деревья в садах Аламеды да и все причудливые улочки и розовые желтые голубые домики аллеи роз и жасмин герань кактусы и Гибралтар где я была девушкой и Горным цветком да когда я приколола в волосы розу как делают андалузские девушки или алую мне приколоть да и как он целовал меня под Мавританской стеной и я подумала не все ли равно он или другой и тогда я взглядом попросила его чтобы он спросил снова да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мои груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказала да я хочу Да.

Триест-Цюрих-Париж
1914-1921

[16] Постоялые дворы *(исп.)*.

XVIII. Пенелопа

В мае 1921 г. Джойс писал: «Кончаю работу над математическо-астрономической, физико-механической, геометрическо-химической сублимацией Блума и Стивена (черт бы их побрал) и вскоре приступлю к последнему амплитудно-криволинейному эпизоду „Пенелопа"».

Читателя, одолевшего семнадцать эпизодов «Улисса», удивить трудно. Но все же конец поражает — сорок с лишним страниц текста, рискованного даже с точки зрения ко всему привыкшего человека XX в., текста, на первый взгляд представляющего собой одно предложение, к тому же без единого знака препинания. На самом деле эпизод состоит из восьми гигантских, лавообразных предложений, в первом из которых — две с половиной тысячи слов.

Место действия — постель Молли Блум, точнее, сознание засыпающей героини, которая вспоминает не только прожитый день, но и всю свою женскую жизнь. Время действия неизвестно — может быть, два часа ночи, а может быть вечность. Орган, который символически представляет текст,— условно говоря плоть. Но этому тексту, по замыслу Джойса, «не нужно было символизировать какое-либо искусство». Символ всего эпизода — земля. Ведь только поначалу Молли — самая обычная тридцатилетняя женщина, буржуазка с Экклс-стрит, ирландская мадам Бовари. Постепенно она вырастает до гигантского символа Матери Земли Геи, она сама природа, начало начал. Как и в природе, в потоке сознания Молли натурализм нисколько не противоречит романтизму, который становится особенно заметным на последних страницах романа. Ритм монолога — ритм, передающий движение и вращение Земли. В тексте поэтому есть несколько опорных слов или, по Джойсу, слов-лейтмотивов: это не только «самое позитивное слово в английском языке — слово „да", которым все начинается и все кончается», как писал Джойс, но также слова «женщина», «мужчина», «он».

Сразу же после публикации «поток сознания» Молли Блум был объявлен непристойностью, причем обвинения исходили отнюдь не только от пуритански настроенных ревнителей морали. Протесты были столь громкими, что дело дошло до судебного разбирательства. Роман жгли в Англии, ввозили контрабандой в Америку. Процесс тянулся несколько десятилетий. И только в середине 60-х гг. судьи признали Джойса невиновным.

Один ирландский книготорговец, современник Джойса, которого спросили, нет ли у него «Улисса», разразился гневной тирадой: «Этот писатель опорочил Ирландию, оклеветал ирландскую женщину. Ему не место в нашей стране». Серьезнее, но не лицеприятнее было суждение Карла Юнга: «Эти сорок страниц — отличный материал для изучения неврозов и фобий самого автора».

Джойс с семьей (середина 1930-х гг.).

Но были и другие суждения. Арнольд Беннетт, отнюдь не поклонник эстетических, да и философских исканий Джойса, писал: «Эти сорок очень трудных страниц, где не встретишь ни одного знака препинания, поражают своим реализмом, правдой факта и точностью документа, это удивительное, завораживающее изображение сознания женщины, которого не знала литература. Кто после этого осмелится сказать, что он знает женскую психологию... Никогда не читал ничего подобного и едва ли когда-нибудь прочитаю что-нибудь, что может сравниться с этими страницами». Закончив чтение «Улисса», Шон О'Кейси в статье, специально написанной для журнала «Интернациональная литература», писал: «Джойс — гений... его книги — это Синай, откуда он источает в мир потоки гнева, в которых нет-нет да блеснет искра юмора».

«Он ровным счетом ничего не понимает в женской психологии»,— заявила Нора Барнакль, которая, конечно, послужила прототипом Молли Блум. Впрочем, сказать с уверенностью, что Нора прочитала или хотя бы открыла роман, нельзя. Когда Джойс церемонно преподнес Норе первый экземпляр «Улисса», она сразу же предложила продать его знакомому, оказавшемуся случайно в их доме. Однажды, когда чету Джойсов пригласили на балет по случаю 16 июня, Нора никак не могла вспомнить, а чем, собственно, знаменит этот день.

16 июня 1904 г. Джойс встретил хорошенькую девушку родом из провинциального Корка. Она была дочерью кондитера, служила в дублинской гостинице, не знала

Статуя Афродиты в Национальной библиотеке в Дублине.

ни одного языка, кроме английского. Но ей хватило мужества стать спутницей, подругой и женой человека, с которым она только что познакомилась. Одни влюбленные пишут симфонии, другие возводят храмы. Джойс написал «Улисса» и тем самым увековечил день своей любви.

Жизнь у Норы была нелегкой. Ей приходилось жить в странах, языка которых она не знала, и постоянно отбиваться от кредиторов; к тому же долгие годы она была «неофициальной» женой Джойса — их брак был зарегистрирован лишь в начале 30-х годов, когда дети уже выросли. Но эта женщина любила Джойса, хотя ревниво, даже когда ее муж стал мировой знаменитостью, оберегала свой собственный мир. Ей мало было дела до «его литературы»: она любила Джойса-человека. Следила за его здоровьем, ограждала от назойливых посетителей, ухаживала за ним после мучительных глазных операций. Она же похоронила его на Флунтернском кладбище в Цюрихе в январе 1941 г., перед этим выполнив его волю — не разрешив католическому священнику отслужить по мужу заупокойную мессу. Но порадовалась, что кладбище примыкает к зоопарку: «Он ведь очень любил львов. Ему будет приятно слышать их рычание». Нора Барнакль пережила мужа на десять лет. Она не покинула Цюрих. Жила уединенно, мало обращая внимания на то, что происходит в мире и тем более в литературе. «Когда ты замужем за самым крупным писателем мира, разве будешь обращать внимание на всякую мелочь?»

Ну, а каким человеком был этот «самый крупный писатель мира» — ведь нам, читателям, из номера в номер внимательно вглядывавшимся в меняющиеся черты его лица, хочется узнать обстоятельства и детали его человеческой «одиссеи». Был не слишком внимательным мужем и не очень заботливым отцом. Да и с детьми ему не больно повезло: Джорджо унаследовал замечательный голос отца и мечтал стать певцом, но ничего путного из этого не получилось. Душевная болезнь Лючии проявилась очень рано и лишь усилилась после ее неудачного романа с Сэмюэлом Беккетом, который был одно время секретарем Джойса. Джойс очень тяжело переживал недуг дочери, изъездил всю Европу, показывал Лючию даже «швейцарскому Шалтаю» и «австрийскому Болтаю», как он полушутя-полусерьезно называл Юнга и Фрейда, которых не слишком жаловал.

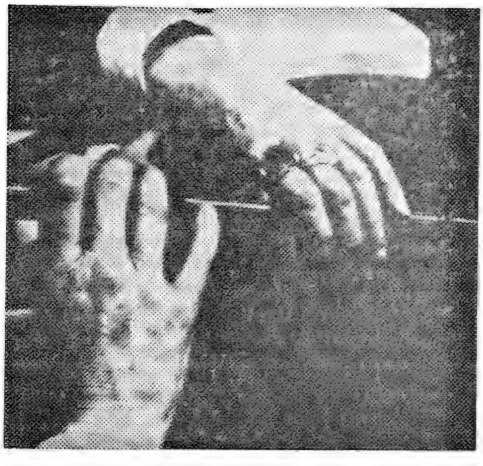
Лючия Джойс умерла в 1987 г. в психиатрической лечебнице на юге Ирландии, а на книгах ее отца до недавнего времени было обозначено «Авторские права Лючии Джойс». «Может быть, ее болезнь,— часто задавался вопросом Джойс,— это наказание за моего „Улисса"?»

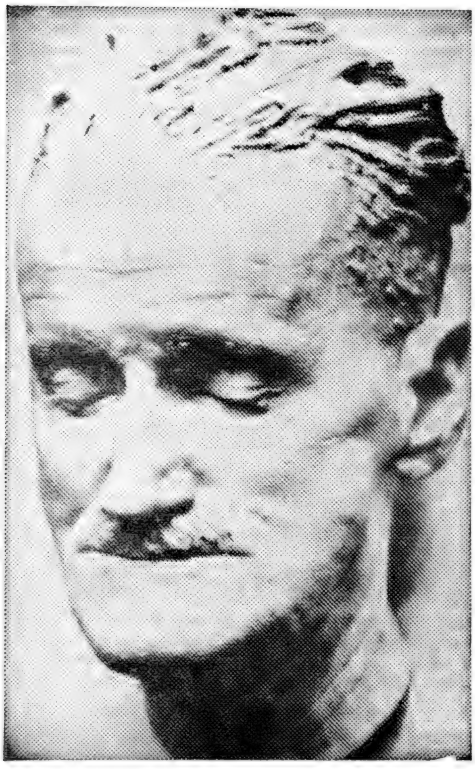
Джойс всегда работал в белой рубашке и белых брюках. «Мне так светлее»,— говорил он. У него был высокий лоб, голубые глаза, скрытые очками с толстыми стеклами. Он был очень одиноким, трудным в общении человеком. Плохо, тяжело сходился с людьми, не умел хранить дружбу, бывал оскорбительно заносчив. Он терпеть не мог «умников» от литературы. С юности твердо знал, что он — гений, и работал, неистово доказывая это себе и всему миру. С фанатичностью маньяка собирал факты; их было так много в записных книжках, в письмах, которые ему присылали близкие друзья, что казалось, они погребут его. Но он, добровольный изгнанник, строил из них свою Ирландию.

Этого великого писателя неудержимо влек бизнес, хотя понимал он в коммерции маловато. Может быть, он надеялся таким образом поправить финансовое положение семьи: денег всегда было мало, долгов много. Пытался открыть кинотеатр в Дублине, пытался ввозить ирландский твид в Триест. В редкие минуты откровенности он говорил о себе: «Я слабый человек, не слишком добродетельный, к тому же весьма склонный к алкоголизму». Алкоголизм и свел Джойса в могилу — он умер в одночасье от внутреннего кровотечения при прободении язвы.

Героев Джойса трудно полюбить: у Стивена отвратительный характер, Блум тоже

Руки Джойса.





Посмертная маска Джойса.

не ангел, ну, а Молли... Но наверное, этого и хотел Джойс. Безоговорочное приятие его персонажей было бы, с его точки зрения, «романтизмом», иными словами, «недолжной эмоцией, порожденной недолжным искусством». Он говорит нам о своих героях все, даже больше того, что можно, и уж конечно, больше того, что было принято в его время. Часто говорит такое, что заставляет нас не уважать их, испытывать к ним неприязнь. Но в том-то и парадокс, сила, магия его искусства, что мы вдруг начинаем чувствовать симпатию, сострадание к этим людям, слабым, как и мы, читатели Джойса.

Для Джойса понимание — это вечная борьба, движение, на этом пути есть падения, ошибки, но есть главное — преодоление. Конечно, этот чародей слова и стиля специально расставляет для нас ловушки. Он словно говорит: «Ну-ка попробуйте преодолеть еще и эту. Что, не выходит?» Он требует от нас отказа от привычных представлений. Джойс вовсе не хочет победить своих читателей, он хочет, чтобы читатель победил его.

Кончается «Одиссея» Гомера, подходит к концу «одиссея» джойсовского Улисса. А каковы в этом эпизоде аналогии с Гомером? Разве есть что-нибудь общее между Молли и Пенелопой, которая давно уже стала символом женской верности и терпения. Все считали Одиссея умершим, но его Пенелопа продолжала ждать мужа и — надеяться. Ей было непросто: дом заполнили женихи. Она обещала дать им ответ, когда закончит ткать покрывало с затейливым рисунком. А чтобы работа продолжалась бесконечно, ночью распускала сделанное за день. Покрывало с затейливым рисунком — «поток сознания» Молли Блум. Но и Молли — это Пенелопа. Давайте внимательно вчитаемся в текст: она ведь тоже ждет мужа, тоже надеется, что жизнь с ним еще наладится, что все будет хорошо, что ей не нужен будет Буян Бойлан.

Флоренс Элизабет Чэндлер Мэйбрик (1862 — 1941) была приговорена к смертной казни за отравление своего мужа, ливерпульского торговца Джеймса Мэйбрика (1839 — 1889). Однако выяснилось, что Мэйбрик в течение многих лет принимал лекарства, содержавшие стрихнин. Смертная казнь была отменена, а в январе 1904 г. Флоренс освободили.

...насчет моей матери... — мать Молли, Лунита Ларедо, испанская еврейка, умерла, когда Молли была еще ребенком. Блум не знал, что мать Молли была еврейкой.

Кэтлин Карни — персонаж рассказа Джойса «Мать» из сборника «Дублинцы». Музыкальной карьере девушки помогло ее «ирландское» имя, которое стало очень популярным в среде ирландских националистов после публикации пьесы Йейтса «Графиня Кэтлин», где Кэтлин становится символом Ирландии.

«Свет путеводный и благой» — гимн Джона Дайласа (1823 — 1876) на слова кардинала, поэта и философа Джона Генри Ньюмена (1801 — 1890).

...дядюшка Пауль со всякими остальными старыми Крюгерами... — Стефанус Йоханнес Крюгер (1825 — 1904) — государственный деятель бурской республики Трансвааль; в 1883—1900 гг.— президент Трансвааля.

15 акров — площадка в Феникс-парке в Дублине, обычное место различных военных маневров.

Черные Стражи — известные своей храбростью шотландские пехотные полки.

Лилли Эдвард Лэнтри (1852—1929) — актриса, которая получила известность благодаря своей красоте и связи с принцем Уэльским.

...скульптура рыбы... — Молли имеет в виду статую, стоявшую до 1884 г. в аламедских садах и изображавшую рыбака с гарпуном.

«Ист Линн, или Дочь графа» (1861) — сентиментальный и весьма мелодраматический роман Эллен Вуд (1814 — 1887, писала под псевдонимом Генри Вуд). Был очень популярен в конце XIX — начале XX вв.

«Генри Данбар» (1864) — роман Мэри Элизабет Брэддон (1837 — 1915, писала под псевдонимом Джон Максуэлл).

...лорда Литтона Юджин Эрам — речь идет об очень известном историческом романе английского романиста и общественного деятеля Эдварда Булвер-Литтона (1803—1873) «Испытания и жизнь Юджина Эрама» (1832).

Молли Хангерфорд — речь идет об ирландской романистке Маргарет Вулф Хангерфорд (1855 — 1897), писавшей под псев-

донимом «Графиня». «Молли Боун» (1878) — ее самый известный роман. Название романа, которое в переводе означает «Красотка Молли», восходит к известной ирландской балладе.

...не люблю книжек где есть Молли вроде той что он приносил про девку из Фландрии... — речь идет о романе Дэниэла Дефо «Молль Флендерс» (1722), героиня которого и в самом деле не отличалась особой добродетельностью.

Улисс Грант (1822 — 1885) — президент Соединенных Штатов Америки в 1869 — 1877 гг. В 1878 г. Грант совершил кругосветное путешествие, во время которого посетил Испанию. Благодаря военной выправке и хорошим манерам Грант пользовался популярностью в Европе и после того, как сложил с себя обязанности президента.

Гарнет Уолсли (1833 — 1913) — британский генерал, ирландец по происхождению. Принимал участие в операции в Хартуме по освобождению генерала Гордона.

«Единственный путь» (1899) — инсценировка романа Диккенса «Повесть о двух городах» (1859), авторы которой, ирландские священники и драматурги Фримен Уиллис Крофтс (1849? — 1913) и Фредерик Лэнгбридж, уделили не слишком много внимания исторической стороне романа, посвященного французской революции, и вывели на первый план мелодраматическую линию Сидни Картона (роль которого в спектакле исполнял Мартин Харви), принесшего себя в жертву ради любви к Люси Манетт.

Герберт Бирбом Три (1853 — 1917) — известный английский театральный деятель. Им была осуществлена постановка «Трильби» в театре «Гэйети», где он сам играл роль Свенгали.

...миссис Кендал с ее супругом... — речь идет об антрепренере Уильяме Хантере Гримстоне (1843 — 1917) и его жене, актрисе Маргарет Робертсон Гримстон (1849 — ?), которые были известны публике как супруги Кендал.

...эту жену Скарли... — «Жена Скарли» (1897) — английский вариант пьесы Джузеппе Джакозы «Горести любви».

О как изливаются воды в Лахоре — Молли неправильно цитирует начальные строки стихотворения Роберта Саути «Водопад в Лодоре» (1823).

Роберт Корнелис Напье (1810 — 1890) — фельдмаршал, генерал-губернатор Индии (1869 — 1875) и губернатор Гибралтара (1876 — 1883).

...в Шедевре Аристократа... — имеется в виду приписываемый Аристотелю «Шедевр», своего рода «грамматика любви».

...в костюмчике фасона лорд Фаунтлерой... — лорд Фаунтлерой — герой очень популярного на рубеже веков романа Фрэнсис Элизы Бернетт (1849 — 1924) «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886), наивной и сентиментальной истории американского мальчика, который становится наследником титула и огромного поместья в Англии.

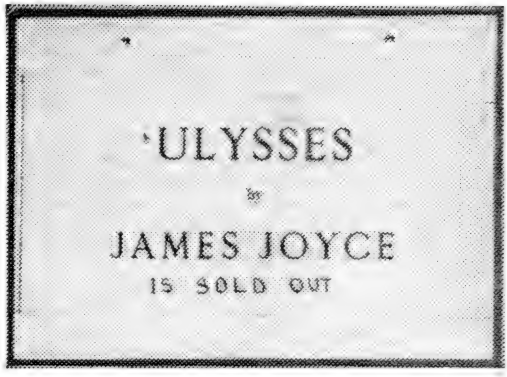
Хуан Валера-и-Алкала Гальяно (1824 — 1905) — испанский романист, поэт, ученый, политический деятель, дипломат. Оказал существенное влияние на развитие испанской словесности в XIX в.

Е. ГЕНИЕВА

Эта книга шла к нашему читателю шестьдесят семь лет. Долгая история. Но «русскому Джойсу» везло в одном — к его страницам всегда прикасались чуткие пальцы, над его текстом работали яркие, одаренные люди — В. Стенич, И. Романович, Е. Калашникова, Н. Волжина, В. Хинкис. По-разному складывались их судьбы: В. Стенич и И. Романович за свое «увлечение Западом», и в частности Джойсом, заплатили жизнью. Смерть, ранняя, нелепая, прервала работу над переводом романа и Виктора Александровича Хинкиса...

Наша джойсовская «одиссея» подходит к концу. Стало традицией в мировой джойсиане ставить на титульном листе имя редактора этого уникального текста. Мы, журнал, называем его в конце публикации — Виктор Абрамович Ашкенази. Джойс, как известно, мечтал об идеальном читателе, который, не отрываясь, не тратя времени на посторонние занятия, проживет вместе с ним жизнь, воссозданную в «Улиссе». Таким читателем стал В. А. Ашкенази. Впрочем, конечно, он не только джойсовский идеальный читатель, он вместе с переводчиками — благодарный спутник Мастера на путях его русской «одиссеи».

Объявление на дверях магазина «Шекспир и компания»: «„Улисс" Джеймса Джойса распродан».



РЭЙ КОННОЛЛИ

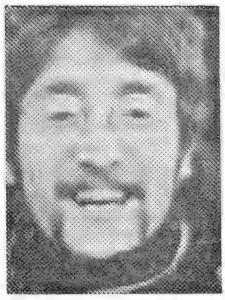
ДЖОН ЛЕННОН

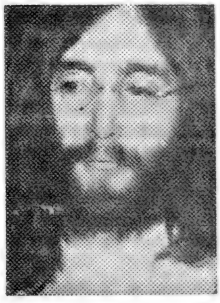
1940—1980

Биография

■

Перевод с английского
С. ЛИТВИНОВОЙ





Ты еще не написал мой некролог?
Хотелось бы почитать, когда
напишешь.

Джон Леннон — Рэю Коннолли
Декабрь, 1970

Предисловие

Ровно в половине четвертого в понедельник 8 декабря 1980 года в моем рабочем кабинете на улице Холланд-парк в Лондоне раздался телефонный звонок. Звонила Йоко Оно из Нью-Йорка.

— Привет, Рэй. Так ты когда хотел бы приехать брать у нас интервью? — спросила она.

— Как насчет завтра? — предложил я.

— Великолепно. Чем раньше, тем лучше,— ответила она, и после короткого обмена светскими любезностями и обычными в таких случаях «до завтра» мы попрощались. Переговоры об этом интервью велись уже полтора месяца.

На следующее утро в полшестого телефон зазвонил уже в спальне. Я сразу же подумал, что это опять Йоко, что у них снова какие-то неувязки и мне надо отменять поездку в Штаты. Но оказалось, разбудил меня приятель из «Дейли мейл» на Флит-стрит [1].

— Рэй... мы только что получили сообщение... Джона Леннона убили. Я решил позвонить тебе.

Сбежав вниз, я включил радио и стал ждать подтверждения. В шесть тридцать я начал писать некролог, который обещал показать Джону десять лет тому назад.

Джон Леннон был хамелеоном рок-музыки. Каждому он представлялся таким, каким хотелось его видеть. Это был и бунтарь, и рок-звезда, и герой рабочего класса; это был мальчик из обычной средней школы, который считал себя гением, но не сдал ни одного выпускного экзамена. Это был и психоделический Морж [2] из знаменитой легенды, признавшийся однажды, что совершил в буквальном смысле «не одну тысячу» наркотических «путешествий», и изощренный острый ум, который мог ранить словом; неизменно щедрый жертвователь в поддержку любого дела — гиблого, стоящего, сомнительного, какого угодно — и не менее щедрый даритель чаевых; капризный кумир «масс-медиа», одержимый фанатик саморекламы и спрятавшийся от мира отшельник; гамбургский хулиган и «постельный» борец за мир [3]; «яйцечеловек» [4] из «Волшебно-таинственного путешествия» («Magical Mystery Tour») и «Нигдешний человек» («Nowhere Man») из особняка в зоне обитания биржевых маклеров.

© Ray Connolly, 1981. Книга печатается с сокращениями. Полный текст будет опубликован в издательстве «Искусство».

[1] На этой улице находятся редакции большинства крупнейших английских газет, поэтому ее название стало употребляться в переносном смысле для обозначения английской прессы вообще. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Морж — персонаж «Легенды о Плотнике и Морже» из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». (В некоторых переводах не Морж, а Тюлень). Психоделия — галлюцинаторное мироощущение.

[3] В конце 60-х годов Джон Леннон и Йоко Оно устраивали своеобразные демонстрации протеста: целую неделю, например, не вставали с постели, принимая журналистов и давая интервью.

[4] Egg Man — словосочетание из песни «I Am the Walrus», придуманное Ленноном. Смысл не ясен (может быть, «человеческий зародыш»).

Джон Леннон почти половину своей жизни прожил под постоянным, часто восхищенным, иногда презрительным взглядом «масс-медиа». И такую жизнь выбрал сам. В детстве он прикидывал, не пойти ли ему в журналисты, потому что «хотел стать писателем, а журналистика была единственным видом писательской деятельности, к которому мог... — ну хотя бы стремиться — человек моего социального происхождения». В зрелом возрасте интерес к журналистике, к возможности манипулировать ею в собственных целях превратился у него в одержимость.

Уже в самом начале своей битловской карьеры он понял, как надо обращаться с прессой, чтобы получить широкую, к тому же бесплатную рекламу, и редко упускал возможность в очередной раз привлечь к себе внимание. С журналистами он держался дружелюбно, прекрасно понимая их роль и трудности избранной ими профессии. Почти всегда его ответы были насыщены самыми «цитатными» высказываниями и шокирующими комментариями: он бросал их как куски мяса, инстинктом чувствуя, из чего делаются газетные заголовки. Возможно, он это еще не совсем сознавал в 1966 году, когда в беседе с Морин Клив заявил, что «Битлз» «популярнее Иисуса» (пожалуй, это был один из самых очевидных трюизмов того десятилетия), но к 1969 году, когда на одной из пресс-конференций пошутил, что остался при последних 50 000 фунтах, он уже ясно видел заголовки в завтрашних газетах.

Между 1967 и 1972 годами я освещал деятельность «Битлз» и все с ними связанное для лондонской «Ивнинг стэндард», поэтому ко мне поступали самые разные материалы о Ленноне, но все — с сенсационными заголовками. И хотя в течение нескольких лет Джон и Йоко высказывали мне свои дружеские чувства и симпатию, я понимал, что в значительной степени я был ценен для них как сочувственно внимающее ухо с Флит-стрит. Когда Джон тайно обвенчался с Йоко в Гибралтаре, «Ивнинг стэндард» получила исключительное право на публикацию этой новости; когда Джон вернул обратно медаль Члена ордена Британской империи, он позвонил мне и сказал об этом задолго до того, как пришло сообщение от «Эпл» [5] и из Букингемского дворца; зато, когда он решил уйти из ансамбля, я сделал то, что он просил, то есть сидел на этой новости и молчал четыре месяца, а это был несомненно самый сенсационный материал, какой мне когда-либо доводилось получать за все годы моей репортерской работы. (Как, впрочем, оказалось, мы оба просчитались. Я упустил исключительный, раз в жизни выпадающий случай, а Джон проклинал себя за то, что уступил Полу сомнительную честь первым оповестить мир о конце «Битлз»,— такая вот насмешка судьбы: ведь именно Пол больше всех и дольше всех старался сохранить их поющее товарищество.)

Эта книга не претендует на рассказ о жизни Джона Леннона с позиции «я при этом присутствовал» — главным образом потому, что по большей части я «при этом» не присутствовал. Когда в 1971 г. Джон и Йоко переехали в Америку, мы продолжали поддерживать чисто символическую связь, время от времени обмениваясь шутливыми письмами, а с 1976 года я, как и большинство журналистов, полностью потерял все контакты с ними. Поэтому мне пришлось в чем-то положиться на работы других журналистов, на память главных действующих лиц, которые рассказывали мне о своей жизни, ну и на некоторые книжные тексты. И все-таки везде, где это было возможно, я использовал свое знание из первых рук и рассказы очевидцев. Всякий раз, когда я брал высказывания Леннона, приведенные другими авторами, я старался их перепроверить, чтобы быть абсолютно уверенным в их точности, и где мог ссылался на первоисточник. Это оказалось не таким простым делом. Джон Леннон, как и всякий человек, говорил одни и те же вещи по-разному многим и совершенно разным людям. Так, например, когда впервые были опубликованы знаменитые интервью Леннона журналу «Роллинг стоун» (в Великобритании они вышли отдельной книгой в издательстве «Пенгвин букс» под названием «Вспоминает Леннон»), многие из нас, кто был рядом с ним в то время, ничего особо нового в этой книге не нашли.

Кроме того, надо учитывать свойство человеческой памяти окрашивать прошлое в более яркие краски, учитывать и то, что Джон Леннон, как и любой из нас, был склонен видеть вещи сквозь призму своего личного восприятия. Поэтому, рассказывая о сложном и горьком периоде распада группы «Битлз», я старался с одинаковым доверием относиться и к версии Джона Леннона, и к версии Пола Маккартни, так как убежден: обе версии в равной степени обоснованны.

Книга эта не дань памяти, это — биография: история жизни человека, которого я хорошо знал на протяжении ряда лет и за чьей карьерой следил почти два десятилетия. Это рассказ о личности, которая отразила переломное время и, может быть, даже чем-то помогла формированию нового. Это — не житие святого, а просто повесть о человеке, который лучше, чем кто бы то ни было, сочинял и исполнял рок-н-ролл. Норман Мейлер сказал как-то, что Джон Леннон обладал гением духа. Я согласен с этим, но это еще не все. Когда он умер, миллионы людей оплакивали смерть друга. Подлинный его гений был в способности к общению. Как дитя своего времени он был совершенен.

Джон Леннон — не просто одна из звезд рок-н-ролла, для которого его трагическая ошибка — сделать целью жизни богатство и славу — обернулась насильственной смертью на пороге собственного дома-крепости. Он не был еще одним Элвисом Пресли, «убитым своими придворными»: для Пресли окружающий мир просто не существовал. Джон Леннон всегда был частью окружающего мира; этот мир питал его творчество, и он изображал его в дерзких об-

[5] «Apple» — корпорация, созданная группой «Битлз» в 1968 г.

разах и мелодиях, которые становились гимнами и колыбельными песнями; он ткал ковры из слов и музыки, и эти ковры, как бы ни был причудлив их орнамент, отмечали ступени не только его жизненного пути, но и нашей жизни тоже.

Когда я впервые начал думать об этой книге, у меня поначалу возникла идея сделать ее наподобие детских раскладных книжек: когда открываешь их богато иллюстрированные страницы, исторические персонажи встают вертикально, располагаясь в трех измерениях. Так я видел жизнь Джона Леннона. Все ступени этой жизни были театральными подмостками или, если хотите, серией живых картин, изображающих героев «масс-медиа» последних четырех десятилетий. Аарон Копленд [6] однажды сказал, что, когда будущие поколения захотят уловить дух шестидесятых, все, что им понадобится сделать, это послушать пластинки «Битлз». Думаю, он прав, но я бы к этому добавил: будущие историки обнаружат, что, сосредоточив свое внимание на изучении жизни Джона Леннона, они будут вознаграждены гораздо более высоким пониманием шестидесятых и семидесятых годов. Все в жизни Леннона, начиная с рождения под бомбами в Ливерпуле и кончая гибелью от пули убийцы прямо напротив Центрального парка,— все служит свидетельством времени.

Охватившую такое множество людей скорбь по поводу его смерти сравнивали по масштабу с трауром по убитому Джону Кеннеди. Многих это удивило, а удивляться, собственно говоря, было нечему. Можно провести некоторые параллели: оба были сравнительно молоды, и оба убиты, судя по всему, полусумасшедшими фанатиками. Оба постоянно находились под беспощадными лучами прожекторов всех средств массовой информации, и оба, казалось, сами несли свет каких-то идеалов. Но если Кеннеди как тонкий политик использовал «масс-медиа», чтобы создавать лестный для себя образ своей личности, то Джон Леннон большую часть жизни предпочитал роль антигероя, выскальзывая из ловушек дешевой популярности и отбрасывая соблазны заманчивого бессмертия. Из Джона Леннона никогда не вышел бы политик. Все политические герои — прагматики. Это их работа. У Джона Леннона не было времени на прагматизм. Он высказывался обо всем и обо всех, не стесняясь в выборе слов, и отвечал за последствия своей вызывающей откровенности. Он был по-настоящему оригинален. Говорил то, что думал, хотя не всегда можно было с уверенностью сказать, что он достаточно думал над тем, что говорил. Но в этом тоже была частица его обаяния. Он ошибался в открытую, вопиюще. А потом ему приходилось с этим жить. И свою жизнь он «делал» сам. Был непредсказуем. Устав от одного образа жизни, он без оглядки и без сожаления круто менял его, оставляя позади все эфемерные подробности прошлого существования.

Когда корреспонденты «Роллинг стоун» спросили его, как он (и Йоко) представляет свою жизнь в шестьдесят четыре года [7] (кстати, и текст и музыку этой песни написал Пол Маккартни), Джон ответил: «Я надеюсь, мы будем приятной парой старичков, будем жить на берегу моря в Ирландии, или что-нибудь в этом роде, и перелистывать альбомы с газетными вырезками о наших безумствах».

Иногда мне казалось, что он похож на актера, который прикидывает, каков он будет в разных ролях: время от времени эти характеры завладевают им и бросают в бурное море бешеной деятельности, пока их не вытеснит его природная склонность к мечтательности. Он даже давал себе новые имена, подходящие тем образам, которые уживались внутри его многогранной личности. То он был гуру рок-н-ролла, Доктором Уинстоном О'Бути, иногда — Джонандором Йоко. Он был Битлом, но в «Оркестре Гибкой Оно» [8] создал для себя другой образ. При крещении он получил второе имя — Уинстон, а стал одним из Оно.

Он был соткан из явных противоречий. Англичанин до мозга костей, он предпочел последнюю четверть жизни прожить в Америке. «Англичанин имеет неотъемлемое право жить, где он хочет»,— любил говорить он, перефразируя Сомерсета Моэма. Но куда бы он ни ехал, он вез с собой свое «англичанство».

И все-таки самую большую любовь и свободу он нашел среди американцев. Он считал, что из-за его нежелания «соответствовать» английская пресса изображает его этаким придурковатым чудаком. Конечно, он всегда обеспечивал ей хорошие заголовки, но его просто тошнило от условностей, предписывавших придерживаться того образа жизни, который давно уже ничего для него не значил. У него был необыкновенный дар как бы предвидеть перемены в общественных настроениях и выражать их в простых восьмитактных мелодиях. Он справедливо гордился тем, что, когда на Мемориальном кладбище в Вашингтоне проводились демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, сотни тысяч людей пели его песню «Дайте миру шанс» («Give Peace a Chance»).

Разумеется, еще слишком рано оценивать вклад Джона Леннона в нашу культуру. Его кампания в защиту мира не имела ощутимых результатов, но через него миллионы людей смогли выразить свои чувства и тревоги. Он был «средством сообщения», с помощью которого многие послания доходили до адресатов. Порой казалось, что это был своего рода пылесос, всасывающий в себя все эмоции общественных движений тех лет и превращающий их в песни.

Иногда он вел себя очень глупо, но никогда не был трусом, никогда не уклонялся от прямой конфронтации с узколобыми. Комик по натуре, он нуждался в зрителях и не мог противиться соблазну показать язык добропорядочным обывателям.

---

[6] Аарон Копленд (р. 1900) — американский композитор, пианист, пропагандист современной музыки и ее сочетания с поп-музыкой.

[7] Намек на песню «Когда мне будет шестьдесят четыре» («When I'm Sixty-Four»).

[8] «Plastic Ono Band» — слово «plastic» можно также перевести и как «пластичная», и даже как «пластмассовая».

Но этого насмешника легко было ранить хамским заголовком или безжалостным комментарием. Он и сам был часто безжалостен, но компенсировал это огромной щедростью. Всегда считая себя сыном рабочего класса, социалистом, он говорил, что стыдится своего богатства, и, наверное ради искупления «вины», жертвовал большие суммы денег на самые разные благотворительные цели: по некоторым данным, в последние годы на это уходило десять процентов всех его доходов.

Какая горькая ирония судьбы: он погиб именно в тот момент, когда собирался возобновить свою творческую карьеру. Впрочем, вся его жизнь состояла из иронических противоречий. Он называл «интеллектуальным дерьмом» то, что писали о его пластинках серьезные критики, но именно эта интеллектуальная критика подняла его статус выше статуса обычной рок-звезды. Он настаивал на том, что является прежде всего рок-музыкантом, а потом писал тонкие лирические стихи и обволакивал их нежными, оригинальными мелодиями. Одна из его лучших песен была создана после того, как Йоко сыграла ему «Лунную сонату». «Если бы ты смогла проиграть ее в обратную сторону,— сказал он Йоко,— я бы сделал из этого песню» [9]. Он был против любой навязываемой религии и относился с подозрением к культу «Битлз», раздуваемому поклонниками, а после своей смерти стал самой обожествляемой звездой.

Доктору Уинстону О'Буги так и не удалось перелистать альбом с газетными вырезками о своих безумствах. А это было бы захватывающее чтение.

I

Ливерпуль

Дитя войны на Земляничных полях [10]

Сорок лет тому назад Ливерпуль был беспокойным и опасным местом дневных горестей и ночных страхов, затемнения, бомбежек и слез, гедонизма предпоследнего часа и тоски долгих месяцев одиночества. Слова одной из самых популярных песен военного времени, «Не отнимай у меня весь солнечный свет», очень точно передают эту тоску людей, жмущихся друг к другу в ожидании очередного налета, обливающихся слезами прощания перед темными закопченными вагонами солдатских эшелонов на Лайм-стрит и на огромной, продуваемой всеми ветрами портовой площади, известной под названием «Пайерхед». «Не отнимай у меня весь солнечный свет»,— молились матери и жены, а малыши прятались в свои вязаные башлыки от завтрашнего дня, от пугающей неизвестностью эвакуации, от страха остаться одним или потеряться в толпе. Вот в этот мир постоянно куда-то передвигающихся, несчастных, неприкаянных людей и пришел Джон Леннон. Он родился в шесть тридцать вечера 9 октября 1940 г. в родильном доме на Оксфорд-стрит в Ливерпуле. А город в это время сотрясался от сильной бомбежки. В порыве патриотического энтузиазма его мать Джулия Леннон дала ему второе имя — Уинстон [11]. Никто не знал о местопребывании его отца. Несколько месяцев тому назад он уплыл куда-то на военном корабле. Ребенок появился на свет в уже распавшейся семье.

Брак Джулии Стэнли и Фредди Леннона с самого начала был обречен на неудачу. Сам Фредди вырос без родителей и поэтому, когда встретил мать Джона и стал

[9] Речь идет о песне «Because» («Потому») из альбома «Abbey Road».

[10] В названиях глав автор часто обыгрывает отдельные слова и строчки из песен «Битлз». Здесь использовано название песни «Земляничные поля навсегда» («Strawberry Fields Forever»).

[11] В честь Уинстона Черчилля — премьер-министра Англии в годы войны (1940—1945) и с 1951 г. до ухода в отставку в 1955 г.

за ней ухаживать, семья Джулии и особенно три ее старших сестры всеми силами сопротивлялись этому браку. Джулия была ветреной, легкомысленной девушкой, работала билетершей в кинотеатре. А Фредди оказался совершенно безответственным парнем. Они были женаты почти два года, но так как Фредди служил официантом на корабле и большую часть времени находился в море, Джулия продолжала жить с родителями, к ним и принесла из роддома своего первенца. Поначалу Фредди присылал хотя бы деньги на содержание жены и сына, а через полтора года и это прекратилось. Брак сохранялся чисто формально. Уже будучи взрослым человеком, Джон характеризовал своего отца как «пьяницу и неисправимого лодыря».

Что же касается личности Джулии, то здесь всегда существовал налет некоторой тайны. Безусловно, в семье Стэнли ее считали паршивой овцой: во-первых, вышла замуж за Фредди, а во-вторых, родила ребенка, не имея ни средств, ни возможностей его растить. Однако ни Джон, ни кто-либо из его теток никогда публично не осуждали Джулию. В конце концов Джулия развелась с Фредди, встретила другого человека и ушла к нему, оставив трехлетнего Джона на попечении его любимой тетки Мэри Смит — «тети Мими».

Потом Джон писал песни о любви к своей матери, но никогда не упоминал двух своих единоутробных сестер, родившихся в середине сороковых годов, и, как это ни странно, они тоже никогда не афишировали своего родства с ним, хотя в период битломании они были как раз в том же возрасте, что и поклонники «Битлз». Позже «тетя Мими» говорила писателю Хантеру Дэвису, собиравшему материал для своей книги «Битлз»: «Я никогда не рассказывала Джону о его отце и матери. Я оберегала его от всего этого. Наверно, я перестаралась. Не знаю. Я просто хотела, чтобы он был счастлив».

Фредди Леннон объявился только в конце войны, решив к тому времени вообще переехать в Новую Зеландию. Он забрал Джона, и тот несколько недель прожил с ним в Блэкпуле, но вскоре туда примчалась Джулия, и Джон вернулся с ней в Ливерпуль. Следующий раз Джон увидел Фредди, когда однажды, уже на вершине славы «Битлз», открыл «Дейли экспресс» и наткнулся на фотографию отца, моющего посуду в ресторане.

В Ливерпуле Джон возвратился к тете Мими и ее мужу, дяде Джорджу. По ливерпульским стандартам это была довольно состоятельная семья: они жили в Вултоне на Менлав-авеню в собственном полуотдельном доме, построенном с претензией на стиль поздней английской готики. В те времена Вултон был пригородом и выглядел более приятно, чем остальной, в общем-то некрасивый город. Знаменитые «Земляничные поля», детский дом Армии спасения, находился рядом, за углом. Дядя Джордж торговал молочными продуктами. Но сказать, что Джон Леннон имел буржуазное воспитание, было бы значительным расширением понятия «буржуазный». Когда Джона об этом спрашивали, он отвечал: «У нашего дома имелся палисадник и задний дворик — это было ступенькой выше, чем муниципальные дома, в которых жили Пол и Джордж». В общем, что бы там ни рассказывалось в легендах, он никогда не был уличным мальчишкой, во всяком случае до тех пор, пока оставался под материнским присмотром тети Мими, то есть до восемнадцати лет. Тетя Мими воспитывала его как собственного ребенка. И не случайно так часто потом Джон своими изысканными манерами бросал вызов тому представлению, которое сложилось о нем у публики. Когда это ему было нужно, он мог проявить благовоспитанность и даже светскую учтивость, чего нельзя сказать об остальных трех Битлах, которые порой бывали просто неотесанными грубиянами. Джон, возможно, не всегда вел себя прилично (во всяком случае в юности он не очень-то соблюдал приличия), но он точно знал, как надо себя вести, когда того требовали обстоятельства.

Первой школой Джона была местная начальная школа в Доувдейле, где заметили его незаурядные способности к слову и независимость духа. В семь лет он начал создавать собственные иллюстрированные книжки, куда записывал разные истории, шутки, вклеивал фотографии кинозвезд и знаменитых футболистов. С полным сознанием своей значительности он писал на этих книжках: «Редактор и художник Дж. У. Леннон». Позже, вспоминая детство, он говорил: «Я думал тогда, что я или гений, или сумасшедший, а так как сумасшедшим себя не считал, то решил, что я, должно быть, гений». Он очень рано начал читать и читал запоем. Любимыми книгами были «Алиса в стране чудес», «Ветер в ивовых ветвях» и цикл рассказов Ричмела Кромптона «Просто Уильям» о непослушном, но очень смешном мальчике. Как и многие его сверстники, Джон, конечно, отождествлял себя с Уильямом.

Отдав своего сына Мими, Джулия время от времени навещала его, пела ему песни, играла с ним. Ему очень понравилась песенка из мультфильма Уолта Диснея, и он переделал ее потом в одну из своих первых песен — «Хочешь ли секрет узнать, обещай не выдавать» («Listen, Do You Want to Know a Secret»).

Если Джон не читал и не рисовал, он слушал радио. Мими была равнодушна к легкой музыке, поэтому радио в доме всегда было настроено на внутреннюю программу Би-би-си, которая давала великолепный «Детский час», новости и многосерийные радиоспектакли самых лучших комиков. Вообще это были годы расцвета радио в Великобритании, и ребенок мог получить вполне приличное образование, выбирая нужные передачи. Что Джон и делал. Много лет спустя он со смехом вспоминал и те комедийные радиопередачи, с которыми вырос, и любимых комиков — Ната Джэкли, дуэт Джимми Джуэла и Бена Уорриса из цикла «Не в своем уме».

Во многих отношениях Джон был не по годам развитым ребенком, но трудным и довольно агрессивным — некоторые родители даже не позволяли своим детям

водиться с ним. Он был прирожденным лидером, всегда хотел, чтобы играли в его игры, а он бы был главным. В спорах все аргументы он обычно побивал угрозой поколотить противника. Дома это был спокойный, послушный ребенок, любящий петь и подкладывать дяде Джорджу ласковые записочки (привычку подкладывать людям записки Джон сохранил до конца жизни), а на улице он слыл грозой округи, задирал юбки девчонкам, воровал с прилавков, прогуливал уроки и пытался даже, правда безуспешно, спустить с рельсов трамвай на соседней Пенни-лейн.

Но все это было скорее детским озорством, чем злостным хулиганством. Ему зачем-то нужно было так себя вести. Потом он говорил, что в душе был деликатным и чувствительным ребенком, только его первым учителям редко доводилось видеть эту сторону его натуры. Лучшие друзья по начальной школе — Пит Шоттон и Айвен Воган — оставались его друзьями почти всю жизнь. Ему было одиннадцать лет, когда по прихотливой игре случая произошло событие, которому через несколько лет суждено было изменить ход развития популярной музыки. Все три школьных друга, сдав экзамены для одиннадцатилетних [12], получили право поступить в общеобразовательную среднюю школу. Джона и Пита отдали в местную школу в Куорри-Бэнк. А родители Айвена поместили его в более престижную школу в центре города, которая называлась Ливерпульский институт. Именно в этой школе Айвен познакомился с Полом Маккартни, и именно Айвен привел потом Пола познакомиться с Джоном.

Изменения в системе английского образования в пятидесятые годы открыли новые возможности для одаренных детей. В 1944 году был издан закон, согласно которому способным ученикам, достигшим к одиннадцати годам определенного уровня знаний, предоставлялось бесплатное среднее образование до шестнадцатилетнего возраста и оказывалась финансовая помощь для занятий в университете, если у них были способности, трудолюбие и успехи в учебе. Худо-бедно, но эта система работала — она действовала как сепаратор, отбирая лучших, поощряя стремление к высшему образованию. Многие видели в этом некую привилегию для детей из рабочего класса, которые тем самым получали возможность коренным образом изменить судьбу, причем полностью за счет налогоплательщиков. В пятидесятые годы дети из общеобразовательных школ понимали, что им предоставляется единственный шанс в жизни и что надо не упустить его, постараться использовать наилучшим образом.

Но если Джон Леннон что-нибудь и понимал, по его школьным успехам этого никак нельзя было заподозрить. Учился он из рук вон плохо. Единственный экзамен, который он сдал, позволил ему поступить в старую консервативную общеобразовательную школу Куорри-Бэнк, где учителя, копируя обычаи привилегированных закрытых школ, носили длинные накидки. Он был несомненно одаренным ребенком, но также несомненно было и полное отсутствие у него интереса к учебе. Больше всего ему нравилось паясничать. Но наверное, особое и все возрастающее раздражение учителей вызывала его заносчивость и готовность возглавить любые проделки. Раньше он обижался на тетю Мими, не принимавшую всерьез его стихи, теперь он обижался на школу, не признавшую в нем гения, каковым он себя считал. В те дни единственное, чем ребенок мог доказать свои способности, было — прилежно учиться и суметь сдать экзамены. А у Джона ни хорошо развитая речь, ни остроумие, ни явный талант в искусстве и в литературе никак не отразились на школьных оценках. Учителя жаловались, что он впустую тратит не только свое время, но и время всего остального класса. Он был лидером детской анархии.

Надо, правда, сказать, что его остроумие не всегда оставалось незамеченным и неоцененным. Конечно, учителя кривились от отвращения, когда конфисковали его непристойные рисунки и стишки, но юмор рукописного журнала, который он сделал из школьной тетрадки и назвал «Ежедневный вой», был воспринят в учительской комнате более благожелательно, в частности, пародийный прогноз погоды на завтра: «Ожидается теплота и духота с последующей мокротой и скукой» — и сатира на Дейви Крокетта «История Дейви — Протезной Головы».

Когда Джону было около тринадцати лет, умер муж Мими дядя Джордж, самый близкий в его жизни родственник-мужчина. Удар был очень сильным, и смягчил его скорее всего возросший интерес Джулии к сыну. Джон теперь часто приходил к ней в дом, общался с ее мужем и со своими сестрами. Джулия тоже любила подурачиться — она искренне смеялась над его выходками, вместо того чтобы отчитывать, как это делала тетя Мими.

И вот в 1956 году, когда Джон был в четвертом классе (в 4-м «С», если быть точным, то есть в классе для отстающих), произошло событие, которое дало наконец определенное направление всей его бунтарской энергии. Один из учеников того же 4-го «С» может поставить себе это в заслугу. «Его звали Дон Битти,— рассказывал Джон,— мать ему всегда покупала пластинки и все такое. Однажды он показал мне номер «Нью мьюзикл экспресс», нашел там список новых пластинок, ткнул пальцем в какое-то название и сказал, что потрясающая вещь, а я тогда подумал: чудное название — «Отель, где разбиваются сердца» («Heartbreak Hotel»). Никогда не слыхал. У нас в доме легкую музыку не включали. А потом я как-то раз поймал «Радио Люксембурга». И это была та самая песня. Ничто до этого меня по-настоящему не захватывало, пока я не услышал Элвиса».

Сейчас, когда прошло уже двадцать пять лет, с трудом вспоминается, какое возбуждение повсюду среди молодежи вызвал весной и летом 1956 года Элвис Пресли и какое ошеломляющее впечатление

[12] Тестирование детей для определения интеллектуальных способностей.

производила Америка на подростков того времени. И то, что Джон Леннон последнюю четверть своей жизни прожил в Америке, совсем неудивительно. Англия, особенно рабочая Англия, была в конце сороковых и в пятидесятые годы во многих отношениях культурной колонией Соединенных Штатов. В ходе второй мировой войны на территории Англии скопилось полтора миллиона американских военнослужащих. Одна из многочисленных баз ВВС США находилась в Бертонвуде, неподалеку от Ливерпуля. Когда длинные колонны грузовиков с солдатами проезжали по улицам английских городов, мальчишки кричали: «Эй, на тачке, киньте жвачки». Америка представлялась страной изобилия, красивой жизни и больших денег. В портовых городах, таких как Ливерпуль, куда постоянно приходили корабли из Нью-Йорка и новые партии солдат несли с собой семена американской культуры, подобные представления были особенно распространены. Даже после окончания войны связь с Америкой сохранилась. Оставалась база в Бертонвуде, и никто не удивлялся, встречая на улицах города американских летчиков и авиамехаников. В гавани Пайерхед, куда дядя Джордж брал с собой Джона, дети, глядя с причала вдаль, знали: следующая остановка — Америка.

В начале пятидесятых годов было очень мало популярной музыки высокого класса и большая часть того хорошего, что существовало в этом жанре, принадлежала американцам (Джонни Рэй, Фрэнки Лейн и Гай Митчелл); да и в кино — самыми популярными у молодежи были опять-таки американские фильмы: ковбойские, детективные, приключенческие. Дети, выраставшие в сороковых — пятидесятых годах в рабочих районах Англии, жили во многих смыслах как бы американской жизнью, полученной из вторых рук. Все новое было американским. А тут еще появился Элвис.

До конца своих дней Джон Леннон будет настаивать, что его основа — рок. Он страстно любил рок-н-ролл. Это была его музыка. Его ритм, ритм его времени. По мнению Джона, лучшей вещью в этом стиле останется никем не превзойденная пластинка «Лотта, танцующая шейк всем телом» («Whole Lotta Shakin'») Джерри Ли Льюиса.

В более поздние годы Джон Леннон, можно сказать, не только представлял, но и в чем-то формировал культуру своего времени. То, что ему было именно пятнадцать лет, когда его потряс Элвис, в какой-то мере — счастливая игра случая. Будь ему десять или двадцать, он, я уверен, стал бы кем-то другим: может быть, чудаковатым учителем рисования, может быть, одним из местных комиков, а может, просто официантом на пароходе, остроумным, обаятельным, воспаряющим мыслями в сферы более высокие, чем его общественное положение. Но в пятнадцать лет его жизнь определилась. «Рок-н-ролл был для меня дудочкой первого моего Крысолова,— любил говорить он,— услышав ее, я бросил все».

Однако тетя Мими относилась к этому более сдержанно. В раннем детстве Джон не проявлял особого интереса к музыке. Она пробовала учить его игре на пианино, но ему было скучно упражняться в технике, и единственным музыкальным инструментом, который он освоил, была губная гармошка, подаренная дядей Джорджем. А теперь он захотел гитару. Благодаря Лонни Донегану и Элвису Пресли популярная музыка стала демократичной. В начале года Лонни Донеган произвел сенсацию своей «Рок Айлэнд-лайн», сделанной в стиле «скиффл», деревенской музыки Аппалачей, исполняемой самодеятельными оркестрами, и вот по всей Англии мальчишки-подростки начали сколачивать группы, используя в качестве инструментов гитары, стиральные доски и контрабасы домашнего изготовления. Каждый, конечно же, хотел быть Элвисом, но первые же пластинки Элвиса, выпущенные в Англии, разрушили эти надежды: он пел в сопровождении электрогитар и в специальном помещении с реверберацией. Когда вам пятнадцать лет и ваш оркестр играет в чьей-то квартире, совершенно очевидно, что такого звучания вам никогда не добиться. Но зато любой желающий мог играть в самодеятельном оркестре... так во всяком случае казалось юным честолюбцам 1956 года.

Считая все это пустым занятием, тетя Мими тем не менее купила Джону его первую гитару. (Одно время думали, что поддержала в нужный момент и поощрила молодой талант Джулия. Такая версия, что и говорить, была более романтичной и более приятной Джону, но можно не сомневаться: именно скептически настроенная Мими, купив дешевую испанскую гитару, дала ему наконец возможность удовлетворить свою все возрастающую одержимость.) Десятью годами раньше отец Элвиса Пресли предостерегал своего сына таким доводом: «Никогда не встречал гитариста, заработавшего хоть один цент»; теперь этот припев подхватила Мими: «Гитара — это хорошо. Но ты никогда не заработаешь ею на жизнь». Однако, даже если первую гитару купила ему не Джулия, то уж безусловно она научила Джона первым аккордам. В юности Джулия пела и играла на банджо и именно аккорды банджо показала тогда Джону. Ему было шестнадцать лет, и он учился в последнем классе. Мальчики, стремившиеся учиться дальше, уже сидели и зубрили, готовясь к выпускным экзаменам в июле следующего года, а Джон Леннон был занят формированием своей группы. Вполне естественно, он назвал ее «Парни из Куорри» («Quarrymen») и принимал туда всех ребят из своей школьной компании, имевших хоть какие-то музыкальные способности, а иногда и вовсе их не имевших. Состав группы держался не больше недели, так как Джон постоянно ссорился то с одним, то с другим. «Если бы ты учился в моем классе,— говорил он мне потом,— я бы заставил тебя пойти за мной и ты бы даже своей матери не послушался». Все, кто любили рок-н-ролл, могли присоединиться. И Джон, конечно, был лидером группы. Он и не представлял, как может быть иначе. С самого раннего детства он всегда вел себя с позиции своего естественного превосходства.

На протяжении того последнего школьного года Джон все глубже и глубже проникал в мир рок-музыки. Это была все еще американская культура, то есть культура, навязываемая извне. Пройдет целый год, прежде чем появится Клифф Ричард со своей песней «Двигай» («Move It»), целый год, прежде чем англичане выпустят первую стоящую пластинку рок-н-ролла, и почти целый год до того, как Джон встретится с Полом Маккартни. В течение этого года, пока «Парни из Куорри» пищали, как только что вылупившиеся цыплята, пока Джон упражнялся на крыльце своего дома, помешательство становилось повальным, и газеты начали уделять этому явлению все больше и больше места, связывая его с ростом насилия и с образами молодых бунтарей, которые создавали на экране Джеймс Дин (погибший еще до того, как Элвис прославился своей первой пластинкой) и Марлон Брандо.

По вечерам, вместо того чтобы делать уроки, Джон сидел у домашнего приемника и ловил слабые сигналы мюнхенской радиостанции «АФН» [13] — ему хотелось раньше всех услышать новые американские пластинки и включал более доступное «Радио Люксембурга». (Би-би-си имела очень слабое представление о рок-н-ролле и уделяла ему в те дни минимум времени.) А Джон уже начал одеваться в модном стиле «тедди бойз» — узкие брюки, смазанные бриолином волосы и кок на голове, зачесанный à la помпадур. Бедная Мими страдала, хотя отнюдь не молча.

Джон всегда очень смешно рассказывал об этих днях своей юности. Когда на экраны Англии вышел фильм «Рок на целые сутки» («Rock Around the Clock»), который создавался для развития успеха рок-музыки, в газетах стали писать, что эта музыка вызывает у молодежи агрессивность. Естественно, Джон должен был убедиться в этом. Позже он с иронией вспоминал тот скучный вечер, вызвавший у него чувство обиды и разочарования: «Я был поражен. Никто ие визжал, никто не танцевал, а я читал, что в проходах между рядами все танцуют. Ага, значит, этим занимались до моего прихода. Я приготовился ломать стулья, но никто меня не поддержал». Писательница Морин Клив передает рассказ Джоиа об одном ужасном моменте тех первых месяцев жизни рок-музыки, когда Джон оказался перед выбором: «Парень из нашей школы был в Голландии. Приходит и говорит, что у него дома пластинка и на ией кто-то, лучше Элвиса. А Элвис в моей жизни был больше чем религия. Мы часто ходили к этому парню домой слушать Элвиса еще на скорости 78; бывало, купим в табачной лавочке пять штук сигарет, пакетики с жареной картошкой и идем к тому парию. Новая пластинка называлась «Высокая, стройная Салли» («Long Tall Sally»). Когда она кончилась, я не мог слова сказать, иастолько был потрясен. Вы знаете, меня разрывало пополам. Я же не мог отречься от Элвиса. Мы смотрели друг на друга, но я даже про себя не в состоянии был ничего сказать против Элвиса. Зачем так случилось, что они о б а вошли в мою жизнь? Вдруг кто-то произнес: «Да это поет какой-то черномазый». А я ни разу не слыхал, как поют пегры. Вот оно что!.. Элвис — белый, а Маленький Ричард — черный. Слава тебе господи! Это же совсем другое дело! Сидя на уроках, я все время думал об этом, вспоминал наклейки на пластинках. Одна была желтая (Маленький Ричард), другая синяя, и я думал о желтом против синего» [14].

Подобные истории Джон рассказывал всю жизнь, вспоминая о них с веселым удовольствием и с нелицемерным самоосуждением. С такими космическими проблемами в голове ему было не до занятий, поэтому вряд ли стоит удивляться, что последний год в школе закончился полным провалом по всем восьми дисциплинам, включая рисование и английский язык.

Если Джон чем-нибудь загорался, чем угодно, он дурака не валял. Если нет... то валял.

Между тем его мнение о себе как о сильной личности все более укреплялось. Он никогда не участвовал в уличных драках и в хулиганских вылазках, но любил модно одеться и казаться жестким, решительным мужчиной. Во многих отношениях его жизнь в этом возрасте была сплошным притворством. Джонатану Котту из «Роллинг стоун» он, например, рассказывал: «Все свое детство я ходил, задрав плечи выше головы и не надевал очков — раз очки, значит, хлюпик,— ходил, полный страха в душе, но с самым что ни на есть свирепым лицом. И попадал в разные неприятные истории именно за свой вид: я хотел быть этаким суровым и сильным Джеймсом Дином».

Всю первую половину 1957 года «Парни из Куорри» играли у себя по домам, на уличных праздниках и на свадьбах, играли обычно бесплатно или самое большее за несколько шиллингов. Когда группа «Крикетс» выпустила пластинку «Вот это будет день» («That'll Be the Day»), Джулия показала Джону еще несколько аккордов, и эта песня стала первой, которую он смог сыграть по-настоящему. Второй была «Не стыдно ли» («Ain't That a Shame»). К этому времени в рок-музыке уже существовала целая галактика звезд, таких как Фэтс Домино, Рики Нелсон, братья Эверли, Джин Виисент и Эдди Кочран. Все они были божествами для Джона.

6 июля 1957 года, вскоре после экзамеиов, вернее после провала на экзаменах, Джон приехал со своими «Парнями из Куорри» в Вултои, чтобы играть на ежегодиом празднике под открытым небом, который устраивали прихожане местной церкви. Верный друг Айвен Вогеи выбрал этот день и этот случай, чтобы познакомить Джона со своим младшим одноклассником из Ливерпульского института, четырнадцатилетним мальчиком, тоже страстным поклонником Элвиса и Бадди Холли. Так

[13] AFN — American Forces Network — радиостанция американских войск в Европе.

[14] Здесь, как часто у Леннона, двойной смысл: against — «на фоне» — может означать «против».

Джон, от которого сильно пахло пивом, встретился с Полом Маккартни, приехавшим на велосипеде из соседнего Аллертона. «Парни из Куорри» исполнили несколько вариаций на тему песен «Мэгги Мей», «Давай, пошли со мной» («Come Go with Me») группы «Дель Викингз», «Би-Боп-а-Лула» Джина Винсента и тому подобное. Всех слов этих песен Джон не знал, поэтому ему пришлось импровизировать. Пол сказал, что получилось здорово.

Потом в церковном зале Пол показал им, что умел делать он, в частности, сыграл свою вариацию знаменитой песни Эдди Кочрана «Рок на двадцати пролетах» («Twenty Flight Rock»). Это не могло не произвести впечатления на Джона, потому что техника игры на гитаре у Пола была лучше. Он все время смотрел через плечо Пола, запоминая аккорды к песне Эдди Кочрана. Его также поразило то, что Пол начал сочинять свои собственные песни и к тому же имел хороший голос. Однако он не сразу решил принять его в свою группу. Конечно, Пол был несомненно хорош, намного лучше любого из одноклассников Джона, составлявших его тогдашний оркестр. Но возникала проблема. Джон всегда и во всем хотел быть лидером, а где это видано, чтобы в группе было два ведущих солиста? В то же время коммерческий ум Джона подсказывал, что Пол, чем-то «похожий на Элвиса», обладает большим талантом. Через неделю Пол, встретив Пита Шоттона, получил послание. Хочет ли он войти в группу? Хочет.

Приход Пола был не просто добавлением еще одного гитариста. Джону нужно было такое пришпоривание, чтобы всерьез заняться собственными сочинениями. Много потом писалось о том, как дружба и партнерство Леннона и Маккартни с годами портились и превратились, наконец, в соперничество. Но все дело в том, что, будучи друзьями, они всегда были еще и соперниками. «Я многому научился у Пола,— говорил Джон.— Он лучше меня умел играть и показал мне много новых аккордов. Я играл на гитаре, как на банджо, и мне пришлось заново переучиваться. А писать я начал после того, как Пол сыграл свою собственную песню. Ничто так не подстегивает честолюбие, как конкуренция. Среди самых первых песен Джона была «Единица после 909» («One After 909»), которая спустя десять лет будет записана в исполнении Пола на последнем диске Битлов «Ну и пусть» («Let it Be»).

Еще одну раннюю песню Джона «Привет, девочка» («Hello Little Girl») «Битлз» уступили другой ливерпульской группе «Четверо самых» («Fourmost»).

С точки зрения классовой принадлежности семья Пола была определенно более пролетарской, чем семья Джона. Отец Пола Джим Маккартни работал на текстильной фабрике и зарабатывал очень мало. Но этот человек был прирожденным джентльменом, одним из тех добряков, которые никогда не появляются в доме своих друзей без того, чтобы в его карманах не нашлось по полкроны на сладости каждому из ребятишек. Позже это распространилось и на друзей его сыновей. Он был патриархален, любил пофилософствовать и, как большинство родителей пятидесятых годов, хотел, чтобы его сыновья воспользовались открытыми перед ними возможностями, которых не было у него. Он женился в тридцать девять лет, и когда к пятидесяти трем годам овдовел, ему пришлось столкнуться с большими трудностями в воспитании двух сыновей без матери: медсестра по профессии, она зарабатывала больше его. Но клан Маккартни был дружным кланом, и на помощь всегда приходили две сестры Джима — тетя Джинни и тетя Милли. Можно не сомневаться, что сугубо консервативный Джим Маккартни был весьма обеспокоен, когда его старший сын стал превращаться в «тедди боя» и водиться с Джоном Ленноном. Но он всегда поддерживал Пола в его увлечении музыкой, и поэтому после почти полного провала на выпускных экзаменах (только один предмет был сдан с первой попытки) Джим не настаивал, как могли бы сделать другие родители, чтобы Пол немедленно начал искать работу. Вместо этого он нашел средства, позволившие Полу остаться в школе, повторить курс не усвоенных им предметов и перейти в шестой класс, после чего, как надеялся Джим, Пол мог бы поступить в учительский колледж — поистине достойная цель для поколения Джима Маккартни.

Несмотря на разницу в возрасте (когда тебе четырнадцать лет, шестнадцатилетний кажется взрослым), Джон и Пол стали близкими друзьями и встречались в доме Пола на Фортлин-роуд. Мать Пола почти год назад умерла от рака, и так как до прихода отца с работы братья Маккартни были по большей части предоставлены самим себе, общая комната в их доме превратилась в репетиционный зал для нового творческого союза Леннон — Маккартни.

Пол вырос в гораздо более музыкальной семье, чем Джон,— его отец когда-то играл в настоящем джаз-оркестре, — поэтому он с детства был погружен в стихию популярной музыки самых разных направлений, и это со временем сказалось на альбомах «Битлз»: они получались похожими на музыкальное варьете, что выводило из себя соавтора Пола, то есть Джона.

Трудно представить себе людей более противоположного темперамента, чем Джон Леннон и Пол Маккартни. Пол всегда был и остается трудолюбивым, обаятельным маленьким дипломатом — идеальный «представитель фирмы», скрывающий за очаровательной улыбкой свое сильное «я». Джон был безрассуден, подвержен диким страстям и навязчивым идеям, ленив в учебе, остроумен, резок, прямолинеен. В Поле всегда была сильна консервативная жилка, а Джон, несмотря на все старания Мими натаскать его в правилах светского поведения, был абсолютно чужд устоям общества. И вот этих двух ни в чем не схожих мальчиков объединила общая любовь — музыка. Группа «Парни из Куорри» постепенно перестраивалась: один за другим ее покинули друзья детства Джона — Пит и Айвен, их место заняли более честолюбивые музыканты. А в 1958 году Пол привел еще одного мальчика из Ливерпульского института — Джорджа Харрисона, который был еще моложе Пола.

В глазах Джона Джордж был почти ребенком — целых три года разницы,— к тому же он «вечно таскался за ним хвостом». Джон и в самом деле часто испытывал неловкость от того, что их видели вместе с Джорджем,— настолько огромной казалась ему разница в возрасте. К тому времени Джордж уже не питал никаких иллюзий о себе как о непонятом и неоцененном интеллектуале. Учился он слабо и, окончив Ливерпульский институт, стал работать учеником-электриком. В глазах Мимн он был просто неуклюжим медвежонком, говорящим с простонародным акцентом (его отец был водителем автобуса),— для Джона это, кстати, могло быть очком в пользу Джорджа. Однако самым главным аргументом в пользу Джорджа была его игра на гитаре — единственное, что он умел делать хорошо. Джордж много и подолгу занимался, родители понимали и всячески поощряли это увлечение. Годы спустя Брайан Эпстайн скажет, что Джордж лучше остальных Битлов знал, что такое музыка. Частично это было, наверное, сказано, чтобы подбодрить Джорджа, но также и потому, что благодаря многолетней тренировке Джордж действительно лучше остальных Битлов понимал, какие требуются усилия, чтобы стать музыкантом-виртуозом. Когда он присоединился к «Парням из Куорри», то, несмотря на возраст, стал ведущей гитарой, и это было только справедливо. Джордж к тому же обладал и некоторыми другими положительными качествами. Это был от природы славный малый, гораздо приятнее в общении, чем Пол,— тот мог быть задирой и хвастуном; приятнее Джона, который, хотя постоянно шутил, часто бывал груб и жесток. Может быть, действительно для Джона тот «вечно таскающийся за ним» мальчик был обузой, но это был добрый и безгранично преданный мальчик. В отличие от Пола, всегда имевшего о себе довольно высокое мнение, Джордж боготворил Джона.

К этому времени Джон с помощью всепонимающего и всепрощающего директора своей школы в Куорри-Бэнк поступил в Ливерпульский художественный колледж. Как правило, школьники, не сдавшие ни одного выпускного экзамена, не имеют шанса попасть в колледж. Джону повезло. Но если он и был благодарен судьбе (а никаких доказательств тому у нас нет), он эту благодарность не подкрепил дальнейшим усердным трудом. Джон не мог взять в толк, почему никто не понимает, что перед ними — великий художник. Вскоре он застрял в классе черчения шрифтов — это занятие было для него равносильным службе в страховой конторе. Чтобы вычерчивать буквы, надо было быть очень аккуратным и, по возможности, абсолютно бесталанным. Джон никогда не отличался аккуратностью, зато был абсолютно талантлив. По крайней мере он наконец смог сбросить с себя школьный пиджак и галстук и одеться в стиле, более подходящем тому образу сильной личности, каковой он себя считал.

Воспоминания о Джоне той поры самые различные. Майкл Макджиэр (младший брат Пола Маккартни, который тоже учился в Ливерпульском институте и часто видел Джона около художественного колледжа или у них дома на Фортлин-роуд) просто обожал его. «Он никогда не шел ни на какие компромиссы,— говорил Майкл.— Это был очень простой сложный человек, вы понимаете, что я имею в виду. Он никогда не произносил два слова, если достаточно было одного. Он был похож на молодого голодного зверя».

Другие современники отзывались менее лестно. К тому времени, когда Джон поступил в художественный колледж, у него развилось особенно беспощадное и извращенное чувство юмора. Его всегда окружала толпа раболепных поклонников, хотя он мог быть грубым, а иногда и жестоким, особенно со своими тогдашними подружками. В песне «Становится лучше» («Getting Better»), которую они с Полом написали для альбома «Сержант Пеппер», есть такие слова: «Я бывал жесток с моей женщиной, я бил ее и не подпускал к тому, что она любит». Джон признавался потом, что этот текст хорошо передавал его отношение к девушкам в ранней молодости. Одноклассники из художественного колледжа вспоминают, что испытывали благоговейный трепет перед Джоном: перед его пижонистыми костюмами «тедди боя» (а все они носили извечные мешковатые свитеры студентов-художников), перед его привычкой брать деньги в долг и никогда их не отдавать, перед его непристойными карикатурами и жестоким юмором, когда он изображал горбунов и других калек. По канонам моды тех дней он не был красив («дево-притягательным был у нас Пол»,— признавал он позже), но его острый ум и оригинальность с лихвой это компенсировали. Справедливость требует отметить: он был звездой еще до того, как стал звездой.

Хотя успехи Джона в художественном колледже были, как правило, весьма незначительны, само пребывание там дало ему очень много. Начать с того, что колледж находился в центре 8-го района Ливерпуля (района художественной богемы), недалеко от университета и буквально по соседству с Ливерпульским институтом, где тогда еще учились Пол и Джордж. Поэтому, хотя Джон презирал Джорджа за то, что тот ходил за ним по пятам и в обеденный перерыв, и после занятий, близкое соседство всех троих позволяло им чаще встречаться для репетиций и обсуждений. Кроме того, в колледже Джон познакомился с более широким по социальному составу и образу жизни кругом людей, чем тот, к которому он привык в пригородном Вултоне, людей более свободных и независимых взглядов. В те дни 8-й район Ливерпуля мог считаться как бы местным «Левобережьем» [15]. Когда-то это был район комфортабельных домов в стиле короля Георга, построенных непрерывными рядами по берегу реки и заселенных купцами, которые в начале XIX века превратили Ливерпуль в один из крупнейших портов страны. Но к 1958 году большинство этих зданий было переделано в

[15] По аналогии с Левобережьем Сены в Париже.

дешевые многоквартирные дома или в холостяцкие жилища с однокомнатными квартирами. Прожибавшие там студенты, актеры, художники, проститутки и священники собирались обычно в двух самых знаменитых пивнушках: «Хохмаческой» и «Филармонической». Если в Ливерпуле был какой-либо культурный центр, его следовало искать в 8-м районе — в пивных, в кофейном баре «Джакаранда», в клубе «Голубой ангел».

Весь первый год занятий в художественном колледже Джон часто общался со своей матерью Джулией и ее мужем, которого он звал Дергунчик. То ли потому, что Джулия была неисправимой фигляркой, то ли оттого, что в раннем детстве он редко виделся с ней, Джон считал ее скорее сестрой, чем матерью. Она была родственна ему по духу, по сумасбродству. К несчастью, в конце первого года его учебы Джулия попала под машину какого-то полицейского буквально в двухстах метрах от дома тети Мими. Джону было семнадцать лет, и он очень страдал. У него было такое чувство, что его второй раз бросили. Хотя он искренне любил тетю Мими, потеря родной матери, казалось, еще больше отдалила его от сверстников. А когда Джон чувствовал себя в изоляции, он, как правило, вел себя агрессивно. Его отношение к девушкам стало еще хуже. Пожалуй, именно в этот момент Джон осознанно и навсегда сбросил с себя детскую кожу. До самой смерти он так и будет, словно кожу, сбрасывать одну оболочку за другой, чтобы каждый раз представать новой личностью. Он редко оглядывался назад, но через двенадцать лет он сочинит и запишет на пластинку незамысловатую, жалобную колыбельную: «Моя мама умерла. Больно так, что не сказать, не понять. Моя мама умерла».

Полюби Лунную собаку и кати камешек[16]

В этот период у Джона помимо Пола и Джорджа, с которыми он теперь регулярно встречался, появилось еще два новых знакомства, сыгравших свою роль в его жизни. Первым был Стюарт Сатклифф, ровесник Джона, студент-художник с репутацией блестящего таланта. Он жил в собственной квартире на Гамбиа-террас, совсем рядом с художественным колледжем. Во многих отношениях привязанность и преданность Джона Стюарту были похожи на те чувства, что он потом испытывал к Йоко Оно. Он уважал его талант, его свободный дух. Стью жил, как живет любой тонко чувствующий, легко уязвимый художник мансарды, и несмотря на то, что Джон всегда

Плоды успеха...

испытывал глубокое отвращение к «заумной вони» вокруг искусства, романтический образ такого художника ему нравился. Нравился настолько, что, когда Стюарт получил на художественном конкурсе премию в шестьдесят фунтов, Джон предложил ему купить на эти деньги бас-гитару и войти в группу «Куорримен» — они действительно отчаянно нуждались в бас-гитаре,— хотя у Стюарта не было особых способностей к музыке и он так никогда и не добился в ней успехов. Двенадцать лет спустя, когда Джон настоял на том, чтобы Йоко Оно выступала вместе с ним на сцене и записывалась на пластинки, армия его поклонников пришла в недоумение. А Джон лишь следовал установленному им же самим принципу. Для него художник — это вообще художник, держит ли он в руке кисть или гитару. Ему было трудно поверить, что человек может хорошо делать одно и не умеет делать другое, а в случае со Стюартом и Йоко он отказывался принимать свидетельства даже собственного уха.

Вторым человеком, вошедшим в его жизнь, была девушка из Уиррэла по имени Синтия Пауэлл, по внешнему виду — типичная секретарша: кардиган — пуловер — нитка искусственного жемчуга на шее. Для ливерпульцев люди с другого берега Мёрси, из района Уиррэл, были людьми более высокого класса, и Синтия Пауэлл не составляла исключения, хотя ее коттеджное происхождение было таким же скромным, как и у большинства ливерпульцев.

Их отношения складывались бурно и напряженно. Ему было восемнадцать, ей девятнадцать. Позже Синтия напишет: «Ревность Джона, его замашки собственника становились иногда просто невыносимы. Много раз я чувствовала себя жалкой и раздавленной». Перемены в его настроениях были абсолютно непредсказуемы, он был вспыльчив и груб на язык.

В 1959 году Джон переехал из вултонского дома тети Мими в квартиру Стюарта на Гамбиа-террас, сильно запущенное, убогое

[16] Здесь объединены: название песни «Полюби пони» («Dig a Pony»), название английской группы «Роллинг стоунз» («Rolling Stones»), что буквально значит «Катящиеся камни», а по смыслу соответствует русскому «перекати-поле», и временное название созданной Ленноном группы — «Джонни и Лунные собаки» («Johny and the Moondogs»).

жилище, в котором почти не было мебели, зато повсюду валялись полупустые тюбики с красками, стояли полузаконченные полотна и валялись полусъеденные бутерброды. Этот восхитительный антураж как нельзя лучше соответствовал заключенному соглашению: Стью вдохновлял Джона в его занятиях искусством, а Джон помогал Стью в освоении бас-гитары. «Куорримен» продолжали упорно трудиться. Пол и Джон по-прежнему записывали сочиненные ими песни в ученическую тетрадь Пола, ставя под каждой песней две подписи — эта закрепленная рукопожатием договоренность привела потом к немалым осложнениям. Почему они всегда подписывались оба, даже в тех нередких случаях, когда песню сочинял практически один из них, остается неясным. Возможно, это было демонстрацией юношеской дружбы или просто потому, что почти все сочинители песен в те дни работали парами: Док Поумас и Морт Шуман, Лайбер и Столлер, Гоффин и Кинг. Даже когда Пол или Джон создавали песню полностью собственного сочинения, как это было, например, потом с песней Пола «Вчера» («Yesterday»), они все равно делили пополам и славу и деньги. Это была трогательная, пожалуй, единственная трогательная сторона их отношений.

В то время финансовое вознаграждение участников ансамбля «Куорримен» никак нельзя было назвать завидным: они редко получали больше двух фунтов за вечер. Основная беда состояла в том, что в группе было три гитариста, никудышная бас-гитара (Стью играл безнадежно плохо), отсутствовал ударник и не было настоящего оборудования. Джордж Харрисон мог бы, несомненно, сделать лучшую карьеру, перейдя в одну из профессиональных групп того времени, которые видели его высокий уровень, но он не перешел. Конечно, они все были еще очень молоды — два школьника и два студента колледжа. Тем не менее им все-таки доводилось получать приглашения, например, на вечер в автобусный парк на Финч-лейн (там работал отец Джорджа), и наконец они были даже отобраны для выступления в одной из самых удачных программ телешоу Кэрролла Ливиса «Открытия», проводившихся в Манчестере. Вот в этот момент навсегда исчезло название «Куорримен», которое ненадолго было заменено на «Джонни и Лунные собаки». Однако смена названия не помогла развитию успеха: «Лунные собаки» не стали «открытием» м-ра Ливиса. Они вернулись в Ливерпуль и снова поменяли имя. На этот раз появились наконец «Битлз», правда, после краткого затмения, когда они взяли было себе более «шикарное», шоу-бизнесовское наименование «Серебряные битлз».

Летом 1960 года Пол окончил школу с единственной оценкой «А» [17] (по искусству), а Джона, как и следовало ожидать, с треском выгнали из художественного колледжа. Их друг и фактический менеджер Аллан Уильямс устроил им ангажемент в Гамбурге. С этого момента они уже не будут больше полуучащимися, полумузыкантами: теперь все трое, плюс Стюарт и недавно принятый в группу ударник Пит Бест станут профессиональными музыкантами. И им предстоит создать свой собственный «саунд» — звучание «Битлз».

Когда «Битлз» получили наконец национальную, а потом и международную известность, в мире поп-музыки искренне поразились их техническому мастерству и, казалось, неисчерпаемому репертуару. Как могли эти четверо никому не известных парней так хорошо играть, писать такие оригинальные вещи, так гармонично петь и быть настолько уверенными в себе и в своем профессионализме? Ответ надо искать в Гамбурге.

Еще в Ливерпуле у них появилась небольшая группа поклонников, но именно в Гамбурге долгие, мучительные часы непрерывной игры на сцене маленького грязного ресторанчика «Индиа клаб» превратили их из просто хорошего рок-ансамбля в лучшую группу мира. Фил Спектор любил говорить, что талант нельзя спрятать, но иногда таланту необходимо прятаться, пока он не выбрался из колыбели. В Ливерпуле самое большое выступление «Битлз» длилось не более часа. В Гамбурге они должны были, выйдя на сцену, развлекать публику восемь часов подряд. Неудивительно, что они научились хорошо играть. Им предоставлялась возможность пробовать, ошибаться, репетировать и импровизировать прямо на глазах у публики. Ради рок-н-ролла они принимали любые условия и были благодарны за предоставленные возможности.

Вскоре они перешли в другой «клуб» под названием «Кабачок кайзера», где свои марафонские «сешнз» проводили перед неуправляемой пьяной аудиторией, и чтобы эта публика обратила на них хоть какое-то внимание, им приходилось играть как можно громче.

В тот первый свой приезд «Битлз» пробыли в Гамбурге пять месяцев. Незадолго до Рождества 1960 года у них пошли неприятности. Джорджа депортировали как несовершеннолетнего (ему было только семнадцать лет), а Пол и Пит Бест угодили в тюрьму: в комнате, где они жили, по их небрежности возник пожар.

Один за другим Битлы перебрались назад в Ливерпуль. Великое начинание закончилось полным провалом. Они пали духом. Джон вернулся в дом тети Мими, получил причитающуюся дозу выговора и на какое-то время исчез из поля зрения. Позже он говорил, что не был даже уверен, хочет ли продолжать дело «Битлз».

Необходимость где-то работать вернула его к деятельности. Для начала «Битлз» дали несколько концертов в клубе «Касба», хозяйкой которого была мать Пита Беста, а вскоре после Рождества 1960 года появились на сцене городского зала Литерленда. И вот тут они впервые поняли: пока они были в Гамбурге, с ними что-то произошло. Они оказались ни на кого и ни на что не похожими, и у них вдруг появились свои собственные поклонники. Джон потом скажет, что они были первыми панками. Через несколько недель «Битлз» начали регуляр-

[17] «А» — высшая оценка в английской школе.

но выступать в клубе «Каверн» в центре города, главным образом в обеденные часы, так как по вечерам там играл традиционный джаз-оркестр. Число их поклонников росло. Слава распространялась по Ливерпулю, как лесной пожар. Они и выглядели и звучали необычно: рядом с жидкоголосыми, зарепетированными рок-группами тех дней, подражавшими обычно саунду группы «Шедоуз»[18], их музыка была безусловно грубой и жесткой. В клубе «Каверн» они дали в общей сложности свыше 250 концертов.

В следующем году они вернулись в Гамбург и на этот раз даже записались на пластинку для компании Берта Кэмпферта; Джон пел «Моя милая где-то за океаном» («My Bonnie Lies Over the Ocean»). Потом, когда в разгар битломании эту пластинку выпустили в Америке, она имела бешеный успех, но Джон ее всегда терпеть не мог. В эту поездку Стью пришел все-таки к выводу, что музыка никогда не даст ему того счастья, какое дает изобразительное искусство, поэтому он вышел из группы и поступил в местный художественный колледж. Бас-гитара в конце концов перешла к Полу.

В Ливерпуле «Битлз» играли в «Каверне» или в местных танцевальных залах. Постепенно, весьма постепенно, их заработки росли, но по-прежнему ни одна фирма грамзаписи не спешила ухватиться за них и вознести на вершину славы и богатства.

И вот однажды в октябре 1961 года в одном из ливерпульских музыкальных магазинов, принадлежавших семейству Эпстайнов, к двадцатисемилетнему Брайану Эпстайну обратились за пластинкой «Моя милая...». В тот же день эту пластинку попросил другой покупатель. Брайан никогда не слыхал о «Битлз», но что-то слышал о них его знакомый и сказал, что их можно увидеть в клубе «Каверн», где они сейчас выступают. Помещение клуба было насквозь пропитано тяжелым духом от пота, возбуждения и плохой вентиляции, музыка звучала оглушительно, а четыре парня на сцене выглядели невероятно грубыми и неотесанными. Но в них что-то было, они «заводили» публику и вызывали веселый смех. После концерта Брайан предложил им себя в качестве менеджера. Они согласились. Терять им было нечего. Брайан представлялся человеком достаточно искушенным в бизнесе.

Весь 1961 год и первую половину 1962-го «Битлз» ждали своего счастливого случая, играя иногда по три «гига»[19] в день. Но оставались пока всего лишь местными знаменитостями.

А между тем Брайан Эпстайн занялся поисками фирмы грамзаписи, которая согласилась бы заключить с ними контракт. Самой знаменитой в этих поисках стала история с представителем фирмы «Декка» Диком Роуи, который отверг «Битлз», заявив, что группы гитаристов выходят из моды. Двадцать лет потом имя Дика Роуи обыгрывалось во всевозможных шутках и остротах на тему музыкального бизнеса.

Были и другие отказы. Не захотела знать «Битлз» фирма «Пай», потерпели неудачу и попытки Эпстайна договориться с двумя самыми знаменитыми «этикетками» фирмы «И-Эм-Ай»: «Коламбиа» и «Голос его хозяина».

Наконец, Эпстайн добился встречи с продюсером Джорджем Мартином из студии «Парлофоун», наименее модной «этикеткой» изо всех студий, входящих в «И-Эм-Ай». Мартин получил известность благодаря выпуску пластинок с комедийными спектаклями Бернарда Криббинса и Питера Семерса. Ему понравилось то, что продемонстрировал Эпстайн в записи на гибкой ацетатной пленке, и он решил рискнуть; впрочем, пенни за пластинку — не очень большой риск. Но прежде чем они приступили к делу, в жизни «Битлз» произошли две перемены. Пит Бест, регулярно выступавший с ними в течение двух лет, не устраивал всех остальных, и они хотели от него избавиться. К этому времени Ринго Старр ушел из группы «Рори сторм» и был свободен. Все последующие годы Пит Бест — и его можно понять — жаловался на то, что «Битлз» бросили его накануне славы, но многие люди, видевшие «Битлз» в те дни, отмечали, что Бест казался просто инородным телом среди остальных. Проявив трусость, они спрятались за Эпстайна, который и сообщил об их решении ничего не подозревающему Бесту.

Вторая перемена касалась лично Джона. Синтия, встречавшаяся с Джоном уже четыре с половиной года, каждый раз, когда он приезжал в Ливерпуль, в конце концов забеременела. У Джона на это мог быть только один ответ. Они должны пожениться. Несмотря на все свое бунтарство, он в душе оставался консерватором. В Ливерпуле в те дни, если парень «сделал девушке ребенка», он женился на ней.

Свадьба состоялась 23 августа 1962 года, через пять дней после того, как Ринго вошел в группу, и на следующий день после того, как их выступление в «Каверне» засняла телевизионная компания «Гранада». И если газетчики «Ливерпульского эха» очень медленно соображали, что происходит в двухстах ярдах от них на той же улице, где расположена их редакция, телевизионщики из манчестерской «Гранады» поняли сразу. В том куске фильма, который они тогда показали и который показывался потом тысячи раз по всему миру, «Битлз» пели одну из ритмических блюзовых песен «Какой-то другой парень» («Some Other Guy») — теперь они отдавали предпочтение «белому» року, идущему из Америки.

Для их первой пластинки продюсер Джордж Мартин отобрал «Ну, полюби же меня» («Love Me Do») и «P. S. Я люблю тебя» («P. S. I Love You»). В предложенный ему набор входили также «Привет, девочка» («Hello Little Girl») и «Спроси меня, почему» («Ask Me Why»). Еще до выхода пластинки практически все молодые люди Мёрсисайда, знавшие «Битлз», были уже их одержимыми поклонниками. А их слава распространялась все дальше, уходила далеко за пределы «Каверна» в самые невероятные места, даже в такое захолустье, как, например, Ормкёрк, где вся музыка — это один-единственный музыкальный автомат.

---

[18] Самая популярная английская группа конца 50-х — начала 60-х годов, игравшая с Клиффом Ричардом.

[19] Gig — в жаргоне музыкантов означает «разовое выступление».

К своему вечному стыду, автор этих строк отказался в то время от всех предложений первым прославить «Битлз». Некоторые люди очень медленно и с трудом готовы были признать, что британские группы могут создать хороший рок.

Конец 1962 года стал свидетелем краха старого стиля шоу-бизнеса, в который пытались вписаться Клифф и даже Элвис. Они стремились стать универсальными эстрадниками на все вкусы, звездами для молодых и старых. Для Джона Леннона стать такого рода звездой было самым последним... не только делом, но даже желанием. Он хотел быть богатым и знаменитым, но богатым и знаменитым на своих условиях.

За несколько первых месяцев 1963 года «Битлз» станут самой крупной сенсацией в Великобритании. Через год к их ногам падет Америка. Они двигались как армия завоевателей, и перед ними рушились все крепостные стены. Но победы доставались не без компромиссов, а для Джона — весьма серьезных, хотя в то время он был счастлив, даже идя на эти компромиссы.

II

Мир

О четырех счастливчиках, которые всего добились[20]

«Битлз» — это не шестидесятые, так же как шестидесятые — это не «Битлз», хотя в общественном сознании это десятилетие и эта группа навсегда запомнятся вместе. «Битлз» запечатлели в музыке необычайно интересную эру послевоенной истории, соткали музыкальный гобелен, на котором запечатлелись годы, отмеченные настроениями «никогда-не-было-так-хорошо»[21], годы экономического бума на Западе, позволившего на короткое время сломать британские классовые барьеры, пока новый экономический спад не затянул еще туже смирительную рубашку сословных разграничений.

Пятнадцать лет Великобритания страдала от уязвленного самолюбия перед лицом американского изобилия. Теперь ее начали «уязвлять» молодые британцы. Пока консервативное правительство Макмиллана пыталось выкарабкаться из ошеломившего всех «кризиса Профьюмо»[22], вызванного скандальными слухами о том, что для одного из членов кабинета дополнительной привилегией стали услуги высококлассных проституток,— выросло, как грибы за ночь, целое поколение, готовое высмеивать и непочтительно трясти надстройку истеблишмента.

Джон Леннон и «Битлз», казалось, для того и были созданы, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в музыке. Они появились именно в тот момент, когда было нужно. Всю свою жизнь Леннон вставал на дыбы и брыкался, зло издевался над порядками и установлениями, шел не в ногу, задирался с властями и подвергался наказаниям. А теперь вдруг его поведение стало не только респектабельным, но и последним криком моды. Все теперь насмехались над истеблишментом. Сатира пользовалась самым большим со времен Джонатана Свифта успехом. Лондон заполонили молодые ребята, выходцы из рабочего класса; все до одного честолюбцы, они ордой спустились с севера и захватили лондонские сцены, художественные галереи, теле- и киностудии. На какое-то время плотина была прорвана и все казалось возможным. Для «Битлз» плотина прорвалась навсегда. С этого момента все для них стало возможным.

С появлением «Битлз» изменилась не только музыка. Изменилась также мода. Их влияние ощущалось во всем. У британцев появилась даже какая-то новая уверенность в собственной значимости.

Все американское стало выглядеть старомодным. И вот уже один бастион традиционного мышления пал перед «Битлз», за ним последовал второй. Казалось, стоит включить телевизор — и вы непременно увидите «Битлз», смеющихся и поющих, а Джон будет близоруко щурить глаза, опуская свой длинный нос, улыбаться, шутить и всегда над чем-нибудь издеваться.

Пресса любила «Битлз», и «Битлз» любили прессу. Джон всегда умел ладить с газетчиками, ему нравилось их смешить. Вся Британия, казалось, вошла в его команду.

Все происходило с невероятной скоростью. В один день они полностью записали свою первую долгоиграющую пластинку, составленную из песен, исполняемых ими в «Каверне», и почти все было сделано с первой попытки. Их третий сингл[23], «От меня — тебе» («From Me To You»), немедленно стал «ударным». Леннон и Маккартни могли теперь создавать хиты почти по заказу, а те вещи, которые им не хотелось исполнять самим, они отдавали Брайану Эпстайну для его все расширяющейся «псарни» ливерПУДельных певцов. Работа шла без остановок, не прекращались ни на минуту и шутки.

8 апреля в Ливерпульском родильном доме Синтия родила сына, Джулиана. Ради этого события Джон приехал в Ливерпуль но от прессы это было тщательно скрыто.

---

[20] В песне «Битлз» «Один день из жизни» («A Day in the Life») есть строчка «о счастливчике, который всего добился».

[21] Знаменитые слова из предвыборной речи Гарольда Макмиллана в 1959 г.

[22] Профьюмо — министр обороны в правительстве Макмиллана.

[23] Single — пластинка с одной дорожкой на каждой стороне.

В октябре 1963 года социологи придумали и пустили в оборот новое словечко: «битломания». Раньше в «Каверне» девочки-подростки просто прыгали и танцевали под музыку «Битлз». Теперь же во время их гастролей по стране в театрах, в кинозалах, везде, где они играли, царила дикая истерия. Поклонники приходили уже не для того, чтобы слушать музыку. Они приходили принять участие в некоем массовом действии, своего рода молодежном ритуале.

Если вы хотели слушать «Битлз», вы покупали их пластинки. Каждое их появление на сцене создавало теперь полный хаос. И в то время как толстые воскресные газеты печатали длинные статьи с социологическими исследованиями причин битломании, сами «Битлз» оказались в ловушке общенациональной истерии.

Но пожалуй, наибольшее изумление в тот первый год вызывало стремление всех и каждого вскочить на их колесницу славы. Члены парламента задавали о них глупые вопросы в палате представителей, консерватор Эдуард Хит возмущался тем, что и как они говорили, религиозные лидеры произносили в их адрес всякого рода скучные банальности.

На фоне всех этих умствований и защитных — или агрессивных — стоек резко выделялось спокойствие духа самих «Битлз». Может быть, их не захватила поднятая вокруг них шумиха, а может, они просто были слишком заняты, чтобы осознать, что же с ними происходит.

Их вторая долгоиграющая пластинка под названием «С Битлз» («With the Beatles») вскружила голову всем интеллектуалам. Здесь «Битлз» впервые начали экспериментировать с электроникой и двойной записью, и «И-Эм-Ай» охотно предоставила им более широкие возможности в своих студиях на Эбби-роуд.

Надо отметить огромную роль продюсера Джорджа Мартина, хотя он всегда первым отклонял расточаемые ему комплименты: он считал, что их надо переадресовать авторам песен. А ведь именно Мартин сделал оркестровку почти всех песен «Битлз», начиная с «Вчера» и кончая «Элинор Ригби» и «Земляничными полями навсегда» [24]. Но он рассматривал себя только как интерпретатора их музыки. В своей книге «Вам нужны лишь уши» он писал: «Как только вас начинают чему-нибудь учить, ваше мышление уже направляется в определенное русло. Пол и Джон не получили такого направляющего обучения, поэтому они могли придумывать вещи, которые я посчитал бы чудовищными. Я мог восхищаться их выдумками, но мое музыкальное образование не позволило бы мне додуматься до них самому. Я также считаю, что способность сочинять хорошие мелодии имеет тот, кто не скован правилами и законами гармонии и контрапункта. Мелодию можно исполнить одним пальцем, просвистать на улице. Она не зависит от великих гармоний». Способность создавать хорошие мелодии, говорил Мартин, это просто дар.

Америка пала к ногам «Битлз» не просто так. Успех их первого появления в Штатах в феврале 1964 года был результатом тщательно отрежиссированной кампании, проведенной Брайаном Эпстайном и сотрудничавшей с «И-Эм-Ай» американской фирмой «Кэпитол рекордз»,— это была массированная обработка мозгов. В данном, конкретном случае затраченные усилия окупились. Как только Битлы просунули свою коллективную ногу в приоткрывающуюся дверь Америки, ничто уже не могло их вытолкнуть.

За несколько месяцев до этого в Лондоне находился ведущий одного из самых популярных в Америке воскресных телевизионных шоу Эд Салливан. Его поразило поведение английских поклонников «Битлз», и он согласился заключить с группой контракт на участие в феврале в трех вечерних воскресных шоу подряд. Они получали таким образом лучшую рекламную афишу, правда, всего за половину гонорара, который обычно платят знаменитостям. Но деньги в данном случае не имели особого значения. Ведь зато в течение трех недель они будут выставлены на обозрение почти третьей части населения Соединенных Штатов.

Кроме того, для полной уверенности, что ни один человек в стране не останется в неведении относительно предстоящего прибытия «Битлз», было нанято три тысячи поклонников, чтобы инсценировать «стихийную» демонстрацию в аэропорту Кеннеди и с нарастающим истерическим визгом приветствовать подлетающий к Нью-Йорку самолет. Все было проделано с поразительной точностью и превзошло самые смелые мечты Эпстайна. Сингл «Хочу держать твою руку» («I Want to Hold Your Hand») за один месяц вышел на первое место в американских таблицах популярности, и на волне успеха были повторно выпущены, теперь уже в Штатах, четыре пластинки, завоевавшие перед этим первые места в Британии. К марту «Битлз» прочно заняли все пять верхних мест в американской таблице «Лучшая сотня», и еще две их пластинки вошли в «Первую двадцатку».

Теперь в репертуаре «Битлз» появился новый «хэппенинг»: встречи с прессой. Куда бы они ни приезжали, прежде чем юркнуть в свои номера в отелях и запереться на ключ, они устраивали пресс-конференции. Репортеры британских газет сопровождали их повсюду, посылая домой длиннейшие отчеты, а американским тележурналистам и газетчикам приходилось довольствоваться лишь вопросами и ответами на пресс-конференциях, и это давало четверке возможность поиздеваться над пошлыми вопросами. Вел игру, как всегда, Джон.

— Действует ли на вас восторг и обожание со стороны девушек? — спрашивают Джона.

— Нет,— отвечает он.— Когда я чувствую, что голова начинает кружиться, я смотрю на Ринго, и мне становится совершенно ясно, что мы не супермены.

— Чем вы объясняете свои длинные волосы?

— Они просто растут из моей головы.

— Вы носите парики?

[24] Возможно, в этом названии — ассоциация со знаменитым военно-патриотическим маршем американского композитора Дж. Суза «Звезды и полосы навсегда».

— Если носим, то это, должно быть, единственная модель с натуральной перхотью.

— Рост призывников — как вы насчет этого?

— Чуть больше пяти футов одиннадцати дюймов [25].

— Как вы определяете, кто будет ведущим в песне?

— Собираемся вместе, и тот, кто знает больше слов, тот и будет ее петь.

И так без конца шла эта шутливая, подразнивающая игра с прессой. Использовался обычный нехитрый прием: схватить буквальный смысл вопроса и бросить его обратно с издевкой и смехом. Этот прием никогда не подводил. Очень скоро четверка Битлов превратила пресс-конференции в своего рода спектакли, разыгрывая сцены между собой и перекидываясь остротами. Газеты писали, что они были похожи на братьев Маркс [26].

До «Битлз» почти все рок-звезды испытывали робость и даже страх перед прессой. Единство и товарищество «Битлз» давали им в руки сильное оружие — нахальный оптимизм. Конечно, тогда, на борту самолета, в первый раз на пути в Америку, все они испытывали некоторый трепет, понятное чувство беспокойства: как бы не ударить в грязь лицом. Но Джон говорил потом корреспонденту журнала «Роллинг стоун», что он был уверен: стоит только Америке увидеть и услышать «Битлз» — и им обеспечен успех. «К тому времени, когда мы попали в Штаты, мы уже были настоящими профессионалами,— сказал он.— Мы изучили все приемчики... британская пресса — самая жестокая в мире. После нее мы могли справиться с чем угодно. Да, действительно, тогда в самолете я думал: а вдруг ничего не выйдет?.. Но это уже свойство моей натуры. Мы знали: нам надо только ухватиться, и мы утрем им нос... А когда мы прилетели, вы здесь расхаживали в этих мудацких бермудских шортах, с солдатской стрижкой и жвачкой в зубах... девчонки были похожи на кобыл сороковых годов, не было никакого понятия ни об одежде, ни о джазе. И мы тогда подумали: ну и поганый народец, ну и поганый».

За год до этого «Битлз» помогли изменить внешний облик британской молодежи. Теперь дошла очередь до Америки. За одну ночь вошли в моду длинные волосы. К концу 1964 года команда Джона Леннона разрослась до всемирных масштабов. Все мы тогда стали «парнями из Куорри». Не осталось ни одной вершины, которую надо было взять. «Единственное, что нам осталось сделать,— это умереть»,— сказал Джон.

Между 1964 и 1966 годами «Битлз» почти без отдыха гастролировали по всему миру, давая двадцатиминутные концерты и телевизионные пресс-конференции, чувствуя себя как звери, запертые в клетки: за дверями их номеров в отелях буйствовали толпы фанатов. Близкие женщины всегда оставались дома.

«Мы были царями джунглей, Цезарями»,— рассказывал Джон. Все, чего бы они ни пожелали, кроме свободы от публичного разглядывания,— все им предоставлялось, любые физические утехи в любом количестве. Брайан Эпстайн был выдающимся «толкачом» и дипломатом. Во всяком случае, он никогда не позволял наносить ущерб созданному группой «имиджу». Когда Джона спрашивали о войне во Вьетнаме, он прикусывал язык и говорил нечто туманное против вообще всех войн.

Постепенно стала слабеть его безоглядная дерзость, его отвага и нахальство. Он все еще умел смешить, все еще оставался клоуном, но бесконечные пожатия рук местных сановников и их дочерей действовали удушающе. Человек, всегда ненавидевший истеблишмент, ненавидевший дисциплину школьной униформы, стал вдруг душой, любимцем общества, облаченным в аккуратную униформу «деток-битликов», вежливо улыбающимся тому сорту самодовольных людей, которых он всегда терпеть не мог. Позже он будет утверждать, что так хотели Пол и Брайан, и только поэтому он на все соглашался. Такое самооправдание неубедительно: ведь он понимал, что просто продается. А соглашался на все потому, что хотел быть богатым и знаменитым. Когда к «Битлз» пришел первый успех, они беспрестанно говорили о возможностях будущего обогащения. Когда они разбогатели, они захотели стать еще богаче. Это не критика. Они ведь очень рано поняли, что богатство — это власть. Джон потом будет использовать свое богатство самым экстравагантным образом. Но сначала ему придется проглотить свое собственное «я».

Конечно, были моменты, когда это «я» застревало у него в глотке, как, например, в случае, когда какая-то светская дурочка («этакая паршивая скотина», как выразился Джон) в британском посольстве в Вашингтоне отрезала у Рииго прядь волос на память. Леннои, а за ним и вся его команда немедленно ушли с приема, громко хлопнув дверью, что вызвало еле сдерживаемый гиев хозяев дома.

В эти месяцы непрерывных турне мир превратился для «Битлз» в череду анонимных мест. Они вдоль и поперек исколесили Европу, Дальний Восток, Австралию, Америку, Канаду и, разумеется, Британию. Однако они почти ничего не видели, кроме бесчисленных, осаждеиных поклонниками аэровокзалов и интерьеров своих гостиничных номеров. Но даже там их не оставляли в покое, и дело кончалось тем, что они вчетвером запирались в ванной и курили травку. Мир, который они видели, был единственным в своем роде. Никогда еще в истории ни одна группа людей не была так широко знаменита и так изолирована от повседневной жизни. Им оказывали королевские почести, а они не имели даже представления, как ведут себя короли. И можно только поражаться тому, что всеобщее помешательство под названием «битломанна» оставило нетронутым их рассудок. А то, что они в этих сумасшедших обстоятельствах

---

[25] В связи с войной во Вьетнаме в США была введена воинская повинность, журналист имел в виду постоянный рост числа призывников. Леннон не только обыгрывает двойной смысл слова «рост», но и цифру своего роста: для слушателей это звучало так, как если бы по-русски он сказал, например: «чуть больше 179,9 см».

[26] Знаменитые американские комики, известные у нас по трофейным кинофильмам.

еще и сохранили способность творить, делает честь их достоинству музыкантов. Ведь их лучшие песни создавались в самых экстремальных условиях, когда требовалось, чтобы каждая новая пластинка была лучше предыдущей.

Дуэт Леннон — Маккартни работал теперь очень быстро, но работал хорошо. Их музыка оставалась рок-музыкой, однако с каждым новым диском приобретала свои отличительные черты. В 1965 году они сменили направление, выпустив два диска: «Помогите!» («Help!») и «Резиновая душа» («Rubber Soul») [27]. Исчерпав все возможности игры «четыре-в-ряд» и двойной записи, они теперь начали обогащать и разнообразить звук, привлекая дополнительных музыкантов. Для песни Пола «Вчера» Джордж Мартин посоветовал пригласить струнный квартет. Пластинка была выпущена как битловская, но единственным Битлом на ней был Пол. Джон не помогал писать ее, и никто из Битлов не участвовал в ее исполнении. В это время Джон все сильнее и сильнее увлекался поэзией и стремился создавать настоящую лирику. Ведь поначалу и он и Пол, как и все авторы песенных текстов, писали о том, кто кого любит или не любит. Теперь Джон пытался внести в песню что-то свое, личное. На него сильное впечатление произвел Боб Дилан — он начал было даже петь, как Боб, — и ему захотелось выразить в стихах свои настроения. Типичным примером таких попыток стала песня «Я неудачник» («I'm a Looser»): «Хотя я смеюсь и кривляюсь, как клоун, под клоунской маской гримаса боли». Песня «Норвежский лес» («Norwegian Wood») — это воспоминание о любовной связи, которую он пытался скрыть от Синтии.

В альбоме «Резиновая душа» — результате «сешнз» 1965 года — записано несколько самых лучших произведений «Битлз», в частности автобиографическая песня Джона «В моей жизни» («In My Life»), которая сопровождается игрой Джорджа Мартина на старинном фортепьяно, и прекрасная песня «Девушка» («Girl»): «Ну послушайте хоть кто-нибудь, как это было. Как пришла, осталась навсегда. Девушка, которую хотел так сильно, что себя жалел я иногда». Рассказ о выдуманной девушке — это грустное размышление о безысходности неразделенной любви: «Каждый раз, когда всерьез уже уйти пытался, Начинался слезный разговор, Обещала целый мир, я верил, оставался, Почему, не знаю до сих пор».

Джон всегда считал «Девушку» одной из своих лучших песен. Надо сказать, что, хотя все пластинки «Битлз» принимались их поклонниками с восторгом, Джон первым был готов критиковать свои ранние работы или с досадой от них отмахивался. О песне «Чувствую себя прекрасно» («I Feel Fine») он сказал небрежно: «Написал прямо в студии, наложив на риф» [28]. По поводу же другой песни «Да, это так» («Yes, It Is»), записанной на обороте пластинки «Билет для поездки» («Ticket to Ride»), он был просто беспощаден к себе: «Здесь я пытался повторить «Этого парня» («This Boy»). Та же гармония, те же аккорды и то же словоблудие. Господи! Надо же: «Если наденешь красное вечером...» Но больше всего он стыдился песни «Это только любовь» («It's Only Love»): «Самое ужасное, что я когда-либо написал. Рифма вычурная. Стихи отвратительны. Даже тогда мне было так стыдно, что я с трудом заставлял себя ее петь. Пожалуй, это было худшее из всего, что я сделал. А если подумать, то это можно сказать и о многих других моих песнях».

К началу 1965 года «Битлз» стали, если можно так выразиться, кавалерами всех музыкальных «орденов» (Аарон Копленд и Леонард Бернстайн [29] считали Леннона и Маккартни серьезными композиторами современной музыки) и были любимцами критиков. А в июне 1965 года лейбористский премьер-министр Гарольд Уилсон сделал их и любимцами истеблишмента, объявив, что все четыре Битла удостоены звания Члена ордена Британской империи. У Джона это вызвало чувство неловкости. «Если бы при дворе удосужились прочесть, что я думаю о королевской семье,— говорил он потом,— они бы никогда такого не допустили. Я не хотел принимать регалии, но как я мог отказаться, если остальные трое хотели получить свои. Так что я позволил себя уговорить». Вряд ли его так уж сильно пришлось уговаривать. В те дни Джон почти по всем вопросам подчинялся решениям большинства. Ему было просто лень спорить. Существует широко известная, но абсолютно не соответствующая истине легенда, будто Джон курил марихуану в туалете Букингемского дворца. Джон сам сказал это какому-то французскому журналисту вскоре после церемонии награждения, но он лгал. Это была мелкая, хвастливая бравада, о которой он потом сожалел. «Мы были слишком напуганы, чтобы делать что-либо подобное», — сказал он.

Три года «Битлз» жили как в сказке — зачарованной жизнью. И вот в марте 1966 года Джон с обычной для него откровенностью дает очередное интервью журналистке из «Ивнинг стэндард» Морин Клив. Она занималась «Битлз» с января 1963 года и написала первую из появившихся в солидных, крупнотиражных газетах большую статью о них. Она была особенно близка с Джоном, поэтому опять же как злая ирония судьбы воспринимается то, что именно ее мартовское интервью с ним развязало первую «антиленноновскую» кампанию. В ходе интервью Морин спросила Джона о его взглядах на религию. Он ответил: «Христианство уйдет. Отступит и исчезнет. Этого даже не надо доказывать. Я прав, и моя правота будет подтверждена. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я не знаю, что раньше пройдет — рок-н-ролл или христианство. С Иисусом было все в порядке, а вот его ученики оказались за-

[27] На слух воспринимается и как «резиновая подметка», так как soul — душа и sole — подметка произносятся одинаково. «Soul» означает также: один из стилей поп-музыки.

[28] Riff — однообразный ритмический фон, на котором ведется джазовая импровизация.

[29] Леонард Бернстайн (р. 1918) — американский композитор и дирижер. Особую известность принес ему мюзикл «Вестсайдская история».

урядными тупицами. Их передергивания все для меня и портят».

Когда интервью было напечатано в Лондоне, где публика более искушена в таких вопросах, никто ничего особо крамольного не заметил. Просто еще одна интересная точка зрения, к тому же хорошо изложенная. Кроме того, всем бросалось в глаза, что у молодежи в тот конкретный момент «Битлз» были действительно популярнее Иисуса. Но когда интервью перепечатали в американском журнале для любителей рока «Дейтлайн», а это случилось накануне последнего (тогда об этом еще никто не знал) турне «Битлз» по Америке,— на них обрушилась волна враждебности и ненависти. Проходили антибитловские демонстрации, а разъяренные священники проклинали Леннона с церковных кафедр. Великий Дракон ку-клукс-клана в Южной Каролине сжег на кресте пластинку «Битлз», радиостанции перестали передавать их музыку, а одна техасская радиостанция даже организовала публичное сожжение их пластинок.

Эпстайн и остальные Битлы были серьезно озабочены: будет ли для них безопасной предстоящая поездка по стране. Морин Клив как преданный друг благородно предложила Джону заявить, что его, наверное, неправильно процитировали. Он отверг это предложение. Не хотел отрекаться от того, что сказал. В конце концов ему пришлось объяснять перед телевизионными камерами, что он не собирался свергать ни Христа, ни религию, он просто сделал некоторые наблюдения. Это никак нельзя было принять за извинение, но на какое-то время его искрометные шутки прекратились, во всяком случае, в них не было больше вызова. Казалось, система все-таки одолела его. Он был раздавлен самим фактом, что, став Битлом, он потерял возможность говорить обо всем так, как думается, не боясь быть неправильно истолкованным. Ему было еще только двадцать пять лет, и насилие над собой ради того, чтобы год за годом, совершая гастрольные поездки, поддерживать «имидж» милого, смешного паяца, калечило его ум, его личность. Репортерам он сказал: «Я не безбожник и не Антихрист, я не против религии. Я никогда не говорил, что мы выше и лучше Христа. Я верю в Бога, но не как во что-то конкретное, в какого-то старика на небе... Я не говорил, что «Битлз» лучше Бога или Христа. Я употребил слово «Битлз» потому, что мне проще говорить о них. Я мог бы сказать: ТВ, или кино, или еще что-нибудь очень популярное, и тогда это сошло бы мне с рук».

В другом интервью он сказал: «Я вовсе не хотел, чтобы это было грязным антирелигиозным выпадом. Просто мне кажется, что христианство съеживается, теряет контакт. Только в последние два года я, все «Битлз» начали искать чего-то другого. Мы живем в теплице на колесах. Растем как грибы — нас заставляют расти быстрее, чем положено, и получается тридцатисорокалетняя голова на двадцатилетнем теле».

Удовлетворило или нет такое объяснение ослепленных ненавистью христианских истериков, но «Битлз» и в эту поездку по Америке встречали с таким же восторгом, как и в первый раз. Если бы кто-нибудь из фанатиков «Библейского пояса» [30], грозивших Джону Страшным судом, на минуту задумался о причине успеха этого последнего турне, завершившегося 29 августа в Сан-Франциско, в Кэндлстикпарке, он бы понял, что «Битлз» получили полностью оправдательный приговор. Хорошо ли, плохо ли, но в 1966 году они для американской молодежи значили определенно больше, чем Иисус Христос. Однако теперь это вряд ли имело какое-либо значение. С гастрольными поездками было покончено. Они уже потеряли всякий смысл.

«Ну что еще мы могли сделать? — спрашивал Джон.— Стараться заработать еще больше денег? Давать еще более массовые концерты? Устраивать еще более длинные гастроли? Мы перестали получать удовольствие от игры, как бывало в прежние дни». Роль длинноволосых кумиров требовала огромного напряжения, и оно достигло взрывного уровня. В другом интервью он сказал: «Для нас это был невыносимый гнет. Я имею в виду те унижения, через которые мы раз за разом вынуждены были проходить, общаясь со средним классом, с шоу-бизнесом, с лорд-мэрами и тому подобными людьми. Они были так высокомерны и так глупы. И все старались нас использовать. Для меня это было особенно унизительно, так как я никогда не умел держать пасть закрытой, и чтобы как-то преодолеть внутреннее напряжение, всегда старался или напиться, или наглотаться таблеток. В общем, это был сущий ад».

В поисках выхода из ада он, как и другие Битлы, стал проявлять все возрастающий интерес к наркотикам. Еще с гамбургских времен, когда Джон имел обыкновение глотать по целой таблетке преладина, чтобы бороться со сном, его интерес к наркотикам был более чем преходящим. К 1966 году новым повальным увлечением стал галлюциноген ЛСД, разработку которого помогало осуществлять для своих гнусных целей ЦРУ. В конце шестидесятых годов это увлечение захватило значительную часть молодежи. В описании свойств ЛСД часто утверждалось, что препарат способствует расширению возможностей мозга. Но это не соответствует истине и вводит в заблуждение. ЛСД в значительной степени изменяет восприятие действительности. Это может быть экстазом, а может — кошмаром. Во всяком случае пропаганда ЛСД, которую проводил доктор Т. Лири, была резко осуждена всей медицинской общественностью, и нет никакого сомнения в том, что препарат вредно сказывается на клетках мозга, но в середине шестидесятых, когда все увлекались психоделией и «полетами», на предостережения осмотрительных людей не обращали внимания.

У Джона Леннона ЛСД вызвал нечто вроде шока. Как-то на одном обеде, где Джон и Джордж были вместе с женами, их общий приятель, зубной врач («такой, знаешь, богатый лондонский трепач из тех, что вьются вокруг Джорджа»), подсыпал Джону ЛСД в кофе. После этого вечер превра-

[30] Полоса штатов на Юге США, где сильны протестанты-фундаменталисты.

тился в нечто абсолютно сюрреалистическое. Джон испытал ужас, но одновременно и соблазн. Мир Льюиса Кэрролла вошел в его жизнь как реальность. Месяц или два он размышлял над тем, что же с ним произошло, а потом во время поездки в Америку, на одной голливудской вечеринке уже сам принял дозу ЛСД. В результате всего пережитого родилась песня «Она сказала, она сказала» («She Said, She Said») — одна из самых сильных в альбоме «Револьвер» («Revolver»), единственном битловском диске 1966 года («Она сказала: я знаю, что такое быть мертвой»).

«Револьвер» — это диск нового направления. «Резиновая душа» перед этим подвела «Битлз» к пределам возможностей рок-н-ролла. Теперь они начнут трясти и поворачивать калейдоскоп под общим названием «искусство».

К тому времени, когда вышел «Револьвер», все четверо необычайно выросли как музыканты. Вначале Джордж Мартин был продюсером, и его функции заключались в том, чтобы помочь им оформить свои песни, составить из этих песен хорошую программу и обеспечить запись. К 1966 году его уже больше использовали для оркестровки. Так как никто из «Битлз» не умел ни читать, ни записывать ноты, они обычно пели, или проигрывали на гитаре, или просто выводили голосом музыкальную идею, а потом просили Мартина попытаться схватить ее другими инструментами. Часто это был трудоемкий процесс проб и ошибок, в ходе которого Джордж Мартин пытался передать языком профессионального музыканта звук, который хотели получить Леннон и Маккартни.

В своих попытках стать музыкально ближе к «Битлз» прекрасный гобоист Мартин решил освоить гитару, но вскоре бросил это дело, увидев, что Леннон и Маккартни гораздо быстрее осваивают фортепьяно, чем он гитару. Джон и Пол всегда, с самого начала своей карьеры, сочиняли с помощью гитары, но по мере того, как они совершенствовались в игре на фортепьяно, расширялось и их представление о возможностях для выражения своих чувств в музыке. Нельзя даже вообразить, чтобы Пол мог когда-нибудь создать «Ну и пусть» («Let It Be») или чтобы Джон написал «Представь себе» («Imagine»), если бы они не научились играть на фортепьяно.

Как только времена гастролей ушли в прошлое, все «Битлз» встали перед необходимостью начать переоценку своих жизненных ценностей. Пол взялся за сочинение музыки для первого попавшегося фильма («В интересном положении» братьев Баултингов), Джордж стал учиться играть на цитре у Рави Шанкара и с головой ушел в это занятие, проявляя все возрастающий интерес к индийскому мистицизму, а Джон решил попробовать себя в актерском искусстве и отправился в Испанию, где снялся в фильме Дика Лестера «Как я выиграл войну». В обстановке битломании Джон хранил молчание о своих чувствах по отношению к войне во Вьетнаме. А Дик Лестер давал ему возможность сказать свое слово против этой войны. Однако сам процесс съемок не доставил ему удовольствия. Большую часть времени Джон изнывал от скуки и очень скоро понял: кинематограф не займет место музыки в его жизни. Но самое главное — он вообще не знал, как жить дальше. Ведь, окончив школу, он только и делал, что играл в каком-нибудь оркестре. Теперь оркестр стал слишком большим, чтобы в нем играть. Джону Леннону надо было искать новый путь.

Один год из жизни Моржа и «яйцечеловека»[31]

Год 1967-й был особенным годом, не похожим ни на какой другой. Для некоторых это был год высшего расцвета популярной музыки; для многих других это было время, когда весь мир вдруг сразу и основательно поглупел. Для Джона это был период массированного приема ЛСД (позже он говорил корреспонденту «Роллинг стоун»: «Я, наверное, совершил тогда не менее тысячи «путешествий». Глотал это зелье не переставая»), период создания «Сержанта Пеппера» и нового увлечения мистицизмом во всех его формах. В том же году он превратил сквозную тему своей песни «Тройка слепых мышей» («Three Blind Mice») во всемирный гимн, который точно отразил настроение того момента — «Вам нужна лишь любовь» («All You Need Is Love») — и был впервые исполнен «Битлз» перед более чем 150-миллионной аудиторией на первом межконтинентальном концерте «Наш мир», переданном через спутник связи.

Тысяча девятьсот шестьдесят седьмой был также годом неуловимых, как ртуть, изменений в любовных отношениях публики с «Битлз» — от слепого обожания к истерическому поклонению, потом к удивлению и недоумению и, наконец, к открытому презрению после катастрофического провала их телефильма «Волшебно-таинственное путешествие».

Но больше всего 1967 год будет помниться своим Индийским летом[32], когда в одночасье в крупных городах мира появилось несметное число хиппи, увешанных бусами и колокольчиками, одетых в экзотические наряды и явно паривших в облаках марихуаны, которые плыли от поп-фестиваля в Монтерее до Сан-Франциско, а оттуда через всю Америку, Европу и Азию к подножию гор в Непале. Это был причудливо расписанный караван грез, кочующий вокруг света под аккомпанемент музыки, созданной взлетом творческой фантазии «Оркестра Клуба одиноких сердец под управлением сержанта Пеппера»[33]. В 1963 году появление «Битлз» изменило курс

---

[31] Использованы слова двух песен: «Битлз»: «Один день из жизни» («A Day in the Life») и «Я — Морж».

[32] Здесь двойной смысл. Indian Summer — Индийское лето — назвали золотую осень (русское «бабье лето») первые переселенцы из Европы в Америку. Согласно русской традиции, следовало бы перевести как «индейское лето», но по-английски двойной смысл заложен именно в одинаковом написании.

[33] Полное название битловского диска: «Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band».

развития рок-музыки; теперь, в 1967 году, рок-музыка получила аттестат зрелости с отличием, когда ленноновские словесные выкрутасы и черный юмор карикатур перешли из его книг на пластинки, в песни, ошеломляющие своими сюрреалистическими образами, и, как пещера Аладдина сокровищами, наполненные аллюзиями и иллюзиями.

К весне 1967 года Джон Леннон поселился в безумно дорогом, роскошно отделанном в стиле «тюдор» поместье Сейнт-Джорджиз-хилл в Уэйбридже, графство Суррей, и стал тем, кого он всегда презирал и всегда будет презирать, — деревенским домоседом. Ему было двадцать шесть лет, он был одним из самых знаменитых людей, которые когда-либо жили на свете, он снялся в трех фильмах, опубликовал две книги и написал несколько всемирно известных песен; для всех, кроме собственного казначея, он был необыкновенно богат. Но его все сильнее и сильнее одолевала скука. Слава и богатство купили ему время, но за это поместили его в чуждую культурную среду. В годы гастролей сесть и подумать было некогда. Теперь же почти ничего не оставалось делать, кроме как сидеть и думать. Мрачная тональность его песни «Нигдешний человек», написанной еще два года тому назад, сейчас точно соответствовала его настроению. Он стал «настоящим нигдешним человеком, что сидит в своей Нигдешней стране и строит всякие нигдешние планы для никого». В каком-то смысле он уходил в былое одиночество детских лет. Ринго Старр, живший в то время по соседству, чуть ниже по склону холма, рассказывал: «Иногда я поднимаюсь к Джону поиграть в его игрушки, а иногда он спускается ко мне поиграть в мои».

Весной того года вышла пластинка сразу с двумя «ударными» вещами: на одной стороне была песня «Пенни-лейн» («Penny Lane»), написанная в основном Полом, а на другой «Земляничные поля навсегда», созданная Джоном. И хотя обе песни были построены на воспоминаниях детства, их содержание и смысл резко отличались друг от друга. Пол всегда любил вплетать в свои песни какие-нибудь сюжеты, в данном случае — рассказ о пожарнике, о парикмахере, о цветочнице. А Джон теперь погружался в звуковые потоки сознания. В «Земляничных полях» очень много почти бессмысленных строк, но зато одна строка выступает, словно лезвие бритвы из болотной тины словесных выкрутасов, виолончельных всхлипов и рваных ритмов. «Жить удобно, глаза закрыв, все понимая наоборот», писал Джон перед тем, как погрузиться в мир галлюцинаций.

Позже, пытаясь объяснить, как зарождались «Земляничные поля», он рассказывал о школе Армии спасения, которая была расположена позади дома тети Мими на Менлав-роуд в Ливерпуле и куда в детстве он любил ходить слушать оркестр, играющий на поляне для участников различных празднеств; закончив рассказ, он начинал объяснять скрытый смысл своей неловкой от застенчивости поэзии.

Нельзя, однако, исключать и того, что он, как и очень многие поэты, просто поддавался соблазну прочитывать потом в своих стихах нечто большее, чем было в них заложено с самого начала. И хотя одна половина Джона высмеивала старания критики поднять оценку его творчества на более высокий интеллектуальный уровень, другая половина — несостоявшегося интеллектуала — была этому рада.

Почти всю весну и начало лета 1967 года заняло производство и выпуск альбома «Сержант Пеппер». Как всегда, деловитым и энергичным проявил себя Пол, однако в этом альбоме именно песни Джона и созданные им образы опрокинут все привычные представления и вызовут восторг критиков. Впрочем, к тому времени в отношении публики к «Битлз» произошел значительный сдвиг. Теперь уже и Пол признался журналистам, что пробовал ЛСД, а Джон своей строкой в песне «Один день из жизни» «Мне хотелось включить[34] тебя» встретил повсеместно осуждение людей самых разных возрастов, увидевших в нем Крысолова, заманивающего детей наркотиками.

Оглядываясь назад, можно, пожалуй, сказать, что беспокойство публики имело основания — по крайней мере наполовину. С тех пор как истеблишмент тесно прижал «Битлз» к своей груди, каждая их выходка праздновалась в прессе как еще один пример экстравагантности четверки длинноволосых любимчиков; молодежь всего мира призвали обратить внимание на их трудолюбие, на их пахнущую шампунем опрятность и внешнюю приличность. Поэтому, когда та же четверка молодых людей, выходящих из-под контроля Брайана Эпстайна, решила говорить сама за себя и на глазах у публики утверждать свой собственный стиль жизни, многим этот стиль показался весьма сомнительным, и улыбки, которыми их повсюду встречали и которые для «Битлз» за последние пять лет стали единственной картиной мира, были уже не столь приветливы.

С моей точки зрения, «Сержант Пеппер» не был лучшим созданием «Битлз», но время его появления, поразительное предвидение ими перемен в настроениях публики сделали этот диск вехой в истории поп-музыки — отметкой, с которой каждый музыкант мог начать прокладывать свой собственный курс.

Песни этого диска раскрыли новые просторы видения в творчестве Джона и Пола. И как бы Джон ни отшучивался от похвал своей песне «Для бенефиса мистера Кайта» («Being for the Benefit of Mr.Kite»), называя ее ворованной добычей,— все до единой строчки было списано со старинной афиши, увиденной им в антикварном магазине, — в глубине души он гордился своей способностью превращать нечто абсолютно несуразное в очень умную, поэтичную песню, а ту антикварную афишу, помещенную в рамку, сначала повесил на кухонной стене уэйбриджского дома, а потом на

[34] To turn on — в данном случае имеет жаргонное значение: привести человека в состояние наркотического опьянения.

стене дома в Титтенхёрст-парке, в Эскоте.

В то время даже самые доброжелательные и симпатизирующие «Битлз» обозреватели (в том числе автор этой книги) довольно скептически восприняли утверждение Джона, что заглавные буквы в строчке «Люси на небе в алмазах» («Lucy in the Sky with Diamonds») не имеет никакого отношения к ЛСД и что песня на самом деле написана под впечатлением картинки, которую принес из детской группы четырехлетний Джулиан. Однако упорство, с которым Джон все последующие годы настаивал на том, что произошло абсолютно случайное совпадение, в конце концов достигло цели. На этом диске песни Пола «Когда мне будет шестьдесят четыре», «А друзья мне немного помогут» («With a Little Help from My Friends») и «Она уходит из дома» («She's Leaving Home») были сильнее своей мелодией и юмором, и все-таки самой новаторской была песня Джона (средняя часть сделана Полом) «Один день из жизни». Текст ее — это в основном надерганные из газеты «Дейли мейл» строчки и намеки на участие Джона в фильме «Как я выиграл войну», но вся аранжировка в целом производит впечатление почти экклезиастского красноречия. Лично для меня — это самая представительная из всех работ «Битлз», идеальное слияние двух отдельных, но равных вкладов Леннона и Маккартни.

Когда в мае того года «Сержант Пеппер» был выпущен в свет, на радиостанциях возник небывалый ажиотаж и борьба за право первыми передать его в эфир. Несмотря на гладко обтекаемую рецензию в «Нью-Йорк таймс», диск имел потрясающий успех. Рок-музыка овладела новой грамотой. Под музыку из «Сержанта Пеппера» нельзя было танцевать: надо было просто слушать. «Слушай слова, парень», — настойчиво повторял Леннону три года тому назад Боб Дилан, проигрывая для него гибкую пластинку со своими самыми новыми в то время песнями. «А я никогда не слушаю слова», — отвечал Джон. Наверное, он немного лукавил, но тем не менее действительно особого внимания на текст обычно не обращал. Теперь же оказалось, что он не только слушал стихи: он умел писать их, и они были лучше, остроумнее, более выстраданными, чем все то, что писали его современники. Он уловил в них гедонизм того Индийского лета, проходившего под лозунгом «власть — цветам», и запечатлел все это на черной пластмассе. И сегодня всякий раз, когда заводят «Сержанта Пеппера», сразу же всплывает одно и то же воспоминание — Индийское лето 1967 года.

В то лето казалось, что Лондон с каждым новым днем становится все больше и больше похожим на индийский базар. Если бы кто-нибудь сказал тогда, что в Гайд-парке под апельсиновым небом растут мандариновые деревья, разве нашелся бы хоть один человек моложе тридцати лет, который бы в этом усомнился? На улицах, в метро стоял звон колокольчиков, девушки улыбались, меняя, как в калейдоскопе, выражения глаз, — и никто не осмеливался спросить, чему они улыбаются, цветочная торговля переживала никогда ранее не виданный бум. Ну а вершина всего этого — хихикающий гуру, более известный под именем (хотя и не вполне точным) Махариши Махеш Йоги, который прочел в отеле «Хилтон» серию лекций о благодетельном воздействии его уроков трансцендентальной медитации.

И вот однажды по предложению Джорджа Харрисона Джон и Пол, захватив с собой брата Пола, Майка Макджизра, отправились на уик-энд в Бэнгор, в Северный Уэльс, послушать мудрое слово святого человека.

Теперь уже никогда нельзя будет выяснить, как глубоко удалось Джону и его друзьям проникнуть в смысл учения Махариши: в воскресенье вечером их курс медитации был грубо прерван. Брайана Эпстайна нашли мертвым в его лондонской квартире. Он умер от колоссальной дозы снотворного. Никакой особой загадки вокруг его смерти не было. Следователь, занимавшийся этим делом, пришел к выводу, что имел место несчастный случай. И все-таки его смерть была симптоматична для тогдашнего состояния дел в группе. Уже несколько месяцев Брайан чувствовал себя все более и более отстраненным от повседневной жизни «Битлз». Никто, например, не пригласил его провести уик-энд с Махариши. Кончились поездки, и он понял, что «Битлз» в нем как в антрепренере больше не нуждаются. Им теперь был необходим энергичный бизнесмен, а в этой роли Брайан никогда особых успехов не проявлял. Одиночество, вызванное, с одной стороны, его гомосексуализмом, а с другой — тоскливым чувством своей ненужности, привело к мучительной бессоннице и депрессии.

Когда «Битлз» уезжали в тот воскресный вечер на машинах из Бэнгора в Лондон, набежавшие репортеры, естественно, желали узнать их первую реакцию, и надо было видеть искаженное мукой лицо Джона Леннона, растерянно щурившегося в телевизионные камеры. Он выдавил из себя несколько банальных фраз, вроде того, что не может поверить в случившееся, но в глубине души, как он потом признавался, испытал страх. Через несколько лет он скажет корреспонденту «Роллинг стоун»: «Я уже тогда знал, что дела наши плохи. И не тешил себя никакими иллюзиями, будто мы способны делать что-либо другое, кроме как играть и петь. Я думал: все. Это п...ец».

Что бы там ни чувствовал Брайан Эпстайн в состоянии депрессии, Джон знал: он все еще был нужен «Битлз». Нужен его успокаивающий и примиряющий стиль управления, которым он держал их вместе, спасая друг от друга.

В октябре состоялась премьера фильма «Как я выиграл войну», встреченного в общем хорошо, хотя большинство критиков признало, что игра Джона оставляла желать лучшего. Его, по-видимому, это не задело. Он уже давно решил, что актерская профессия для него в тягость, и ни в каком фильме сниматься больше не собирался. Интерес к данному фильму зажгла в нем сама тема: это была стопроцентная антивоенная комедия. «Я ненавижу войну, — говорил он. — Если она опять начнется, я

не пойду воевать и постараюсь убедить всю молодежь, чтобы она тоже не шла. Ненавижу все это брящание оружием...» Через два года он примется усиленно проповедовать эти взгляды.

В ноябре вышла пластинка с музыкой из битловского фильма «Волшебно-таинственное путешествие». Сюда вошла песня Джона «Я — Морж» —еще одна прогулка по плутающей в галлюцинациях тропинке, проложенной в «Земляничных полях»,— песня, составленная из слов и случайных строчек, записанных в разное время на клочках бумаги в предыдущие полтора года, музыкально основанная на завываниях и ритмических фазах полицейских сирен и начинающаяся пронзительным обвинением: «Я — это он, как ты — это он, как ты — это я, все вместе мы, значит. Смотри, как бегут, как свиньи бегут, как от пули летят, как я плачу». Это был апофеоз его заколдованности ЛСД. Если читать текст песни буквально, в нем нет никакого смысла. Но двухтонные заклинания и молебствия каких-то зловещих существ в сочетании с отвратительными и часто уродливыми образами производили довольно внушительное впечатление.

От этих образов, взятых в целом, делалось действительно не по себе, но Джону было бы еще больше не по себе, если бы он в то время понял, что отождествление себя с Моржом имело прямо противоположный его намерениям смысл. Он сделал героем песни персонаж любимой им в детстве истории — «Легенды о Морже и Плотнике» из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Ему не было известно, что Кэрролл в этой легенде хотел дать аллегорию капитализма (Морж) и социализма (Плотник). Отождествив себя с Моржом, Джон Леннон выбрал не того героя.

В Великобритании «Волшебно-таинственное путешествие» было показано Би-би-си в черно-белом варианте в самое лучшее телевизионное время на святках 1967 года. Реакция как критиков, так и публики была уничтожающей. Никто просто ничего не понял. Все эти месяцы люди предвкушали удовольствие посмотреть веселое, озорное представление любимых мальчиков, без которого рождественские праздники были бы неполными. А вместо этого они увидели нечто сумбурное и устрашающее.

Джон на критику никак не откликнулся. Он предоставил Полу взять всю вину на себя, а позже признался, что получил от этого большое удовольствие. Ведь фильм был в основном детищем Пола. А Джон Леннон к Рождеству 1967 года уже нашел новый интерес в жизни, и это стало для него важнее любой славы, фильмов, стихов, искусства и даже музыки. Ее звали Йоко Оно, и все последующие тринадцать лет будет трудно думать о нем без нее.

Йоко — дитя океана[35]

В оценке Йоко Оно существует две исходные позиции. Для некоторых людей, главным образом старых друзей Джона, это ведьма, околдовавшая самого активного Битла и превратившая его в собственное, слегка сдвинутое зеркальное отражение; она увела его от друзей, от остальных Битлов и заманила в свой мир авангардистской «лажи». Для других — в основном тех, кто знал их обоих уже вместе, — она оказалась именно таким другом и товарищем, который был ему нужен. А истина лежит посередине: Йоко д е й с т в и т е л ь н о с самого начала упорно добивалась Джона и д е й с т в и т е л ь н о сделала его счастливым. За исключением «потерянного уик-энда» — восемнадцати месяцев в период между 1973 и 1975 годами — они прожили вместе почти тринадцать лет, то есть почти столько же, сколько он был с «Битлз». А если судить по обращенным к ней любовным песням из последнего альбома «Двойная фантазия» («Double Fantasy»), где каждая его песня чередовалась с ее песней, обращенной с любовью к нему, то не приходится сомневаться: Джон был так же одержим ею перед смертью, как и за десять лет до этого, когда Йоко была самой поносимой женщиной в мире.

Для многих Йоко Оно была и остается абсолютной загадкой. Джона всегда привлекали нонконформисты, а в этом качестве мало кто мог тягаться с Йоко и мало кто мог проявить такую многосторонность личности. Она родилась под знаком Водолея (важная для Йоко деталь) в 1933 году и была старшей дочерью управляющего одним из токийских семейных банков. Ее мать всегда мечтала стать художницей, а стала просто светской дамой — хозяйкой дома. Семья была богатой и влиятельной (отец почти всю вторую мировую войну провел в Индокитае или в Париже), а девочка была не по летам развитой. Мать исповедовала буддизм, отец христианство; гувернантка помимо обычных школьных уроков занималась с Йоко изучением Библии, священных буддийских книг и японской культуры, а также каллиграфией и музыкой.

«Я была вроде домашнего животного, которого кормили информацией,—говорила потом Йоко.—Они хотели, чтобы я стала пианисткой, и мой отец все время измерял, как широко я могу раздвинуть пальцы. Он сам мечтал быть пианистом и сожалел, что из него получился банкир. Я ненавидела образование, особенно музыку, и иногда, чтобы избавиться от занятий, притворялась, что теряю сознание. Они были очень строги со мной. Я выросла в вере, что Бог видит все, и должна была признаваться матери не только в своих дурных поступках, но и в дурных мыслях. Я никогда не заходила так далеко, чтобы читать комиксы, но помню, когда мне было восемь лет, я пробиралась в кабинет отца и читала взрослые книги, например, «Вишневый сад» Чехова. Ничего непристойного, разумеется, в этих книгах не было, но мать заставила меня признаться, и это было ужасно. Потом, когда я стала старше и получала письма, мать всегда читала их до конца. Если письмо было от поклонника, она обвиняла меня в распущенности и в вольных мыслях».

Когда Йоко исполнилось восемнадцать лет, семья переехала в Нью-Йорк, где ее дядя представлял Японию в ООН. Еще в

[35] Слова «дитя океана» взяты из песни «Джулия».

детстве она любила сочинять стихи и пьесы; теперь, поступив в колледж Сары Лоренс, чтобы изучать философию («все остальные девушки думали только о том, как бы выйти замуж за гарвардского выпускника»), сразу же села за свою первую книгу. Она называлась «Грейпфрут» и представляя собой сборник абстрактных наставлений, вроде таких: «Представь себе истекающие каплями облака. Вырой яму в своем саду и положи их туда... или: «Представь себе, что золотую рыбку выпустили плавать по небу». Много лет спустя Джон позаимствует это «представь себе» для песни, которую он будет считать самой прекрасной своей песней.

Все это, конечно, происходило в начале пятидесятых (книга «Грейпфурт» была закончена и опубликована только в 1964 году), когда Джон еще учился в школе. В течение нескольких лет Йоко безуспешно пыталась пробиться в Нью-Йорке как художник: никто не брался ни публиковать, ни выставлять ее работы. Потом, уже в двадцатипятилетнем возрасте, она встретила японского музыканта Тоси Итиянаги и вышла за него замуж. Невеста оказалась девственницей. Тогда были другие времена, говорила она потом.

Брак, в котором всем командовала Йоко, продержался лишь несколько, в целом несчастливых, лет. Она задыхалась в чинной обстановке добропорядочности и начала заводить любовные связи на стороне. В конце концов она предложила своему молодому мужу вернуться в Японию, что он и сделал.

Вскоре после этого Йоко приняла решение: поскольку никто не собирается открывать ее как художника, ей придется сделать это самой. Она сняла чердак, превратила его в студию и начала раз в две недели устраивать хэппенинги.

Случилось так, что эти хэппенинги увидели Джон Кейдж, Пегги Гугенхайм и Макс Эрнст [36], после чего ей предоставили возможность устроить персональную выставку в одной из галерей на Мэдисон-авеню, где публике, в частности, предлагали поджечь картину (чаще всего чистое полотно) и смотреть, как расползается на ней дым. Теперь, когда авангардистские круги художников наконец обратили на нее внимание, она дала концерт в Карнеги-холле и выступила с чтением своих стихов по канадскому радио.

В 1961 году Йоко вернулась в Японию. В состоянии депрессии, вызванной одиночеством и убийственной рецензией на ее работы, она пыталась покончить с собой, и ее положили в психоневрологическую клинику. Однажды ее бывший муж пришел туда к ней со своим другом, молодым американским кинодеятелем Тони Коксом. Между Йоко и Тони начался роман, и как только она вышла из больницы, они поженились. На следующий год Йоко родила

Джон и Йоко.

первого ребенка, дочь, которой дали имя Кионо.

Первая встреча Йоко и Джона, определившая их судьбу, состоялась в ноябре 1966 года на выставке, которую Йоко устраивала в галерее «Индика» в лондонском Вест-энде. «Индика» была одной из тех многочисленных художественных галерей, которые появились, как грибы после дождя, в процветающем Лондоне середины шестидесятых годов. Джон был приглашен на предварительный осмотр выставки и, так никогда и не вспомнив почему, решил принять это приглашение. В середине зала стояли две раскладные лестницы. По одной из них Джон взобрался на самый верх. На потолке висело полотно с каким-то словом, написанным крошечными буквами, рядом была прикреплена лупа. Джон прочел: «Да». И почувствовал в этом абсолютно положительный смысл. Когда он спустился вниз, то увидел плакат с надписью: «Забей гвоздь». Он спросил у Йоко, можно ли, но она ответила «нет», так как выставка официально открывалась только на следующий день. В этот момент к ним подошел хозяин галереи Джон Данбар, который был когда-то женат на певице Марианн Фейтфул, и посоветовал Йоко разрешить Джону забить гвоздь: ведь Джон — миллионер и поэтому потенциальный финансовый покровитель. Йоко на это ответила, что так и быть, за пять шиллингов пусть забивает. «О'кей,— сказал Джон,— тогда договорились: я даю вам воображаемые пять шиллингов, если вы разрешите мне забить воображаемый гвоздь».

Йоко нашла родственную душу. Позже она рассказывала: «Когда мы с Джоном встретились, я жила со своим вторым мужем, Тони, но в тот момент сразу же подумала: вот человек, с которым я бы не прочь завести роман. Все было так славно и приятно, он показался таким восприимчивым, таким выдумщиком. Я потом долго помнила каждую деталь нашего разговора, хотя и не поняла тогда, что это Джон Леннон.

[36] Джон Кейдж (р. 1912) — американский композитор-авангардист. Пегги Гугенхайм (р. 1910) — член семьи известных американских меценатов. Макс Эрнст (1891—1976) — немецкий художник, один из основоположников дадаизма. С 1941 г. жил в США.

Конечно, я знала про «Битлз», но до этого я слышала об Элвисе, вся эта публика меня не интересовала».

Следующий лондонский хэппенинг Йоко назвала «Танцевальным номером». К этому времени она взяла за правило почти каждый день посылать Джону по почте открытки с наставлениями: «Дыши», или «Стукнись головой об стену», или «Смейся целую неделю». Джон был заинтригован. Таких, как Йоко, он никогда еще не встречал. Она дала ему прочесть свою книгу «Грейпфрут», и он с тревогой стал замечать, что испытывает все возрастающее влечение к этой странной восточной женщине, старше его на семь лет, которая считала, что ее работа так же важна, как его, и требовала, чтоб к ней относились как к равной. Однако их отношения оставались чисто платоническими.

В 1968 году Джон и остальные «Битлз» отправились в медитационный институт Махариши в Ришикеше у подножия Гималаев. На какое-то время Джон даже загорелся идеей пригласить и Йоко, но в конце концов у него все-таки не хватило нахальства взять ее вместе с Синтией. Это сочли бы странным. Ничуть не обескураженная Йоко продолжала посылать ему свои наставления в течение всего месяца его пребывания у Махариши.

Вернувшись домой из Индии, Джон позвонил Йоко и пригласил ее к себе в гости. Синтия уехала в Италию, а муж Йоко находился на юге Франции. «На мне было платье пурпурного цвета, — рассказывала Йоко,— Джон потом сказал, что это был добрый знак, так как пурпурный цвет имеет весьма положительные свойства. Вначале мы очень стеснялись друг друга. То есть, он не мог так вот просто сказать: ладно, давай приступим к делу. Поэтому он сказал, что мы можем или подняться в студию и заняться музыкой, или остаться внизу и беседовать».

Они поднялись наверх и стали манипулировать с записывающей аппаратурой Джона. В результате получился вышущенный потом диск «Два девственника» («Two Virgins»). «Закончили мы очень-очень поздно. И вот тогда занялись любовью прямо в студии».

После этой ночи Джона и Йоко практически никогда не видели врозь в течение почти шести лет. Брак Джона с Синтией на этом закончился. А баллада о Джоне и Йоко только начиналась. Дни «Битлз» были уже сочтены.

В течение всех последующих лет люди задавались вопросом: «Что он в ней находит?» Обычно считают: если знаменитость уходит от жены и от детей, то только ради какой-нибудь немыслимой красавицы, обладающей неотразимой женственностью. А Йоко, хотя и не была дурнушкой, не отличалась ослепительной красотой. От нее исходило спокойствие и умиротворение, но это вовсе не была Кэндис Берген [37], и когда они впервые встретились, Йоко, судя по всему, не проявляла никакого интереса к туалетам, носила черный свитер, черные брюки и белые спортивные тапочки. Но для Джона она была красавицей. Она была единомышленником. Они с первого же момента замкнулись на единой волне, и чем больше оскорблений сыпалось на Йоко, тем шире Джон раскидывал над ней свой рыцарский защитный плащ.

Во многих отношениях это была старомодная романтическая пара, а с другой стороны — пара, которая не брезговала наркотиками (пробовала даже нюхать героин) и эпатировала публику своими чудачествами, неистовой жаждой выставлять себя на всеобщее обозрение. И тем не менее это все-таки была идеальная пара.

Возможно, для Джона единственной и самой привлекательной особенностью Йоко тогда, в 1968 году, было то, что она оказалась безусловно первой женщиной за последнее пятилетие, не состоявшей в рядах поклонниц «Битлз». Она, конечно, знала про их хиты, но не имела никакого представления, кто из них какую песню сочинил, кто что пел. Даже спустя несколько лет она безо всякого смущения заявила: «Кое-какие вещи Джона я до сих пор не различаю. Так же, как он не знает некоторых моих песен». Она и в самом деле считала, что это одно и то же.

От «Смазливой Сэди»[38] до «Двух девственников»

Преображение Моржа беспокоило не только его поклонников, но и всех остальных Битлов. Пора было готовить новые записи, однако с появлением Йоко прежний легкий и свободный диалог Джона и Пола закончился. Когда летом 1968 года Пол, Ринго и Джордж собрались в студии на Эбби-роуд, они вдруг обнаружили, что их, Битлов, стало пять. Раньше, когда кто-либо из ассистентов начинал вести себя, с их точки зрения, не по рангу, их реакция была мгновенной и безжалостной. «Между прочим, Битлов только четверо»,— ставили они на место зарвавшегося сотрудника: кастовая система в их империи сохранялась строго. Теперь, начав работать над песнями, сочиненными в Индии, они увидели перед собой Йоко, которая сидела за пультом, слушала все, что происходит, и время от времени не только делала непрошеные замечания, но еще и критиковала. Никто из их подруг или даже жен никогда не проявлял такую безрассудную смелость. Когда Йоко впервые пришла к ним на запись, ее удивило и разочаровало ритмическое однообразие, присущее почти всей рок-музыке, и Джон потом говорил, что он впервые почувствовал стыд за то, что делает. Йоко уже стала неотъемлемой частью его жизни

[37] Кэндис Берген (р. 1946) — известная американская киноактриса, образец прекрасной женственной блондинки.

[38] «Sexy Sadie» — труднопереводимое название песни (по прозвищу ее героини). Если «sexy» — общепринятая характеристика сексуально-привлекательного человека, то слово «Sadie» придумано Джоном Ленноном и означает что-то вроде «грустнушки». Этим прозвищем Леннон назвал Махариши, и Р. Коннолли здесь, конечно, имел в виду именно Махариши, а не героиню песни.

(включая работу в студии), от чего остальные Битлы пришли в гнев и замешательство.

Понять обе стороны не представляет никакой трудности. Для Пола, Джорджа и Ринго «Битлз» — это они четверо, они создают музыку. Так было всегда, поэтому им был невыносим чужой и, как они подозревали, критический взгляд, ведущий за ними постоянное наблюдение. А для Джона и Йоко все устроилось наилучшим образом: они хотели быть вместе день и ночь, так у них и получилось. Йоко очень хорошо все объяснила, сказав, что трое Битлов отнеслись к ней как к невестке: в одну прекрасную ночь она легла в постель с парнем, а в следующую ночь над их постелью стояли три деверя.

Отношения между Джоном и Полом испортились навсегда. За год до этого во время работы над «Сержантом Пеппером» они еще помогали друг другу или делали что-то совместно, например «Один день из жизни». Но, начиная с «Белого альбома» («White Album») и дальше, каждый из Битлов был уже сам по себе. Они перестали вместе писать, перестали вместе петь. Их товарищество прекратило свое существование. Гармония ушла в прошлое. Джон и Пол теперь создавали и записывали песни каждый по отдельности, используя остальных членов группы лишь как музыкантов сопровождения.

Отчасти их соперничество объяснялось тем, что, каковы бы ни были между ними различия, оба сочиняющие Битла, да и Джордж тоже, находились в расцвете своих творческих сил и в их общих альбомах уже просто не хватало места для песен.

Еще не пройдя марафонскую дистанцию в работе над «Белым альбомом», Битлы успели выпустить новый сингл с этикеткой своей собственной компании «Эппл». На титульной стороне была записана песня Пола «Хей, Джуд» («Hey, Jude»), а на оборотной — «Революция» («Revolution») Джона. Пластинка распродавалась с рекордной быстротой. Мелодия «Революции» была незатейливым роком, зато слова ни у кого не могли вызвать сомнения относительно политических позиций Джона и его отношения к студентам-революционерам, которые в 1968 году вышли на улицы Европы. Джон мог быть сторонником каких угодно движений, но он никогда не был сторонником насилия: решительным несогласием и жесткими, язвительными, с привкусом цинизма словами отвечал он всем тем, кто искал в нем лидера для агрессивных действий; он не собирался стать Крысоловом, заманивающим детей музыкой ненависти. «Когда ты просишь денег для людей, у которых на уме одна ненависть, могу только сказать тебе, братишка: как-нибудь перебьешься»,— так он пел перед тем, как перейти к китайской культурной революции: «Ну, а если с портретами Мао повсюду расхаживать будешь, то и совсем никогда ничего не получишь». Это был не только рок-н-ролл. Это был холодный душ на головы рассерженных молодых людей того времени, с которыми было связано главное слово в газетных заголовках — «революция». Наверное, не этого хотели от него услышать строители баррикад на парижских бульварах, но это в гораздо большей степени отражало взгляды Джона, чем его наивный лозунг «Власть — народу», с которым он поторопится выступить года через два, в пылу увлечения упрощенной лозунговой агитацией.

Тем временем кроме стычек в студии звукозаписи более серьезные битвы разгорелись вокруг имени Леннона. Еще совсем недавно Джон был одним из любимых публикой «пушистых зверюшек». Теперь он стремительно превращается во Врага общества № 1 — легионы солдат истеблишмента выстроились в очередь, чтобы идти на него в атаку. В июне по распоряжению ведомства лорда-гофмейстера (которое в те дни занималось цензурой театральных постановок и выбрасывало все, отдаленно связанное с сексом) подверглась цензуре на основании обвинения в непристойности пьеса Леннона «Сцена третья, Акт первый», поставленная в Национальном театре, а в октябре, после того как Джон и Йоко были преданы суду за хранение марихуаны, антибитловская кампания достигла своего апогея.

Перед зданием суда полиция вынуждена была охранять их от уличной толпы. Но теперь отношения звезды и публики изменились. Когда раньше Джон пробирался сквозь толпу поклонников, у него был самоуверенный, даже немного заносчивый вид, а поклонники истерично рвались к нему, пожирая жадными, восторженными взглядами. А тут Джон, пытаясь защитить Йоко от готовой, казалось, обрушиться на них волны ненависти, стал вдруг выглядеть растерянным и уязвимым. Битл Джон не без помощи полиции и прессы сам разрушал созданный в глазах публики «имидж». И любовь обращалась в ненависть.

В ноябре в городском суде Мерилбоуна Джон признал себя виновным в предъявленном ему обвинении, и по приговору заплатил штраф в сто пятьдесят фунтов, а в палате представителей был между тем сделан запрос о правомерности использования целого отряда из двенадцати полицейских для такой ерундовой операции. Этим дело могло бы и закончиться, если бы не одно важное продолжение. Управление иммиграции Соединенных Штатов использует осуждение Джона Ленинона в качестве предлога, чтобы пять лет подряд отказывать ему в постоянной визе, и только в 1975 году Джон получит иммигрантскую визу, позволявшую ему свободно уезжать и возвращаться в США когда ему будет угодно.

В том же месяце Синтия подала на развод, а Йоко легла в родильный дом Королевы Шарлотты. Пока она там находилась, Джон спал на полу около ее кровати. На следующий день после того, как развод стал юридическим фактом, у Йоко произошел первый, но, к сожалению, не последний выкидыш.

1968 год подходил к концу, но Джон и Йоко успели нанести еще одно крупное оскорбление общественному вкусу, хотя публику, казалось, уже ничем нельзя было удивить. В декабре они выпустили свою знаменитую пластинку «Два девственника», записанную в ту первую их ночь в апреле. Сама по себе эта пластинка ни для кого,

кроме двух влюбленных, не представляла особого интереса, а вот ее обложка вызвала большой шум. На двух ее сторонах были изображены Джон и Йоко, стоящие абсолютно голыми перед объективом фотоаппарата и снятые сзади и спереди.

С позиции сегодняшнего дня это выглядит просто эксцентричной диковиной. Но в те времена, когда театральные критики Вест-энда были потрясены наготой в мюзикле «Волосы» («Hair»), а до «О, Калькутта!» («Oh Calcutta!») было еще далеко, мир стал склоняться к мысли, что Джон Леннон действительно сошел с ума.

Джон встретил неприязнь публики как должное. «Наверное, беда в том, что я испортил свой «имидж», — сказал он.—Люди хотят, чтобы я ходил у них на поводке, хотят видеть во мне паиньку. А я сроду таким не был. Даже в школе звали просто по фамилии — Леннон. Никто никогда не считал меня лапонькой».

Клоун — принц мира!

Образ «борца за мир», который Джон Леннон начал себе создавать в 1969 году, был воспринят в Великобритании с открытой насмешкой, однако в Америке он встретил горячий отклик не только среди молодежи, но и какой-то части людей старшего поколения, возмущенных и напуганных войной во Вьетнаме. Для Великобритании война стала уже историей более чем двадцатилетней давности, студенческие волнения 1968 года охватили в основном Америку и континентальную Европу. И если у себя дома Джон и Йоко своей позицией выбивались из общих настроений, то в Америке их позиция была весьма кстати. Понимая это, они накануне Рождества 1969 года полетели в Торонто (ближайшее к США место, доступное для Джона) и провели насыщенный бурной деятельностью уик-энд, главными событиями которого были участие в телевизионной программе Маршалла Маклюэна [39] и беседа с премьер-министром Канады Пьером Трюдо. А в промежутке Джон обзвонил десятки радиостанций, встретился с Диком Грегори и Маршаллом Маклюэном и даже успел подписать пять тысяч экземпляров своих знаменитых «эротических» литографий.

Когда потом Леннons навсегда покинули Англию, чтобы поселиться в Нью-Йорке, причину такого решения понять было легко. В Соединенных Штатах и Канаде их принимали всерьез и не считали эксцентричными проповедниками. В Великобритании Джон всегда оставался бы «чокнутым» Битлом, выбившимся из своей колеи. В 1969 году поклонники относились к Полу как к «Прекрасному принцу», а Джона боялись и не понимали. Он сам называл себя «клоун — принц мира», но его регалии признавались только в Новом Свете. Там поклонники-студенты, завидев огромный черный лимузин Леннона, спокойно улыбались и складывали пальцы в знак мира. Не было никакой истеричной толпы. А в газетах печатались серьезные, лестные, ученые статьи о нем.

То обстоятельство, что Джон не читал ни строчки из написанного Маклюэном, нисколько не помешало ему принять участие в прямой передаче, идущей на всю страну. «Здрасьте, Маршалл Маклюэн»,— сказал он и стал объяснять, почему в Торонто вдруг повсюду появились огромные плакаты со словами: «Война окончена». Как и все свои затеи, он оплатил эти плакаты из собственного кармана. Ну, а если с финансами придется туго, добавил он, всегда можно сочинить еще несколько песен.

В ходе интервью Маклюэн спросил его о наркотиках, и Джон немедленно ухватился за возможность дать совет молодежи: «Скорость [40] убивает»,— ответил он просто. Пожалуй, это было его первое открытое высказывание против наркотиков.

К концу программы Маклюэн задал давно ожидаемый вопрос о «Битлз». Джон улыбнулся: «Битлз» — как памятник древности. Их надо или переделать, или отскрести».

Это был тот единственный случай, когда Леннон ушел от прямого ответа. Он ведь уже сказал остальным «Битлз» и их менеджеру Аллену Клайну, что покидает группу. Вечером, оставшись наедине с Йоко, он так объяснил свой ответ: «Аллен уговорил меня держать это в секрете, пока не выйдет альбом «Ну и пусть». Тогда я и объявлю».

За несколько дней до Рождества Джон и Йоко имели почти часовую беседу с Пьером Трюдо. Для человека, который всего лишь пять недель тому назад вернул свою медаль Члена ордена Британской империи и тем самым, по общему мнению, оскорбил королеву, это было крупной личной победой. Премьер-министр отнесся к нему с большим уважением. А Джону Леннону впервые понравился человек истеблишмента. Вернувшись в Англию, он узнал, что престижная программа Би-би-си «Сегодня вечером» назвала его «Человеком десятилетия», и был этим весьма польщен. Его начали понимать.

Как это ни парадоксально, первым взял на себя вину за распад четверки «Битлз» Пол, хотя после смерти Брайана Эпстайна он больше всех старался сохранить группу.

Почти шесть месяцев, пока Джон записывал свои пластинки с «Оркестром Гибкой Оно», Пол был в растерянности, не зная, что делать. В конце концов он привез записывающую аппаратуру к себе в дом и создал свой первый сольный диск «Маккартни». За несколько дней до его выпуска он позвонил Джону и сказал, что сделал новый альбом, что он появится на две недели раньше их общего альбома «Ну и пусть» и что он тоже уходит из группы. В заявлении для печати он прямо этого не говорил, но даже намека было достаточно, чтобы газеты всего мира вышли с крупными заголовками: «Пол бросает «Битлз».

---

[39] Маршалл Маклюэн (1911—1980) — канадский социолог и публицист, первым обративший внимание на роль «масс-медиа» в современном обществе, автор знаменитой книги «Конец Гуттенберговой галактики».

[40] Эта банальная сентенция имеет второй смысл: английское слово «speed» — «скорость» — в жаргоне наркоманов употребляется для обозначения амфетамина, сильно возбуждающего наркотика.

Джон был в ярости. Он считал, что, поскольку все началось с него, ему положено и кончать. Он злился на себя за то, что так долго молчал, злился на Пола за явное использование плохо завуалированной сенсации для рекламы своего нового альбома.

Угнетенный стычками между адвокатами, взявшимися за непосильный труд разобраться в финансовом состоянии фирмы «Эппл», сытый по горло доводами и Аллена Клайна, державшего его сторону, и Ли Истмена, выступавшего за Пола, он опять заскучал. И, можно сказать, только и ждал нового Махариши, когда в почтовый ящик его дома в Титтенхёрст-парке была брошена большая книга. Она называлась «Первородный вопль». Написанная американским психиатром Артуром Яновым, эта книга будет путеводителем для семьи Леннонов в течение двух последующих лет. Как только Янов узнал, что Леннонны заинтересовались его теориями, призывающими «назад к младенческому состоянию», он тут же сел в первый попавшийся самолет и прилетел в Эскот, чтобы, пока они не успели изменить свое мнение, убедить их в острой необходимости немедленно приехать в Лос-Анджелес и провести несколько месяцев в его клинике. Они очень быстро дали себя убедить. Газетчики всего мира, гоняющиеся за сенсациями, могли перевести дух: впервые за восемь лет Джон Леннон спрятался от взоров публики. Он нашел новый интерес к жизни.

Первородный вопль героя рабочего класса[41]

Джон Леннон прекрасно сознавал, что «Битлз» сами по себе были, конечно, не символом шестидесятых, а просто наиболее ярким проявлением этого необыкновенного десятилетия. Он понимал, какие социальные и экономические силы сделали возможным их успех, но также хорошо видел и быстрое изменение общественного климата в начале семидесятых годов. Писатель Том Вулф потом язвительно назовет эти годы «Я — Декадой», когда на смену идеализму Вудстока и «власти цветов» пришли нарциссизм и одержимость собственным «я». Но Вулф дал свое определение только где-то в середине десятилетия. А Джон и Йоко заболели одержимостью собственным «я» еще весной 1970 года.

Йоко была своим человеком в мире психологии, но для Джона Артур Янов и его теории «первородного вопля» оказались не только открытием чего-то нового, но и захватывающе интересными. Будучи в основе своей фрейдистом, Янов считал причиной всех неврозов «первичный жизненный опыт», обычно это моменты раннего детства, настолько болезненные, что их невыносимо даже держать в памяти, поэтому пациент «находит утешение в удобном полумире «неврозов». Метод лечения Янова состоял в том, чтобы заставить пациента заново пережить свои первичные боли, осознать их, не прячась, до конца и «начать жизнь, свободную от неврозов».

Курс терапии «первородным воплем» Леннонны начали в Англии, в своем титтенхёрстском доме, а потом, получив временную американскую визу, отправились в Калифорнию, сняли дом в Бельэйре и в течение четырех месяцев проходили курс группового лечения у Янова.

Ну, а пока они пребывали в детстве, адвокаты в Англии занимались разделом состояния «Битлз».

Ко времени возвращения домой в августе Джон уже горел нетерпением поскорее попасть в свою студию звукозаписи, которую ему только что полностью оборудовали в Титтенхёрст-парке. Из Калифорнии вернулся новый, сердитый и агрессивный Леннон, и его «сешнз» отличались теперь силой инструментовки и прямотой словесного выражения. Это был уже Леннон семидесятых годов. Никакой сумятицы образов, вызванных наркотическим опьянением, когда эти образы заменяли смысл, и совершенно никаких изощрений в партитуре, обычных для конца шестидесятых. Вместо этого мы теперь выслушивали откровенные показания о себе. В качестве старта «Я — Декады» Джон Леннон подарил нам свой первый «Я — диск»[42]. Специально для этого случая он создал «Оркестр Гибкой Оно» в составе Ринго, Клауса Вурмена и себя самого. Продюсером стал Фил Спектор.

Когда диск вышел в свет, Джон с нетерпением стал ждать реакции критики, заметно при этом нервничая. Он показал, в каком направлении собирается двигаться дальше, но немного боялся, что из-за его деятельности в последние два года его и теперь не примут всерьез.

Самыми интересными вещами диска были: «Мама» («Мама, у тебя был я, а у меня никогда не было тебя»), «Герой рабочего класса» и «Бог» («God» — литания, в которой он оплакивал все свои прежние верования в магию, в Иисуса, в «Битлз» и которую заканчивал словами: «Я верю только в себя, Йоко и я — вот реальность».

Такое сугубо личное заявление было смелым шагом, и хотя альбом в целом сочли довольно однообразным по содержанию и он не имел такого успеха у критиков, как его следующий личный диск «Представь себе», впечатление было сильным и волнующим. Благодаря яновской терапии в творчество Леннона вошла новая концепция, к которой он будет теперь постоянно возвращаться,— концепция боли.

«Когда я писал «Героя рабочего класса», я думал о той боли и муках, которые испытываешь, стоя на сцене перед публикой: ты хочешь добиться ее любви, а она в глубине души тебя презирает. Она от тебя чего-то требует. Ты поднимаешься на сцену, как тетя Салли, а в тебя бросают что попало. Только идиоты вроде меня поднимаются на эти муки,— в общем, гораздо легче сидеть в зале, разве не так? Во всяком случае страдания, через которые я прошел, добиваясь любви зрителей, дали мне то, что не смогли дать люди,— понимание сути вещей. Я мог бы с таким же успехом быть клоуном, которому бросают в лицо сырые яйца. Часто ли «Битлз» получали удовольствие от

[41] Кроме названия книги Янова здесь использовано название песни Джона Леннона «Working class Hero».

[42] Этот диск назывался «John Lennon/Plastic Ono Band».

своих шоу? Может, раз в... сколько там недель гастролей: все эти разговоры о клубах и гигах... красиво звучат, а на самом деле сплошной кошмар. Одно выступление из тридцати, не больше, доставляло нам настоящее удовольствие, но, чтобы получить его, надо было сперва пройти через все муки ада. Так кем же я был? Прыгающей по сцене блохой. И из этого состояния я вышел с «Героем рабочего класса». Я знаю, что делаю все по собственному выбору и так, как у меня задумано. Я все время подставляюсь под удары в надежде, что меня полюбят,— это как играть перед родителями. Люди вроде меня все начинают с этой огромной потребности в любви. Она больше, чем может дать мне Йоко. Ради чего я сделал этот диск... ради денег или престижа? Для удовольствия? Работать над пластинкой — адский труд. Я полгода сочинял эти песни. Какое там удовольствие! Чертовски трудное дело. Сначала я умираю от нетерпения, рвусь сюда, в студию, и записываю одну дорожку, потом я думаю: «О господи, лучше б не начинал». Это так тяжело. Так трудно. Как статью писать. Садишься с мыслью: «Получится замечательная статья», а после первого же абзаца думаешь: «Едрена мать, на фиг мне все это нужно». Я хочу сказать, что очень, очень устаешь. Ну вот здесь мы с Йоко помогаем друг другу. Обычно у художника есть кто-то рядом, кого он может высасывать до конца. Он говорит: я — так разэтак — художник, где мой обед? Поэтому второй человек должен быть пассивным и спокойным. А Йоко — тоже художник, она помогает по-другому. Этот альбом — мое проникновение в собственную душу. Мне никогда не нравилось писать от третьего лица. Большинство моих лучших песен идут от первого лица. Я люблю писать о себе. В песне «Помогите!» подлинный смысл был потерян, потому что нам нужен был сингл и как можно скорее. Когда я пою, все мои чувства на взводе. Я серьезно — о чем бы я ни пел, я никогда не расслабляюсь. Если я пою «ауп-боб-а-лума-уап-бам-бум», я это и переживаю. Ну, а если к тому же я сам написал слова, то переживаю еще больше. «Помогите!» — была довольно поэтичной песней. Я писал ее в состоянии — хуже не придумаешь. Там все откровенно, как в дневнике».

В июле 1971 года Леннопы приехали домой в Титтенхёрст-парк, чтобы сделать диск, который большинство критиков считает лучшим произведением Джона. Речь идет о пластинке «Представь себе». Щемящая душу тема главной песни, давшей название всему диску, сделает ее, пожалуй, самой любимой изо всех песен Леннона. Она имела колоссальный успех в Англии, когда ее заново выпустили сразу же после смерти Джона. Кроме этой песни на том диске было еще несколько очень выразительных и трогательных вещей: «Ревнивый парень» («Jealous Guy»), «О, моя любовь» («Oh My Love») и «Как?» («How?»). Все песни носили сугубо личный характер, но в данном случае и сам Джон и Фил Спектор решили обогатить звучание «Оркестра Гибкой Оно», пригласив дополнительно несколько музыкантов: Клауса Вурмена с бас-гитарой, пианиста Ники Гопкинса и ударника Джима Келтнера. Все, такие разные, души, обитающие в одном теле, теле Джона Леннона, с выпуском этого диска, казалось сплавились наконец в единое яркое целое. Вот Леннон-философ: «Представь себе — это нетрудно сделать,— нет никаких стран. Не за что умнрать и убивать, нет никаких религий»; Ленион-романтик: «Я стал сомневаться, А вдруг ты уже разлюбила меня, И весь я внутри задрожал». Или Леннон — циничный «словодел» в песне «Ну, хоть капельку не ври» («Gimme Some Truth»): «Ни один усато-волосатый, желтюбрюхий брюкин сын не смамит-папит меня так вот просто мыльно-пыльно держи-карман-шире надеждой». Ну и, наконец, Леннон — в истерической атаке на Пола: «Как тебе спится?» («How Do You Sleep?»). Здесь его острый как бритва юмор оборачивается злобностью: «Все, что ты сделал, было вчера. Но как только ты ушел, ты стал еще одним прошедшим днем» [43]; и дальше: «Тот звук, что ты создал, как фон вполне годится. Пожалуй, кой-чему сумел ты научиться». Джон утверждал, что это был его ответ на упоминание о нем в диске Пола «Овен» («Ram»), но такая злая реакция никак не соответствовала поводу, и он сам потом это признал: «У меня был период, когда я, стараясь подначить Пола на сочинение музыки, писал и говорил такие вещи, которые, как я думал, могли бы подстегнуть его честолюбие. Но, судя по всему, меня понимали иначе. В таком же духе я написал «Как тебе спится?». Наверное, это было немного жестоко по отношению к нему. Но так я был настроен, когда сочинял эту песню».

В сентябре 1971 года Джон Леннон появился на экране телевизора по каналу Би-би-си в одной из субботних бесед Майкла Паркинсона, после чего Леннопы неожиданно и бесшумно уехали нз Англии. На этот раз насовсем. Никакого «кардинального» решения не было. Просто Леннон сбросил с себя еще одну кожу. Сначала они, конечно, собирались когда-нибудь вернуться и какое-то время в Титтенхёрст-парке оставался даже обслуживающий персонал, но постепенно все нужные нм личные вещи были отправлены в Нью-Йорк. Закончился еще один этап жизни Джона Леннона. После того как он уехал из Ливерпуля, он никогда не испытывал желания вернуться назад; когда он покидал свой дом в Сейнт Джорджиз-хилл, там оставались все дорогие памятные вещи. Теперь он бросал дом, который будет потом оценен в сумму свыше миллиона фунтов. Он просто потерял к нему всякий интерес, хотя там еще продолжались отделочные работы и только что закончилось строительство искусственного озера.

Еще несколько месяцев тому назад они с Йоко показывали гостям ковер, специально выписанный ими из коммунистического Китая. Теперь забыт был и ковер. Так же как раньше ему надоели «Битлз», так теперь ему надоела Англия. В Нью-Йорке его восприняли серьезно, увидели в нем богатого, свободно мыслящего художника, а не

[43] Обыгрывается название двух песен Пола: «Вчера» и «Еще один прошедший день» («It's Just Another Day»).

свихнувшегося Битла. Нью-Йорк предложил ему попробовать себя как новую личность и испытать новую свободу. В этом космополитическом городе и Йоко было легче найти признание. Когда через восемь лет его спросят, почему он не возвращается в Англию, он ответит, что когда-нибудь вернется, что Англия никуда от него не денется. Она всегда будет на месте, когда бы он ни решил возвратиться.

Нью-Йорк

Интеллектуальные игры в городе Нью-Йорке[44]

К тому времени, когда Джон Леннон поселился в Нью-Йорке, он уже вкусил прелесть свободы, которую давала ему роль антигероя. «Битлз» для него стали частью истории. Та жизнь кончилась навсегда. В тридцать один год он как бы снова оказался юным студентом-художником. Ему хотелось делать все то, чего ему не хватало, что он пропустил, пока был узником битловской раковины. Он хотел встречаться с людьми, которые не имели отношения к музыке, стремился попасть в богемный мир художников, поэтов и «подпольных»[45] политических активистов.

В конце 1971 года Леннноны сняли двухкомнатную квартиру-студию в Гринич-виллидж, где принимали журналистов и «подпольных» politicos[46], не вылезая из своей огромной антикварной кровати. Хотя, будучи Битлом, Джон всегда говорил, что не интересуется политикой, он всегда при этом агал. Его очень интересовала политика и система классовых отношений, но как всякий дилетант он быстро загорался и так же быстро остывал: ему надоедали политический жаргон и многословие, свойственные политике. В этот период он создал бесспорно худший свой диск — некое крошево из лозунгов под названием «Как-то в городе Нью-Йорке» в сопровождении оркестра под названием «Слоновья память» («Elephant's Memory»). Было обидно, вместо искрометного юмора и игры слов — скучная риторика.

Но хуже всего было то, что Джон позировал. Уловив настроения в обществе, но, не переварив как следует их причин, он поспешил высказаться, кидая направо и налево все возбуждающие эмоции слова того времени: «концлагерь», «свиньи»[47], «геноцид».

Однако, если музыка заблудилась, сердце было там, где нужно: летом 1972 года он и Йоко дали два благотворительных концерта в Мэдисон-сквер-гарденз в пользу детских инвалидных домов. Подсчитано, что в 1972 году Леннноны отдали на благотворительные цели 700 000 фунтов стерлингов.

Между 1972 и 1975 годами газетные заголовки, имеющие отношение к Джону Леннону, чаще всего касались перипетий его борьбы с иммиграционной службой США. Чтобы вышвырнуть его из страны, федеральные власти в качестве формального предлога использовали его осуждение в 1968 году за хранение марихуаны, но меры, которые в связи с этим предпринимались, не шли ни в какое сравнение с тем мелким преступлением, которое он совершил.

Но Леннон на то и Леннон, чтобы не сдаваться без длительной, упорной борьбы в судах различных инстанций, а Америка на то и Америка, чтобы именно это ему и пришлось сделать, потратив около полумиллиона долларов.

В 1972 году Джон, участвуя в телешоу Дика Каветта, заявил, что против него существует заговор: он чувствует за собой постоянную слежку, а телефон его прослушивается. Все это звучало тогда мелодраматично и казалось абсолютно невероятным. И тем не менее это было почти на сто процентов правдой. Как продемонстрировал потом Уотергейт, паранойя никсоновской администрации не знала предела.

Четыре года неопределенности положения Джона в США произвели разрушения в его личной жизни. Вся эта ситуация оказалась для него вроде ловушки. Он понимал, что, если хоть на один день уедет из Америки, назад ему уже никогда не вернуться. Проблемы громоздились одна на другую, усиливая напряжение. Пора было заняться новым диском, но он не испытывал особого вдохновения. В результате появились «Интеллектуальные игры», которые были намного лучше, чем «Как-то в городе Нью-Йорке», но и им не хватало мелодий и остроумия. Успех был умеренным. Джон начал испытывать беспокойство: он вдруг увидел, что не может создавать хит-пластинки с такой же легкостью, как это делал раньше, и задумался об уходящей молодости.

В 1973 году ему исполнилось тридцать три года. И сразу же после дня рождения Джон и Йоко разошлись. Впервые после 1968 года они расстались больше чем на один-два дня. Расстались не без горечи. Жили они тогда в первой из своих квартир, в «Дакоте» (потом их было семь), и Джон, всего год назад сочинивший страстную песню о том, как жестоки бывают мужчины к женщинам, начал именно так вести себя с Йоко: публично унижал ее, исчезая после вечеринок с другими женщинами, и в конце концов улетел в Лос-Анджелес с секретаршей Йоко, нью-йоркской китаянкой Мей Пэнг.

За несколько недель до своей гибели Джон в различных интервью объяснял, что не он ушел, а Йоко выгнала его за плохое поведение. Сначала он думал: «Ура! Начинается холостяцкая жизнь! Ура!» Но все обернулось иначе.

Позже он назовет это время «потерян-

---

[44] Объединены названия двух дисков: «Интеллектуальные игры» («Mind Games») и «Как-то в городе Нью-Йорке» («Some Time in New York City»).

[45] «Подполье» («Underground») — термин, появившийся в 60-х годах на Западе в связи с движением «новых левых», которые охотно использовали исторически сложившийся словарь революционных партий.

[46] Politicos *(исп.)* — соответствует русскому «политические».

[47] Pigs — на американском жаргоне так называют полицейских.

ным уик-эндом длиной в полтора года»[48]. А тогда он вместе с Гарри Нилссоном и Кейтом Муном ударился в тяжелый запой. По его словам, это было нечто вроде соревнования, кто раньше упьется до смерти. Победителем оказался Кейт Мун.

Чем хуже оборачивались дела с иммиграционной службой, тем больше Джон пил и тем хуже себя вел. Было много кошмарных дней, когда, просыпаясь по утрам, он с ужасом узнавал о том, что натворил накануне. Месяц за месяцем газеты смаковали подробности его безумных выходок. Он перестал общаться со своими политически активными друзьями и вел существование неуправляемого рокмена.

В какой-то момент он вдруг осознал, что, если не остановится, пойдет окончательно на дно. Он остановился, перестал пить и начал приводить себя в порядок.

В первые месяцы после разрыва Йоко, судя по всему, собиралась подавать на развод. Оснований для этого у нее было более чем достаточно. Но публично никто из них никогда ничего плохого друг о друге не говорил. Джон стал проводить в Нью-Йорке все больше и больше времени. Когда он жил в Лос-Анджелесе, он написал необыкновенную песню «Никто тебя не любит, когда ты пал и изгнан» («Nobody Loves You When You're Down and Out»). Это была чисто биографическая песня-жалоба, и он очень хотел записать ее как следует. В Нью-Йорке он собрал своих любимых постбитловских музыкантов — бас-гитариста Клауса Вурмена, пианиста Ники Гопкинса и ударника Джима Келтнера — и начал работу над новым диском «Стены и мосты» («Walls and Bridges»), который стал безусловно лучшей его вещью после «Представь себе». Здесь уже не было никакого политического жаргона. Он опять пел о себе, из глубины своего «я». В песне «Боюсь» («Scared») он думает о своем возрасте: «Я устал от того, что я так одинок, Ни один не назвать мне своим уголок. Катится камень в песок».

В ноябре 1974 года после концерта в Мэдисон-сквер-гарденз, где Леннон вышел на сцену и вместе с Элтоном Джоном спел «Все, что ведет тебя в ночи» («Whatever Gets You Through the Night») и «Люси на небе в алмазах», Джон и Йоко, встретившись за кулисами, помирились. В тот вечер они пошли домой вместе. И больше уж никогда не расставались. Когда его спросили, как произошло примирение, он ответил очень просто: «Из нашего расставания ничего не получилось... Я себя чувствую сейчас так, будто участвовал в путешествиях Синдбада, победил всех чудовищ и вернулся назад».

А потом однажды весной 1976 года несколько друзей Йоко получили с утренней почтой написанную от руки открытку с таким текстом: «Вам будет трудно поверить, но Джон и Йоко не только снова вместе, но и ждут в октябре ребенка». Шон Оно Леннон родился 9 октября 1976 года, через два дня после того, как апелляционный суд США вынес решение, что английский закон, по которому Леннон был осужден, с точки зрения американской юрисдикции несправедлив. На этом практически закончилась борьба Джона за право остаться в США. В июле следующего года иммиграционная служба объявила, что, выслушав характеристики, данные Джону Леннону Глорией Свенсон[49] и Норманом Мейлером, она больше не возражает против его пребывания в Соединенных Штатах.

«Исправление» характера Джона закончилось. С рождением сына он, по его словам, будто вырос до высоты Эмпайр-стейт-билдинга». У них до этого было столько неудач, что он уже практически потерял надежду иметь полноценную семью. «Один английский доктор сказал, что у меня что-то не в порядке со спермой — уж очень я издевался над своим телом, — рассказывал Джон для Би-би-си.—А потом в Сан-Франциско мы пришли на прием к маленькому японцу, специалисту по акупунктуре, и он определил: нет, все у вас в порядке. Бросьте пить и курить наркотики. И у вас будет ребенок. Я так и сделал. И это сработало».

Время наводить чистоту для Греты Хьюз и/или Говарда Гарбо[50]

Период между 1976 и 1980 годами останется в памяти как период затворничества Джона Леннона. Сам он в шутку называл себя Гретой Хьюз или Говардом Гарбо и страшно веселился, когда ему передавали слухи о том, будто он заперся в своей «Дакоте», отпустил длинные ногти и никого не принимает. Все это было неправдой. Он просто отказывался разговаривать с журналистами, не записывал никаких пластинок и нигде не появлялся. Впервые за четырнадцать лет он не был связан никаким контрактом и наслаждался свободой.

Он, конечно, наслаждался и своей домашней жизнью. Если Йоко говорила, как ей нравится заниматься бизнесом, то Джон был счастлив просто заниматься сыном, будить его по утрам, одевать, кормить завтраком и играть с ним прежде, чем передавать няне. Из-за постоянных гастролей он почти совсем пропустил раннее детство Джулиана и теперь боялся пропустить Шона.

Когда Джон не играл с сыном, он читал. Раньше у него на чтение вообще не было времени, но за пять лет затворничества он превратился в заядлого читателя, глотая все, что попадало под руку, особенно по археологии, внимательно следил за новостями (получал доставляемую ежедневно самолетом газету «Гардиан») и даже читал романы. Кроме того, стал заниматься японским языком. Во многих отношениях Джон

[48] «Lost Weekend» — фильм Билли Уайлдера 1945 г., получивший премию Оскара и приз на Каннском фестивале в 1946 г. Тема фильма — разрушение личности от алкоголизма.

[49] Глория Свенсон (1899—1983) — одна из самых известных американских кинозвезд 20—30-х годов. В 1950 г. вернулась в кино.

[50] Использовано название песни «Время наводить чистоту» («Clean Up Time»). Грета Гарбо — кинозвезда, Говард Хьюз — американский миллионер. Оба стали символами затворнической жизни.

всегда был несостоявшимся интеллектуалом, и в конце семидесятых годов он начал восполнять то, что недополучил за годы пренебрежения своим образованием. Он вовсе не стал затворником, как его изображает легенда. Он продолжал регулярно звонить тете Мими и смешил ее безобидными розыгрышами, только теперь он еще рассказывал ей о Шоне. На личном компьютере он печатал письма старым друзьям с обычными шутками и обыгрыванием слов, а рядом с подписью рисовал трогательную карикатуру, изображающую несколькими штрихами два лица — свое и Йоко, а теперь еще и третье — Шона.

Джон использовал эти пять лет свободы от глаз публики и для путешествий. Он побывал в Японии, на Карибских островах, в Гонконге, Сингапуре, в Южной Африке. Иногда он ездил вместе с Йоко, иногда один. С тех пор как Джон стал знаменит, все за него делали другие — заказывали авиабилеты и лимузины, покупали необходимые вещи. В Гонконг Йоко предложила ему съездить одному, чтобы он попробовал жить так, как живут обычные люди. Его почти никто не узнавал, и ему нравилась быть просто частью толпы. Он с удовольствием делал все сам. Это открывало ему новые стороны жизни. В журнале «Ньюсуик» было потом опубликовано такое его высказывание: «Короля всегда убивают придворные, а не враги. Короля перекармливают, перепаивают, ему переугождают, то есть делают все, чтобы только привязать его к трону. Большинство людей, оказавшихся в подобном положении, так никогда и не пробуждаются. Они умирают или умственно, или физически, а то — и так и так». Это был косвенный намек не только на Элвиса, но и на себя самого, каким он был совсем недавно.

В августе Джон заказал студийное время на фабрике звукозаписи «Хит Фэктори» в Нью-Йорке и начал искать группу сешн-музыкантов. Его контракт с «И-Эм-Ай/Кэпитол» закончился в 1975 году, и на этот раз он решил сам оплатить сешнз, а записанную пленку продать той фирме, которая предложит лучшие условия и больше им понравится. За шесть приблизительно недель Ленноны записали двадцать четыре дорожки, из которых для нового диска отобрали четырнадцать: семь, сделанных Джоном, и семь — Йоко. Этот диск, ознаменовавший собой возвращение Леннона, назывался «Двойная фантазия». Задуман он был как музыкальная беседа Джона и Йоко, но хотя песни Йоко были теперь откровенно рассчитаны на вкусы любителей поп-музыки, публика ждала, конечно, песен Джона. И хотя он упрямо не желал признать очевидное, Йоко насчет этого не обольщалась. Семь песен Джона оказались лучшей его работой почти за целое десятилетие. Он снова черпал из глубины своего «я», но с нежной любовью и юмором. Здесь уже не было смертельной тоски «Стен и мостов», нытья и жалости к себе первых двух сольных пластинок, ну, и подавно не было радикальных лозунгов раннего нью-йоркского периода.

В песне «Время наводить чистоту» Джон несколькими строчками описал свою жизнь последних пяти лет в качестве «домашнего хозяина»: «Королева в конторе считает доходы-расходы, Король на кухне печет хлеб и кладет в соты мед, Нет друзей, но ведь нет и врагов, Абсолютно свободен».

Но пожалуй, лучшей строчкой, написанной когда-либо Джоном, является строчка из «Прекрасного мальчика» («Beautiful Boy») — песни любви, обращенной к Шону: «Жизнь — это то, что с тобой происходит, пока ты строишь совсем другие планы».

Самым заветным желанием Джона было увидеть свой диск на первом месте среди хитов именно в Англии. Он был горько обижен и зол на некоторых лондонских газетчиков за то, как те писали о нем и Йоко в начале семидесятых годов, и теперь готовил триумфальный приезд на родину.

В субботу 6 декабря он давал интервью корреспонденту Би-би-си Энди Пиблзу. Это было частью рекламной кампании, организованной Йоко для того, чтобы помочь Джону снова стать первой звездой Англии. Ему все это страшно нравилось. Накануне у него брали интервью для «Роллинг стоун». Он с радостью встречался со старыми друзьями и, хотя раньше не был знаком с Энди Пиблзом, с удовольствием сплетничал об известных ему сотрудниках Би-би-си. Все это было похоже на шумную встречу после долгой разлуки. Интервью проходило в атмосфере юмора и добродушия.

В понедельник 8 декабря Йоко занялась делами в своем рабочем кабинете, а Джон решил пообщаться с еще несколькими друзьями из Англии.

Радостное возбуждение не покидало его. Йоко организовала еще одно интервью — я должен был встретиться с ними завтра во второй половине дня.

Вечером Джон и Йоко отправились в центр, в студию звукозаписи, чтобы заново смикшировать диск, который сделала Йоко,— «Прогулка по тонкому льду» («Walking on Thin Ice»).

В десять тридцать работа над диском была закончена.

В начале вечера Ленноны собирались после студии поехать куда-нибудь поужинать. Но потом передумали и отправились сразу домой. Где-то около одиннадцати наемный лимузин довез их до готической арки «Дакоты». Йоко вышла первая и прошла мимо вахтера во двор к внутренним воротам. Отставший на несколько шагов Джон услышал, как кто-то его окликнул: «Мистер Леннон». Он обернулся посмотреть, кто его зовет.

Я раскрыл утром газету... Нет, не может быть...[51]

Марк Дэвид Чэпмен был поклонником «Битлз» с детства. Он родился в Форт-Уэрте, штат Техас, в 1955 году — за год до того, как Элвис Пресли совершил революцию в популярной музыке,— а вырос в тихом пригороде Атланты, штат Джорджия. Ему было девять лет, когда «Битлз» впервые совершили гастроли по Америке, и он, как миллионы других детей, «заболел» их музыкой и впоследствии вошел даже в

[51] Первая строчка из песни «Один день из жизни».

группу, где практиковались в битловских ритмах. Джон Леннон был для него главным героем. Марк его боготворил.

В 1976 году он решил поступить в колледж, но вскоре из-за несчастной любви бросил колледж и пошел работать в одно из подразделений внутренней охраны в Атланте — там его и научили обращаться с оружием. Через год уехал на Гавайи, где в результате нервного расстройства совершил две попытки самоубийства. По отношению к Леннону он остался таким же одержимым.

В октябре 1980 года эта одержимость превратилась в манию. Он бросил работу в Гонолулу, зарегистрировался как Джон Леннон и купил за 169 долларов револьвер 38-го калибра. В начале декабря он появился в Нью-Йорке около «Дакоты» среди поклонников Леннона, постоянно собирающихся у ворот и наблюдающих за приходом и уходом Ленноноов и их сотрудников — привычная картина в течение почти семнадцати лет. К вечеру 8 декабря он увидел своего кумира,— возможно, в своем больном мозгу он видел в нем также вторую половину себя самого,— выходящего из «Дакоты», и попросил автограф на экземпляр «Двойной фантазии». Джон, как обычно, поставил свою подпись. «В Гонолулу не поверят»,— сказал Чэпмен другому поклоннику, стоящему рядом.

Но когда поздно вечером Леннноны возвращались домой, у Чэпмена уже не было альбома. В кармане у него лежало несколько кассет с битловскими записями. В руке он держал револьвер.

Окликнув Леннона, Марк вышел из полумрака, встал на одно колено и, держа револьвер, как его учили, двумя руками, пять раз в упор выстрелил в боготворимого им человека.

Обливаясь кровью, Джон дотащился до комнаты вахтера, который в одиннадцать часов должен был запереть ворота. «В меня стреляли»,— еле проговорил Джон и повалился на пол. В считанные минуты прибыла полиция. Чэпмен ожидал ареста, читая «Над пропастью во ржи».

Джон лежал без сознания, Йоко рыдала над ним. Он истек кровью и скончался в полицейской машине по дороге в Больницу Рузвельта. Она находилась в пятнадцати кварталах от «Дакоты».

— Вы понимаете, что вы сейчас сделали? — спросил полицейский Чэпмена.

— Да. Я только что застрелил Джона Леннона,— был ответ.

«Если вы достаточно долго остаетесь в этом бизнесе, рано или поздно он вас доконает»,— не раз говорил Джон о рок-н-ролле. Он это знал всегда и всегда боялся истеричности поклонников и лезущих к нему психопатов. Но он ровным счетом ничего не мог сделать, чтобы защитить себя от них. Он выжил, одолев всех внутренних демонов: сумасшедшую славу «Битлз», наркотики, алкоголь, развал семьи, ненависть и презрение публики. Изо всего этого он вышел, не утратив способности шутить, каламбурить и строить планы на следующие сорок лет работы. Для миллионов людей он был другом. Его творчество было таким личностным, он так открывал душу настежь... Одержимость Чэпмена была результатом этой открытости...

Чэпмен отождествлял себя с Ленноном, как делали сотни тысяч других фанатов. И выстрел Чэпмена был кульминацией безумия, связанного со звездоманией. Он дважды пытался покончить с собой, оба раза безуспешно. И тогда он убил предмет своего обожания, человека, которым хотел быть и которым иногда себя считал.

В рассказе о Джоне Леннноне личность Марка Чэпмена не имеет никакого значения. Это был просто несчастный шизофреник с оружием в руках. Джона Леннона убила его собственная слава и любимое им общество, то общество, что до сих пор терпит средневековые законы о пользовании оружием. Джон Леннон — жертва не только безумия фанатов рока, но и корысти фабрикантов оружия, из-за которой жалкие психопаты имеют возможность стать убийцами всего лишь за 169 долларов.

Скорбь и плач, прокатившиеся по всему миру, были бы неприятны Джону. Он не признавал культа умерших героев. Он верил в живых. За восемь недель до смерти он сказал Дэвиду Шеффу из журнала «Плейбой»: «Мне непонятно поклонение мертвому Сиду Вишесу, или мертвому Джеймсу Дину, или Джону Уэйну». Он всем говорил, что «не верит во вчера» [52].

Однако миллионы людей верили именно в это. Известие о его смерти потрясло весь мир. В Нью-Йорке была даже прервана святая святых — передача футбольного матча по телевидению. У здания «Дакоты» собрались тысячи онемевших от страшного удара поклонников. Цветы, которые уже невозможно было передать Йоко, горой поднимались у железных ворот. По радио везде, не переставая, звучали любимые ленноновские песни. В Англии его пластинка «Начать сначала» («Starting Over») вышла на первое место в таблицах бестселлеров.

Позже, когда люди стали приходить в себя от шока, циники издевались над пролитыми в тот день слезами. Но циники ничего не поняли. Те, кто оплакивал Джона Леннона, оплакивали и свою собственную потерянную молодость. Звездомания, сделавшая из Марка Чэпмена убийцу, теперь делала из Джона Леннона святого.

Он мог бы это предвидеть, но ему бы это не понравилось. Он никогда святым не был.

---

[52] В песне Пола Маккартни «Вчера» есть строчка: «Я верю во вчера».

◆

АЛЕН БРОССА

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ

Глава из книги «Агенты Москвы»

■

Перевод с французского Е. ПОГОЖЕВОЙ

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила.

Марина Цветаева. «Лебединый стан»

Человек с двойным дном

Прежде чем броситься в преисподнюю воспоминаний о бывших агентах, надо было поверить в свою путеводную звезду так же, как сюрреалисты верили в *«объективную случайность»*. Однако здесь речь пойдет не о прекрасной незнакомке, за которой мы последуем по лабиринту города, а о предмете куда более прозаичном — о чемодане. Да, все началось с чемодана, с этого атрибута странствий и символа неустроенной жизни агента.

Мы — я и несколько моих друзей — вели поиски эпических героев для нашего фильма о формировании полвека назад интернациональных бригад. Мы искали свидетелей, героев этой живой легенды. Вооружившись камерой, мы встречались со старыми и усталыми людьми, уцелевшими ветеранами тех вавилонских легионов, мы ездили по Испании, по местам, которые и 50 лет спустя полны для этих людей особого смысла: Эбро, Харама, Барселона...

Хор их разноречивых рассказов, в которых путалось прошлое с настоящим, напоминал нам финал хорала на последнем дыхании. Рассказы увлекали нас за собой, испытывали наше терпение запоздалым бахвальством. Отдельные нелепости и пыл нечеловеческих усилий памяти подчас вызывали у нас улыбку, мы слушали, снимали, записывали — и завидовали этим актерам всемирной истории, этим безвременно угасшим жизням и крайним состояниям души, завидовали, несмотря на все поражения, измены, невзгоды, несмотря на вторжение варварства в самое сердце утопии...

Наши поиски утраченного времени были в самом разгаре, когда один из нас вспомнил: несколько лет назад друг попросил его помочь вывезти вещи из квартиры какого-то старика, съезжавшего в дом престарелых. Надо было упаковать в коробки старую рухлядь, вынув ее из стенных шкафов квартиры четвертого этажа, и вынести их на улицу... Будучи человеком сильным и отзывчивым, наш друг согласился. И как часто бывает — добрые дела вознаграждаются,— он обнаружил вместо хлама ставшую раритетной «классическую литературу» русской революции, испанской войны, «ангажированную» литературу на всех языках, буквально метры и килограммы трудов основоположников марксизма...

Кроме друга там была еще какая-то наследница старика, проявившая полное безразличие к этим сокровищам и стремившаяся как можно скорее отправить на помойку книги, личные документы, фотографии, тетради, дневники, письма... Даме не терпелось быстрее избавиться от всего этого. Адский огонь уже полыхал в камине.

Жечь Маркса, пожелтевшие фотографии, гравюры, пачки старых писем, перевязанные ленточкой, разноцветные документы на иностранных языках? Святотатство! Изуверство! Оскорбление памяти! Пока нечестивая наследница торопливо жгла все подряд, мой друг зашихивал что попадалось под руку в черный чемодан солидных размеров, спасенный им от гибели. Очистив таким образом помещение, он вынес сундук из-под самого носа увлекшейся иконоборчеством дамы. Дома сделал краткую опись всех бумаг, поставил чемодан в надежное место — и забыл о нем.

Когда мы начали поиски ветеранов, он вспомнил, что среди документов, уцелевших от пламени, имелся синий военный

© Éditiont Ctallimard, 1988

билет интербригадовца. Значит, так поспешно съехавший старик был..? Почему бы не попытаться отыскать его в доме престарелых и не попросить рассказать об Испании? Соблазн был тем более велик, что его имя — Константин Родзевич — говорило об интригующем происхождении из «другой Европы»...

Мы отыскали чемодан, стряхнули с него пыль и тщательно осмотрели. У него не было двойного дна. Зато личность старика, установленная по обрывкам этого неожиданного дара историку, представлялась поистине бездонной. В поисках героя, выстоявшего в великой битве Ангела и Демона, мы погрузились в темное, смутное время сталинизма.

Но декорация вскоре переменилась, равно как и цель поиска: мы искали борца-антифашиста в обличии благородного старца, а пришли к подозрению, что перед нами — тайный агент. От загадки к изумлению, от «случайностей» к маловероятным «совпадениям», от предположений к выводам. Мы натолкнулись на одну из самых мрачных страниц сталинизма в истории Западной Европы тридцатых годов. Там действовали исполнители грязных дел НКВД, замышлялись и осуществлялись похищения, убийства, кражи, шантаж, всевозможные террористические акты. Все это было следствием Большого террора в СССР...

Скажу сразу, время сделало свое дело и нам не удалось собрать против Константина Родзевича прямых улик. У нас нет неопровержимых, достаточных для трибунала доказательств того, что он непосредственно участвовал в той или иной *криминальной* акции советской разведки. Но у нас есть основания сделать целый ряд предположений, оставляющих мало места для сомнения: какое-то отношение к этим акциям Родзевич имел. Однако до сих пор, насколько нам известно, его имя не упоминалось в литературе о деятельности НКВД во Франции, Испании, Швейцарии и других странах перед второй мировой войной.

Впрочем, он сам приведет нас к этому... Именно судьба Родзевича сыграла в этом расследовании роль путеводной нити: сделав первые предположения по материалам, найденным в его чемодане, дальше мы последовали сами по этой нити Ариадны... Пожалуй, «последовали сами» — слишком просто сказано; расследование оказалось крайне запутанным и кропотливым, полным парадоксов и мнимых фактов. Многослойное дознание, в котором каждый персонаж норовил раздвоиться, спрятаться за другие персонажи.

Каким же образом Константин Родзевич из благородного старца превратился в подозреваемого? Его военный билет бойца интербригад (№ 44982) весьма любопытен: *в нем все неправда* за исключением фотографии, на которой лицо Родзевича, хоть и затененное плоской фуражкой офицера республиканской армии, ясно различимо (для сравнения в нашем распоряжении были десятки фотографий на всех этапах его жизни — видимо, он обожал фотографироваться, и мы ему за это благодарны). Что касается остального, то имя на удостоверении (Луис Кордес Авера), дата рождения, национальность (испанец!), профессия (военный), семейное положение (холост), место жительства (Бенимамет, около Валенсии), место рождения (Франция) — всё, абсолютно всё, ложно.

Ничего удивительного, скажете вы,— по прибытии в Испанию добровольцы сдавали документы в штаб (советские спецслужбы, проникшие туда, впоследствии успешно этим воспользовались) и часто сражались под вымышленными именами. Однако заметим, что такая практика применялась в первую очередь по отношению к *кадрам*, к самым проверенным. То же самое и с присвоением фиктивной испанской национальности — это делалось лишь в редких случаях. Интересен также и выбор место жительства: Бенимамет — это деревушка под самой Валенсией, где размещался главный штаб интербригад, один из центров работы НКВД в Испании.

Итак, на многочисленных фотографиях (все из чемодана!) Константин Родзевич затянут в щеголеватую «парадную» форму, что показалось нам не типичным для «бригадиста». Если верить военному билету, то он имел звание «команданте» (майора) и с 14 ноября 1936 года по 20 мая 1937 года «числился в спецгруппе подрывников», затем с 15 сентября 1936 года по 25 марта 1938 года командовал батальоном противовоздушной обороны. Значит, кадровый военный, специалист,— наверняка герой, ведь всем известно, что у «динамитерос» была самая опасная служба: организация диверсий и саботажа в тылу противника, это описано Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол».

Но, как ни странно, в военном билете «команданте» Родзевича нет *ни* одной записи об отличии или награде, полученных на этом опаснейшем поприще. Не менее странно и то, что ни в одном историческом справочнике, ни в одной автобиографии бывших интербригадовцев, которые мы просмотрели, не упоминается ни Родзевич, ни Луис Кордес Авера. Единственное беглое упоминание о Родзевиче в Испании мы обнаружили у бывшего советского журналиста Кирилла Хенкина («Советский шпионаж. Дело Рудольфа Абеля»), эмигрировавшего на Запад после подавления Пражской весны: наш герой, пишет он, в то время был его «командиром батальона» и «прилагал немало усилий, чтобы казаться выше своих 165 сантиметров».

Итак, вроде бы сведения, указанные в военном билете, подтверждаются, но чуть ниже Хенкин сообщает как бесспорный факт, не распространяясь более по этому поводу, что Родзевич-Кордес был еще *«советским агентом»*... Никаких доказательств, лишь голословное утверждение, не более; но приобретающее определенный контекст для всякого, кто задумывался над особенностями гражданской войны в Испании, историей интербригад и советского участия в событиях 1936 — 1939 годов.

В процессе разбора документов, находившихся в чемодане, мы натолкнулись на имя, сразу же нас заинтересовавшее: Эфрон. Экскурс в прошлое: в сентябре 1937 года Игнатий Рейсс-Порецкий, он же Люд-

виг, агент советских разведывательных органов на Западе, убит под Лозанной. За несколько недель до того он отправил в ЦК ВКП(б) письмо, в котором заявил о своем намерении порвать с полицейским аппаратом сталинизма. Убийство было настолько неряшливо организовано, что французская и швейцарская полиции быстро вышли на след убийц — как установило расследование, они принадлежали к агентурной сети НКВД.

В прессе и рапортах полиции имя Сергея Эфрона, русского эмигранта, обосновавшегося во Франции, мужа Марины Цветаевой, всплывает неоднократно. Но не как убийцы, нет (тело Рейсса было найдено в кювете, изрешеченное восемнадцатью пулями), а, похоже, фигуры более значительной — закулисного руководителя заговора, исполнявшего «задание» на расстоянии. Усиленно разыскиваемый парижской полицией, Эфрон бежит, не оставив следа, бросив жену и детей. Мы вскоре встретимся с ним.

Честно говоря, вспомнить эту драматическую историю нас заставил безобидный документ: приглашение, адресованное в середине семидесятых годов Ариадне Эфрон, дочери закулисного руководителя, проживавшей в то время в Москве. Родзевич и его супруга, уважаемая сотрудница Национального центра научных исследований, приглашали свою знакомую на несколько недель в Париж, беря на себя все расходы по ее пребыванию. Ничего необычного. Только к головоломке прибавилась еще одна деталь: между организатором убийства и хозяином чемодана, оказывается, была связь, которую нам предстояло выяснить.

К тому же в чемодане, этом ящике Пандоры, были письма на русском языке, датированные концом семидесятых годов, в которых пожилая дама, обосновавшаяся в Кембридже, постоянно жалуется своему корреспонденту на неприятности, доставляемые ей квартирантами, и на неблагодарное время... Горечь, старческое брюзжание. И в качестве отступления небольшая фраза, которую пришлось перечесть дважды, чтобы поверить своим глазам: *«Пусть, наконец, меня оставят в покое с этой историей Рейсса и сына Троцкого — у меня железное алиби!»*

Еще один красноречивый экскурс в прошлое: через несколько месяцев после убийства Рейсса, 16 февраля 1938 года, в Париже, после пустяковой операции аппендицита, умер Лев Седов, сын Льва Троцкого, видный деятель IV Интернационала. Сразу же после этого — и не только в троцкистских кругах — возникла гипотеза о «медицинском убийстве», тем более правдоподобная, что оперировали Седова в клинике русских эмигрантов. Дальнейшее расследование поставило под сомнение версию умышленного убийства, однако она была быстро взята на вооружение противниками Сталина.

Как и всегда, сталинисты бурно радовались смерти одного из своих самых активных противников, а годы спустя версия об убийстве обрела достоверность: в 1955 году самый близкий соратник Седова, Марк Зборовский[1], он же «Этьен», признался, что был агентом НКВД.

Итак, спустя четыре десятилетия Константин Родзевич и его корреспондентка, имя которой каллиграфически выведено на конверте: «Вера Трайл», возобновляют давний и фамильярный разговор. Однако старые «семейные истории», которые возникают в этих письмах, имеют слишком горький привкус: совместное прошлое, воспоминания, в которых речь идет не о ветрянке кузена или сына тети Берты, а о кровавом следе сталинизма... Правда, в них нет ни признаний, ни фактов, но мало-помалу события проясняются.

Наконец, наступил момент, когда мы сочли, что слишком углубились в наше расследование, — как вдруг, вытягивая нить из клубка событий, связанных со смертью Седова, вспомнили, что до своей кончины он жил на улице Лакретель, 26, — Париж, XV округ. А где начинается первый акт нашей драмы, когда услужливый и расторопный друг спасает от аутодафе мемуары старого антифашиста? *На улице Лакретель, 26, — Париж, XV округ!* Да, в том же самом доме, где жил Седов, долгое время выслеживаемый своими врагами (они специально сняли квартиру на этой же улице, в доме 28), жил и Константин Родзевич, с 1947 года по 1984-й, вплоть до переезда в Дом престарелых после смерти супруги...

Ну и что, скажете вы, улица Лакретель начиная с двадцатых годов — традиционное место, где селились русские эмигранты; к тому же Седов, кажется, жил на третьем или четвертом этаже, а Родзевич — на первом. Разве жизнь и «объективная случайность», о которой пишут поэты, не знают еще и больших совпадений?.. Безусловно. Но все же нам казалось, что стоит более глубоко изучить биографии трех персонажей, один за другим возникающих на этой сцене: Константина Родзевича, Сергея Эфрона и Веры Трайл. Групповой портрет с дамой, который мы терпеливо будем складывать, используя мозаику фактов — того, что нам удалось выяснить, уточнить, увидеть и услышать; мы предоставим читателю право самому разбирать водяные знаки истории на этих бурных судьбах; факты обладают очевидностью, о которой историк может только мечтать...

Константин родился 2 ноября 1895 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Болеслав Родзевич, являлся начальником санитарной службы царской армии, имел чин генерала и,

[1] Марк Зборовский родился в 1907 г. в России. Во время русской революции эмигрировал с семьей в Лодзь. Член польской КП. Эмигрировал во Францию, образование получил в Гренобле. Завербованный НКВД, вступил в 1934 г. в ряды троцкистов, быстро стал доверенным лицом Льва Седова и в 1938 г. принимал участие в Учредительном съезде IV Интернационала. В 1941 г. эмигрировал в США и в 1945 г. заявил, что покончил с агентурной деятельностью. В 1955 г. признался перед сенатской комиссией, что, состоя в троцкистской организации, работал на НКВД, но отрицал свое непосредственное участие в убийствах, совершенных советскими органами. Его исповедь смягчила приговор американских властей. После войны сделал университетскую карьеру, стал профессором антропологии. *(Прим. автора.)*

вероятно, был поляком по происхождению. Мать, Мария, — урожденная Голубева. В *«Кратком наброске автобиографии»*, написанном в ноябре 1978 года и тоже обнаруженном в чемодане, Родзевич пишет: «Мой отец был человеком либеральных взглядов, военным врачом по профессии. В начале первой мировой войны он руководил санитарной службой Юго-Западного фронта, которым командовал генерал Брусилов». Вспоминая свою юность, он продолжает: «Закончив гимназию в Люблине в 1913 году, я поступил в университет: сначала изучал математику, затем право (в Варшаве, Киеве позднее в Ленинграде (sic.— *А. Б.*). Но первая мировая война вынудила меня прервать учение и поступить в военный флот».

Эта краткая автобиография, в которой Родзевич, в частности, упоминает о том, что в детстве мечтал стать художником, является единственной информацией о его детстве, юности и первых шагах в зрелом возрасте, вплоть до 1917 года. С момента Октябрьской революции и последовавшей за ней гражданской войны его биография раздваивается, раскалывается и входит в сумеречный период. Дело в том, что в чемодане представлены две версии «Краткой автобиографии»: одна, очень короткая, написана по-французски, другая, более подробная, — по-русски.

В первой Родзевич пишет: «После Октября, во время иностранной интервенции, он (в 3-м лице.— *А. Б.*) был комендантом порта в красной Одессе. Затем служил в Днепровской флотилии, участвовал в боях с белыми. Сражаясь с ранней юности на фронтах гражданской войны, Константин Родзевич нуждался в отдыхе, передышке. Поэтому он воспользовался стипендией, предложенной ему правительством Чехословакии, чтобы продолжить свою учебу».

Во второй же биографии он пишет: «Во время этих событий я, молодой офицер, служил на боевом корабле, был комендантом одесского порта, потом — одним из командиров Днепровской флотилии. В конце гражданской войны я имел несчастье угодить в плен к белым, где и пробыл до окончательной победы большевиков. В начале двадцатых годов я выехал в Прагу, получив, как и многие русские студенты, стипендию чехословацкого правительства для продолжения учебы в университете...»

«Деталь», в которой расходятся русская и французская версии «Краткой автобиографии», как легко заметить, довольно значительна. Оба биографа [1] поэтессы Марины Цветаевой упоминают о внезапном «романе» супруги Сергея Эфрона и молодого (и красивого) Родзевича, произошедшем в Праге в 1923 году. Они называют ее возлюбленного *«бывшим белым офицером»*. Вероятно, это только отчасти верно. В своих мемуарах «У времени в плену» Ольга Ивинская, подруга Бориса Пастернака, предлагает, видимо, самую правдоподобную версию: «Константин командовал большевистской флотилией, действовавшей в южной части Днепра, а затем попал в плен к белым и был приговорен к смерти, но генерал Слащев (...) отменил приговор и предложил Константину сотрудничать. Тот согласился, и немедленно был заочно приговорен к смерти большевиками. Но через несколько лет этот приговор, в свою очередь, отменили».

Узловой момент, первый ключ к пониманию личности: с самого начала человек с двойным дном. Это драматическое «перерождение» допускает различные интерпретации. Например, так: безыдейный капитулянт и предатель, большевик по случаю, Родзевич не захотел умирать во цвете лет и примкнул, вернулся к «своим». Или, быть может, так: верный, но хитроумный солдат революции, Родзевич сделал вид, что примкнул к белым, по-прежнему продолжая втайне работать на «правое дело», — это могло бы объяснить последующую отмену заочного смертного приговора. Или еще так: будучи слишком юным, чтобы положить свою жизнь на алтарь революции, Родзевич проявил слабость и перешел в другой лагерь. Затем, после «передышки», он с лихвой искупил свою вину и вернулся к прежней вере...

Мы не знаем, какая из версий верна, и, видимо, не узнаем никогда. Горстка знавших — те, кто уцелел, — не пожелали говорить. А сейчас уже слишком поздно. Впрочем, для нас это не столь важно: главное, что в эпоху сталинизма его биография была «запятнана», и «пятно» надо было вычеркнуть из памяти, искупить, замолить. Вот почему этот боец, пусть даже самый преданный, самый безупречный, мог опасаться любого шантажа, любой угрозы... С тех пор Родзевич, как и многие другие, кого мы встречали в этом путешествии в сталинизм, становится человеком, боящимся *своего прошлого*, которое в любой момент могло отыграться на нем.

Во всяком случае, из гражданской войны он вышел через «белую» дверь. В этом нас еще раз убеждает чемодан: в 1920 году константинопольское «Русское паспортное бюро» (учреждение белых) выдает ему разрешение на пребывание в этом городе. Опять же с помощью белых Родзевич попадает в Прагу и становится студентом-стипендиатом чехословацкого правительства. Там он оказывается в среде многочисленной русской эмиграции, глубоко враждебной советскому режиму.

В Праге Родзевич встречает Марину Цветаеву. Осень и зима 1923 года — период безумной любви, страсти. Возвышенной и мучительной, вдохновившей Цветаеву на ее самые великие поэмы: «Поэму Горы» и «Поэму Конца». В наши намерения не входит воссоздание истории недолгой любви Родзевича и той, которая сегодня признана одной из «крупнейших поэтических фигур XX века», равной Пастернаку, Маяковскому, Ахматовой и Мандельштаму; поэт Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии, пишет: «Более страстного голоса в русской поэзии XX века не звучало». Каждому по заслугам...

Отметим только, что в час запоздалого «открытия» Цветаевой во Франции Родзевич, не обладавший ни славой, ни особыми талантами, дававшими бы право на «бессмертие», все-таки оказался осужденным на оное — благодаря двум бессмертным поэмам, «героем» которых он был. Роль тем бо-

[1] Саймон Карлински («Марина Цветаева. Ее жизнь и творчество») и Эва Мальре (предисловие к книге «Попытка ревности» и другие стихотворения»). *(Прим. автора.)*

лее для него неприятная, что Родзевич не любил (или не понимал?) глубоко новаторской поэзии Цветаевой, которая в этих бурных и скорбных произведениях пишет о чувстве глубокого разочарования. «Герой двух этих поэм, Родзевич, которого, вероятно, она не считала достойным художественного воплощения, а, может, просто подавляла силой своей страсти, через несколько недель разочаровывает ее; окончательный разрыв наступает в конце декабря 1923 года», — так пишет Эва Мальре, прекрасная переводчица Цветаевой на французский.

«Константин Болеславович Родзевич, — пишет биограф Цветаевой Вероника Лосская, — герой этого романа, был, без сомнения, раздавлен настоящей лавиной чувств, обрушившихся на него. Это был заурядный человек, искавший заурядной любви, и его внутренний мир был... заурядным».

Малозавидная честь быть «*заурядным*» партнером незаурядной страсти, обреченным на бессмертие двумя поэмами, достойными фигурировать в антологиях поэзии XX века... Тем не менее Родзевич сумел противостоять своей судьбе: он долго молчал, умышленно подчеркивая, что об этом романе уже все сказано самой Цветаевой в ее поэмах и прозаические комментарии с его стороны только нарушили бы их стройность. Десятилетия спустя он все же сознался Веронике Лосской, что был «глуп и молод», — похоже он испытывал чувство вины за то, что, так сказать, оказался тогда «не на высоте».

Здесь в его биографии вновь возникает мотив *долга*. На этот раз долга перед поэтессой и ее творчеством: на протяжении всей последующей жизни Родзевич старался быть верным ему, защищая и оберегая память о Цветаевой, которую пронес «сквозь пласт времен», как он пишет в своей краткой автобиографии. Он благоговейно хранил все рукописи, все письма Цветаевой. Более того, на закате жизни, в семидесятые годы, попытался одним махом заплатить свою дань памяти поэтессе и своей стране (неразделенную любовь к которой хранил до самого конца), передав все документы в советские архивы. Беда для исследователя заключается в том, что фонд Цветаевой, в который они были переданы, объявлен закрытым до 2000 года...

Во всяком случае, первая веха налицо: идя по следам столь несхожих действующих лиц этой истории, мы обнаруживаем головокружительное наслоение искусства, поэзии, литературы, скульптуры... и повадок тайного агента. Трое наших главных героев — не только интеллектуалы, но *в глубине души и люди искусства*, хотя не состоявшиеся. Разведывательные задания, неблаговидные дела НКВД как выход артистического темперамента, неудовлетворенного, сдерживаемого, невоплощенного? Можно ли себе представить более скандальное утверждение, более неожиданную точку зрения на пройденный нашими персонажами путь, от которого разит кровью и преступлениями? На нашей «сцене» постоянно будет присутствовать эта смесь эстетических устремлений и «романтической» тяги к действию в кулуарах и темных закоулках Истории. На протяжении всего нашего рассказа поэтическая тень Цветаевой будет сопровождать наших героев, пересекаться с ними, делить с ними трудности повседневной жизни: она — создавая, изобретая новую «поэтику жизни» (Эва Мальре), они — обжигая пальцы в огне политики, губя в нем то жизнь, то душу... В Праге, когда последний жар поэтического «романа» угас, Родзевич становится лиценциатом права, женится на дочери теолога Сергея Булгакова. В 1925—1926 годах он предпринимает продолжительную поездку в Ригу, в Латвию, — эпизод, о котором, как ни странно, не упоминается ни в одной из его «кратких автобиографий». Позволим себе предположить, что именно тогда ему предоставилась возможность оправдаться перед советским режимом, различные «органы» которого, как известно, прочно обосновались и активно действовали в прибалтийских странах. Выяснить отношения, заключить «контракт» — а вдруг? Умолчание в таких делах всегда будит воображение...

Так или иначе в конце 1926 года Родзевич оказывается в Париже и снова встречается с Цветаевой, с ее мужем Сергеем Эфроном. Он поступает в Сорбонну, намереваясь стать доктором права. Живет в Кламаре, одном из мест средоточия русской антисоветской эмиграции Парижа.

По какую сторону черты, разделяющей красных и белых, находится наш герой? Здесь его биография снова запинается, колеблется, раздваивается. В одной из версий своей «Краткой автобиографии» Родзевич пишет, что, бросив учебу, «занялся активной политической борьбой, участвовал в небольших левых группировках». В другой он утверждает: «Закончив учебу (в Праге.— *А. Б.*), он обосновался в Париже. Вступил в Компартию Франции и стал бороться на стороне левых». ФКП — «небольшие левые группировки»? Разница есть, ну да ладно. Мы не обнаружили подтверждений деятельности Родзевича в те годы ни в коммунистическом движении, ни в левом, зато многие документы упоминают о его активности среди русских эмигрантов, точнее, в так называемых «евразийских» кругах, где, как мы увидим, он оказывается рядом с Сергеем Эфроном и Верой Трайл.

Крайне любопытное явление — это самое евразийство. Основанное в 1921 году четырьмя русскими интеллигентами-эмигрантами (в их числе князь Николай Трубецкой и музыковед Петр Сувчинский, с которыми мы вскоре встретимся), оно проповедовало, что русский народ и народы России не являются ни европейцами, ни азиатами. Выдумав неологизм «Евразия», широко охватывающий все географическое и культурное пространство России, эти интеллигенты противопоставляли разрозненной, истерзанной, упаднической Европе жизнеспособность русской общины, уходящей корнями в различные культуры: как в славянско-православную, так и монгольскую, азиатскую.

Для этих географов, экономистов, лингвистов политика — не сфера выбора; революция, потрясшая Россию, — составной элемент мирового движения за отказ от опеки европейского или «романо-германского» империализма. Прежде всего под политической маской революции скрыто культурное движение: «Массы, уходящие корнями в евра-

зийскую автохтонную культуру, боролись за освобождение родной земли от господства европеизированной элиты старой России» («Современная энциклопедия русской и советской истории»).

Сторонники этого движения с самого начала питали противоречивые чувства к большевизму: с одной стороны, они были признательны ему за то, что он «привел в движение» русские массы; с другой — считали его идеологию и власть бесперспективными, так как им чуждо культурное достояние «евразийской» России. Поэтому евразийцы радикально отличались от всех течений монархической эмиграции, включая либералов, продолжавших видеть будущее в реставрации. Впрочем, все эти группировки, в свою очередь, были глубоко враждебны евразийству и критиковали на страницах своих многочисленных газет и журналов его идеологию как капитулянтство перед большевистской тиранией.

Интеллектуалы высокого полета, но трогательно наивные политики, вдохновители евразийского движения дойдут до того, что начиная с 1926 года начнут видеть в восхождении Сталина и в выдыхающейся большевистской революции убедительное доказательство того, что будущее принадлежит им. Для них единственно актуальный вопрос — организация «перехода от большевизма к евразийству». «Сегодня,—пишет совершенно серьезно один из сторонников движения в 1928 году, — Россия нуждается в новом руководстве, в новых вождях. Реакционеры, монархисты, республиканцы — но также и большевики — оказались несостоятельными. Они — пройденный этап, у них нет будущего (...) После десятилетия страданий — страданий, практически непревзойденных за всю ее историю, — Россия обращается к людям, несущим ей Новый Завет, новое Евангелие: «Станем самими собой, пусть Россия останется Россией, а не имитацией Запада, местом экспериментов для зарубежных теорий; пусть Святая Русь, которая жива в наших сердцах, возродится в нашей стране и для всего мира».

Ожидая своего звездного часа, эти наивные мечтатели вдруг заметили, что с середины двадцатых годов их движение быстро приобретает политическую окраску. В то время, пока одни строят воздушные замки, мечтая о «советской монархии» (!), опирающейся на веру в Бога и на неискоренимую культуру русского крестьянства, другие пойдут по пути гнетущей реальности, которая в конце концов их раздавит.

Итак, первый факт, сомнений не вызывающий: Родзевич становится деятельным сторонником евразийского движения, дошедшего во второй половине двадцатых годов и до Парижа. Так, например, 12 февраля 1927 года он участвует в дискуссии о евразийстве и выступает против П. Н. Милюкова, сладкоголосого певца белой эмиграции. А документ, подписанный Сувчинским и датируемый октябрем 1929 года, «удостоверяет, что г-н Родзевич Константин работал в редакции журнала «Евразия» в качестве заведующего отделом с 1 августа 1928 года по 1 октября 1929 года».

Опять-таки интересно, что этот «евразийский эпизод» в обеих версиях «авторизированной» биографии Родзевича опущен. Конечно, можно объяснить эту «забывчивость» объективным соображением: хоть евразийство и находилось в состоянии вечной войны с прочими эмигрантскими течениями, все же оно несомненно являлось частью «белой» России. Постепенно оно стало европейским движением, распространившимся на Чехословакию, Бельгию, Болгарию, Югославию, Германию. На устраиваемые им мероприятия подчас собирались тысячи людей. То, что основали евразийство белоэмигранты, общеизвестно — князь Трубецкой, князь Мирский. Краткие же автобиографии, очевидно, составлялись Родзевичем с целью уверить потомков в своей вечной неизменной преданности коммунизму.

Но это простое и «невинное» объяснение причин умолчания, конечно, не является исчерпывающим: дело в том, что, как подтверждают многочисленные источники, советские органы очень быстро поняли, какую выгоду можно извлечь из идеологических шатаний евразийского движения и из двойственного отношения к нему остальной эмиграции. Вот, например, что пишет английский историк Джеффри Бейли в своей книге «Война советских секретных служб»: «Что касается коммунизма, то евразийцы были склонны рассматривать его как последнюю материалистическую попытку оживления западной цивилизации, как преходящее, но необходимое зло, обреченное на неудачу вслед за всеми предшествующими попытками такого рода; пройдя через это зло, Россия должна наконец открыть для себя свою истинную миссию. От такой позиции смирения перед фактами до принятия советской власти оставался всего один шаг, к которому советская власть и не замедлила их подтолкнуть. Начиная с 1924 года ГПУ начинает проникать в евразийское движение, и работа эта ведется настолько успешно, что уже в 1926 году чекист Ланговой (...) становится в евразийских эмигрантских кругах своим человеком...»

Напоминая, что в то время в парижских кругах русской эмиграции ходила поговорка: «Евразия — безобразие!», Вероника Лосская пишет: «К концу двадцатых годов движение решительно «поворачивает» влево: установлено, что именно с этого времени в нем начинают действовать всякие темные личности, неизвестно откуда взявшиеся (по свидетельству одного из основоположников движения П. П. Сувчинского, это были провокаторы, присланные из Москвы). Перерождение евразийства завершилось после съезда 1931 года, на котором движение впервые заявило о себе как об откровенно просоветской организации».

В галактике, именуемой «Евразия», особое место занимал одноименный журнал, руководимый в конце двадцатых годов С. Эфроном и главным образом П. Сувчинским. Кроме многочисленных философских и литературоведческих статей высочайшего уровня (среди которых даже критика «Бытия и времени» пока еще мало кому известного Хайдеггера!) в нем была постоянная рубрика «Строительство СССР», разбухавшая от номера к номеру, а также учащающиеся статьи о ленинизме, социальной природе советской власти, яростных дебатах в советском руководстве... Конечно же, журнал оставался независимым, но по мере его поли-

тизации советская «перспектива» отвоевывала все большее место.

Эта тенденция достигает апогея в 1929 году, и несколько инициаторов евразийского движения публикуют брошюру с красноречивым названием: «Журнал «Евразия» — не евразийский орган». Не поднимая слишком деликатной проблемы подрыва изнутри и не рассматривая «криминального» аспекта проблемы, авторы статьи беспощадно разоблачают «операцию по самоуничтожению евразийства», чрезмерные восхваления Революции, которыми пестрят колонки журнала, «ассимиляцию евразийства с Октябрьской революцией», обращение в марксизм его руководителей, публикацию советской официальной информации без всякой критической оценки и т. д.

Итак, более или менее ясно: «рейд» советских органов в евразийское движение принес свои плоды. Помимо того, что нам известно о дальнейшей судьбе «наших» героев (Эфрона, Родзевича и Трайл), любопытно отметить, что князь Мирский, сам душа этого движения, в тридцатые годы вернулся в СССР и был там расстрелян. «Рейд» провели по тому же сценарию и даже в то же время, что и нашумевшую операцию «Трест» [1], в ходе которой ГПУ проникло в организацию, созданную генералом Врангелем с целью ведения на советской территории борьбы с большевизмом, и полностью прибрало ее к рукам.

Вопрос, на который теперь следовало бы ответить — и на который мы не можем ответить категорически, — следующий: был ли уже Константин Родзевич «на службе», когда стал евразийцем, или же, искренне разделяя евразийские взгляды, перешел на просоветские позиции постепенно, вместе со всем движением? Да, мы не знаем ответа на этот вопрос, но наш герой в каком-то смысле сам себя разоблачает, связывая в автобиографии свой приезд в Париж с началом деятельности в рядах «левых» и даже ФКП. Как бы там ни было, ясно одно — в конце двадцатых годов Родзевич не был ни заурядным русским эмигрантом, ни «левым» активистом, сотрудничавшим в прогрессистских и демократических организациях.

У белой эмиграции, во всяком случае, на сей счет сомнений нет. В 1953 году в журнале «Возрождение» (№ 30) была перепечатана статья некоего молодого автора, написанная еще в 1928 году. Имя автора не названо, сказано лишь, что вскоре он погиб во время нелегальной поездки в Россию. Статья называлась «Евразийцы и Трест». Двумя из трех основных агентов, участвовавших в тщательно спланированных действиях по инфильтрации евразийского движения в Париже советскими агентами, в ней названы Эфрон и Родзевич. И если за Эфроном все же признаются некоторые положительные качества, то Родзевич представлен в довольно зловещем свете: «Это расчетливый карьерист, без всяких моральных устоев, с одним желанием — играть роль, не брезгуя средствами. В качестве идеолога он не выступает, писать не умеет. Его быстрое продвижение объясняется, очевидно, какими-то организационными заслугами».

Не менее интересен комментарий, которым редакция «Возрождения» предваряет публикацию: в статье опущены все фамилии, упоминавшиеся в 1928 году, за исключением трех руководителей-евразийцев (Эфрона, Родзевича и Савицкого), поскольку *«большевики лучше осведомлены о конспиративной работе этой верхушки»*. Стало быть, для белой эмиграции не составляло секрета, что Родзевич — агент...

Человеку не столь осведомленному Родзевич представляется уж во всяком случае личностью двусмысленной и связанной с такими же «двухслойными» людьми. Русский беженец по своему юридическому статусу (им Родзевич останется на всю жизнь), деятель русской эмиграции и одновременно активист французских «левых» — у него даже есть псевдоним «Луи Корде». Впоследствии он будет испанизирован в «Луис Кордес» и сохранится в таком виде надолго после второй мировой войны для «французской» деятельности нашего героя.

Так работал Родзевич в тот период на органы или нет? С уверенностью сказать нельзя: в 1929—1939 годах он занимает скромный пост в «Бюро по распространению газет», а в 1932 году получает пособие по безработице. Но, безусловно, это человек, который в евразийской истории сыграл свою роль; возможно, роль эта была скромна, но он уже действовал в интересах «правого дела» — знамя, так сказать, уже было спрятано у него на груди. Человек, вернувшийся к прежним убеждениям после вихря гражданской войны и Праги. Резервист, который годен для дела.

Какого дела или каких дел? В набросках двух своих автобиографий Родзевич настаивает на общественном, *«прогрессивном»* характере деятельности: во времена Народного фронта он активно сотрудничал в Ассоциации революционных писателей и художников, где был (ответственный пост, если это правда) казначеем и работал бок о бок с Барбюсом, Арагоном, Элюаром, Вайяном-Кутюрье. Главная задача этой организации, добавляет он, переходя на казенно-чиновничий язык, заключалась в «установлении как можно более тесных связей между художественной интеллигенцией и французским рабочим классом...». Затем следует испанский эпизод, в котором Родзевич-Кордес — кадровый специалист, «проверенный человек». Исполняет ли он другие обязанности, помимо чисто военных? Одна немного странная «деталь» позволяет нам предположить, что да.

В период с 1936 по 1938 год десятки русских эмигрантов вступают в ряды интербригад. Речь идет главным образом о быв-

[1] Операция «Трест» — одна из наиболее успешных провокаций советских органов против белой эмиграции. В 1922 г. русские эмигранты с интересом узнали о существовании в СССР «Союза монархистов Центральной России», замаскированного под «Ассоциацию московского муниципального кредита» откуда и его название «Трест». В действительности же образование «Треста» было от начала до конца делом рук чекистов. В 1923 г. генерал Врангель создает «Русский общевоинский союз», включавший «боевую группу», которая совместно с «Трестом» ставила перед собой задачу проникновения в СССР, организации там шпионажа и саботажа. В 1924—1926 гг. «Трест» фактически монополизировал все нелегальные контакты с полувоенными белогвардейскими организациями. *(Прим. автора.)*

ших белых, которые, убедившись в прочности советского режима и не вынеся изгнания, воспринимали участие в антифашистской борьбе в Испании как своего рода «обходной маневр» для возвращения в Москву. Во многих случаях сами советские инстанции предлагали подобную «сделку», тем более привлекательную, что большинство стремившихся вернуться имело военный опыт, полученный в России до или во время гражданской войны.

Некоторые из этих людей действительно стали коммунистами, другие просто хотели вернуться на родину, в Россию. Многие погибли в боях на испанской земле. Уцелевшие, как правило, получали паспорт и уезжали в Советский Союз. Затем их обычно ждал арест и отправка в ГУЛАГ на смерть или на долгие годы заключения. В семидесятые годы один из них, Алексей Эйснер, близкий друг Родзевича по Парижу, устраивал в своей московской квартире «семинары», на которых рассказывал молодежи о войне в Испании...

Однако Родзевич движется по иной, весьма нетипичной траектории. Война для «подрывника» заканчивается без единой царапины (в его военном билете нет упоминаний о ранениях); из Испании он возвращается во Францию и почему-то вовсе не рвется на родину, хотя послужной список вполне давал ему на это право. И все же Родзевич предпочитает, как пишет он сам, вернуться к «своим повседневным занятиям»... в Париж. Любопытно и то, что его участие в интербригадах не доставило ему никаких неприятностей со стороны полиции. А ведь полиция Даладье встречала ветеранов бригад отнюдь не как героев: в 1939 году тысячи их были отправлены в лагеря Гурс, Сен-Сиприен, Ле Верне и др.

Такое ощущение, словно этот эмигрант, долгое время связанный с судьбой белой диаспоры, получил некую охранную грамоту, выданную противоположным лагерем после заключения договора, секретного альянса... И одновременно, если верить военному билету, согласно которому служба Родзевича в Испании продолжалась с ноября 1936-го по март 1938 года, это дает ему солидное алиби; ведь именно в 1936—1938 годах НКВД проявляет — причем главным образом как раз в Париже — свои разнообразные таланты. Похищение белого генерала Евгения Миллера, убийство Рудольфа Клемента, бывшего секретаря Троцкого, предполагаемое убийство Дмитрия Навашина, сотрудника торгпредства, порвавшего с Кремлем, охота на Льва Седова, подготовка убийства Игнатия Рейсса... Если Родзевич в это время находился в Испании, то ясно, что он не мог быть — в отличие от своего друга Сергея Эфрона — непосредственно замешан в этих темных делах.

Между тем имеются два факта, ставящие под некоторое сомнение его алиби. Во-первых, как утверждает один свидетель, Родзевич появлялся в редакции печатного органа троцкистов, а стало быть, видимо, принимал какое-то, пусть скромное, участие в систематической «блокаде» Седова сталинскими спецслужбами. А во-вторых, в его старой записной книжке (чемодан, опять чемодан!) записан без каких-либо комментариев один адрес: «ул. Мишле, 7». Именно там, на улице Мишле, 7, располагался Институт общественной истории (его директором был Борис Николаевский — историк-марксист, бывший меньшевик), откуда в ночь с 6 на 7 ноября 1936 года таинственным образом исчезли архивы, переданные туда на хранение Троцким... В то время полиции оставалось только восторгаться поразительным профессионализмом грабителей, а «разоруженный пророк» [1] обвиняющим перстом указывал на главарей НКВД. То, что позже почти тридцать лет Родзевич жил в доме, в котором сын Троцкого провел свои последние дни, случайное совпадение. Но как много их, этих случайностей...

После Испании, вплоть до начала войны, Родзевич ведет «мирную жизнь», как коротко сообщает его автобиография. 11 мая 1940 года он получает повестку из призывной комиссии. Его признают годным к военной службе как «иностранца, пользующегося правами убежища». Недолгая война — конечно, во французской форме. Затем он участвует в Сопротивлении, за что был арестован в 1943 году и отправлен из Компьеня в лагерь Ораниенбург-Заксенхаузен. Мы обнаружили хвалебный отзыв одного француза, участника Сопротивления, знавшего Родзевича по лагерю; этот человек все свое время посвящает деятельности в «Обществе бывших узников Ораниенбурга-Заксенхаузена». «Константин Родзевич, — вспоминает он, — прибыл в лагерь вторым этапом из Компьеня в начале мая 1943 года. Примерно 20 мая его вместе с тремя сотнями заключенных отправили в «Командо-Кюстрин». Пленные этой группы, на 95% французы, работали на целлюлозном заводе треста «ИГ Фарбен». Константин Родзевич, в совершенстве владевший немецким, был назначен переводчиком. Это ему не давало никаких особых привилегий, просто он сопровождал группы на работу, но сам не работал. Старший по возрасту, чем большинство остальных заключенных, он общался главным образом с одногодками, в частности с членами «Братства Нотр-Дам» [2] полковника Реми. Это был человек высоких моральных устоев, державшийся независимо, ни разу не проявивший ни малейшего раболепства перед немцами. Он пробыл в лагере до начала февраля 1945 года, когда, с наступлением советской армии, лагерь эвакуировали: одних вернули в Заксенхаузен, других отправили в Бухенвальд, Берген-Бельзен. Многие оттуда не вернулись: с января 1945 года до освобождения 75% узников, содержавшихся в Кюстрине, погибли».

В наброске автобиографии Родзевич упоминает Берген-Бельзен как один из этапов своего крестного пути после эвакуации из Кюстрина. «В мае 1945 года, в Ростоке, — пишет он, — я был освобожден Красной Армией и смог сразу же вернуться в Париж вместе с другими узниками...» Любопытна «Полевая медицинская карта», выданная ему англичанами 5 мая 1945 года, которую мы нашли среди его документов. В ней написано: француз, гражданский (о чем сви-

---

[1] Так называется вторая часть биографической трилогии И. Дойчера, посвященной Л. Троцкому. *(Прим. ред.)*

[2] Разведывательная организация французского движения Сопротивления. *(Прим. ред.)*

детельствует красный треугольник с буквой «F»), возраст: 48 лет (на самом деле 50), состояние здоровья требует санитарной эвакуации. Еще одна загадка: Росток был взят советской армией 2 мая 1945 года, поэтому трудно себе представить, каким образом освобожденный ею Родзевич мог уже 5 мая оказаться под опекой санитарных служб британской армии.

Может быть, желая предстать в глазах потомства верным коммунистом и сыном земли русской, он просто слегка подретушировал факты — так ему хотелось, чтобы именно соотечественники оказались его освободителями? Но предположим, что его и в самом деле освободила советская армия. Тогда надо признать, что он счастливо отделался: с его именем и статусом белого эмигранта поистине странно, что разведывательные службы советской армии так просто отпустили его домой, даже не проведя расследования. Опять охранная грамота?..

Итак, подведем итоги: слишком много случайных совпадений, загадок, сомнительных или рискованных связей и знакомств. И чистые страницы биографии, и заполненные убеждают в одном: В. Лосская ошиблась, назвав героя «Поэмы Горы» «заурядным человеком», стремившимся к заурядной жизни. Родзевич наверняка — во всяком случае на отдельных этапах своего пути — отчасти, в значительной степени, а то и всецело состоял на службе у органов. Его наброски к автобиографии, записки, стихи отличаются политизированностью и несут печать сталинистской идеологии; идейная и политическая ортодоксальность— их главная отличительная черта.

Разумеется, Родзевич не относился к числу «примадонн» советской разведки. Он не был отозван в Москву во времена великой чистки, как большинство его соратников, похоже, даже не был связан ни с какой разведывательной сетью в начале второй мировой войны, когда начались дела куда более серьезные. Его «заурядная», если можно так выразиться, «карьера» участника Сопротивления, закончившаяся «заурядным» концлагерем,— антитеза истории Трепшера[1]. Наш свидетель, знавший Родзевича по Кюстрину, отзывается о нем как о достойном и скромном коммунисте, смелом человеке, разделившем «заурядную» трагическую судьбу миллионов других заключенных. После войны Родзевич долгое время провел в туберкулезных санаториях, главным образом в Швейцарии.

Если после войны он и оставался «человеком с двойным дном», то, похоже, не в столь зловещем смысле, как в межвоенную эпоху: три войны, блуждания по тайным кулуарам истории — более чем достаточно для одной жизни! В пятьдесят лет Родзевич подводит итоги и начинает более спокойную жизнь: незаметная служба в министерстве сельского хозяйства, открытое сотрудничество с коммунистами (Генеральная конфедерация труда, Национальный фронт, Общество дружбы «Франция — СССР» — но почему-то неучастие в «Обществе бывших узников Ораниенбурга-Заксенхаузена»); новая любовь и семейная жизнь, а также осуществление детской мечты — занятия скульптурой.

Глиняные фигуры с непомерно вытянутыми конечностями, вставшие на дыбы лошади, оригинальные деревянные скульптуры — воплощение внутренних бурь, неуемной жажды жизни. Впрочем, искусство не принесло ему большой славы: всего-навсего несколько законченных работ, несколько выставок. Угасло яростное пламя межвоенной поры, и Родзевич выбыл из числа активных участников событий; настала эпоха «борьбы за мир», своевременно набросившая покрывало забвения на лихие дела тридцатых годов.

Однако, как и раньше, осталась стойкая и упорная привязанность к своим корням и прошлому; завсегдатай книжного магазина «Глоб», специализирующегося на советских изданиях (сегодня он расположен на улице Бюси, близ станции метро «Одеон», там раньше находился «Союз возвращения на Родину», в котором в середине тридцатых годов активно сотрудничал Сергей Эфрон), Родзевич не пропускает ни одного номера «Литературной газеты» и «Нового мира».

В краткой автобиографии он старательно подчеркивает, что, «хотя и провел большую часть жизни за границей, его любовь и идеологическая связь с родиной никогда не прерывались». В конце шестидесятых годов он обращается в префектуру с просьбой о предоставлении «выездной визы» для четырехнедельной поездки в СССР. Эта поездка, заявляет он, вызвана соображениями «сыновнего долга»: единственный член семьи, оставшийся в живых и проживающий в СССР, попросил его приехать, чтобы позаботиться о могиле родителей. Паломничество, возвращение к истокам — родственным, и не только родственным... Из этого памятного путешествия Родзевич привез и сохранил один талисман: билетик московского автобуса.

О верности былым временам еще ярче говорят его многократные приглашения, посланные дочери друга, которого постигла трагическая судьба,— Ариадне Эфрон. В ее судьбе как в зеркале отразилась трагедия родителей; после семнадцати лет лагерей остаток жизни она посвятила защите памяти Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, собиранию разрозненных рукописей матери. Умерла Ариадна Эфрон рано, в 1975 году. В своей книге «Страницы воспоминаний» она упоминает о Родзевиче, не называя его:

«Герой поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость — с ироничностью, отзывчивость — с небрежностью, увлеченность (увлекаемость) — с легкомыслием, юношеский эгоизм — с самоотверженностью, мягкость — со вспыльчивостью, и обаяние это среди русской пражской грубо-бесцеремонно и праздноболтающей толпы (...) казалось не от века сего. (...) Герой Маринины поэм, коммунист, мужественный участник французского Соп-

[1] Леопольд Треппер (1904—1986) — руководитель советской разведывательной организации, известной под названием «Красная капелла», или «Красный оркестр», которая действовала в Западной Европе во время войны. *(Прим. ред.)*

ротивления, выправил начальную и печальную нескладицу своей жизни, посвятив ее зрелые годы борьбе за *правое дело*, борьбе за мир, против фашизма. (...) Нет, годы не властны над обаянием; не властны они и над благородной памятью сердца; и над мужеством.

Еще скажу, что Сережа любил его, как брата».

Вот она, нерушимая цельность памяти, где все мешается и переплетается: для Ариадны Эфрон Родзевич одновременно и ключевая фигура в поэзии матери, и благоговейный, верный хранитель, которому удалось спасти, а затем передать в Москву часть наследия Марины, борец-антифашист и друг Советского Союза, «брат» и соратник ее отца. Здесь трудно отличить зерна от плевел...

Кто сегодня еще интересуется Родзевичем? Исследователи Цветаевой. И говорят о нем как о давно умершем. Как о человеке, целиком исчерпанном литературой. Точно так же и свидетель, знавший его по концлагерю в Ораниенбурге, заверяет нас: «Он скончался несколько лет назад, я узнал об этом из сообщения в газете бывших узников лагерей». Еще один наш собеседник, сын крупнейшего деятеля русской парижской эмиграции тридцатых годов, вспоминавший о своих прогулках с «дядей Родзевичем», тоже считал его умершим много лет назад...

И все же в 1987 году я разыскал Константина Родзевича в Русском (белогвардейском!) доме престарелых, куда он удалился, съехав со своей квартиры на улице Лакретель, 26. Его было совсем нетрудно найти, стоило только предположить, что, несмотря на свои 92 года, он мог еще быть жив.

Это была тяжелая встреча. Я надеялся увидеть «агента», хотя вовсе не рассчитывал, что он станет откровенничать о своей деятельности в органах. На всякий случай я прихватил с собой «Попытку ревности», поэтический сборник Цветаевой, только что вышедший на французском, куда, конечно же, входили «Поэма Горы» и «Поэма Конца». В маленькой комнате, почти клетушке с сильным больничным запахом, я увидел испуганного и упорно молчащего старика. Нет, он не желал говорить ни о Цветаевой, ни о чем бы то ни было. Съежившись под одеялом, он бросал красноречивые взгляды на дверь и прерывал долгое молчание многозначительными «ну, вот...», давая понять, что беседа окончена. Единственное его признание звучало примерно так: «Теперь все кончено, мне остается только ждать конца». Тем не менее в ожидании «конца» Константин Родзевич читал «Новый мир» — целая стопка журналов лежала на столике у изголовья.

Вторгшись в эту жизнь, утратившую связь со временем, я чувствовал себя бестактным, виноватым. И, проведя со стариком всего каких-нибудь полчаса, торопливо откланялся. Кончалась зима. Я едва обратил внимание на столетние деревья — гордость парка дома престарелых. Позже, в наброске автобиографии Родзевича, я прочитал: «Трагедия старости заключается не в том, что человек стареет, а в том, что он остается молодым».

Виновный

Не так-то просто симпатизировать или сочувствовать Сергею Эфрону, организатору убийства Игнатия Рейсса. Рейсс — человек достойный, вызывающий восхищение, ветеран революционного движения — отправил в июле 1937 года свое знаменитое письмо в ЦК ВКП(б), выразив сожаление, что не отказался от работы в органах еще в годы первых чисток.

«Я шел вместе с вами до сих пор,— писал он.— Ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма! С двадцати лет я борюсь за социализм. На пороге своего сорокалетия я не желаю зависеть от какого-то Ежова. Позади у меня шестнадцать лет подпольной работы. Это немало, но у меня еще достанет сил, чтобы начать все сначала. (...) Чтобы Советский Союз и все международное рабочее движение окончательно не погибли под ударами открытой контрреволюции и фашизма, рабочее движение должно избавиться от своих Сталиных и сталинизма...» И, заявив, что вступает в IV Интернационал Троцкого, вернул Центральному Комитету орден Красного Знамени, полученный в 1928 году за заслуги перед пролетарской революцией.

Рейсс — дитя первой мировой войны и Октябрьской революции. Родившись в пограничном районе Галиции, на рубеже Австро-Венгерской и Российской империй, он был из людей, которых в те годы вынесло приливом на арену Истории, а после отлива оставило на песке. Рейсс не был прирожденным агентом или шпионом. Юный польский коммунист верил в «правое дело» в мировом, европейском масштабе, мечтал о социалистической Польше. Но он знал, что коммунист не должен разделять задачи на «великие» и «ничтожные». Поэтому, находясь в Москве, он согласился выполнить «особую миссию» в Вене. Рейсс не считал, что связывает себя с такого рода деятельностью навсегда; главное для него по-прежнему партия и польское коммунистическое движение, просто из «соображений безопасности» ему на время надо порвать с партией, «чтобы защитить и себя, и партию».

Однако очень скоро становится ясно, что возврат невозможен: Рейсс, как и большинство его товарищей, оказавшихся «меж двух систем», вынужден стать агентом советской военной разведки. Когда кого-нибудь из них арестовывают, Компартия Польши отрекается от него. Агент должен твердить, что действовал из чисто корыстных интересов. «Корысть и шпионаж были чужды этим молодым коммунистам,— пишет Елизавета Порецкая, жена Рейсса,— но они оправдывали свои действия, ссылаясь на опасность, грозившую СССР; добываемые ими сведения были очень важны для Советского Союза».

Итак, Рейсс, коммунист, революционер, превращается в шпиона, агента, в то время как европейская революция становится химерой, а Советское государство все более представляется последним ее «оскол»

ком», «нуждающимся в защите», воплощением очистительного пламени... Заметим: агент, разведчик, но не шпик! Рейсс — на службе у Красной Армии, но не у НКВД. Одному из соратников, перешедшему на службу в НКВД, своему другу Феде (то же происхождение, та же судьба), он заметил: «Тебе лучше отпустить усы, без усов не станешь хорошим жандармом!»

Рейсс талантлив и методичен. Он внедряет, по свидетельству Елизаветы Порецкой, «агента в высшие политические круги Британского государства», становится одним из главных резидентов советской разведки на Западе. При этом он не превращается в циничного аппаратчика вроде Орлова, вовсю пользующегося своими привилегиями, соглашающегося на любую работу, даже самую грязную, до тех пор, пока машина не разделается с ним самим. Напротив, в Рейссе живет чувство «корней» и «конечной цели», несмотря на все зигзаги советской политики с середины двадцатых по середину тридцатых годов.

Революционер по самой своей природе, он постоянно живет в состоянии конфликта, который неустанно обостряется и ведет к раздвоенности, к дилемме — это конфликт между убеждениями и взаимоотношениями с государством. Нелепые авантюры, возникающие в больном мозгу хозяина Кремля, приводят в отчаяние такого профессионала, как Рейсс: то попытка наводнить мировой рынок фальшивыми долларами, то проект «вербовки» сына кайзера и т. д. Но есть вещи и пострашнее: поражение без войны в Германии, первые чистки, планомерное проникновение НКВД в IV Управление Красной Армии, постепенное отстранение от дел всех «инородцев» — поляков, латышей, сербов, евреев, занимавших важные должности в органах и сыгравших решающую роль в «героическую» эпоху, когда агент ОМС[1] или чекист был прежде всего революционером, выполнявшим особую миссию.

Эти люди, наскоро замещенные русскими, «сделанными из другого теста и не знающими идеологических угрызений совести», революционеры «со стажем», для которых СССР был родиной приемной, а настоящей — революция, несмотря ни на что, не превратились в циников; они станут главной мишенью великой чистки 1937 — 1938 годов. А пока они уже сами перестали понимать, чьи они агенты: Коминтерна, Красной Армии или НКВД и его иностранного отдела — ИНО, проникшего во все сопредельные службы. Тем сильнее тянутся они ко всему, что, как им кажется, идет на пользу «правому делу», к великой битве: борьбе с фашизмом, а вскоре — к Испании.

Да, в Москве расстреливают, уничтожают целыми группами моих братьев и единомышленников, говорил себе Рейсс, но остается Испания, благодаря которой коммунистическое движение, может быть, воспрянет. Поэтому он продолжал молчать и отдавал все силы обеспечению бесперебойных поставок оружия Испанской республике. К тому же была еще боязнь пустоты, о которой говорит Троцкий в статье, посвященной смерти Рейсса: «Рейсс действительно работал за границей лицом к лицу с миром капитала. Это обстоятельство психологически облегчало ему сотрудничество с термидорианской олигархией... (но) порвать с Москвой означало не только оказаться подвешенным в пустоте, но и попасть в лапы иностранной полиции по доносу из ГПУ. Что же было делать?»

Однако после расправы с Тухачевским и командованием Красной Армии, после объявления охоты на «троцкистов» в Барселоне Рейсс решается и пишет свое письмо («я больше не могу. Я возвращаю себе свободу»), чувствуя, что «его» мир больше не существует и что отныне ему легче посмотреть смерти в глаза, чем завязнуть в бесчестном компромиссе со сталинизмом. Ясно, что такой разрыв был равнозначен самоубийству: вручив письмо служащей советского посольства — то есть тех же органов,— он ждет, пока оно дойдет до Москвы, вместо того чтобы сразу его опубликовать для собственной же защиты! «Удивительно рыцарский поступок,— комментирует Троцкий,— предоставивший ГПУ достаточный срок для подготовки убийства...»

Таков был человек, убийством которого руководил Сергей Эфрон. Мы могли бы на этом остановиться и выставить Эфрона на веки вечные злодеем. Впрочем, в большей или меньшей степени так поступают все, кто пишет о деле Рейсса с позиции «обвинения», «гражданского иска» или «семьи»: Елизавета Порецкая, Виктор Серж, Жерар Розенталь (бывший адвокат Троцкого), историки-троцкисты... Вполне естественное и даже почтенное занятие — писать историю сталинизма с точки зрения его жертв, но для понимания событий столь же необходимо попытаться расшифровать загадку исполнителей, пусть даже и не влезая в их шкуру.

Существует одна история — уж не знаю, подлинная или вымышленная,— которую использовал Жан-Луи Комолли в своем фильме «Красная тень». Старого большевика, героя гражданской войны, арестованного при Сталине, допрашивает следователь после месяца мучений, пыток и бессонных ночей. «Подпишешь ты, наконец, свои показания, контра?!» — кричит следователь. «Да кто ты такой, подлый жандарм, чтобы обзывать меня контрой?!— взвивается несгибаемый партиец и, разодрав на себе рубаху, обнажает грудь, всю покрытую шрамами, которые он получил в боях за революцию. «Кто я такой? А вот кто!» — в свою очередь кричит следователь и тоже рвет на себе рубаху: и его грудь в шрамах. Сломленный этим старый большевик садится и подписывает показания...

Не важно, правдив или нет этот эпизод, здесь дана притча, из которой стоило бы извлечь урок истории. Так вышло, что при сталинизме мы часто видим, как запутываются и пересекаются судьбы жертв и палачей, как меняются они ролями, и палачи сами становятся жертвами — так случится и с Сергеем Эфроном. Если смотреть

[1] Отдел международных связей Коминтерна. *(Прим. ред.)*

на нашу историю глазами временщика, который вскоре сам станет жертвой, то мы многое поймем в драме сталинизма. Это особенно характерно для мира агентов, где в одной лодке плывут не только герои и негодяи, идеалисты и циники, но где идеалист может быть одновременно негодяем, циник в какой-то момент испытывает высокие чувства и где повсеместно встречаешь бесконечно сложные, полные загадок и парадоксов судьбы и личности.

Итак, с точки зрения «жертв» Эфрон заклеймен как убийца: у него нет ни прошлого, ни будущего, он лишен какой бы то ни было глубины, как и сама его роль — эдакая тень с винтовкой из американского гангстерского боевика. В своей опирающейся на документы книге об убийстве мужа Елизавета Порецкая совершенно справедливо отводит С. Эфрону одну из первых ролей в подготовке заговора, однако избегает давать ему «характеристику» и ничего не пишет о его биографии. Он предстает просто орудием преступления. В брошюре, написанной в апреле 1938 года и послужившей неисчерпаемым источником для всех, кто позже писал об убийстве Рейсса, Альфред Ромер, Виктор Серж и Морис Вулленс менее сдержанны: Эфрон в ней аттестуется как белый эмигрант, который, «прикрываясь философской и литературной работой, выполнял в Париже задания ГПУ (самое благовидное из коих заключалось в вербовке, на тех или иных условиях, добровольцев в Испанию)». Он, как утверждают авторы, участвовал во всех этапах слежки за Львом Седовым и был организатором убийства Рейсса.

В своей книге «Адвокат Троцкого» Жерар Розенталь добавляет несколько деталей: именно Эфрон вербует Ренату Штейнер, которой поручает обнаружить Рейсса и идти за ним по следу; это он в начале лета 1936 года организует «шпионскую сеть», включавшую двенадцать человек, французов и русских, задачей которых станет ликвидация Рейсса; он же готовит ловушку Льву Седову в Мюлузе, которой тот избегает чудом, благодаря гриппу. Он же следит за установкой поста НКВД для обеспечения слежки за Седовым на улице Лакретель, 28. Опять же, по словам Розенталя, «покончив» с делом Рейсса, «Сергей Эфрон сбежал в Испанию, где его ждали превратности гражданской войны».

В третьем номере «Тетрадей Льва Троцкого» историк-троцкист Жан-Поль Жубер уточняет, что Эфрон активно работал в «Союзе возвращения на Родину», в котором вместе с другим участником дела Рейсса Петром Шварценбергом играл роль «вербовщика», работая на советские органы. После убийства Рейсса и допроса во французской полиции, пишет автор, Эфрон, как и Шварценберг, уехал в Испанию. Впоследствии, заключает Жубер, «о них ничего больше не было известно». В своей книге «Убийцы на свободе», вышедшей в 1951 году, Хьюго Девар, несколько более осведомленный, сообщает лишь, что Эфрон прикрывал свои черные дела маской журналиста.

С точки зрения «пострадавшей стороны» у убийцы нет ни лица, ни истории; ему выносят приговор по факту преступления. Перефразируя Брехта — у преступления есть только имя и адрес. Чтобы четче обрисовать облик виновного, надо обратиться к другим пластам памяти, к иному взгляду: а именно — к поклонникам поэзии Цветаевой, к биографам поэтессы. Здесь мы узнаем о нем значительно больше, особенно если будем интересоваться не столько самой поэтессой, сколько ее окружением. Шанс у нас есть — ведь с 1912 по 1940 год судьбы Эфрона и его жены были так тесно переплетены.

Жизнь поэтессы не заслоняет жизни Сергея Эфрона (далеко нет!), но зато неустанно освещает ее. Две эти судьбы равно влияют одна на другую, определяют, «взаимоотравляют» одна другую. Как и в случае с Родзевичем, другим персонажем из окружения Цветаевой, мы не ставим себе целью изучение биографии Эфрона в свете поэзии или поэтики жизни его спутницы. Но все же не странный ли парадокс, что ни разу, насколько нам известно, взгляд на Эфрона глазами «друзей, верных памяти Рейсса», не отмечает противоестественности связи между преступлением и поэзией — ведь даже не упоминается, что убийца был еще и любимым супругом великой поэтессы?

Углубляясь в мир воспоминаний о Цветаевой, мы исходим из иной формулировки: облик убийцы складывается из итога прожитой им жизни, а не из суммы его преступлений. Что касается «оценок» Эфрона, то они в этих воспоминаниях полярны. Для первых — западных исследователей Цветаевой, отличающихся, как правило, антисоветизмом, то есть откровенно «белых» — он в высшей степени несимпатичная личность, вызывающая двойственные чувства: с одной стороны, свидетель скорбного пути русской эмиграции, с другой — символ ренегатства и отступничества; наконец, сам жертва гидры тоталитаризма; и при всем при этом еще неизменный спутник поэтессы, которая для многих является олицетворением эпохи...

Для вторых — советских исследователей Цветаевой — Эфрона либо вовсе не существовало (он так и не был реабилитирован — своего рода самокритичная оценка советским государством преступлений, в которых он участвовал), либо он — безликая и сомнительная тень поэтессы, либо, в воспоминаниях его дочери, Ариадны Эфрон,— абсолютно идеализированный лубочный образ отца, при полном отрицании какой-либо причастности к преступлениям. Вплоть до самой смерти Ариадна, попавшая в СССР раньше родителей и тем способствовавшая их возвращению (и, вероятно, что-то знавшая о закулисной деятельности Эфрона в Париже), горячо отрицала какую бы то ни было его причастность к убийству Рейсса и прочим подобным историям.

Итак, две версии, по-разному освещающие события, заставляют отделить Эфрона от истории сталинских преступлений: парадоксы натуры этого человека отражены всей его биографией. Вот ее основная канва.

Сергей Яковлевич Эфрон родился в Москве в 1894 году в зажиточной семье, у которой, если верить его дочери, «было все для счастья». Отец умер, когда Сергей был еще подростком. Мать покончила с собой в 1910 году. Эфрон воспитывался у сестер и рано начал писать и печататься: в 1912 году вышла его небольшая книжка «Детство», в которой он «немного идиллически» (Вероника Лосская) описал свою среду. Слабый здоровьем (всю жизнь он будет страдать от частых приступов туберкулеза), Сергей еще гимназистом безумно влюбляется в Марину Цветаеву, с которой познакомился в Крыму. Она отвечает взаимностью. Они женятся в 1912 году, и в этом же году у них рождается дочь Ариадна. Через два года Марина Цветаева прославит эту любовь такими словами: «Мы никогда не расстанемся. Наша встреча — чудо...»[1].

Красивый, слабый, неспособный противостоять житейским трудностям, Эфрон для нее «паж». Она его защищает, любит слегка материнской любовью. Позже она будет жаловаться — ей, созданной писать стихи, приходится мыть кастрюли. Непрактичность Марины была притчей во языцех, но рядом с этим вечным юношей, бездельником, мечтателем она олицетворяла некий минимум «земного начала». Именно она будет заботиться о детях, бороться с постоянными материальными трудностями, а после гражданской войны последует за ним повсюду, разделяя все удары судьбы. В 1922 году она будет с ним в Праге, в 1926-м — в Париже, в 1939-м — в Москве, она никогда не оставит его, несмотря на все размолвки, потрясения и увлечения...

В начале войны Эфрон отправляется добровольцем на фронт, но его забраковывают из-за слабого здоровья. Он работает братом милосердия, затем, перед началом революции, заканчивает офицерское училище. Как и большинство его товарищей, Эфрон скоро оказывается в рядах белогвардейцев — это вопрос чести, происхождения, верности традициям. Как утверждает его дочь, еще со времен гражданской войны он разрывается между этой верностью и убеждением, что белые борются за обреченное дело. Быть может, позднейшая интерпретация? Как бы там ни было, он сражается на юге России под знаменами белых до окончательного поражения.

В это время Цветаева оставалась в Москве, одна с двумя дочерьми, Ариадной и младшей, Ириной (она умерла от голода в 1920 году). Страдания, перенесенные поэтессой во время военного коммунизма, оставили в ней неискоренимое отвращение к большевизму. Ее лирическая и романтическая поэзия решительно противоречит эпохе, «где всем заправляет политика» (Вероника Лосская). Она навсегда останется такой: даже когда страсть к политике овладеет ее мужем, Цветаева будет глубоко безразлична к политическим акциям, непоследовательна в суждениях и политических пристрастиях, руководствуясь одними только чувствами.

Осенью 1921 года, после разгрома белогвардейцев, Эфрон оказывается в Праге. Из Крыма он попал в Константинополь и только затем — в Чехословакию, где возобновляет учебу. В двадцать девять лет, по словам дочери, у него все тот же вид юноши, перенесшего тяжелую болезнь. Поразительное сходство с судьбой Константина Родзевича: те же этапы, тот же конечный пункт — Прага. Они познакомились в Константинополе, еще до университета, и у них было достаточно времени, чтобы подвести общие для обоих итоги печальной белогвардейской эпопеи. Да и впоследствии траектории их судеб, вплоть до войны в Испании, будут схожими, несмотря на болезненный разрыв, связанный с «романом» Цветаевой и Родзевича в Праге в 1923 году. Двое неразлучных — и в горе, и в радости.

В своем желчном письме, написанном другу на следующий день после разрыва Цветаевой и Родзевича, Эфрон говорит о последнем с презрением, называя его «маленьким Казановой», и утверждает, что он (Родзевич) «не имеет с ней (Мариной) ничего общего». И однако, все свидетели сходятся в одном: до отъезда Родзевича в Испанию (по меньшей мере) он и Эфрон были неразлучны. Это подтверждает и поддерживаемая десятилетиями связь между Родзевичем и Ариадной. Видимо, отношения были очень прочными, основанными на глубоком совпадении мировоззрений, если уж они устояли перед всеми превратностями судьбы...

Во всяком случае, как утверждает Ариадна Эфрон, после приезда в Прагу ее отец постепенно приходит к мысли, что его участие в белогвардейской авантюре было ошибкой. Весной 1922-го он едет в Берлин встречать жену, приехавшую к нему из России (около трех лет у нее не было о нем известий). Марина убеждена более, чем когда бы то ни было, что Россия в руках варваров... Супруги, вместе с дочерью, поселяются на окраине Праги, в доме, который называют «избой». Цветаева — уже известная и признанная поэтесса, Эфрон изучает философию. Он прилежный студент, но жизнью своей удовлетворен не вполне. «Ежедневно я встаю в шесть утра и еду в Прагу, откуда возвращаюсь только вечером. Здесь мало людей — во всяком случае, таких, кого хотелось бы видеть. Вокруг много добродетели и честности, но, чтобы жить, этого мало». Ностальгия по *действию* — неважно под чьим флагом? Возможно, ключ к разгадке в этом?

Приятный, слабый, уязвимый, учтивый, доброжелательный, одухотворенный — таким описывают его современники. Волей или неволей он обречен нести крест гениальности и свободолюбия своей жены; интеллектуал, убежденный, что его *тоже* ждет слава; хронически больной, неспособный содержать семью — и возомнивший себя человеком действия... То, чем он станет, заложено уже в этих характеристиках.

В Праге собрались тысячи русских студентов, детей великой эмиграции, которых гостеприимно принял президент Масарик. Оставив мимолетную идею сделаться монахом, Эфрон — слабовольный, непоседливый, «вечный юноша», который, по свидетельству современника, «обладал потрясающей способностью находить себе развлечения», — организует студенческий журнал «Своими путями». Очень скоро — и это существенное свидетельство быстрой эволюции его политических взглядов, отчасти подтверждаю-

[1] Из письма В. В. Розанову. *(Прим. ред.)*

щее слова дочери,— Эфрон попадает под шквальный огонь эмигрантских газет, обвинявших его в тайном пристрастии к Советам. Именно с этого момента Эфрона начинают считать «советским агентом» за откровенно промосковские симпатии, хотя ни малейших доказательств его принадлежности к органам в тот период не имеется (да это и маловероятно, поскольку семья еле сводила концы с концами). Может быть, был, но сам того не понимал? Нам это неизвестно. Во всяком случае, он станет агентом, и вполне сознательно, через несколько лет, когда возглавит журнал «Евразия»...

В октябре 1925 года Марина Цветаева, взяв с собой обоих детей, младший из которых — Мур — еще грудной, уезжает в Париж, чтобы выступить на вечере поэзии. Во французской столице она останется на тринадцать лет. Эфрон (опять та же дата, что у Родзевича) присоединится к семье в январе 1926 года. Они устраиваются в Медоне, где много русских эмигрантов. Приехав в Париж, Эфрон активно участвует в евразийском движении как писатель и публицист. Саймон Карлински, один из биографов Цветаевой, пишет: «Возможно, честолюбивые устремления Сергея Эфрона были одной из причин, побудивших Цветаеву переехать из Праги в Париж. Многие его статьи и рассказы были опубликованы в середине двадцатых годов в различных газетах и журналах; особенно заслуживает внимания статья, в которой он несколько сумбурно излагает свою позицию по отношению к белому движению. Когда журналисты просили Цветаеву назвать самые значительные произведения русской литературы, то она, как преданная жена, наряду с прозой Ремизова и Пастернака упоминала произведения мужа».

Приговоры потомков жестоки: Цветаевой отведено место на вершине русской и советской литературы, а Эфрон, если и оставил след в истории, то, как говорил Ленин, «на манер Герострата». Однако в середине двадцатых годов на лавровый венок и бессмертие претендуют еще оба супруга. С 1926 года Эфрон вместе с Мирским и Сувчинским начинает выпускать литературный журнал «Вёрсты» (так назывался один из сборников Цветаевой). Эфрон вновь больно задевает эмиграцию, печатая наряду с эмигрантами и советских авторов — Пастернака, Бабеля.

Несомненно именно этот период становится решающим в эволюции взглядов Эфрона: после гражданской войны сначала в Праге, а затем и в Париже он ощущает себя посредником между эмигрантской и советской культурами и пытается наметить перспективы преодоления сложившегося противостояния. Но эмигрантская культура — культура побежденных, униженных, ограбленных — сопротивляется: пока еще она живет надеждой, что «бунт» будет подавлен и в России установится старый порядок... Эмигрантская пресса яростно нападает на «Вёрсты». Вероятно, Эфрону было досадно, что его среда так реагирует на попытки популяризации русской культуры во всей ее полноте; не это ли способствовало его переходу в другой лагерь? Даже его жена, в тот период оплакивавшая в элегиях гибель царской семьи, была возмущена обвинениями в адрес редакторов «Вёрст», якобы получавших субсидии от большевиков.

Итак, в Париже Эфрон (в отличие от Родзевича, лишенного публицистического дара) становится одним из вдохновителей евразийского движения. Например, 5 апреля 1926 года «Вёрсты» проводят диспут на тему: «Проблема смерти в русской дореволюционной культуре». Эфрон — в числе докладчиков, среди которых Марина Цветаева, Иван Бунин, известные литературные критики и многие руководители евразийского движения... 10 октября 1929 года он участвует еще в одном диспуте, на которые так падка русская эмиграция. Само его название «Пролетарская литература» характеризует путь, пройденный Эфроном за эти три года.

С 1928 года Эфрон становится одним из редакторов журнала «Евразия», к тому времени уже ставшего для белой эмиграции изданием одиозным. Он берется как за культурные, так и за политические темы («Кадеты и революция», «Подпольная культурная жизнь в России» и т. д.). Он — один из инициаторов усиления просоветской ориентации журнала, тех, кого, начиная с 1929 года, «истинные евразийцы» объявляют сторонниками какого-то другого движения. Однако, когда в 1931 году евразийство развалилось, Эфрон, по свидетельствам современников, очень страдал. «Политические взгляды,— пишет Вероника Лосская,— глубокое чувство вины перед Родиной и характер естественным образом привели его в эту организацию. По той же причине в 1933 году он подал прошение о выдаче ему советского паспорта».

Эволюция политических взглядов медленно, но верно подводит Эфрона к проблеме *«возвращения»*, а тем временем социальное его положение остается крайне неопределенным. В отличие от большинства своих собратьев-эмигрантов, он не удосужился найти постоянную работу (равно как и его друг Родзевич) — карьера шофера такси не вязалась с его интеллектуальными и литературными запросами. Редкие гонорары и, кажется, съемки в кино (в качестве статиста) не могли прокормить семью, державшуюся только благодаря помощи таких друзей, как князь Мирский.

К тому же Эфрон периодически «болеет» и часто выезжает в санатории и дома отдыха. Современники по-разному относились к его болезни: если жена, судя по их переписке, серьезно опасается за него, то прочие считают Эфрона мнимым больным: это был «слабый человек», «его болезнь была мифом», «я знала его четырнадцать лет, он никогда не был болен», «просто они с моим мужем (это говорит жена Родзевича! — *А. Б.)* уезжали в горы, в пансион, где отдыхали от жен и тягот обыденной жизни...»

«Слабый человек», лишенный заработка, мечтатель и идеалист... Эти обстоятельства и черты характера тяжелым грузом лягут на плечи Эфрона, когда он окажется на перепутье. И еще одно: с годами безумная юношеская любовь Сергея и Марины разбилась о рифы обыденной жизни; «вечный юноша», слабовольный и безответственный, больше не удовлетворяет Марину — у нее волнующие романы в письмах с Пастернаком и Рильке. И другие романы, менее эпистолярные. У Эфрона тоже своя жизнь, свои занятия.

Они живут вместе, сохраняют добрые отношения, но существуют каждый сам по себе. Похоже, они мало интересуются друг другом. Это позволит Цветаевой заявить на допросе во французской полиции, после «катастрофы с Рейссом», что она ничего не знает о нелегальной деятельности своего мужа... В начале тридцатых годов Эфрон и Цветаева по-прежнему испытывают друг к другу глубокое уважение, и она неизменно сохраняет преданность этому «ребенку» и сильное чувство ответственности за него, что приведет к тяжелым последствиям.

Наконец в 1933 году Эфрон принимает решение, значение которого было огромно: он запрашивает советский паспорт, желая вернуться в СССР. Он не первый среди евразийцев — вероятно, волна возвращений была инспирирована советскими «эмиссарами», проникшими в это движение. Как бы там ни было, отныне Эфрон оказывается в состоянии прямого «диалога» с советским государством, к тому же в положении *просителя*. Конечно же, за минувшее десятилетие он прошел немалый путь, но прошлое есть прошлое: бывший белогвардеец, офицер «контрреволюционной армии». Он оказывается перед тяжелым выбором: с одной стороны — деморализованная эмиграция (советская власть, вместо того чтобы рухнуть, крепнет, даже несмотря на борьбу в ее руководстве, и успешно завоевывает признание западных держав), с другой — государство, в котором торжествует сталинский «термидор»...

К чему же стремится вернуться Эфрон? К революции, против которой он боролся и с которой сейчас расправляется Сталин? К «русской земле», к «Родине», перед которой чувствует себя бесконечно виноватым за то, что бросил ее, и которая существует теперь только в его детских и юношеских воспоминаниях? (Ведь, по словам Цветаевой, СССР — сочетание четырех согласных, непроизносимое из-за отсутствия гласных; это уже не Россия, это *«После России»*). Или к тому, что в 1933 году представляется единственным бастионом, противостоящим поднявшему голову фашизму?

На чем бы ни основывалось его стремление вернуться, Эфрон попадает в ловушку: в ловушку своего прошлого, за которое ему придется «заплатить», в ловушку разрыва между его «мечтой» о родине и реальной страной. Как и все прочие эмигранты, стремившиеся вернуться, Эфрон был политически наивен, ибо оценивал сталинизм извне, идеализировал свою родину и не представлял себе, какой ценой придется заплатить за возвращение.

Изначальный коммунизм, из которого вырастает утопическое мировоззрение Рейсса с его неприятием набиравшего силу сталинизма, Эфрон воспринимает как противную ему, враждебную культуру. «Красные», к которым он хочет присоединиться, уже не красные Октября, это вообще не настоящие «красные». Подав прошение о возвращении в Советский Союз, Эфрон оказывается «идеальным» для использования, превращается в орудие, которым можно легко управлять и которое можно использовать в любых целях.

Но «орудия» бывают разные. В своей книге «Убийцы на свободе» Хьюго Девар называет Ренату Штейнер, «помощницу» Эфрона, которая заманит Рейсса в смертельную ловушку, «полной дурой». В самом деле: шпионя, выслеживая Седова и Рейсса по заданию Эфрона, она убеждена (ей так объяснили), что идет по следу спекулянтов оружием, снабжающих Франко. Никто не собирается их убивать, за ними только следят. Глаза у нее откроются только после того, как ее арестует швейцарская полиция и она узнает, что стала соучастницей убийства, финансировавшегося НКВД...

С Эфроном же было иначе. Он был, безусловно, простофилей в политике, потому что согласился заплатить за возвращение ценой различных «услуг», которые окажет советской родине (политике Сталина). Он убежден, что действует во имя Добра. Но поспешно согласившись с тем, что пути Добра неисповедимы, он уже прикоснулся к заразе сталинизма. К тому же еще — это постепенное движение, неумолимое стечение обстоятельств: оплачиваемый работник «Союза возвращения на Родину», деятельный организатор возвращения соотечественников, пропагандист этого возвращения.

Конечно, это еще не криминальная деятельность: в конце концов, Эфрон не знает, какая судьба ждет «возвращенцев». Однако отметим, что главный шаг в его «карьере» уже сделан: его «работа» (начиная с 1934 года) оплачивается настолько прилично, что он впервые — наконец-то! — может обеспечивать семью. Впервые в жизни Эфрон действительно хорошо зарабатывает, имеет постоянную службу... Но кто ему платит, на кого он работает? Не может же быть, чтобы он не догадывался об истинной сути «отчего дома»? Здесь жертва обмана превращается в соучастника, сотрудника *аппарата*. С этого времени Париж становится агентурным центром советских малопочтенных служб. Об их «свершениях» трубят все газеты. Даже «простофиля» не мог оставаться в неведении...

С конца 1936 года Эфрон занимается отправкой русских эмигрантов в Испанию. Это тоже не преступление. Но Кирилл Хенкин, которого мы уже цитировали в связи с Родзевичем, сообщает одну интересную подробность. В 1936 году, в возрасте семнадцати лет, Хенкин пришел на авеню Матюрен-Моро, в Дом профсоюзов (теперь на этом месте здание ФКП), где находился парижский Центр вербовки в интербригады. Когда юноша предъявил советский паспорт, у него категорически отказались принимать заявление: в то время СССР придерживался политики «невмешательства» в дела Испании, да и вообще советских граждан не брали в интербригады, только (принципиально!) «экспертами» или «советниками» непосредственно в регулярную республиканскую армию.

Отчаявшись, Хенкин обратился к одному русскому анархисту с просьбой помочь ему попасть в Испанию через свою организацию. Через несколько дней Эфрон, знавший семью Хенкина, заметил друзьям: «Кирилл с ума сошел, просит анархистов отправить его в Испанию!» А потом сделал все необходимое для отправки молодого человека в бригады «официальным» путем. Впоследствии Хенкин сообразил, что «анархист», к которому

он обратился, очевидно, работал на советские органы...

Значит, в это время Эфрон — уже «член сети». И уже ни в чем не отказывает НКВД, который, по сведениям Вероники Лосской, ежемесячно выплачивал ему от полутора до двух тысяч франков. В 1937 году Ариадна Эфрон, разделявшая убеждения своего отца, уехала в Москву. Сергей Эфрон, однако, все никак не получает свой паспорт. По одним сведениям, ему раз за разом отказывают, по другим — просто задерживают, неспроста! Эфрону придется заплатить за паспорт собственной жизнью...

В своей биографии Цветаевой Вероника Лосская рассказывает, как ей удалось в результате многолетних поисков и хлопот получить доступ к некоторым архивам французской полиции, касающимся дела Рейсса. Подробный отчет на 117 страницах от 31 января 1938 года, составленный Генеральной инспекцией, вскрывает существование «целой системы советского шпионажа», которая была связана с «Союзом советских граждан» и «Союзом друзей Советской Родины» (в прошлом — «Союз возвращения») и возглавлялась... Сергеем Эфроном. В этом протоколе упоминаются и другие фамилии, имеющие отношение к делу Рейсса, но ключевая роль Эфрона подчеркивается неоднократно.

В досье недостает многих страниц (в частности, отсутствует протокол допроса Марины Цветаевой), но заключение полностью совпадает с выводами, сделанными Виктором Сержем, Альфредом Ромером и Морисом Вулленсом в брошюре 1938 года, похоже, авторы пользовались полицейскими источниками. Собранные документы о биографии Цветаевой и брошюра 1938 года в равной степени подтверждают достоверность результатов расследования полиции, подвергшейся давлению со стороны властей. Те, в свою очередь, испытывали нажим со стороны советских представителей, требовавших прекратить расследование.

Итак, простофиля и к тому же убийца. Эфрон не мог не знать, кто такие Седов и Рейсс. Но он уже не в состоянии отказываться от заданий, так как дверь, через которую он вошел в коммунистическую «семью»,— самая узкая из всех дверей на свете. Рабочий класс, его культура, традиции, борьба против капиталистической эксплуатации, общность интересов в борьбе, интернациональные чувства... все это находилось вне сферы интересов Эфрона, было ему чуждо.

Даже «Второй Октябрь», которым для многих коммунистов стала Испания, борющаяся против фашизма, волновал Эфрона только на расстоянии, так сказать, с точки зрения сержанта-вербовщика.

«Семья», в которую он вошел (выражение самой Цветаевой, вспоминавшей, как ее муж разрывался между *«той семьей»* и своей семьей), прежде всего — аппарат, служащим коего он становится, темная лавочка, где плетутся тайные интриги, являющие суть сталинизма. Да, в Дом Сталина Эфрон попадает через самую грязную из дверей. Истосковавшись за десять лет бесцветной эмиграции, он, наконец, утоляет свою *жажду действия*, действия с привкусом авантюризма — именно этого не хватало «вечному юноше».

Видимо, Хенкин прав, когда, анализируя мотивы и поступки сталинских агентов, подчеркивает, что было бы ошибкой считать их просто «наемниками»,— *«даже Эфрона»*, добавляет он. Действительно, невероятная смесь циничного и идеалистического — один из привычных обликов сталинщины, этого метиса коммунизма и восточного деспотизма. Вероятно, на деле существовала некая глубинная связь, которую трудно себе представить, между различными этапами жизни Эфрона, будь то служба с юнкерами под знаменами белых или неблаговидные дела под куда менее славным знаменем НКВД.

На каждом из этапов он остается просто интеллигентом, одним из тех, кто, будучи лишен социальных корней, на протяжении всего XX века вовлекался могучей волной радикализма во все водовороты истории. Одни «скатились» до крайне правых позиций, других швырнуло влево, вот и вышло, что большинство закончило жизнь либо в клоаке фашизма, либо выпачкавшись в сталинизме. Было бы ошибкой думать, что Эфрон встал под хоругви барона Врангеля из тривиального желания защитить устои старой России. Нет, здесь уместно выражение другого его «собрата», завербовавшегося в дивизию «Карл Великий» (француза в форме СС, сражавшегося на русском фронте): «мечтатель в шлеме» — радикал, революционер, романтик вроде Эрнста фон Заломона, Бразийяра, Дриё ля Рошеля.

Итак, от одной крайности к другой, от одной модели книжной революционности к противоположной — может быть, судьба не столь уж парадоксальная, как казалось на первый взгляд? На каждом этапе элементы все те же: стремление «шокировать буржуа», подверженность давлению группы, уступки «духу времени», соблазн легкого выбора и недостаточная моральная требовательность. Самые страшные сталинские агенты были вылеплены из этого мягкого интеллигентского теста, замешанного на дешевых «мечтах» и «идеалах» лапами «шефов», «вождей», «директив» и «заданий». Эта порода идеалистов ничуть не лучше откровенных наемников.

С такого угла зрения убийство Рейсса приобретает аллегорическое значение: это сталинизм руками «посредников» сводит счеты со своим собственным прошлым. Эфрон, не имевший ни коммунистического прошлого, ни революционной памяти, не имевший никакого отношения к «движению», в отличие от Рейсса, ветерана революции,— стал олицетворением нового порядка, установленного хозяином Кремля. Такому порядку необходимы могильщики, возникающие из небытия. Рейсс и Эфрон, жертва и убийца,— два полюса сталинизма: с одной стороны, наследство, доставшееся сталинизму, которое уничтожали, делая вид, что бережно хранят его, гордятся им; с другой — новый радикализм, лишенный корней и малейшего подобия законности, псевдоромантизм грубой силы и жестокости. И в конце пути — дьявольская загадка сталинизма: представители не только первого полюса, но и второго должны погибнуть.

Обнаружив изрешеченное пулями тело Рейсса, швейцарская и французская полиции сбились с ног и вскоре вышли на след убийц. Однако попалась только всякая мелкая сошка. Несмотря на общепринятое мнение, маловероятно, что французская полиция успела допросить Эфрона до его исчезновения.

По уже отработанному сценарию его на машине быстро доставили в порт (по-видимому, в Гавр, где находилась мощная оперативная группа советских органов, как утверждает Ян Вальтин в книге «Без родины и без границ»), откуда он скрылся на советском судне. Малоубедительной кажется и распространенная версия, будто Эфрон попал в Советский Союз через Испанию.

Цветаева, оставшаяся в Париже с сыном, вызывает резонные подозрения: насколько она была «в курсе»? Исследователи разделились на два лагеря — «верующих», отвергающих возмутительное допущение молчаливого или явного сговора поэтессы с убийцей, и «реалистов» вроде Хенкина, который подчеркивает, что она «хотя бы чуть-чуть» должна была догадываться, но «возможно, не сознавалась себе в этом, чтобы не разрушить прекрасный образ мужа в духе Ростана: бескорыстие, рыцарство, чувство долга...»

И она, не желавшая слышать о новом «отъезде», не переменившая своего мнения о «после-России», вернется вслед за ним. Поразительная чехарда: Цветаева покинула Россию, землю, вскормившую ее поэзию, чтобы последовать за мужем, вынужденным эмигрировать; а теперь едет обратно в «после-Россию», чтобы не потерять его вновь. Можно попытаться упростить: Россию 1922 года она покинула потому, что это была уже не Россия и ей был отвратителен военный коммунизм; Францию, Западную Европу 1939 года она оставляет потому, что после вторжения Гитлера в Чехословакию над Европой сгустилась тень фашизма...

В начале лета 1939 года Марина Цветаева приезжает в Москву, где снова встречается с мужем и дочерью. На лето они едут в подмосковный поселок Болшево, в дом, принадлежащий НКВД. Эфрон, как обычно, болен и беспомощен перед повседневными трудностями. Его дочь Ариадна влюбляется в человека, по-видимому, приставленного НКВД следить за ней. В конце августа 1939 года ее арестовали. Для нее начинались семнадцатилетние муки ГУЛАГа. Осенью 1939 года забрали Эфрона. Существуют две версии его смерти: согласно первой, его казнили на Лубянке в начале войны, поскольку НКВД не желал канителиться с заключенными этого сорта во время эвакуации Москвы; согласно второй, его в одиночке расстреляли после дерзкого ответа на допросе самому Берии. Позже поползли слухи, что «режиссура» репатриации Эфрона принадлежала Сталину, который хитростью хотел вернуть в СССР Марину Цветаеву, гордость русской литературы.

Цветаева остается одна с сыном Муром. Он постоянно конфликтует с матерью, заявляя, что хочет стать международным шпионом или выгодно жениться. Цветаева не имеет известий ни о дочери, ни о муже. С наступлением немцев они с сыном уезжают в эвакуацию. Марина терпит лишения, тщетно пытается устроиться на работу. 31 августа 1941 года Цветаева повесилась в Елабуге, небольшом городишке Татарской автономной республики. Ее сын погиб на фронте в 1944 году. Дочь, Ариадна Эфрон, вернулась из ссылки лишь в 1957 году.

Наследница

Старые друзья, бывшие любовники: ему за восемьдесят, ей почти семьдесят, переписываются в середине семидесятых годов, десятилетия спустя после того, как на полном ходу вскочили в поезд Истории. Она живет в Кембридже, он — в Париже, и утекло немало воды: она «прозрела», давно уже не коммунистка; он же, напротив, ничего не забыл, ничего не понял, по-прежнему предан идее. Ее зовут Вера Трайл, его — Константин Родзевич. Из их переписки до нас дошли (опять — чемодан!) только письма Веры Трайл. Однако по ним иногда угадывается и содержание ответов.

В Кембридже Вера Трайл «страшно одинока» и едва сводит концы с концами. Ей было бы легче, откажись она от красного вина и сигарет, которые употребляет в больших количествах, но этого ей совсем не хочется. В своем хорошеньком домике, стоящем на берегу реки, она держит постояльцев, причиняющих ей немало хлопот. Вера Трайл не устает крыть их на чем свет стоит, целыми днями не появляется дома, лишь бы поменьше их видеть, но не может себе позволить отказаться от них. В ней сильно чувство юмора, чаще всего обращаемого против себя самой.

Она работает, пишет сценарии для британского телевидения, которые профессионалы находят восхитительными, но по непонятным причинам дальше первого чтения дело так и не идет. Как жаль! Будь у нее несколько тысяч фунтов стерлингов,— а сценарии дали бы ей эту сумму,— она бы непременно слетала в Париж навестить старого друга и еще в Израиль, в кибуц к своему внуку... Но не едет, а непошедших сценариев скапливается все больше. Еще она пишет рассказ под названием «Две жизни», навеянный случайным знакомством: настоящий доктор Джекилл — человек из приличной семьи, прохвост, нежный друг, алкоголик, поэт в жизни и потенциальный убийца. Двуликие мужчины интересуют и завораживают двуликих женщин, это вполне естественно.

Непризнанная художница Вера Трайл хвалит скульптуры Родзевича, фотографии которых он часто присылает ей. Будь у нее деньги, она бы купила у него несколько десятков работ, но увы... Она восторгается «силой воображения», веющей от этих снимков, и жалуется, что, в отличие от Родзевича, может поведать только о том, что пережила, о «минувшем». (Впрочем, о «минувшем»-то она как раз поведать не может, во всяком случае всего.) Еще она сожалеет, что не освоила искусства фотографии, в нем бы она наверняка преуспела.

К тому же (возраст, что вы хотите) ей досаждает «домовой» — поселился в доме и знай себе постукивает; ему посвящены страницы и страницы писем: весьма игривый «домовой» с чисто русскими манерами,

имеющий привычку кроме ритуальных постукиваний по стенам и перегородкам прятать все спички... Иногда доходит до того, что старуха не может приготовить себе завтрак. Так как юмора ей не занимать, она оставляет записку рядом со спичечным коробком: «Что вы все время таскаете спички, нет чтобы в дом принести!» Постукивающий дух, добрый демон, кладет спички на место и собственноручно приписывает: «спички»...

Как жаль, что до нас не дошли комментарии закоренелого материалиста и рационалиста Родзевича-Корде по поводу этих чудес в Кембридже... Наверное, про себя он думал: «Бедная Вера, как она сдала...»

Часто довольно одного слова, маленького происшествия, чтобы заговорила память: отключили свет во всем городе (о, эти рабочие, опять бастуют!), и пожилая дама вынуждена под проливным дождем, в полной темноте ждать автобуса. «И вспомнила мой — наш — первый black-out [1]. Помнишь *1 сентября 1939 г.* в Париже. Мы шли в Brasserie Alsacienne [2]. Ты я помню — а кто еще был? Кажется, Алеша Эйснер, нет?..»

Вот персонаж, за которым нам хочется последовать: в прошлом — белогвардейский офицер, командир в интербригадах, доброволец, потом «репатриант» в СССР, пятнадцать лет ГУЛАГа, известная и уважаемая фигура в неофициальных кругах московской интеллигенции шестидесятых-семидесятых годов. В 1986 году, после его смерти, одно советское издательство выпустило «дозволенную» версию его мемуаров об Испании. Выходит, он был близким другом Родзевича и Веры Трайл...

Квартиранты досаждают еще больше, чем домовой, но в них все же есть нечто хорошее — замечательная библиотека. Однажды Вера Трайл находит там воспоминания Литвинова, бывшего сталинского наркома иностранных дел, еврея, вместо которого для подписания германо-советского пакта предусмотрительно наркомом назначили Молотова. Литвинов рисует нелестный портрет Ежова, палача, кровавого сталинского лакея: лицо, дергающееся от тика, бегающие глазки — в общем, весьма приличествующая должности внешность... Веру Трайл Литвинов сильно удивил, даже шокировал, о чем она спешит сообщить своему другу[3]:

«Всю субботу и воскресенье читала отрывки из мемуаров Литвинова. Кому верить? Своим собственным глазам или воспоминаниям интеллигента Литвинова? В свое время Ежов обожал меня (конечно же, в абсолютно невинном смысле), впрочем, я писала об этом в своей книге. У него было маленькое, но миловидное лицо, как у статуэтки или иконы, приятная улыбка, прямой и открытый взгляд, серьезные глаза... И он спас мне жизнь (...). Я провела с Ежовым четыре часа и не заметила и намека на тик,— не было у него никакого тика! Только в одном я согласна с Литвиновым: Ежов, бесспорно, был параноиком...»

Итак, оказывается, можно быть незаурядным человеком, иметь артистическую внешность и при этом отличаться на поприще, крайне далеком от мира литературы и искусства... Скоро мы узнаем об этом больше. Слово за слово, Вера Трайл продолжает: «Постараюсь описать свои преступления (Рейсс, Миллер и сын Троцкого, которого я будто бы бросила в Сену). Я не только не имела к этому никакого отношения, но у меня есть великолепное алиби, лучшее, чем ты можешь себе вообразить. Так вот, бедный Миллер погиб на следующий день после того, как у меня родилась М. Я посоветовала Второму Отделу позвонить в клинику моему доктору, который бы им ясно объяснил, была ли я в тот день в состоянии прикончить генерала Миллера, настоящего гиганта, когда обессиленная лежала в кровати. Это Борис Николаевский (ты помнишь этого эсера?) [1] наговорил им обо мне. Представляешь, что могло бы произойти в Париже и даже в Лозанне, если бы он сообщил Второму Отделу, что я причастна к покушению (...). Когда меня допрашивали по делу Рейсса, я спросила, когда это произошло. Они назвали число. Тогда я показала им паспорт. В этот день у меня были проставлены три штампа: советская виза, польская и еще транзитная германская. Меня отпустили с извинениями...»

Интересно, кто этот незваный «постукивающий» дух, явившийся из далекого прошлого, дабы воскрешать «старые воспоминания» (что совершенно не в духе Родзевича, в положении которого лучше молчать)?.. Фрейдистские мотивы? Скорее всего, это чтение мемуаров пробудило старую боль, старые обиды или старые угрызения совести. Она по-прежнему все отрицает, и уже это достаточно красноречиво: кто бы стал сегодня требовать отчета у Веры Трайл? Только ее одиночество и боязнь старости, в которой, как написал Родзевич, «остаешься молодым»!

Конечно же, эти письма были мощным стимулом, чтобы постараться выяснить: кто же такая Вера Трайл, русская старушка (ее письма к Родзевичу написаны по-русски) с английской фамилией? Жива ли еще? Почему была близко знакома с Ежовым, почему пытается оправдаться и доказать свою

---

[1] Затемнение *(англ.)*.

[2] Пивная «Эльзас» *(франц.)*.

[3] Вот отрывок, на который ссылается Вера Трайл: «Я встретился с Ежовым. Он произвел на меня отталкивающее впечатление... Это пигмей с лицом убийцы, с бегающими глазками и со спазматически дергающимися верхней губой и левым веком... Говорят, что позже он открыл что-то вроде гарема для Секретариата ЦК...» Заметим, что в своих записках Литвинов сообщает ценную информацию, касающуюся убийства Рейсса: начиная с 1937 г. Рейсс был в курсе секретных сношений между Сталиным и Гитлером, которые в 1939 г. завершились подписанием германо-советского пакта. «Рейсс был в курсе наших переговоров,— пишет Литвинов.— Если бы он исчез вместе со всеми документами, то разразился бы невиданный скандал...» *(Прим. автора.)*

[1] Борис Николаевский (1888—1966) — не эсер, а меньшевик, ветеран русского социалистического движения, арестованный и затем высланный из России в 1921 г. В 1922 г. он приезжает к Мартову в Берлин и руководит там партией меньшевиков. Историк-марксист, он переписывался с Московским институтом марксизма-ленинизма вплоть до снятия его директора Рязанова в 1931 г. С приходом к власти Гитлера эмигрирует в Париж, затем, после оккупации Франции — в Нью-Йорк. Написал в соавторстве с Отто Меихен-Хельфеном знаменитую биографию Маркса, а также в соавторстве с Д. Далленом «Принудительный труд в СССР». *(Прим. автора.)*

непричастность к похищению генерала Миллера, к убийству Рейсса, к смерти Седова (она явно путает его с Рудольфом Клементом, обезглавленный труп которого нашли в Сене)? Почему, наконец,— она упоминает об этом в одном из своих писем — МИ-5, британская контрразведка, неоднократно ее допрашивала? «Я очень позабавилась — обожаю допросы...» — комментирует она игриво этот факт.

Чтобы узнать об этом больше, достаточно было постучаться в нужную дверь: к потомкам русских эмигрантов — тем, кто сделал из воспоминаний профессию или просто пытается сохранить свою самобытность. «Вера Трайл,— переспрашивают нас, наморщив лоб,— да, конечно, это же дочь Александра Гучкова...» Как так — знакомая Ежова, сталинского гнома-палача, и одновременно дочь Гучкова, бывшего военного министра Временного правительства, центральной фигуры монархической эмиграции после Октябрьской революции? Какое причудливое переплетение!.. Мы сверились со знаменитой «Современной энциклопедией русской и советской истории» в тридцати томах, в которой действительно в статье «Гучков» упоминается «его дочь, Вера Трайл». Надо было выяснить, каким образом она, принадлежа к элите белой эмиграции, могла оказаться близка с человеком, ставшим символом сталинского террора.

Начнем с отца. Это действительно человек незаурядный. Родился в Москве в 1862 году в семье богатейшего купца. Его дед — городской голова, отец — член городской Думы. Александра Ивановича Гучкова не привлекало предпринимательство, его тянуло в общественную деятельность, к действию. По окончании учебы (по русской традиции — в лучших немецких университетах) он начинает политическую карьеру в Москве. Но скоро ему надоедает оседлый образ жизни, чуждый его пылкой и дерзкой натуре.

Гучков отправляется в Анатолию на помощь армянскому народу, жертве турецкого геноцида, потом в Сибирь, где командует военным отрядом, охраняющим строительство Транссибирской железной дороги, затем в пустыню Гоби, под Великую Китайскую стену, и, наконец, в Южную Африку, где вместе с бурами воюет против Британской империи, извечного врага русского национализма. Но это, последнее приключение принимает скверный оборот: Гучков ранен и взят в плен англичанами. Благодаря своей фамилии и стараниям семьи он легко отделывается и возвращается в Россию, через Лондон и... Пекин, где бушует восстание Боксеров. В 1901 году Гучков женится и удаляется в деревню, впрочем, перед тем успев оказать поддержку восстанчю четников в Македонии. Во время русско-японской войны он служит начальником госпиталя Красного Креста в Маньчжурии, в Мукдене. Попадает в плен к японцам, после чего возвращается в Москву — в самый разгар революции 1905 года.

Когда буря стихает, Гучков создает партию октябристов, своего рода «оппозицию Его Величества». Он — приверженец энергичных мер по «поддержанию порядка», сторонник столыпинской реформы «сверху», обличает неспособность военной администрации, представленной великими князьями, противник дворцовых интриг и распутинской камарильи. Всем этим Гучков навлекает на себя сильное недовольство царя. В 1915 году он возглавляет военно-промышленные комитеты, ответственные за снабжение фронта. В конце 1916 года Гучков готовит государственный переворот, считая, что только отречение Николая II от престола может спасти положение в стране и на фронте. Но в феврале 1917 года происходит революция.

Монархист Гучков в роли военного и морского министра для радикалов является воплощением «контрреволюционной буржуазии», делить власть с которой невозможно: «Долой буржуазное правительство Милюковых и Гучковых!» — под таким лозунгом проходят большевистские демонстрации. В конце апреля 1917 года Гучков подает в отставку и возвращается к руководству военной промышленностью. Вскоре после Октября он бежит из Москвы в Берлин, затем в Париж, прихватив свое немалое состояние. Оставаясь человеком действия, он является одним из столпов открытой контрреволюции: саботаж, отправка агентов на советскую территорию, даже теракты. В начале тридцатых годов Гучков часто бывал в Берлине, где встречался с нацистскими руководителями и готовил «проникновение» на вражескую территорию. Он умер в Париже 14 февраля 1936 года.

Одним словом, политический забияка, искатель приключений, человек более импульсивный, нежели рассудительный,— и явный белогвардеец, непоколебимый враг большевизма и советской системы. Одна из наследственных черт налицо: жажда действия, сила воображения, экстремизм, авантюризм. А откуда взялись остальные? Надо было продолжать поиски. Так я разыскал одного человека, который сохраняет верность русским традициям, каждое воскресенье ходит в православную церковь и с удовольствием вспоминает, как ребенком сиживал на коленях у Милюкова и других великих *«атаманов»*. Очень любил он прогулки с «дядей Родзевичем» в Ботанический сад, а Веру Александровну Гучкову (Трайл) считал почти сестрой... Он очень интересно рассказывал (по русскому обычаю, за стаканом водки) об обстоятельствах нашей «истории» и помог мне многое понять в старой даме. Вера Гучкова была на десять лет моложе Эфрона и Родзевича и наверняка познакомилась с ними в Париже в середине двадцатых, так как была тогда замужем за Петром Сувчинским, музыковедом и одним из основателей и вдохновителей евразийского движения. Значит, наше «трио» сложилось еще в тот период и Вера тоже пережила евразийскую авантюру, которая надломила судьбы многих ее участников, отринувших «белую» культуру ради химеры и надежды на возвращение.

Что было потом? Вера вращается в лучших кругах эмиграции, она знает всю политическую и интеллектуальную элиту белых, завсегдатаев салона ее родителей, а также писателей, художников, Прокофьева, Пастернака. Наследница знатного имени, типичная «великосветская дама» — сказал мой собеседник. Вскоре она расстается с Сувчинским. И становится коммунисткой. Ког-

да? В начале тридцатых годов. Зачем? «Чтобы *эпатировать буржуа*»,— отвечает мой собеседник. Эта формулировка, ставшая банальной, некогда значила так много: в ней — дух той волны русской интеллигенции, что перед первой мировой войной, как Маяковский, обряжалась в «желтые блузы», желая бросить вызов консерватизму и обскурантизму, «отцам, святыням», мешая экстравагантность с огненным футуризмом.

Наш собеседник заявил весьма категорично: в «обращении Веры» решающую роль играла проблема отца: «В отце ее восхищал дух авантюриста, сорвиголовы (sic). Однако при случае она любила громко и во всеуслышание заявить, что ее отец—фашист. Но на самом-то деле — я знаю — все было далеко не так просто, ее чувства были куда сложнее. Когда мы оставались наедине и она переставала играть, то отзывалась о нем совершенно иначе...»

Подобный конфликт, надлом, со временем усиливающийся, мы уже встречали у многих наших героев[1], в частности у Эфрона. Кроме «проблемы отца» сыграли свою роль и среда, друзья, «группа»; в тридцатые годы Вера очень близка с Родзевичем — обилие фотографий и тон былой возлюбленной, звучащий в письмах, которые будут написаны сорок лет спустя, недвусмысленно подтверждают это. «До того, как сделаться коммунисткой, она была славянофилкой»,— вспоминает наш собеседник. Это тоже могло послужить мостиком при переходе к сталинизму — ведь Сталин, ставши фактически новым царем, восстановил былое могущество России...

В 1936 году Вера Трайл, как и Эфрон, работает в специальной «сети», занимавшейся вербовкой добровольцев в интербригады.

«В Испанию я отправила человек пятьдесят, главным образом русских эмигрантов,— сказала она однажды моему собеседнику.— Половина осталась там. Все остальные — за исключением Родзевича — оказались в Сибири...» В это время, несомненно, благодаря своей деятельности, Вера встречает Роберта Трайла, шотландца, от которого отказалась его знатная и состоятельная семья после того, как он — и он тоже!— стал коммунистом. Любовь с первого взгляда, свадьба. Роберт Трайл уезжает в Испанию вместе с британскими добровольцами и погибает, как и десятки его соотечественников, в бою при Брунете в июле 1937 года. Его имя занесено в «Список чести» вместе с именами других британских интербригадовцев, павших в Испании. В своих мемуарах («Британские волонтеры Свободы») бывший соратник Трайла, Билл Александер, вспоминает этого «лингвиста из Лондона с университетским образованием», одно время командовавшего второй ротой британского батальона. Еще он делает интересное добавление: до Испании Боб Трайл «работал в Москве».

Вера Трайл остается вдвоем с дочерью, родившейся от этого недолгого брака.

Нашему собеседнику она немало рассказывала о драматических событиях 1937 — 1938 годов. И клялась всеми святыми, что не обезглавливала Рудольфа Клемента, не бросала его в Сену, не убивала Рейсса. «Она горячо отрицала свою причастность,— вспоминает он,— и в конце концов я поверил ей, потому что в последний раз она повторила мне это в госпитале, в 1986 году, умирая от рака. Конечно же, Вера была великой лгуньей, выдумщицей, но при этом и обладала выдающимся интеллектом, в совершенстве владела четырьмя языками. Она была блестящей дилетанткой... Нет, я не верю, что она была способна на такое».

«Такое» — это убивать по указке НКВД. Значит, Вера Трайл вообще не имела никакого отношения к подобным делам? Здесь мой собеседник, человек откровенный и здравомыслящий, был менее категоричен:

«Какую-то роль в деле Рейсса она, бесспорно, играла». В общем, по его мнению, она участвовала в акции на «подготовительном этапе», на расстоянии...

В одном наш свидетель был абсолютно уверен: вопреки «железному алиби», которое Вера Трайл упоминает в переписке с Родзевичем, впервые она отправилась в СССР не в день убийства Рейсса, а *на следующий*, покинув Францию второпях, как и Эфрон. Она рассказывала, что попала в Москву в самый разгар чисток и была смертельно напугана обстановкой, когда люди переставали здороваться со старыми знакомыми, чувствуя, что те обречены. Это возмущало ее, повергало в смятение. А друзья, те, что еще уцелели, заклинали: «Замолчи, ну замолчи же!»...

Еще она рассказывала о Ежове: гном ее очень любил и даже предложил важную работу в Западной Европе, от которой она отказалась. И вот однажды... «среди ночи Ежов позвонил ей и сказал: «Вера Александровна, немедленно уезжайте! За вами должны прийти! В вашем распоряжении несколько часов, скорее уезжайте!» Вот почему она защищала Ежова, не помнила о его тике, находила его взгляд открытым и умным...

Этот драматический эпизод, возможно романизированный (наши герои не чужды мифотворчества), несомненно, в основе своей верен; Веру Трайл, дочь предателя Гучкова, в разгар террора наверняка ожидал лагерь, а то и пуля в затылок, однако всего через несколько месяцев после своего скоропалительного отъезда в Москву она вновь оказывается на Западе. К тому же, как ни странно, в Париже, где еще не рассеялись подозрения в ее причастности к убийству Рейсса...

Занимает и еще одно обстоятельство. Елизавета Порецкая, жена Рейсса, пишет в своих мемуарах: «Из всех эмигрантских организаций группа Гучкова была самой активной и, стало быть, больше всего обложенной советской агентурой. Созданная Гучковым (...) организация с первых же своих шагов стала объектом пристального внимания органов. Это ее имел в виду Слуцкий, говоря Людвигу (Рейссу.— *А. Б.)* и Кривицкому: «У нас там много своих людей», а Гравпен (коллега Рейсса.— *А. Б.*), отвечая на мой удивленный вопрос, откуда у него такие точные сведения о Людвиге,

[1] Речь идет о героях книги «Агенты Москвы». *(Прим. ред.)*

сказал: «В Париже у нас есть очень надежные люди в кругах белой эмиграции» (...). Это через группу Гучкова и «Русский Общевоинский Союз», где обретались «свои люди» Слуцкого, НКВД установил контакт с немецким генштабом и получил фальшивые доказательства «измены» маршала Тухачевского и других высших командиров Красной Армии, что позволило Сталину ликвидировать Тухачевского и весь командный слой, состоявший из участников гражданской войны, которые могли хранить верность Троцкому».

В другом месте она пишет об одном своем друге, агенте, решившем вернуться в Москву, несмотря на ожидавшую его там судьбу и объяснившему свое решение так: «Меня и здесь легко убить. Они это сумеют. Можешь мне не верить, но я-то знаю, насколько они всесильны. В Париже есть группа белых офицеров, окружение Гучкова, которые работают на них. Они умеют это делать. Они предали своих, но обожают убивать коммунистов».

Словом, Гучков повторил судьбу генерала Врангеля, организация которого, ставившая себе задачу «проникновения» в СССР, сама к середине двадцатых годов оказалась в сетях ГПУ. При таком положении дел все чрезвычайно запуталось. С одной стороны, можно предположить, что дочь Александра Гучкова могла быть для НКВД козырем в этой игре. Но с другой — нам известно от нашего собеседника, что Гучков знал о коммунистических симпатиях дочери и «очень страдал». В этом котле, где варилась каша из белогвардейских интриг и козней НКВД, все краски перемешаны. Но верх в конце концов неизменно одерживает сильнейший...

После объявления войны Вера Трайл, как и тысячи других «подозрительных» и «нежелательных» иностранцев, была отправлена в один из многочисленных концлагерей (они так назывались официально), организованных французскими властями. Лагерь Рьёкро, неподалеку от Менда в Лозере, был не самым худшим — поначалу (во всяком случае, женщин) даже выпускали в город за покупками. Там содержались немецкие, итальянские, французские коммунистки (в том числе жены Хосе Марти и Габриэля Пери), иностранки европейского происхождения, проститутки и эмигрантки... Похоже, что Вера Трайл пользовалась там определенными льготами: ей разрешили поселиться в гостинице «Золотой лев» в Менде, позже к ней приехала мать. Прежде Вера Трайл, при уже известных нам обстоятельствах, попала в поле зрения полиции, однако теперь, благодаря своему замужеству, она стала британской подданной и, значит,— союзницей.

Одна польская еврейка, коммунистка, тоже гостья поневоле лагеря Рьёкро, так вспоминает о ней: «Она была высокого роста, очень близорука и всегда носила длинную меховую накидку. Была хорошим товарищем, но в партии не состояла и в подпольную организацию лагеря не входила. Когда она получила разрешение на жительство в Менде, поползли сплетни — правда, бездоказательные,— будто у нее интимные отношения с комиссаром полиции...» Извечная участь агента — быть чужим даже среди своих...

В это время у Веры Трайл серьезный «роман» с немцем-антифашистом, ветераном Испании Бруно фон Заломоном, вероятно, братом знаменитого Эрнста фон Заломона, писателя-нациста. Бруно умер несколько лет спустя от туберкулеза. По возвращении в Англию Вера Трайл напишет книгу о своей последней большой любви. А позже, в шестидесятые годы, протрезвев от своих сталинских увлечений, постарается скупить все оставшиеся экземпляры, ибо десятки страниц в романе были заполнены восхвалениями «отца народов»...

Пока гестапо не успело наведаться в Рьёкро за жертвами, охраняемыми жандармами Петена, Вера Трайл бежит классическим путем — через Испанию и Лиссабон. После войны она уже не коммунистка. Почему? Если верить моему собеседнику, ответ ясен: то, что она увидела в СССР в 1937 — 1938 годах, открыло ей глаза. В 1941 году Вера Трайл еще не переварила этот опыт, верит в антифашизм, пишет роман-оду Сталину, но после войны с этим покончено. Уже в 1949 году, когда Виктор Кравченко в эпоху нарастания «холодной войны» открыл глаза западному общественному мнению своей нашумевшей книгой «Я выбираю свободу», она сопровождает перебежчика на публичных выступлениях в качестве переводчицы. На фотографии, опубликованной 4 мая 1949 года в газете «Ивнинг ньюс», Вера Трайл стоит рядом с Кравченко, нервно затягиваясь сигаретой. Тут, правда, тоже можно вообразить какой-нибудь сюжет в макиавеллиевском духе...

Когда в начале шестидесятых годов наш собеседник решает вернуться в Москву, она отговаривает его: «Не будь идиотом...» — и рассказывает о чистках, об исчезавших друзьях, хоть, конечно, и далеко не все... А в своих письмах к Родзевичу, наряду с бранью в адрес забастовавших рабочих, резко замечает: «Как можно в наше время оставаться коммунистом? Если все произошедшее за последние сорок лет не переубедило тебя, то как мне это сделать словами? Я надеялась, что ты сумеешь мне объяснить, как ты с твоим умом и знанием жизни в 1978 году еще можешь верить в идеалы сорокалетней давности, которые сегодня абсолютно мертвы. По-моему, ты единственный, кто верит, будто они еще живы. Я ничуть не изменилась. Изменились только факты — и наше знание фактов. Не думай, что я влюбилась в систему капитализма. Нет, сегодня, как и тогда, я далека от этого...»

И тем не менее в шестидесятые годы (все обиды взаимно прощены?) Вера Трайл сопровождает в СССР делегации британских лейбористов, по-прежнему в качестве переводчицы. В конце семидесятых годов она сообщает тому же Родзевичу, что собирается съездить в Москву «за счет государства» (какого?!). Опять загадки...

Когда в 1986 году Веру Трайл хоронили на Кембриджском кладбище, рассказал в заключение наш свидетель, мало кто пришел. С дочерью она давно порвала, но зато присутствовала... внучка Сталина. В Кембридже Вера Трайл познакомилась со

Светланой Аллилуевой, дочерью тирана, после ее сенсационного отъезда из СССР. Светлана даже подарила ей телевизор... Потом две женщины, сломленные бременем истории, поссорились: когда, все хорошенько взвесив, Светлана решила вернуться в СССР.

Ее дочь, внучка деспота, задержалась и пришла вместе с горсткой старух на похороны дочери Гучкова. Это можно счесть горькой, очень горькой эпитафией...

Другая смерть, другие похороны, два года спустя. В четверг 3 марта 1988 года нас было немного, когда выносили тело Константина Родзевича, скончавшегося накануне в возрасте девяноста трех лет. Собственно, мы пришли вдвоем. Не родственники, не друзья, не товарищи. Человек, помогший мне своими воспоминаниями разобраться в трио Эфрон — Родзевич — Трайл, и я, «профессор-сыщик», как он меня иронически окрестил.

Пятеро служащих похоронного бюро суетились над иссохшими останками. Потом отошли, предоставив нам возможность «проститься с нашим другом». Человек-память быстро перекрестился, вздохнул. Я замер невдалеке от гроба, испытывая неясное волнение. Восковое лицо с огромным орлиным носом, из которого нелепо торчали длинные седые волоски... Мы удалились, передав «нашего друга» профессионалам, которым не терпелось поскорей отправить его на кладбище Тье. Наверное, такие малолюдные похороны на скорую руку были для них сущим надругательством.

Как-нибудь я наведаюсь на могилу Константина Родзевича, чтобы собраться с мыслями. Я больше не сержусь на него за то, что он не оказал последней услуги «правому делу», Истории, так ничего и не рассказав. Его смерть освобождает меня от угрызений совести за то, что я вторгся в мир трех забытых «героев».

◆

Очарование зла, или Что толкает за грань?

Все крупные страны имели и имеют разведки. В межвоенной Европе интенсивность разведывательной деятельности была чрезвычайно высокой: складывались и перегруппировывались военно-политические союзы, внутри самих европейских государств развивались различные национальные и социально-политические, идеологические движения, на которые делали ставку геополитические противники. Италия и Германия тайно поддерживали хорватских усташей и антиреспубликанский заговор в Испании; германские разведслужбы поддерживали антибританские движения везде, где они возникали,— от Ближнего Востока до Ирландии. Поляки проводили разведывательные операции в Германии и Литве, немцы — в Польше и Чехословакии. Французские секретные службы одно время (в начале 20-х годов) рассматривали Гитлера как... баварского сепаратиста, который мог расколоть возрождающуюся к былой мощи Германию. Все вели разведку друг **против** друга, друг **за** другом. Это был целый мир агентов, со своими законами и героями, со своими мифами и катастрофами.

Разведку обслуживали мощные, разветвленные службы и даже технологии: подделка документов, изготовление специального оружия, тайников и т. п. Существовали и «специалисты узкого профиля» — по добыче секретной информации, переправке ее, по переходам границ и выполнению «спецзаданий»... Были агенты «за деньги» и агенты «за идею», были «герои веры» и агенты-двойники, перевербованные по нескольку раз различными разведками...

На этом фоне агентской лихорадки советские разведслужбы в 20—30-е годы действовали поразительно успешно. Мощная, прекрасно информированная резидентура, проникновение в «святая святых» центров принятия стратегических решений многих европейских стран, сотни преданных и квалифицированных агентов. Именно эти люди обеспечивали эффективность советской разведки несколько десятилетий и давали возможность (увы, по большей части не используемую Москвой) принимать адекватные военно-политические решения.

Ален Бросса разворачивает в своей книге довольно широкую (хотя, конечно, далеко не полную) панораму деятельности ярких представителей этого разведывательного сообщества — от Рихарда Зорге до «красной графини» Рут фон Майенбург. И в целом его объяснения эффективности советской разведки вызывают доверие: идеологическая ангажированность «великим коммунистическим мифом», идея слу-

жения Родине для одних и Идеалу — для других, широкое сочувствие значительного сектора западной общественности к СССР, в котором многие видели главный оплот борьбы против фашизма,— эти идеологические и психологические механизмы, несомненно, играли большую роль в мотивации деятельности «агентов Москвы».

И все же именно выбранная для публикации глава ставит проблемы из разряда «проклятых». Ибо есть грань, за которой разведка перерастает в нечто совсем другое и служба «информационного обслуживания политики» превращается в служение силам зла. Эта грань — человекоубийство, пролитие крови. И именно ее переходили «агенты Москвы» непоправимо часто. Переходили из разных, в том числе и высоких побуждений, часто — просто не могли не перейти. Ибо то, что в наших книгах и фильмах последних десятилетий благородно называется «советской разведкой», в реальной истории было вполне конкретной организацией, имя которой — НКВД. И все, что происходило в реальном, невыдуманном СССР в 20—40-е годы (да и позднее, конечно), просто не могло не определять сам смысл, методы и стиль того, чем занимались секретные сотрудники этой организации за рубежами «одной, отдельно взятой страны». Физическое уничтожение политических противников, членов их семей, потенциальных оппонентов или конкурентов в коммунистических партиях, в рабочем и революционном движениях — все это происходило и «здесь», и «там», и в СССР, и за границей. И это не было эксцессом, «перегибом» или ошибкой — многочисленные факты, собранные исследователями эпохи, описанные мемуаристами, отраженные в документах, говорят о том, что беспощадная охота за противниками возводимой сталинской империи шла по всему свету. Троцкий был убит в Мексике после пяти (!) покушений в разных странах; во Франции таинственно погибает его сын, а в СССР репрессируется вся его родня... При загадочных обстоятельствах погиб Ф. Раскольников, публично обвинивший Сталина в кровавых репрессиях, а в Лозанне убивают Игнатия Рейсса, понявшего, что реальный СССР — это отнюдь не то государство революционного братства трудящихся, для которого он работал.

В Испании с помощью НКВД создаются тайные тюрьмы, которые наполняются все теми же (часто мнимыми) врагами империи: троцкистами, анархистами, эмигрантами, антифашистами разных национальностей и партийной принадлежности,— словом, всеми теми, кто мог стать помехой в установлении сталинской монополии в революционном движении. В одном из подобных застенков был уничтожен и Андрес Нин, знаменитый рабочий лидер, руководитель Объединенной рабочей марксистской партии Испании (ПОУМ).

С кадровыми агентами сталинской репрессивной машины вроде бы все ясно — они стали «колесиками и винтиками» гигантского механизма, и для них существовало лишь два пути — вертеться в нужном направлении либо исчезнуть (путь бегства, дезертирства, сопряженный со смертельным риском,— лишь вариант того исчезновения). Не ясна, однако, природа другого явления — «агентства» представителей духовной и интеллектуальной элиты Запада и российской эмиграции. А. Бросса исследует в основном именно этот феномен и формирует вопросы, на которые совсем непросто найти ответ. Как могли люди, воспитанные на высоких идеалах гуманизма, сотрудничать с кровавой машиной политической мести? Что заставляло их закрывать глаза на то самое в бесовской практике сталинского режима, что они отвергали в окружавшей их западной жизни? Ведь приходившие из СССР известия, свидетельства вырвавшихся очевидцев могли дать общее представление о реально происходившем в «республике трудящихся» каждому, кто действительно этого хотел. Но... была какая-то загадочная сила, вовлекавшая в воронку «агентства» многих замечательных, умных и талантливых людей.

«Эфрон был для нас живым воплощением благородства,— вспоминал Алексей Эйснер.— «Он великий человек, но как не повезло ему с женой»,— думали многие из нас тогда...» Незаурядность лидеров «евразийского» круга не нуждается в доказательствах — достаточно почитать их публицистику. А ведь именно этот круг был поражен «агентством» глубже всей остальной эмиграции. Но отношения человека и его Родины — интимная сфера. В конце концов, возрождение под сталинским знаменем былой имперской мощи России в глазах одержимого имперской идеей патриота можно понять.

Гораздо сложнее понять людей из европейского «высшего света», из мировой творческой элиты — таких, как великий Д. А. Сикейрос (напомню, что он по заданию Москвы принимал участие в одном из покушений на Л. Троцкого).

А. Бросса в одной из глав своей книги формулирует этот вопрос как «загадку сталинизма».

Психологический механизм вовлечения людей из элиты в дьявольскую игру НКВД непрост, но некоторые его элементы очевидны: романтика бунта против окружающей действительности, отвержение «закона, данного Адамом и Евой», стремление прикоснуться, войти в некое невидимое всемирное братство, одухотворенное «новой верой»,— на фоне атомизации, энергетического и морального упадка Запада. И эти люди просто не хотели знать о том, что такое реальный Советский Союз, им это было не важно, не нужно — они служили своей идее, своей иллюзии, отвечали своей психологической потребности...

Однако все это — лишь первичный импульс. Остановиться еще не поздно. Политическая ангажированность «Великой Мечтой» может стать дорогой не к преступлению, а к прозрению — как это произошло с Дж. Оруэллом или А. Кёстлером. Путь за грань лежит через следующий шаг — отказ от права думать самостоятельно, бездумное подчинение приказам — сначала машинальное, затем — сладострастное, превращение в «винтик» дьявольской машины, потеря воли, а с нею последнего личностного начала. Не все прошли этот путь до конца. Отчасти это вообще проблема личной судьбы.

И мы — невольные судьи тех, на чьем месте полвека назад могли бы оказаться сами... Но это, увы, не избавляет от обязанности судить. Мы обречены на суждения о том, чего понять до конца просто не в силах...

А. Бросса не претендует на знание конечной истины — он собирает, классифицирует и интерпретирует суждения и документы, выстраивает гипотезы, приводит самые разнообразные версии и объяснения. В публикуемой главе автор ничего не утверждает категорично — он приводит косвенные доказательства участия трех известных в среде эмигрантской интеллигенции фигур в операциях НКВД на Западе. Сумма этих косвенных доказательств весьма весома, однако вердикт выносить пока нельзя. До тех пор пока архивы КГБ скрывают подлинную роль героев книги в «спецоперациях» 30-х годов, мы не можем окончательно обвинить их в соучастии в убийстве. Но предварительный итог все же очевиден, они перешли за грань, став винтиками жуткого сталинского Молоха. Мотивы же, к несчастью,— вещь сугубо личная.

А. ФАДИН

К нашим иллюстрациям

ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО

Представить западноевропейскую культуру XX века без Джорджо Де Кирико мудрено. Он один из ее «мифов»: художник и писатель — эпоха, направление, свидетель и участник многих течений, тенденций. Он интересовался символизмом, прошел через увлечение кубизмом, но остался верен главным своим истокам — классической традиции.

По созерцательному и философскому складу своей натуры Де Кирико был далек от футуризма и после недолгого обращения к нему обвинил футуризм в «отсутствии глубины», «человеческого смысла» и противопоставил ему «метафизическую живопись». Истолковывая название этого направления, основателем и главным представителем которого он был, Де Кирико определял «метафизику», как то, что находится за пределами «физики» — науки об естественных законах, как часть философии, где исследуются высшие, недоступные органам чувств, начала всего сущего, «первооснова» мира. В противовес культу бурного движения времени, деформации натуры футуризма Де Кирико утверждал «вечность», хотел «спасти красоту», «заморозить и представить в состоянии покоя безумную красоту материи».

Яркость подобных словесных образов Де Кирико равно характерна и для живописных. Он склонялся к уравниванию художественного и литературного творчества, проявив в обоих «мифическую» широту и разнообразие. Скульптор, живописец, график, Де Кирико входит в плеяду «классиков» XX века, таких, как Матисс, Дали. Уже в 1914 году Г. Аполлинер считал Де Кирико «значительным художником современности», А. Бретон ставил его в один ряд с Пикассо и Стравинским, называя их «своим мифом». Романы, стихи, эссе, теоретические сочинения Де Кирико признают «бриллиантом» итальянской литературы XX столетия, а его приравнивают к И. Звево, Томази ди Лампедуза.

Вдобавок творчество Де Кирико представляет «перекресток» культур Западной Европы, что тоже служит «мифу».

Годами учения он связан с Германией, именовал себя «гётеанцем», проникся духом немецкого романтизма, увлекался Ф. Ницше, А. Шопенгауэром, его «вселенской символикой». К «северным представлениям» — Хайдеггеру, демонологии, искусству нидерландца XV в. Й. Босха — Де Кирико приобщился в художественной среде Мюнхена, конкурировавшего в начале века со всемирной столицей искусства — Парижем.

С Парижем, где Де Кирико подолгу жил в 1911—1915 годах, его связывала близость к кругу властителей умов того времени: Пикассо, Бретону, Элюару, Аполлинеру, чьи портреты он писал, Кокто, чьи книги иллюстрировал. Де Кирико экспонировал работы на первых выставках сюрреалистов, считавших себя обязанными ему «открытием нового мира». Но вскоре произошел разрыв, Аполлинер определил причину: «Тем хуже для него (Де Кирико) если он почувствовал себя однажды хозяином своих снов»,— то есть обвинил художника в рационализме, идущем вразрез с культом подсознательного и безумного у сюрреалистов. Странные, казалось бы, сюжеты Де Кирико строятся на логической символической связи. Реальность не отрицается, но приобретает иные соотношения, высокий смысл вещей, их суть, которые художник и стремится выявить. В программу «метафизической живописи» входит: обнаружить «демона» в каждой вещи, вскрыть «тайны духа зла», «все в мире писать как загадку». На автопортрете Де Кирико 1908 года латинская надпись гласила: «Et quid amabo nisi quod aenigma est?» — «Что буду любить, если не загадку?» Кокто именовал Де Кирико «художником мирских тайн» и посвятил ему свою книгу под одноименным названием. Де Кирико ищет «универсальную символику», способную выразить его идеи, систему знаков — «метафизический алфавит», дающий возможность разумного истолкования сюжета для «умеющих читать». Из картины в картину повторяются те же изображения — носители определенного смысла. Например, стена — символ материнской любви, предохраняющее, стесняющее начало,—«стена как

предел мира, горизонт пуст, за стеной ничто». В картинах Де Кирико никогда нет прорыва в глубину, она всегда заказана в «метафизическом» мире.

Художник пользуется и такими общепринятыми в то время символами, как яйцо — «Начало мира». Одна из ранних пьес Э. Ионеско называлась «Будущее в яйце». Интерес к «начальному», «дородовому», фрейдистский культ инстинкта, первобытного не обошел Де Кирико. Отсюда и «ностальгия по детству», выразившаяся в частых изображениях «железнодорожных сцен» (отец художника был инженером-путейцем), но главное — в пристрастии к Греции — родине «мифа» и родине Де Кирико. Он гордился тем, что явился на свет в Волосе, Фессалии — «стране колдуний», легендарном месте «отплытия аргонавтов», и показывал себя и брата — литератора и художника Альберто, известного под псевдонимом Савиньо,— в виде аргонавтов. Набор символов и мотивов изображения Де Кирико черпал прежде всего здесь: море, плещущееся о берега древней Эллады, колонны, статуи, голова Аполлона. В автопортретах Де Кирико изображает себя рядом и на равных с античной скульптурой то Гермеса, то Еврипида, словно «отождествляя» себя с ними — «я — это он», что и считал Т. Манн главным признаком «мифа», сводящим воедино реальное и ирреальное.

Встречающиеся в картинах Де Кирико редкие фигуры не люди, а «метафизические манекены» или статуи. Им свойственны человеческие проявления. В картинах Де Кирико они «размышляют» в безлюдии пустынных площадей, где предметы отбрасывают удлиненные тени как будто в пронзительном свете иных планет и в тишине, особой атмосфере тайны, напоминающей строки Г. Д'Аннунцио:

Чего хочешь? Чего хочешь?
Недвижные стоят,
Как безжизненные призраки
Статуи в тишине...

Не случайно место рождения «метафизической живописи» — один из самых старых и музейных городов Италии — Феррара, где на геральдической эмблеме правительницы Изабеллы д'Эсте написано: «Всякий шум умер». Вернувшись в Италию — страну, которой Де Кирико более всего принадлежит по своей творческой и человеческой биографии, художник увлекся утонченным искусством феррарского Возрождения и неоднократно говорил о «репатриации в лоно матери итальянской живописи».

Он много занимался реставрацией, изучал старых мастеров, имитировал их картины, что помогало ему достичь убедительности, достоверности «новой мифологии», «метафизического мира», «уточнения символа». Де Кирико стремился соединить символику с традицией.

Творчество Де Кирико было крайне популярно, он никогда не отстранялся от хода жизни, текущих событий, работал до самого конца. В его старинном палаццо в Риме бывало много посетителей со всех концов света, в том числе и из нашей страны, которых он охотно и дружески принимал.

Сохраняя свои начала, принципы, он шел в ногу со временем и оставался всегда верен девизу: «Люблю все самое передовое и самое новое».

Е. ХЕРСОНСКАЯ

◆

Авторы этого номера

БОГУМИЛ ГРАБАЛ (BOHUMIL HRABAL; род. в 1914 г.) — чешский писатель, лауреат премии имени Клемента Готвальда. Автор многих сборников рассказов, среди них «Жемчужинка на дне» («Perlička na dně», 1963), «Праздники подснежников» («Slavnosti sněženek», 1978), повести «Поезда особого назначения» («Ostře sledované vlaky», 1965). Рассказ «Беатриче» взят из еженедельника «Кмен» (1989, № 12).

НАГИБ МАХФУЗ (род. в 1911 г.) — египетский писатель, лауреат Нобелевской премии и национальных литературных премий Египта. Его перу принадлежит целый ряд романов, в том числе исторических, из жизни Древнего Египта («Игра судеб», 1939; «Радобис», 1943; «Борьба Фив», 1944), социально-бытовых («Хан аль-Халили», 1946; «Переулок аль-Мидакк», 1947; трилогия «Бейн аль-Касрейн», 1956), философских («Дети нашего квартала», 1959; «Нищий», 1963; «Путь», 1964; «Болтовня над Нилом», 1966) и др. Н. Махфуз также автор многих сборников рассказов, повестей, произведений мемуарного жанра. В русском переводе изданы романы «Осенние перепела», «Пансионат Мирамар», «Любовь под дождем», повесть «Вор и собаки» («ИЛ», 1964, № 4), мемуарные очерки «Зеркала», рассказы и др. Повесть «Да осчастливит Аллах твой вечер!» была опубликована в сборнике повестей и рассказов Н. Махфуза «Утро роз» («Сабах альвард», Каир, «Мактабат Миср», 1987).

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН (WYSTAN HUGH AUDEN; 1907—1973) — англо-американский поэт, драматург, публицист, критик. С 1939 года жил в США. Лауреат Пулицеровской и других литературных премий. Автор многих поэтических сборников, среди которых «Танец смерти» («The Dance of Death», 1933), «Гляди, незнакомец!» («Look, Stranger!», 1936), «Испания» («Spain», 1937), «Век тревоги» («The Age of Anxiety», 1947), «Щит Ахилла» («The Shield of Achilles», 1955), «Избранные стихи» («Collected Shorter Poems», 1968).
Публикуемые переводы сделаны по «Собранию стихотворений» («Collected Poems», New York, Random House, 1975).

РЭЙ КОННОЛЛИ (RAY CONNOLLY; род. в 1941 г.) — английский писатель и журналист. Автор нескольких романов, пьес для телевидения, сценария фильма «Звездная пыль» об английской рок-группе, популярной в Америке в 60-е годы. Фильм получил премию Гильдии писателей Великобритании за лучший сценарий. Р. Коннолли написал также ряд статей о рок-музыке, об ансамбле «Битлз», о Джоне Ленноне, Йоко Оно и Поле Маккартни.
Книга Р. Коннолли «Джон Леннон. 1940—1980. Биография» вышла в Англии в 1981 году («John Lennon. 1940—1980. A Biography», Glasgow, William Collins & Sons Co., 1981).

Переводчики:

ПРОШУНИНА ДЕЛЯРА МИХАЙЛОВНА — советский переводчик с чешского и английского языков. В ее переводе опубликованы роман В. Кратохвила «Жизнь Яна Амоса Коменского», сборник рассказов Дж. Тербера «Тербер и его собаки» и другие произведения.

СТЕПАНОВ ЛЕВ МАРКОВИЧ (род. в 1929 г.) — советский востоковед-арабист и переводчик. Автор работ по литературам Арабского Востока, стран Африки, Мальты. В его переводах изданы: роман суданского писателя Ат-Тайиба Салиха «Бендер-шах» (1982), автобиографический роман египетского ученого и писателя Таха Хусейна «Дни» (часть III, 1989), рассказы и повести писателей Египта, Йемена, Ливана, Сирии, Туниса, главы из документальной повести намибийского политического деятеля Джона Я-Отто «Намибия — поле битвы» («ИЛ», 1987, № 12).

ТОПОРОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1946 г). — советский поэт-переводчик, критик. Из англо-американской поэзии переводил Дж. Донна, Дж. Г. Байрона, Г. Мелвилла, Оскара Уайльда, Р. Киплинга и др.

ЛИТВИНОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА — советский переводчик с английского. В ее переводе вышла книга Альберта Рис Вильямса «Путешествие в революцию», в «Иностранной литературе» под названием «Устная история второй мировой войны» напечатаны главы из книги американского писателя С. Тёркела «Хорошая война» (1985, № 12), в периодике публиковались переводы рассказов, статьи и др.

◆

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1989 год № 1—12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Грабал Богумил — Беатриче (Рассказ. Перевод с чешского и вступление Д. Прошуниной), № 12.

Грин Грэм — Монсеньор Кихот (Роман. Перевод с английского Т. Кудрявцевой), № 1, 2.

Зингер Башевис Исаак — Рассказы разных лет (Перевод с идиш, примечания и послесловие Льва Беринского), № 4.

Иредыньский Иренеуш — Террористы (Пьеса в трех действиях. Перевод с польского В. Климовского), № 10.

Кадарэ Исмаиль — Генерал армии мертвых (Роман. Перевод с албанского В. Тюхина. Послесловие Вячеслава Кондратьева), № 6.

Ленц Зигфрид — Сербиянка, Облеченный доверием (Рассказы. Перевод с немецкого Б. Хлебникова), № 6.

Махфуз Нагиб — Да осчастливит Аллах твой вечер! (Повесть. Перевод с арабского А. Степанова), № 12.

Мелиус Йожеф — «Кафе «Транзит», «Западное кафе» (Фрагменты книг. Вступление и перевод с венгерского Ю. Гусева), № 4.

Мисима Юкио — Золотой Храм (Роман. Перевод с японского Г. Чхартишвили), № 5.

Молдова Дёрдь — Заколдованная Контора, Конституционная республика, «Улица Ротенбиллера, 93/А», Одиннадцать непобедимых (Перевод с венгерского Н. Прошунина), № 9.

Набоков Владимир — Пнин (Роман. Перевод с английского Геннадия Барабтарло при участии В. Е. Набоковой), № 2.

Отеро Сильва Мигель — И стал тот камень Христом (Перевод с испанского Маргариты Былинкиной. Послесловие Юрия Дашкевича), № 3.

Пасков Виктор — Баллада о Георге Хениге (Повесть. Перевод с болгарского М. Тарасовой), № 11.

Ружевич Тадеуш — Западня (Пьеса. Вступление Д. Затонского. Перевод с польского И. Щербаковой), № 3.

Рушди Сальман — Стыд (Роман. Перевод с английского И. Багрова), № 8, 9.

Сартр Жан-Поль — Тошнота (Роман. Перевод с французского Ю. Яхниной. Послесловие Л. Андреева), № 7.

Фаулз Джон — Дэниэл Мартин (Роман. Перевод с английского Ю. Здоровова), № 10—12.

Хайдучек Вернер — Прегрешение (Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд), № 1.

Шаша Леонардо — Смерть Сталина (Рассказ. Перевод с итальянского Е. Солоновича), № 5.

Элиаде Мирча — У цыганок (Новелла. Перевод с румынского Татьяны Ивановой. Послесловие Вяч. В. Иванова), № 8.

СТИХИ

Аврамеску Лучиан — Среди самолетов вечернего рейса, Улитка-отшельница (Перевод с румынского Льва Беринского), № 6.

Александру Иоан — Via dolorosa, Как в раю, Голубь (Перевод с румынского Льва Беринского), № 6.

Гайтан Дуран Хорхе — Знаю, что живу и др. стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 5.

Динеску Мирча — Бесконечное воскресенье, Кормушка, Фиеста (Перевод с румынского Льва Беринского), № 6.

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Кирилла Ковальджи) № 6.

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление С. Шерлаимовой), № 4.

Карранса Эдуардо — Навязчивый сонет о сне и др. стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 5.

КОЛУМБИЙСКАЯ ЛИРИКА: два новых имени (Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 5.

Крейн Харт — Сокрушенный храм и др. стихи (Перевод с английского Михаила Еремина. Вступление В. С. Муравьева), № 9.

Лауренциу Дан — Утро и вечер в садах для счастливцев, Грустное воспоминание, Кошечка (Перевод с румынского Льва Беринского), № 6.

Оден Уистен Хью — Блюз у Римской стены и др. стихи (Вступление А. Зверева. Перевод с английского Виктора Топорова), № 12.

Прелипчану Николае — Ночь Святого Варфоломея, Корабль осени (Перевод с румынского Льва Беринского), № 6.

Ружевич Тадеуш — Из стихотворений 1956—1968 годов (Перевод с польского и послесловие Владимира Британишского), № 3.

Сабатье Робер — Ода множествам и др. стихи (Перевод с французского Э. Ананиашвили), № 11.

Сен-Жон Перс — Из трех поэм (Перевод с французского Георгия Адамовича, Георгия Иванова, Натальи Стрижевской, Мориса Баксмахера), № 7.

Свирщиньская Анна — Стихи о Варшавском восстании (Перевод с польского Натальи Астафьевой. Послесловие Владимира Британишского), № 8.

Сыс Карел — 15 стихотворных строк из анкеты и др. стихи (Перевод с чешского Владимира Соколова), № 4.

Черник Михал — Человеческие стихи и др. стихи (Перевод с чешского Владимира Соколова), № 4.

Шандру Флорин Мирча — Время года — весна, Моя Африка (Перевод с румынского Льва Беринского), № 6.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПАРИЖСКИЙ СПЛИН. Из Бодлера. Переводы **Владислава Ходасевича** (Публикация В. Перельмутера. Послесловие Вяч. В. Иванова), № 1.

Сюэ Тао — Весною смотрю вдаль и др. стихи (Перевод с китайского и вступление Михаила Басманова), № 10.

Шенье Андре — Ямбы (Вступление А. Д. Михайлова. Перевод с французского Геннадия Русакова), № 7.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Джойс Джеймс — Улисс (Роман. Вступление Д. С. Лихачева. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего), № 1—12.
Гениева Е.— Комментарии, № 1—12.
Гейм Георг — Офелия. I и др. стихи (Вступление Н. Павловой. Перевод с немецкого М. Гаспарова), № 2.
Мастерс Эдгар Ли — Из книги «Новый Спун-Ривер» (Вступление и перевод с английского Андрея Сергеева), № 5.
Тракль Георг — Рождение и др. стихи (Перевод с немецкого и вступление С. Аверинцева), № 11.

ПУБЛИЦИСТИКА

Бергман Ингмар — Laterna Magica (Перевод со шведского А. А. Афиногеновой), № 9—11.
Бросса Ален — Групповой портрет с дамой (Глава из книги «Агенты Москвы». Перевод с французского Е. Погожевой. Послесловие А. Фадина), № 12.
Галло Макс — Открытое письмо Максимилиану Робеспьеру о новых щёголях (Фрагменты книги. Перевод с французского Л. Токарева), № 7.
Дойчер Исаак — Адски темная ночь (Глава из книги «Пророк в изгнании». Вступление Роя Медведева. Перевод с английского Ю. Зараховича и А. Злобина), № 3.
Жуховицкий Леонид — Хесслинд Ларс — О любви и прочем (Диалог в письмах), № 2.
Каграманов Ю.— «Минуты роковые» и 200 лет, № 7.
Кин Цецилия — Из хроники Коминтерна (Несколько итальянских страниц), № 1.
Коннолли Рэй — Джон Леннон. 1940—1980. Биография (Перевод с английского С. Литвиновой), № 12.
Лондон Артур — Признание (Перевод с французского К. Наумова и М. Злобиной. Послесловие Е. Амбарцумова), № 4.
Орлова Раиса — Двери открываются медленно (Фрагменты книги), № 6.

КРИТИКА

Белов Сергей — Нежелательные ассоциации — «Поправка-22» Джозефа Хеллера, № 3.
Гачев Георгий — Вперед — к традиции! (Тончо Жечев — балканский мыслитель), № 2.
Зверев А.— Кёстлер и тьма — прикосновенье к истокам, № 10.
Иванов Вяч. Вс. — Классика глазами авангарда, № 11.

К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой

Эткинд Е.— «...Как феникс из пепла» (Поэзия Анны Ахматовой на Западе. Германия и Франция), № 2.

К 100-летию со дня рождения Жана Кокто

Кокто Жан — О порядке в обличье хаоса (Перевод с французского Н. Мавлевич), № 7.
Мавлевич Н.— Разрушитель хороводов, № 7.

Коммунизм и христианство

Дискуссия, состоявшаяся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР 3 ноября 1988 года, № 5.

Литературный мир об «Улиссе»

Ричард Олдингтон, Валери Ларбо, Арнольд Беннетт, Эзра Паунд, Эллен Глазго, Стефан Цвейг, Гилберт Кит Честертон, Томас Вулф, Карл Юнг, Ван Вик Брукс, Торнтон Уайлдер, Владимир Набоков, Е. Замятин, В. Вишневский, А. Архангельский, Б. Пильняк, Б. Пастернак, К. Радек, С. Эйзенштейн, А. Ахматова (Перевод с английского И. Дорониной. Составление Е. Гениевой), № 5, 8, 10, 11.
Мень Александр, протоиерей — Трудный путь к диалогу (О романе Грэма Грина «Монсеньор Кихот»), № 11.

Мир темных пророчеств и добрых напутствий

Ваксмахер Морис — Путешествие в глубь души, № 7.
Гароди Роже — Сен-Жон Перс (Глава из книги «О реализме без берегов»), № 7.
Салганик Мариам — О благотворности сомнений (Сальман Рушди — «Стыд» и другие романы), № 9.

Советская проза в современной культуре. Глазами писателей Запада. Габриэла Мистраль, Альбер Камю, Итало Кальвино, Виктор Соден Притчетт, Альберто Моравиа, Франсуа Мориак, Фланнери О'Коннор, Пьер Паоло Пазолини (Составление и послесловие М. Ландора. Перевод с испанского Е. Лысенко, с французского Мориса Ваксмахера, И. Истратовой, с итальянского Н. Кулиш, с английского А. Николаевской, М. Ландора), № 6.
Философские аспекты. Из писем Вильгельма фон Гумбольдта (Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе), № 11.

Хоружий С.— Как читать «Улисса», № 1.

ИЗ БЕСЕД В РЕДАКЦИИ

О союзе польских писателей, о свободе выбора, свободе печати и о многом другом рассказывают Войцех Жукровский и Зенон Скуза (Текст беседы подготовили Н. Плиско и Т. Чуганова), № 2.

Советский опыт и писатели Запада

(Участвуют Н. Анастасьев, Т. Мотылева, А. Зверев, Б. Гиленсон, В. Земсков, А. Мулярчик, Г. Злобин, Д. Урнов, С. Великовский), № 8, 9.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мень Александр, протоиерей — Камень, который отвергли строители (Размышления, навеянные романом Мигеля Отеро Сильвы), № 11.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Книги, о которых говорят

Кинг Фрэнсис — В поисках ускользающей правды (Перевод с английского Г. Масленниковой), № 11.
Маятник Фуко — маятник Эко... (Вступление, составление и перевод с итальянского Е. Костюкович), № 10.

Новые имена, новые книги. Открытие 80-х: Исабель Альенде (Представляет Н. Богомолова), № 6.

Альенде Исабель — Два слова (Рассказ. Перевод с испанского Н. Богомоловой), № 6.

Вне жанра

Нилин Александр — Апелляция таланта к таланту, № 6.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Грасс Гюнтер: «Демократия — очень трудная вещь...» (Беседу записала И. Щербакова), № 1.
Лалич Михаило — «...Людям стало невмоготу» (Перевод с сербскохорватского И. Юферева), № 1.

Лихачев Дмитрий, Самвелян Николай — Страдающий Бог (диалог), № 9.
Ригони Стерн Марио, Самвелян Николай — Легенда о капелане (Отшельник из Азиаго. Вступление Николая Самвеляна), № 2.

АНТИРУБРИКА

Аллен Вуди — Рассказы и пьеса (Перевод с английского и предисловие Александра Смолянского), № 8.
Даль Роальд — Как вам будет угодно, пастор! (Перевод с английского Т. Амелиной, И. Стам), № 5.
Жироду Жан — На волоске (Рассказ. Перевод с французского И. В. Радченко), № 7.
Миллиган Спайк — Грюши (Стихи. Вступление и перевод с английского Г. Кружкова), № 6.
Превер Жак — Баладар (Перевод с французского Валентины Жуковой. Вступление Мориса Ваксмахера), № 1.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Дьяков Л. — Джузеппе Арчимбольдо, № 9.
Истратова И. — Эрнст Неизвестный, № 1.
Мусина Р., Антонов Н. — Искусство опускать подробности, № 6.
Херсонская Е. — Джорджо Де Кирико, № 12.
Шульман Лариса — В саду единорога, № 11.

РЕЗОНАНС

Асоян Борис — Зеркала или окна, № 6.
Бёлль Генрих — Четыре статьи о Солженицыне (Вступительное слово В. Лакшина. Перевод с немецкого Г. Дашевского, Б. Хлебникова), № 8.
Зотов Владимир — Китай: истоки политического кризиса, № 11.

На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты. Деминг Браун (США), Витторио Страда, (Италия), Такуя Хара (Япония), Вольфганг Козак (ФРГ), Пал Э. Фехер (Венгрия), К. С. Кароль (Франция), Саймон Карлински (США), Фридрих Хитцер (ФРГ), Анджей Дравич (Польша), Жорж Нива (Швейцария), Леон Робель (Франция), Александр Флакер (Югославия), Петер Бранг (Швейцария), Кристофер Хоуп (ЮАР), Айгиль Стеффенсен (Дания), Любомир Фельдек (Чехословакия) (Послесловие А. Немзер), № 6—8.

На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья. Андрей Синявский, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Наум Коржавин, Александр Зиновьев, Василий Аксенов, Ефим Эткинд, Лев Копелев, Раиса Орлова, Ирина Одоевцева, Саша Соколов, Сергей Довлатов, Алексей Цветков (Вступление Чингиза Айтматова. Послесловие Д. Затонского), № 2, 3.

Нуйкин Андрей — Того ли надо бояться, г-н Уолден? (Реплика публициста), № 10.

Речь Нагиба Махфуза на церемонии вручения Нобелевской премии (Перевод с арабского А. Тимошкина), № 5.

Тема для дискуссии: ОБЩЕСТВО И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
Камю Альбер — Размышления о гильотине (Перевод с французского О. В. Ротенберг), № 1.
Франк Герц —...И не только о гильотине, № 1.

Тема для дискуссии: ЭРОТИКА И ЛИТЕРАТУРА
Лоуренс Д. Г. — Порнография и непристойности (Перевод с английского Юрия Комова), № 5.
Петрушевская Л. — «...Нам — секс?», № 5.
Поляков Юрий — Об эротическом ликбезе и не только о нем, № 5.
Тема для дискуссии: СВОБОДА И РЕВОЛЮЦИЯ
Толмачев М. В. — Великая французская революция и свобода печати, № 7.
Сергеев В. М. — Деспотизм свободы, № 7.

Тема для дискуссии: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ — ГУМАНИЗМ ИЛИ ТОТАЛИТАРИЗМ
Чапек Карел — Почему я не коммунист?., № 9.
Пьецух Вячеслав — А вот почему я не коммунист, № 9.
Уолден Джордж — Мирное созабытье, или Иной способ кануть в Лету, № 10.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Лазарев Л. — Это и наша боль, № 9.
Лакёр Уолтер — «Купить в Москве книгу...» (Перевод с английского А. Мугалевой), № 4.

Мир читает «Детей Арбата», № 1.

Продев Стефан — Жажда познания Ленина (Перевод с болгарского М. Чемодановой), № 4.
Сахно Хелен фон — Обратная сторона медали (Перевод с немецкого М. Харитонова), № 3.
Хоскинг Джеффри — Интервью с ним и его лекция «Возврат к политической жизни» (Перевод с английского М. Теракопян), № 4.
Шимечка Милан — Совесть русской интеллигенции, № 9.

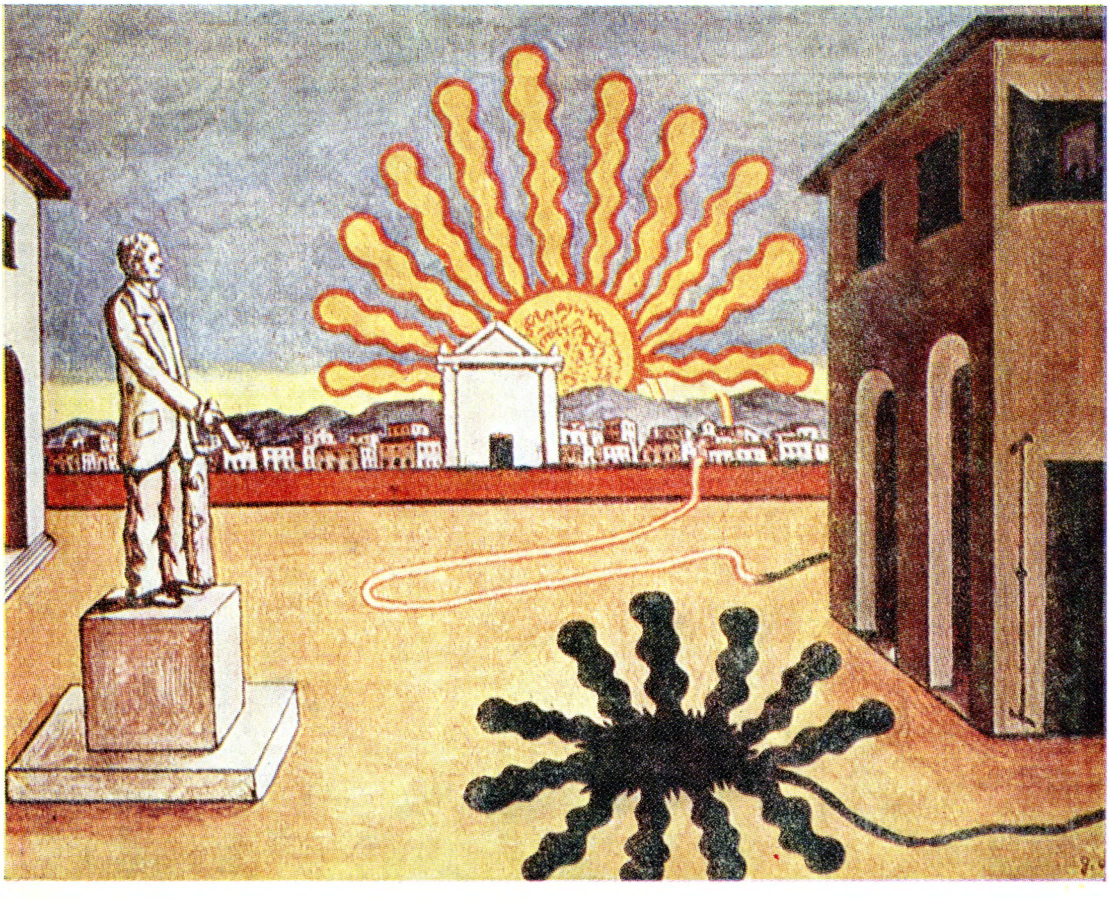
Почта «ИЛ», № 5, 10.

Советская литература за рубежом, № 5, 11.

Курьер «ИЛ», № 1, 2, 4—10.

Авторы этого номера, № 1—12.

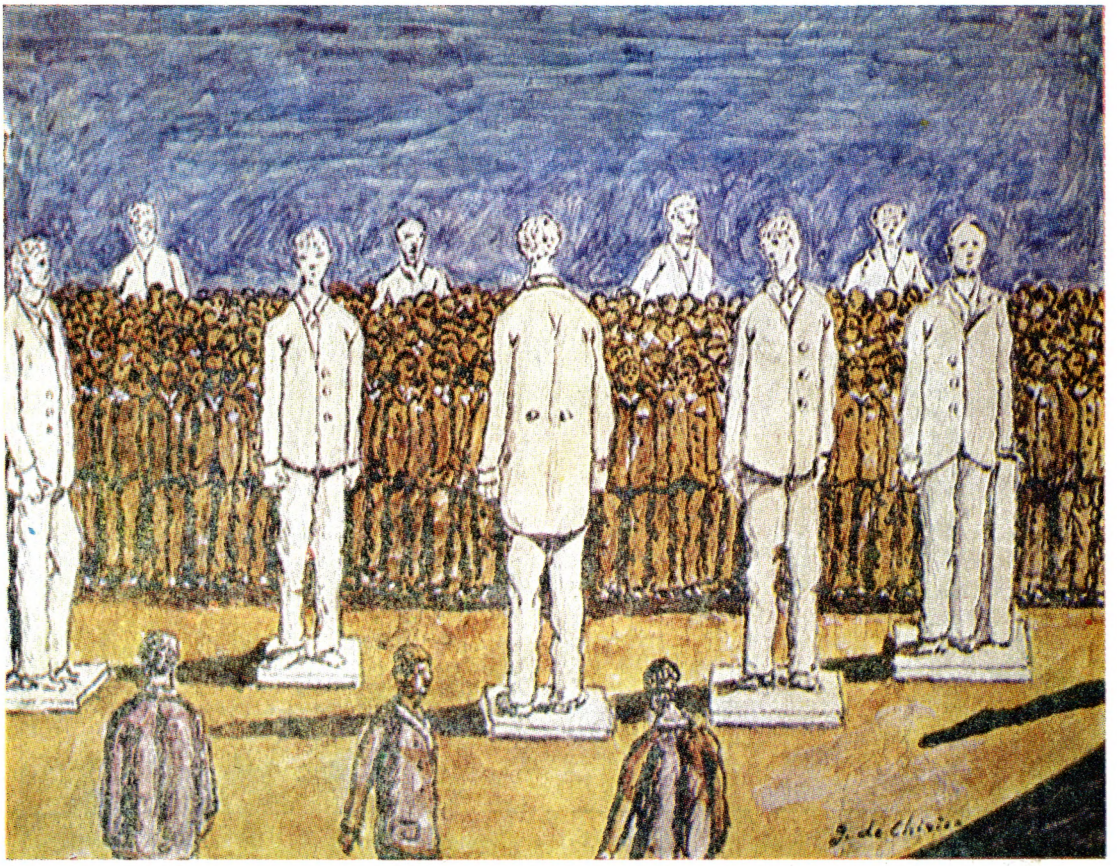
◆



Таинственная площадь.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература № 12, 1989, 1—256